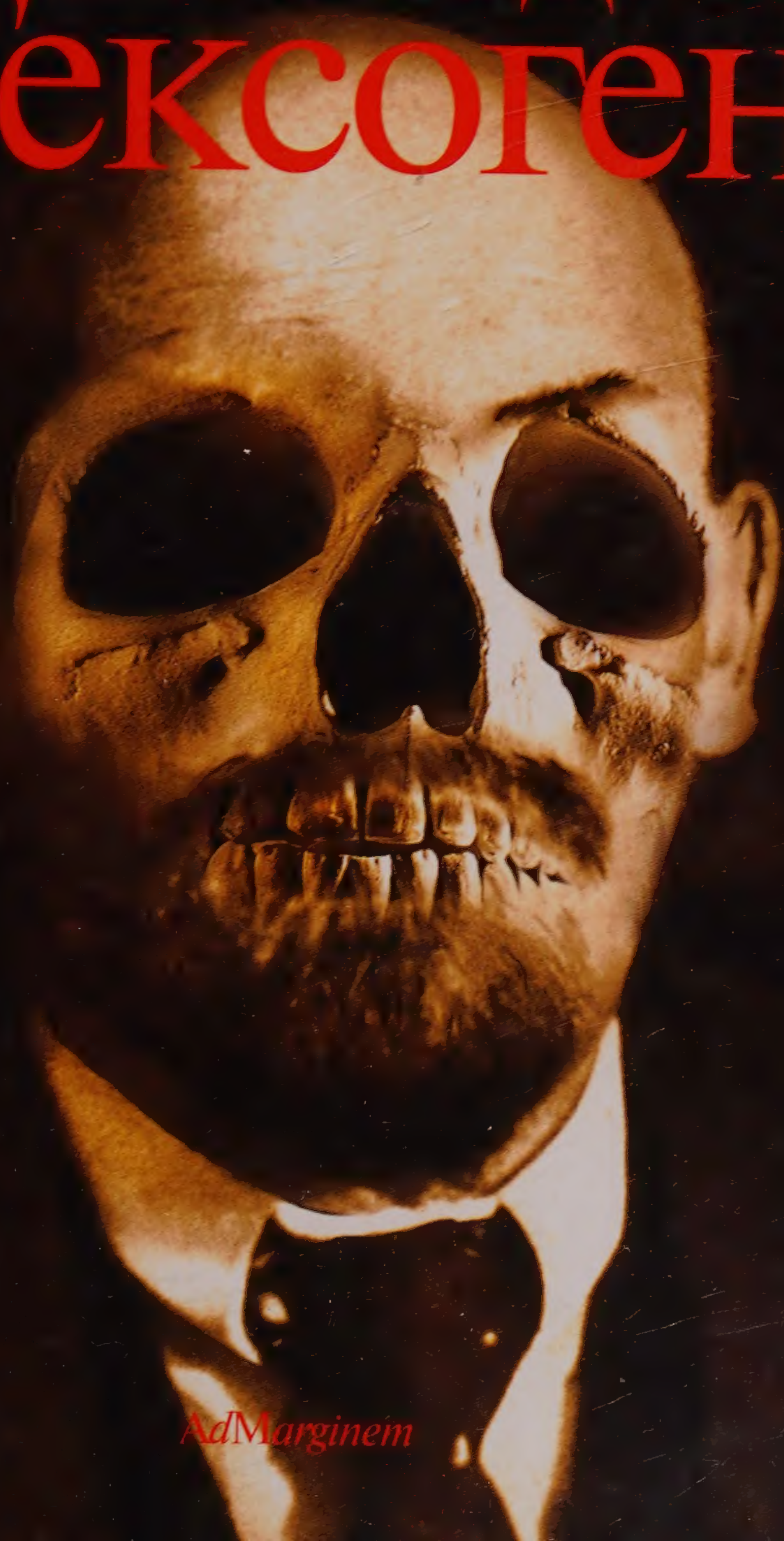


Александр Проханов

Господин Гексоген



AdMarginem





А. И. Кудряков
Толстой
Лекции

1

Александр Проханов
Господин
Гексоген

Роман

Ad Marginem

УДК 821.161.1-31.Проханов
ББК 84 (2Рос-Рус)6-44
П84

Художественное оформление
А. Бондаренко

Ведущий редактор
М. Котомин

*Защиту интеллектуальной собственности
и прав ООО «Издательство Ад Маргинем»
осуществляет адвокатское бюро
Александра Глушенкова
<http://www.legalhelp.ru>*

ISBN 5-93321-035-8

© Александр Проханов, 2002.

© Издательство «Ад Маргинем», 2002

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Часть первая. Операция «ПРОКУРОР»</i>	<i>7</i>
<i>Часть вторая. Операция «ПРЕМЬЕР»</i>	<i>139</i>
<i>Часть третья. Операция «КАМЮ»</i>	<i>258</i>
<i>Часть четвертая. Операция «ГЕКСОГЕН»</i>	<i>365</i>
<i>Часть пятая. Самолет «РОССИЯ»</i>	<i>436</i>
<i>Эпилог</i>	<i>472</i>

Часть первая

ОПЕРАЦИЯ «ПРОКУРОР»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Генерал разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев чувствовал приближение осени по тончайшей желтизне, текущей в бледном воздухе московского утра, словно где-то уронили невидимую капельку йода и она растворялась среди фасадов и крыш, просачивалась струйками в форточку, плавала в пятне водянистого солнца, создавая ощущение незримой болезни, поразившей город. Туман на стекле был золотисто-зеленый, такой же, как Тверской бульвар, где под липами, у черных стволов, начинали скапливаться озерки опавшей листвы. Горьковатый цвет увядания присутствовал в иконе, с которой осыпалась блеклая позолота нимбов. В коробках с бабочками, терявшими желтую сухую пыльцу. В стакане бледного чая, где преломлялась серебряная ложечка с полустертой монограммой. Он недвижно сидел, чувствуя, как горькие яды осени втекают в его кровь и дыхание, порождая легкое головокружение, словно от надкушенного черенка осинового листа, желтого, с капелькой бледной лазури. Начинающийся день не сулил встреч и событий, был похож на бледное световое пятно, медленно плывущее над головой. «О тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы...» — повторял он стихотворную строч-

ку, случайно залетевшую в память, трепетавшую там, не в силах улететь, словно бабочка, попавшая в паутину.

Телефонный звонок из гостиной прилетел в кабинет и произвел впечатление царапины, нанесенной стеклорезом:

— Виктор Андреевич, прости, что рано потревожил... Это Гречишников... Здесь такое печальное обстоятельство... Умер генерал Авдеев, которому, кажется, именно ты дал прозвище «Суахили»... Сегодня отпевают... Приходи, простимся с командиром... Панихида в одиннадцать... Хочу тебя повидать...

Еще несколько слов знакомого голоса, слабо дребезжащего, словно стакан в подстаканнике на столике идущего поезда. Царапина, оставленная телефонным звонком. И болезненное изумление — стихотворная строчка об Африке и небесных серафимах, случайно залетевшая в память, превратилась в известие о кончине старого генерала разведки, отправлявшего его, Белосельцева, в Мозамбик и Анголу, а теперь лежащего в русской церкви под блеклой фреской с шестикрылым небесным духом.

Суахили был первоклассный разведчик, энтомолог, этнограф. Напоминал своей эрудицией офицеров царского Генерального штаба, которые наносили на карты речные броды, горные тропы, колодцы в пустынях, предвосхищая прохождение войск. Одновременно описывали нравы туземных племен, собирали гербарии, коллекционировали минералы, оставляя после себя изыскания, украшавшие библиотеки университетов и академий.

Суахили ловил бабочек в Бельгийском Конго вблизи ракетодрома в джунглях, откуда запускались французские ракеты средней дальности. Захватывал в прозрачную кисею сачка редкие экземпляры африканских нимфалид и сатиров, при этом снимая баллистические характеристики ракет, беря пробы грунта, засекая время отсечки двигателей. Он был обстрелян, попал в контрразведку французов, наполовину потерял рассудок от пыток, и через пять лет тюрьмы был обменен на французского агента, внедренного в военно-морской флот Югославии. Он, Суахили, отправлял Белосельцева в африканский вояж, управлял его действиями в пустыне Намиб и в устье реки Лимпопо. Оставил разведку в проклятые дни поражения, когда в свете голубых прожекторов краны снимали с по-

стамента бронзовую скульптуру Дзержинского и она покачивалась в ночном небе перед горящими окнами Лубянки как огромный висельник.

С тех пор они не виделись, как и многие из бывших сослуживцев, ушедших из помпезного здания госбезопасности, где угнездились предатели и агенты чужих разведок, вскрыли секретные сейфы и досье агентуры, овладели секретами государства, остановили биение сердца Красной Империи. Говорили, что Суахили организовал какой-то фонд, помогает ветеранам разведки. Что он унес с собой списки заграничной агентуры в странах Африки и Латинской Америки. Что он пишет эзотерические стихи. Что его коллекция бабочек таит в себе коды агентурных сетей. Что он крестился. Что его видели в патриаршей резиденции. Что к нему за советом приезжают руководители банков и крупнейших нефтяных компаний. Белосельцев не проверял эти слухи. Удар, полученный в дни августа, оглушил его на многие годы. Он жил как контуженый, попавший под фугасный взрыв. Конечности оставались целы, внутренние органы продолжали служить, но в психике оказались разорванными тончайшие волокна и нити, связывающие его с бытием. Сторонясь сослуживцев, он жил как отшельник в дупле, в постоянной дремоте.

Звонок Гречишникова, бывшего товарища, с кем вместе получали генеральские погоны и о ком почти не вспоминал эти годы, его дребезжащий, как стекло в подстаканнике, голос застигли врасплох. Мысль витала над Африкой, и весть о кончине Суахили свидетельствовала о движении таинственных, как облака, явлений, в которые Белосельцев был неявно включен. На него прохладно дохнуло опасностью. Он озирался, стараясь понять, откуда, с какой вершины сорвался холодный порыв. Но лес доступных для обозрения явлений стоял недвижимый, в предосенней желтизне, и ни одна из золотых, вплетенных в березы гирлянд не шевельнулась от ветра. Он поднялся, готовясь извлечь из гардероба черный костюм, чтобы идти на отпевание в храм.

Снова раздался звонок. Еще не снимая трубку, Белосельцев почувствовал, что предстоящий разговор продолжит череду совпадений.

Говорил Прокурор мягким грассирующим голосом, словно в горле у него дрожала горошина, порождая целлулоидную вибрацию:

— Простите, Виктор Андреевич, за ранний звонок... Мы, кажется, сегодня собирались увидаться, но, увы, у меня безумный день... С утра иду в Кремль, на встречу с Президентом... А потом коллегия... Хотел извиниться и перенести нашу встречу на другое время... — Горошина нежно рокотала в горле Прокурора. Белосельцев, слушая его, испытывал удовлетворение, похожее на тепло, которое разливается по телу от глотка горячего чая. Прокурор, собиратель бабочек, знавший о его уникальной коллекции, предлагал обмен — бабочку Южной Африки, пойманную Белосельцевым на границе с Намибией, на бабочку с Филиппин, купленную Прокурором на рынке Манилы. — Может быть, встретимся в выходные дни?.. У меня на даче?.. Я пришлю за вами машину...

Смерть Суахили, посылавшего его в Анголу, в зону боев. Звонок Гречишникова, приглашавшего проститься с Авдеевым. Звонок Прокурора, мечтавшего получить в коллекцию бабочку из Кунене. Серафимы, шестикрылые духи, над гробом старика-генерала. Стихотворная строка Гумилева, трепещущая, как синяя бабочка. Все было связано. Было драгоценными чешуйками смальты, упавшими из огромной, недоступной глазу мозаики. По мерцающим кусочкам стекла не угадать всей мозаики, укрытой в черноте высокого купола. Надо ждать, когда сядет солнце и последний луч, снизу вверх, на мгновение осветит купол храма. И тогда откроется лик.

— Такие выматывающие дни!.. Такая нервотрепка!.. У людей не остается времени на любимые занятия!.. — жаловался Прокурор доверительно, как близкому человеку. Белосельцев слушал интеллигентный, мягко грассирующий голос, представлял лысоватую голову, осторожный вкрадчивый взгляд, губы, аккуратно выбиравшие слова. Белесое, невыразительное лицо Прокурора часто появлялось на телеэкране, где он многословно и невнятно раёсказывал о коррупции власти, намекая на самых высоких персон. Из его многословья невозможно было понять, о каких персонах идет речь, какова сущность их прегрешений. Газеты трескуче и бесстрашно писали о «крем-

левских ворах», называли имена Президента, его плотоядных и деятельных дочерей, известных и нелюбимых в публике чиновников и банкиров. Все это вызывало мучительное, гадливое чувство. словно в кремлевских палатах, среди малахита и мрамора, стоял бак нечистот и оттуда, из-за дворцовых фасадов, белокаменных наличников и лепных карнизов, по ржавым трубам сочилась зловонная жижа.

— Я наслышан о вашей коллекции, — продолжал Прокурор. — Если мы, простые смертные, покупаем бабочек в зоомагазинах Сан-Паулу или Лагоса, то вы, как я слышал, собрали коллекцию на полях сражений, держа в одной руке сачок, а в другой автомат... Мечтаю взглянуть на ваши трофеи!

— Буду рад вас принять у себя. — Белосельцев осмотрел неприбранную гостиную, прикидывая, сколько времени потребуется на то, чтобы распахать по полкам скопившиеся на столе и тумбочке книги, кинуть в гардероб задержавшиеся на стульях пиджаки и галстуки, загнать в совок легкие катышки пыли, свернувшиеся по углам. — Назначайте день, и мы непременно встретимся.

— Позвоню вам чуть позже, Виктор Андреевич, когда утихнет нервотрепка... Бабочки — единственная отрада!.. Слово-то какое — бабочки!.. — Он нежно и весело засмеялся, и в этом смехе почудилось утонченное сладострастие, искусно скрываемое под благопристойным выражением лица, сине-серебряными позументами прокурорского мундира, невыразительным рисунком тщательно подобранных фраз.

Положив телефонную трубку, он вернулся в кабинет и рассматривал коробку ангольских бабочек, среди которых большие, пепельно-красные с жемчужными пятнами нимфалиды были пойманы им на дороге, где горела и дымилась броня, лежали обгорелые трупы и на теплое зловонье воронок, ядовитые газы взрывов летели бабочки. Опускались на опаленные вмятины, и он брал руками их мохнатые тельца, страстно стиснутые перепонки. Хватал за красные кончики крыльев.

Закон совпадений был необъясним с точки зрения классической логики причинно-следственных связей. Тут требовалось знание иных измерений, где в огромных, многомерных объемах случались события, наподобие вселенских взрывов, от которых

в земную жизнь падала лишь легкая тень. Вдруг засыхал цветок. Меняла русло река. Старику снилась его молодая мать.

Белосельцев чувствовал, как его захватило прозрачное дунение осени, источавшей перед бурями и ночными дождями мучительную красоту увядания. И нужно замереть, не противиться ветру, а лететь, как легкое пернатое семечко, — из сухого соцветия, через забор, через крышу, в туманное поле.

Он перепутал время отпевания и пришел в храм на час раньше, когда там текла медленная, немногочисленная служба. В воздухе, среди бледных свечей, неярких лампад, была разлита все та же едва уловимая желтизна близкой осени. Неяркое, блеклое пение, выцветшие женские платки, тихие лица, седая воздушная борода священника, из-под которой тусклым золотым ручьем стéкала епитрахиль, сусальный иконостас из виноградных плодов и листьев, струящийся, отекающий, словно переполненные медовые соты, — все было в голубовато-желтой дымке.

Он встал в стороне, под невысокими сводами, где были нарисованы деревья, цветы, среди которых, похожие на травяные и цветочные стебли, притаились ангелы, пророки, апостолы, с головами, напоминавшими подсолнухи, в одеждах цвета увядшей листвы. Перед ним возвышался медный подсвечник, отражавший круглые огоньки свечей. Тут же стоял большой деревянный стол с горами яблок — красных, желтых, зеленых, которые появились здесь из небесных садов, принесенные садовниками в плетеных корзинах. Сами садовники с нимбами смотрели из райских кущ, протягивая руки, предлагая дары. Плоды на столе источали благоухание, вокруг каждого яблока был легкий светящийся нимб, и осы, прилетевшие в церковь на запах яблок, вяло ползали по коричневым доскам стола.

Белосельцев испытал умиление и печаль. Храм был садом, куда в раннее утро, под цветущую белизну яблонь, приносили розовых младенцев. Где блистающим солнечным летом, под тяжелой глянцевиной листвой, венчали женихов и невест, поднося им блюда ароматных плодов. Куда под зимней холодной зарей, среди голых стволов, на хрустящий снег ста-

вили гроб, и поземка шевелила бумажный венчик на белом лбу мертвеца.

Он обернулся. На стене, над входом, увидел фреску Страшного суда. Огромный, жилистый червь прогрыз Вселенную, как переспелое яблоко. Залег в червоточине, изгибаясь складчатым телом. Продырявленное мироздание сгнивало, поедаемое жилистой гусеницей. Вокруг гибнущего, готового отломиться и упасть яблока летали духи света и тьмы. Сшибались с тихим шелестом слюдяных черно-белых крыльев. Бились за добычу, за душу усопшего, похожую на мучнисто-белую личинку. Этой личинкой была душа генерала Авдеева, которого везут отпевать по московским утренним улицам. Или душа Белосельцева, которая еще дремлет в дупле утомленного тела.

Он изумлялся наивному живописцу, изобразившему жизнь человека, его страсти и похоти, любви и битвы, прозрения и погружение во тьму как сражение крылатых существ, излетающих из нагретого солнцем термитника. Колонна батальона «Буффало», пылящая по каменистой дороге. Ночь в отеле «Полана» с африканской женщиной, чьи лиловые соски были сладкими от земляничного сока. Казнь на пыльном плацу, когда погонщики гнали по кругу пленного, пока тот не рухнул и у него изо рта не хлынула кровь. Душа на фреске была похожа на тряпичную куклу с нарисованными глазами и ртом. Духи света и тьмы бились за нее, как сердитые дети, а душа безмолвно и равнодушно взидала.

— Змей в Москву через метро пролез. Так и знай, метро — гнездо Змея. Сперва под Москвой туннель выкопали. Потом туда Змей пролез. А уж после внутри Змея поезда пустили. Едешь в метро — смотри зорче. За окном кишки Змея и слизь капает. Если хочешь убить Змея, взорви метро. Только делай с умом, ночью, когда весь народ уйдет и поезда встанут. Тогда Змей просыпается и в Кремль дорогу точит. Тут его и рви. Закладывай мину в трех местах — на «Театральной», на «Кутузовской» и на «Войковской» и рви одной искрой разом. Тогда убьешь. А так не старайся. Он хитрее тебя.

Эти слова произнес за спиной Белосельцева тихий голос, принадлежавший невысокому человеку в сереньком потертом

пиджаке. Лицо его было выцветшим, бескровным, с седоватыми волосами, маленьким носом и невыразительным ртом. И с огромными, тихими глазами серого мягкого цвета, какой бывает у летнего неба, сквозь которое сеет теплый дождик и ровный греющий свет. Смысл слов был дикий и безумный, но лицо — спокойным и добрым, и глаза смотрели так, словно он знал Белосельцева прежде и теперь радовался встрече.

— Которые в метро ездят, те Змеем укушены. В мозгах яд. Хотят Мавзолей сломать по наущению Змея. Ленин Кремль сторожит, встал на пути Змея, не дает проползти. Как Ленина уберут, так Змей Кремль обовьет, хвост с головой свяжет, и конец России. Которые укушены Змеем, хотят из стены героев вынуть, которые за Отечество жертву принесли. Они не пускают Змея. Как только их уберут и Ленина вывезут, так России конец. Ты различай народ, который по наущению Змея, а который плачет, а Змея не пускает.

Человек говорил тихо и убедительно, как будто давал наставления, как пользоваться нехитрым инструментом, стамеской или лопатой, чтобы их ловчее держать, производить работу с наименьшей затратой сил. Белосельцев всматривался в его спокойное, бледное лицо, поначалу решив, что перед ним тихий сумасшедший, от которого нужно отойти. Но глаза человека были умны, добры, угадывали в Белосельцеве его печаль и растерянность. И Белосельцев решил, что перед ним один из народных мудрецов и пророков, которые во все века появляются на папертях церквей, словно их рождает одна и та же невидимая, тихая женщина.

— Чтобы Змею вокруг Кремля сомкнуться, сто шагов не хватает. Пойди, сам промерь. Мавзолей от угла к углу аккуратно сто шагов. Я мерил. Раньше караул стоял, штыками отпугивал. Теперь пусто. Я сторожу. Раньше России солдат был нужен, генерал, космонавт. Инженеров и писателей требовалось. А теперь сторож нужен. Одному тяжело. Приходи, подменишь меня. Будешь сторож, Станем в две смены дежурить. А не то проползет.

Белосельцев вдруг почувствовал, как его вовлекает в бесшумную воронку, куда, сворачиваясь, устремлялось пространство и время, и он, лишаясь воли, испытывая головокружение

и мучительную сладость, утекает в эту воронку, теряя телесность, превращаясь в длинный блестящий ручей. Подумал, что лучше ему отойти, покинуть храм, оставить юродивого перед фреской, грудой яблок, коричневым, вырезанным из елового корня распятием. Но не было сил. Воля его, как струйка ртути, утекала в воронку, и он, испытывая сладость падения, слушал невнятные речи.

— Узнай тайну Змея, тогда и убьешь. Без тайны убить невозможно, только жизнь потеряешь. Герой, который Змея хочет убить, тот мученик. Молитвой его не взять. Автоматом Калашникова, системой «Град» и мощами Серафима Саровского. Тогда попробуй. Защитники Дома Советов хотели убить Змея, но тайны не знали, и он их убил. Кого пожег, у кого ум отнял, а кого Змеем сделал. Спорили, кто Христос, а кто Сталин, а Змей их вычислил. В этом тайна.

Белосельцеву хотелось внимать, не разгадывая премудрость блаженного, следовать за ним по пятам по дорогам, по папертям, от погоста к погосту, вслушиваясь в его шелестящие речи. Ночевать в стожках, кормиться у сердобольных людей, стоять у церковных ворот с медной кружкой, слушая бормотанья старух, завернувшись в дырявую ветошь. Забыть, откуда он родом, как его звать, какие грехи и проступки совершил на своем веку. Без памяти и без имени брести по бесконечному тракту, где замерзшая грязь в колее и репейник на снежной обочине.

— Царя жида умучили, а Сталин умучил жидов. Знал тайну Змея. Он войну выиграл и спас русских. Он жертву принес, сына родного отдал, а о себе не подумал. Сталин святой, и Победа его святая. От его Победы в новом веке новая Россия пойдет, а старой России тоже конца не будет. Умом не понять.

Белосельцев испытал блаженство, связанное с потерей воли и успокоением разума, который вдруг умолк, как умолкает переполненный птицами куст перед заходом солнца. Ему хотелось смотреть в глаза блаженного человека и плакать беззвучными слезами не боли, не умиления, а тихого сострадания всем, кто пришел в этот мир, обрел в нем свое имя и плоть, движется среди моря житейского, чтобы неизбежно исчезнуть, оставив по себе чуть слышный, исчезающий звук.

— Жертва нужна, чтобы Змея убить. Все Христа ждем, чтобы он снова за нас жизнь отдал, а сами забыли, как жертвовать. Ты пожертвуй, как капитан Гастелло, и взорвешь Змея. А то с красным знаменем по городу ходишь на потеху Змею, а жертвовать не желаешь. Возьми яблоко, — он вынул из-за спины и протянул Белосельцеву большое румяное яблоко, держа его в черных замасленных пальцах, какие бывают у слесарей и авторемонтников. — Не бойсь, оно чистое, без червя. Меня зовут Николай Николаевич. А ты не бойся, плачь, коли хочешь. — И, оставив в руке Белосельцева яблоко, он ушел в проем церковных дверей, словно оплавился солнцем, и исчез. Белосельцев остался, держа светящийся плод, чувствуя, как близки слезы, изумляясь таинственной череде совпадений, в которую был ввергнут.

Снаружи, на церковном подворье, зашумело, надвинулось, потемнело. Дверь заслонила, и два сильных, нецерковных молодых человека внесли крышку гроба. Прошли мимо Белосельцева, озабоченные, работающие, прислонили крышку к стене. Белосельцев, глядя на крышку, удивлялся ее стилистическому сходству с тем тяжелым рабочим столом, за которым сидел генерал, отправляя его в африканский вояж, с деревянными, сталинскими панелями, темневшими за спиной генерала, где висел портрет худощавого, с выгнутой бородкой Дзержинского, с темнокожим, похожим на кита диваном, на котором был вырезан деревянный герб государства. Явилась странная мысль, что генерал, не желая расстаться с дорогим ему интерьером, завещал изготовить гроб из панелей стола и дивана, а оставшийся дубовый материал пустить на отделку нового, уготованного ему кабинета...

Внесли венки из живых цветов с черными и красными лентами — от родных, от ветеранов разведки, от Академии наук. Один венок привлек внимание Белосельцева. Среди красных роз вяло лежала черная с серебряными буквами лента с надписью «От соратников по борьбе». В этих словах был таинственный знак, задевший сознание Белосельцева, который никогда не называл свою работу в разведке борьбой, а своих начальников и подчиненных — соратниками.

Шумно, с оханьем, с шарканьем ног, вшестером, внесли тяжелый гроб, напоминавший дорогой старомодный комод

со множеством ручек и ящиков, в которых, если их выдвинуть, увидишь старые крахмальные скатерти с кружевной бахромой, форменные сюртуки и камзолы, пересыпанные снежными хлопьями нафталина, фамильное серебро с потемневшими монограммами. Гроб поставили на деревянные лавочки у стены, на которой высоко, раздувая щеки, выдыхая струи света, парил шестикрылый дух.

«О тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы...» — возникло на устах Белосельцева, пока устанавливали ребристый, с багетами и бронзой, гроб. Генерал Авдеев, Суахили, как нарек его когда-то Белосельцев, лежал под белой пеленой с бугорками разведенных ступней и сложенных на груди ладоней. Остроносая, с клювиком, с редким седым пухом голова делала его похожим на мертвую птицу, которую в детстве хоронили в укромном углу двора, выкладывая ей склеп фарфоровыми черепками и стеклышками, заворачивая холодный комочек с зябко поджатыми коготками в лист подорожника. И это сходство, и маленькие, жалобно стиснутые губы, и коричневые, выпуклые веки, в которых скрывались белые ядрышки глаз, и проступившие сквозь покрывало костяшки пальцев вызвали у Белосельцева острую жалость, и не только к мертвецу, потерявшему в смерти свой человеческий облик, превращенному в птицу, но и к себе самому, беспомощному и безгласному, участвующему в погребении птицы.

В церковь входили родственники и друзья. Вдова, рыхлая, обессилевшая старуха, ведомая под руки стареющими детьми, выцветшей худощавой дочерью и понурым, бледным сыном с фиолетовыми подглазьями. Им сопутствовали печальные старики обоих полов, пугливые подростки и дети и какие-то понурые домочадцы.

Вдруг среди этих незнакомых персон Белосельцев увидел знакомца. Генерал Буравков, начальник управления, сослуживец Авдеева, вошел, высокий, сутулый, с широкими, словно из досок сделанными плечами, на которые был надет дорогой черно-атласный пиджак. Он почти не изменился за эти годы — сильное, грубое лицо, тяжелый нос, продолжавший линию лба, строгие нелюдимые глаза под приспущенными вялыми веками. Он, как и покойник, был похож на птицу, только живую, озабоченную, быть может, пеликана, скрывавшего под шелковой руба-

хой свой кожаный розоватый зоб. Белосельцев не видел его десять лет. Знал, что Буравков возглавил службу безопасности известного телемагната, превратил эту службу в блистательный инструмент разведки, пугая соперников магната всеведением, активными мероприятиями, сложными комбинациями, с помощью которых создавались и разрушались репутации первых лиц государства. Буравков встал у гроба поодаль, печально склонив тяжелый нос, словно пеликан на мелководье.

Среди входивших Белосельцев узнал Копейко, другого генерала разведки, ушедшего из организации незадолго до краха, словно он предчувствовал неминуемый позор и исчез, не дожидаясь крушения. Позже, когда, подобно огромным древесным грибам, стали плодиться концерны, корпорации, банки, поедая своими грибницами жирные остатки страны, Копейко возник как советник нефтяного царя. Помогал ему проглатывать фирмы соперников, захватывать трубы, заводы и нефтехранилища, устранять конкурентов, одни из которых разорялись, а другие сгорали в подорванных джипах или ложились на кафель моргов с огнестрельными ранами в головах. Его бритая, круглая, опущенная сединой голова, появившаяся в церкви, расширенные рыжеватые глаза, маленький крепкий нос, клювом опустившийся к губе, делали его похожим на большую сову. Это сходство поразило Белосельцева, как если бы все они, входившие на чешуйчатых длинных ногах или влетающие на мягких крыльях, были представители пернатых, явившиеся на погребение вожака птичьей стаи.

И уже без удивления он узнал Гречишникова, напоминавшего лесного голубя витютеня сильной выпуклой грудью, маленькой головой с хохолком и круглыми разноцветными глазами, а также повадками гладкого, сытого тела, которое двигалось одновременно и влево, и вправо, словно хотело и не решалось взлететь.

Гречишников тут же углядел Белосельцева. Подошел, протягивая руку, накрывая ладонь Белосельцева своей белой большой ладонью. Грустно-торжественный, в длинном, напоминавшем смокинг пиджаке, соответствующем печальному обряду, будто Гречишников столь часто хоронил знакомых, что обзавелся для этого повода специальной ритуальной одеждой.

— Хорошо, что пришел, Виктор Андреевич... Многие наши пришли... Нужно проводить командира... — отошел ближе к гробу, и оттуда, из сумерек, поглядывали на Белосельцева его разноцветные, как стеклянные пуговицы, глаза.

Церковь наполнялась. Среди людей, обступивших гроб, Белосельцев узнавал бывших сослуживцев, обмениваясь с ними поклонами, движениями глаз или беглыми рукопожатиями. Тех же, кого не знал в лицо, он безошибочно отличал от других сходством с какой-нибудь птицей — фазаном, беркутом, снегирем. Он и сам был какой-то птицей, быть может, изнуренным, утратившим перламутровые переливы скворцом, с оббитым клювом и обтрепанными перьями. Все они слетелись, чтобы проводить в последний полет вожака, который, как египетский бог, с птичьей головой и человеческим телом, покоился в гробу, куда сырыми пахучими кипами ложились букеты цветов.

Саркофаг, куда поместили бога, был ладьей, и она отплывала, раскачивая головки белых лотосов, по желтому течению Нила, по коричневому мутному Нигеру, по латунной волне Меконга, по красной Рио-Коко, по сиреневой струе реки Кабул, по прозрачной синеве Великой, с белыми церквями и звонницами. И все они, обступившие гроб, были гребцами, дружно гребущими на ту сторону, оставляющими в воде крохотные буруны и воронки. Батюшка в блеклой ризе, подслеповато читавший раскрытую книгу, был перевозчик. Белосельцев слушал тихие рокоты, возгласы, воздыхания, не стараясь проникнуть в смысл отдельных слов и речений, произносимых на священном языке. Глядел на воды, куда погружались весла дружных гребцов. Большая остывшая птица лежала в ладье, они проплывали селенье, стоящее на берегу Лимпопо, и чернолицый рыбак показывал им светлую длиннохвостую рыбину.

Белосельцев смотрел на лоб генерала Авдеева, покрытый бумажной церковной ленточкой, и было больно видеть этот желтоватый лоб, некогда горячий и сильный, смиренный клочком легковесной бумажки.

Глядя на людей, обступивших гроб, Белосельцев узнавал среди них сослуживцев. Они постарели, изменили осанку и внеш-

ность. Иные из них выглядели как респектабельные работники банков. Другие обрели профессорскую солидность. Третьи вольно повязанными галстуками и седоватыми, до плеч, волосами напоминали художников и артистов. И только неуловимое сходство с птицей делало каждого членом одного сообщества.

Тот полный, понурый господин с пухлыми пальцами, на которых красовался тяжелый перстень, руководил военной контрразведкой, и последнее дело, которым он занимался, было связано с исчезновением ранцевых атомных боеприпасов, предназначавшихся для боевых пловцов. Стоявший поодаль моложавый старик с артистической прической и золотой булавкой в шелковом галстуке занимался высылкой из страны вольнодумцев, помещая их ненадолго в тюрьму, а потом провозжая на самолеты в Германию, Францию и Израиль. Румяный и благодушный толстяк, не умевший изобразить на плотоядном лице погребальную печаль, специализировался на раскрытии экономических преступлений, подведя под расстрел несколько ловких валютчиков, а в последние месяцы доживавшей свой век страны переправлял в швейцарские банки деньги, принадлежавшие партии. Здесь был маленький, смуглый, как индеец, полковник, готовивший боевиков для «Фронта Фарабундо Марти» и колумбийских повстанцев, некоторые из которых, сохраняя верность марксизму, занимались наркоторговлей, отравляя кокаином ненавистную Америку. Тут же присутствовал болезненный резидент из Бенилюкса, высланный из Брюсселя как персона «нон грата», оставивший в Центральной Европе разветвленную сеть агентуры, которая притихла под вывеской торговых фирм и рекламных агентств. Сюда, в православный храм, как на явку, сошелся цвет советской разведки для получения инструкций, которые были написаны церковнославянскими буквами на бумажной ленточке, прикрывшей лоб мертвеца.

Белосельцев рассеянно слушал акафист на исход души, оглядывал храм, и сквозь синий пахучий дым, колебание свечей, черные платки и траурные накидки смотрели на него зоркие оранжевые глазки-витютеня. Гречишников наблюдал за ним. Его утренний звонок, их встреча у гроба были неслучайны. Имели продолжение. Вбирали в себя множество больших

и малых событий: уже случившихся и тех, что были готовы случиться. Описывались Всемирным Законом Совпадений, столь же фундаментальным, как и Закон Тяготения.

Запах оранжерейных цветов и сладкого дыма, тягучее чтение, отражение свечей в начищенной меди, икона Всех Святых, напоминавшая разноцветными плащами и нимбами, стройными рядами и контурами коробку с бабочками, в которой краснела африканская нимфалида, действовали на Белосельцева как наркоз. Он то медленно отрывался от пола, подымаясь к шестикрылому духу, то парил горизонтально над гробом, в клубах голубоватого дыма.

Ему казалось, он запаян в огромный кусок стекла. Остекленелыми глазами видит каменистую горячую гору с протоптанной тропинкой, на плоские плиты песчаника ступает босая стопа — запыленные грязные пальцы, набухшая жила, царапина от придорожной колючки. Худой человек несет на плечах распятие, ловит открытым ртом обжигающий воздух, смотрит на пыльное солнце. Следом солдаты устало несут длинные копья, мятые щиты, ведро с уксусом, ящик с гвоздями. И быстрая ящерка пугливо метнулась под камень.

Белосельцев пережил видение, прилетевшее, как оторвавшаяся от прошлого частичка времени. В ней, словно в крохотном зеркальце, отразилась гора, пыльное солнце, глоток жара, опаливший гортань человека, звяканье копья о ведро и крохотная пугливая ящерка, метнувшаяся под серый камень.

Он пережил миг ясновидения, словно песчинка пронзила висок навылет, унесла с собой в прошлое часть его бытия. Возвращался в храм, в клубы сладковатого дыма, в котором лежал покойник. Священник дрожащим певучим голосом возглашал: «И де же несть болезней, печалей, воздыхания...»

«Что же делать в оставшиеся дни на земле? — думал Белосельцев, глядя в мертвое лицо Суахили. — Какой совершить поступок, чтобы стать угодным Творцу? Какими деяниями окончить исчезающий век? Как почувствовать, что услышан? Что поступок твой верен, прощение получено, отпущение грехов состоялось?»

Эти слова он обращал к умершему генералу Авдееву, который отправлял его в опасные странствия, а теперь сам

уплывал в невозвратное плавание, оставляя на земле своих учеников и соратников. Священник колыхал кадилом, развешивая в воздухе вялый дым. Люди кланялись плывущим дымам, крестились. Белосельцев поднял руку ко лбу. Медленно, продолжая вопрошать генерала, перекрестился, прижимая пальцы к животу и обоим плечам. И почувствовал крестовидный ожог. Словно крест-накрест, по голому телу, хлестнули крапивой. Крест горел под одеждой, и это был ответ генерала, данный из гроба. Прощальное назидание, посланное с того света.

Гроб подымали, несли к дверям. Лежал на полу оброненный из гроба цветок.

На Ваганьковском кладбище печальные запахи тлена и ржавчины витали среди унылых деревьев. Распахнутая на две стороны могила была похожа на открытый рот с коричневыми губами. Ловкие, похожие на матросов могильщики опускали на веревках гроб. Глухо стучали комья о крышку. Его, Белосельцева, пальцы были испачканы красноватой землей, похожей на землю Африки. В грубый влажный холм воткнули черенки букетов, положили сырые венки. Медленно таяли собравшиеся у могилы люди, многим из которых больше не суждено было встретиться.

— Виктор Андреевич, мы тут решили узким кругом помянуть командира. — Гречишников остановил его на кладбищенской аллее, кивнув на стоящих поодаль Буравкова и Копейко. — Присоединяйся... Подыдем рюмку за Суахили... — И, не дожидаясь ответа, взял Белосельцева под руку, повел мимо гранитных памятников и железных крестов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Они уселись в тяжелый просторный «мерседес» с немолодым молчаливым шофером в кепке и водительских перчатках. Судя по тому, как Копейко открывал перед остальными тихо чмокающие дверцы, а сам уселся впереди, рядом с шофером, и что-то негромко тому приказал, машина принадлежала ему.

Погрузившись в глубокое мягкое сиденье, не стесненный двумя другими пассажирами, Белосельцев, после печальной, с тихими дымами и яблочными ароматами церкви, после сырого, с истлевающими венками кладбища оказался в теплом уюте кожаного салона, пахнувшего одеколоном, дорогим табаком, среди циферблатов, негромкой бархатной музыки, которая влилась в ровный рокот мощного двигателя, мягко толкнувшего машину в шумящий поток улицы.

— Семья приглашала к себе домой, на поминки, но мы решили отдельно, узким кругом, кого особенно любил командир. — Гречишников, отдыхая от многолюдья, наслаждался комфортом салона, радовался их тесной компании, был объединяющим центром их маленького сообщества. — А тебя он особенно любил, Виктор Андреевич, выделял. И недавно, за несколько дней перед смертью, спрашивал о тебе.

— Он ведь не многих любил, не многих к себе приближал. — Буравков достал портсигар, извлекая сигарету. Рылся в карманах в поисках зажигалки, и Копейко с переднего сиденья протянул ему золотую зажигалку, в которой затеплился, задымил кончик ароматной сигареты. — Едкий он был, насмешливый. Когда представлял меня к ордену Красной Звезды, сказал: «Смотрите, Буравков, как бы после вашего общения с еврейскими диссидентами у красной пятиконечной звезды не вырос желтый, шестой конец».

— Он действительно вас любил, Виктор Андреевич. — Копейко повернулся круглой, седой головой, протягивая руку к портсигару Буравкова. — Я даже ревновал, когда он нам ставил в пример ваши аналитические разработки. — И, отвернувшись, выпустил над стриженной головой мягкий аромат табака.

Белосельцев удивлялся доверительной, почти задушевной близости, которая чувствовалась в отношениях Копейко и Буравкова. Оба они были в разных станах. Служили у двух воинственных всемогущих магнатов, ведущих между собой беспощадную, на истребление, войну. Магнаты владели несметным богатством, имели собственные телевизионные каналы, подчиняли себе политические партии, спецслужбы, комитеты и министерства в правительстве. Вели борьбу за высшую власть в стране, используя самые жестокие и изощренные приемы,

которые разрабатывались для них Буравковым и Копейко. В ходе этой борьбы раскалывалось общество, разрушались корпорации, вспыхивали забастовки, возникали уголовные дела, бесследно исчезали люди, взрывались лимузины, и страна, приникая к телевизионным экранам, видела отражение схватки в неутихающей интриге, направленной на больного, окопавшегося в Кремле Президента, которого травили и выкуривали недавние друзья и союзники. Буравков и Копейко были стратегами, ведущими многоплановое, с переменным успехом, сражение. Создавали технологии ненависти. Погружали в ненависть две половины растерзанного, обозленного народа. Сами же удобно поместились в салоне «мерседеса», радушно угощали друг друга дорогими сигаретами, протягивали один другому огонек золотой зажигалки.

— Очень хорошо, что мы тебя встретили, Виктор Андреевич. — Гречишников искренне радовался воссоединению с Белосельцевым после многих лет отчуждения. — Авдеев был бы рад, увидев нас вместе...

За окнами плавно идущей машины мелькала, золотилась Москва. Прошли, словно пролетели на мягких крыльях, Беговую с конями и колесницами, напоминавшими императорский Рим. Ленинградский проспект был наполнен автомобилями, трущимися друг о друга, запрудившими улицу, как рыбыны, стремящиеся на нерест. «Мерседес» вынырнул из-под их блестящих боков, включил сирену, устремился вперед, огибая медлительный поток. Тверская, нарядная, предвечерняя, брызгала рекламами, витринами, изображениями пленительных женщин в бриллиантовых колье, уверенных, знающих цену дорогим табакам и одеколону мужчин. Белосельцеву было приятно проехать на мощной, мягко ревущей машине мимо своего дома, оглянувшись на склоненную голову Пушкина, зеленую от патины в волосах и складках плаща. Малиновый, торжественный дворец и бронзовый князь напротив породили мимолетное впечатление детства, когда они с мамой переходили полупустую, голубую от воды улицу Горького...

На спуске ринулись на красный свет, огрызаясь тигриным рыком на постового. Скользнули в драгоценное, единственное на земле пространство, где было ему всегда радостно от

сменявших одна другую картин Манежа, розовой кремлевской стены с бело-желтым дворцом, Большого театра с черной квадригой, напоминавшей набухшую почку, готовую распуститься темно-красной розой.

Здания на Лубянке, торжественные, венчавшие взгорье, все еще чем-то принадлежали ему — пропорциями, ритмом высоких окон и теми волнующими впечатлениями, когда он выходил из тяжелых дверей и тут же, у порога, на влажном асфальте, по которому торопились москвичи, начинались его опасные странствия. В Афганистан, в Кампучию, в Анголу; в Никарагуа — на иные континенты, стянутые незримыми стропами с этой площадью, на которой в дождь, в снегопад, в раскаленный московский жар стоял конический бронзовый памятник, точный и звонкий, как метроном, хранивший в своей металлической сердцевине грозный звук походного красного марша. Площадь была пуста, памятник сметен, и эта пустота вызывала болезненное щемящее чувство, похожее на вину и ненависть, от которых хотелось поскорее избавиться, миновать оскотленную площадь.

Они отделились от скользкого, блестящего месива, нырнули в переулок под запрещающий знак. Невозмутимый водитель вел машину в теснинах торговых зданий, раздвигая лепные фасады хромированным радиатором, как ледокол. Проехали с тыльной стороны ГУМ, у которого разгружались машины с товарами, сбрасывая в ненасытную утробу подвалов тюки и ящики. Выскочили на Красную площадь, мимо постового, скользнувшего взглядом по номеру и отдавшего честь. Помчались по хрустящей брусчатке вдоль зубчатой стены и синих конических елей так, словно хотели въехать в Спасские ворота, отчего у Белосельцева возникло чувство тревоги, будто его против воли увлекали в опасную сторону, к розово-седой громаде. Башня сама походила на высокую каменную ель, пересыпанную снегом, с морозными завитками и чешуйчатыми шишками, среди которых золотилось, просвечивало туманное солнце часов.

— На прием к Президенту? — усмехнулся Белосельцев, глядя в сквозную глубину ворот, где уже виднелись удаленные купола соборов.

— Не совсем, — весело рассмеялся Гречишников, с удовольствием подметив тревогу Белосельцева.

«Мерседес» скользнул в тень Лобного места, почти уткнувшись в стоцветный каменный куст Василия Блаженного, на котором, как на осеннем чертополохе, грелись в последнем солнце огромные, красноватых оттенков, бабочки — «павлины», «адмиралы», «перловицы».

— Приехали! — бодро сказал Гречишников, когда машина встала у здания, прямо у Лобного места, причалив к старинному каменному парапету. — Прошу в резиденцию «Фонда»!

Вслед за Гречишниковым они вошли в малоприметную дверь, за которой их встретил охранный пост. Молодцы с короткими стрижками, в слегка разбухших пиджаках улыбнулись Гречишникову, осмотрев Белосельцева глазами немецких овчарок. Прозрачный лифт, похожий на кристалл горного хрусталя, вознесся на этаж, где молчаливый служитель ждал их появления. Повел по гулкому коридору, мимо закрытых дверей с золотыми набалдашниками ручек. Отворил створки, пахнув светом, и они очутились в просторной комнате, ослепительно блистающей лаками и хрусталями.

В стороне на маленьком столике было тесно от телефонов — красных, белых, зеленых, с циферблатами, кнопками или абсолютно гладких, для единственного таинственного абонента. Казалось, хозяин пользовался всеми видами связи, включая космическую и кабельную, проложенную по дну океана.

Посреди комнаты был накрыт стол на четыре персоны, блистающий фарфором, стеклом, серебряными вилками и ложками, со множеством рыбных и мясных закусок, нежно розовевших и белевших под прозрачными колпаками. Среди маринадов и разносолов поместилась батарея бутылок. Сквозь каждую падал на скатерть золотой или голубоватый блик. У края стояла большая фотография Авдеева в форме генерал-полковника, перед ней рюмка водки, накрытая корочкой черного хлеба. В скромном подсвечнике горела свеча.

— Прошу, товарищи, где кто хочет, — печальным голосом, соответствующим поминальной минуте, пригласил Гречишников. Белосельцев сел лицом к огромному, до потолка, окну и увидел собор. Сквозь прозрачное стекло приблизились гла-

вы, купола, колокольни. Заглядывали строгими молчаливыми ликами, неподвижными внимательными глазами. Словно большая семья пришла на поминки и ждала, когда ее пригласят. Деды, отцы и дети. Братья, сестры, племянники. Зятья, невестки и снохи. Расчесанные седовласые бороды. Отложные разноцветные воротники. Жемчужные ожерелья и серьги. Смотрели на генерала Авдеева, на пылающую свечу, на рюмку, покрытую корочкой хлеба.

Откупоривали бутылки, наливали водку, клали на тарелки сочно-алые лепестки семги, нежно-белые, с золотистым жиром, ломти осетрины.

— Позвольте... — Гречишников поднялся, держа одной рукой рюмку, другой, волнуясь, оглаживая галстук. — Помянем нашего командира, нашего боевого товарища, нашего старшего друга!.. — Гречишников поклонился траурной фотографии, с которой холодно и спокойно наблюдал за ним генерал Авдеев. — Пусть земля ему будет пухом и, как говорится, Царствие небесное... Потому что незадолго до смерти командир крестился, и дома у него был монах из Троице-Сергиевой лавры, с которым они тайно беседовали... — Гречишников обращался теперь к собравшимся голосом твердым, окрепшим, превозмогшим боль потери. — Командир был человеком редких достоинств. Знаниям его во многих областях могли бы позавидовать академики. Он был гений разведки, свято любил нашу организацию. Ее заповеди, дух и законы были для него религией. Но превыше всего он любил Родину. Перенес ради нее великие муки, находясь в плену, в руках французской контрразведки, которая, вы знаете, испытывала на нем психотропные препараты... — Гречишников был строг и взволнован, и это волнение передалось остальным. — Нам будет его не хватать. Его главное дело было не то, которым он занимался, сидя в своем кабинете, когда страна была цветущей и могучей и мы, действуя каждый по своему направлению, верили, что стоим на страже ее интересов... Его главное дело началось после крушения страны, когда к власти пришли предатели и он нашел в себе волю и разум не сдаться... — Голос Гречишникова был металлический, вибрировал от внутренней страсти, заставляя колебаться пламя свечи. Оранжевые глаза дергались

беспощадным жестоким блеском. — Его заветы в наших сердцах. Его дело будет продолжено. Мы победим, и в час победы придем к тебе на могилу.. — Гречишников вновь обратился к портрету, встав навывтяжку, прижав рюмку к сердцу, высоко подтянув локоть. — Придем к тебе на могилу и выпьем за нашу Победу!.. — Он опрокинул рюмку в рот, открывая сухую, с острым кадыком шею. Все поднялись. Не чокаясь, глядя на фотографию, выпили водку. Не садились, дорожа объединившей их минутой поминовения.

Белосельцева взволновала поминальная речь Гречишникова. Он снова был среди своих, в кругу боевых товарищей. Вновь обрел желанную, утраченную на долгие годы общность. Понимал друзей с полуслова. Был членом закрытой касты, связанной идеей служения. Отмечен наградами Родины. В рубцах и шрамах, невидимых миру, полученных на полях всемирных сражений, за честь и безопасность страны. Но в услышанной речи были слова, смысл которых он не понял. Загадки, остающиеся неразгаданными. И, чувствуя, как водка жарко и сладко озарила сознание, он вспоминал услышанные слова, отмечая среди них пропуски и намеки.

Проголодавшись, все жадно, с аппетитом ели. Подхватывали с блюд розовые ломти мяса, серебряными лопатками клали на тарелки заливное, вонзали вилки в говяжьи языки, поливая соусами, сдабривая хреном, горчицей.

Храм за окном изменил обличье. Был похож на огромное блюдо, на котором высились волшебные плоды, взращенные в небесных садах. Огромные мягкие ягоды, косматые чешуйчатые ананасы, сочные груши и яблоки, дымчатые гроздья винограда. Арбузы с вынутыми ломтями дышали красной мякотью, начиненной черными блестящими семенами. Дыни, как золотые луны, источали свечение. Блюдо плавало за окном, и хотелось протянуть вилку, поддеть рассыпчатую долю арбуза, схватить цепкими пальцами тяжелую гроздь винограда. Кто-то невидимый делал им подношение. Посылал дары благодатных небесных садов.

— Помню эту жуть в конце августа, — Буравков сдвинул на лбу страдальческие складки, утяжелившие и удлинившие его грубый обвислый нос, — вся площадь внизу в ревущей толпе...

Наркоманы, пьянь, педерасты... Машут трехцветными тряпками... Кран поддел памятник железной петлей за шею, оторвал от пьедестала... Прожектора на него навели, раскачивают, как на виселице... Нет сил смотреть... Полковник из контрразведки вбегает, держит винтовку: «Сейчас я их, сук, залуплю!» Ставит на подоконник локоть, целит сквозь стекло... К нему подошел Авдеев: «Отставить... Сейчас не время... Сберегите себя для будущего...» Полковник ему по сей день благодарен. Работает на пользу общего дела... — Буравков от выпитой водки и от мучительного воспоминания покрылся легкой испариной. Сдвинул в сторону шелковый галстук, расстегнул отороченную кружевом рубашу, обнажив на груди седую железную поросль. Сильная рука его, охваченная белоснежной манжетой с малахитовой запонкой, уперлась локтем в стол. Он шевелил толстыми пальцами, словно оглаживал спусковой крючок винтовки.

— Помню... — Копейко разлил по рюмкам водку так полно, что над каждой образовалась выпуклая слюдяная линза. — Помню, когда Бакатин, предатель вонючий, сдал американцам посольство, и наши технари рыдали, потому что в каждом кирпичике было спрятано оборудование на миллион рублей, и один взрывник, спец по направленным взрывам, хотел ему стол заминировать, чтобы яйца ему оторвало и он летел бы из окна в синем пламени, Авдеев ему запретил: «Дождемся времени, когда всех предателей соберем на одну баржу, и тогда вы их взорвете одним боеприпасом...» Вы знаете, о ком я говорю. Это он в Питере в прошлом месяце убрал джип «чероки» так, что глушитель летел от Фонтанки до Мойки!.. — Копейко зло хохотнул, его круглая, стриженная, похожая на репей голова боднула воздух, и он быстро выпил блеснувшую водкой рюмку. Белосельцев залпом осушил маленькую горькую чарку, вспыхнувшую внутри ровным жаром.

Упомянутые эпизоды были ему неизвестны. В те дни он работал в Дагестане, завершая обширный аналитический труд о подрывной активности на Кавказе, где усилиями турецкой и американской разведок терпеливо высевались споры мусульманского экстремизма, возвращивалась агентура влияния, выстраивалась вдоль южных границ «дуга нестабильности». После

краха страны, разгрома Лубянки он подал рапорт и сразу ушел в отставку, спасая свой разум от помрачения.

Теперь он жадно слушал своих прежних товарищей, узнавая горькую правду тех дней, правду, в которой угадывались умолчания, чудились недомолвки. Он чувствовал в разговорах едва заметные прогалы и пропуски. Отслеживал закономерность их появления. Пил водку, сладко пьянел, наслаждаясь вкусной едой и красивой сервировкой стола. Одновременно дешифровывал лежащую перед ним криптограмму.

Храм за окном казался огромной разноцветной машиной. Сверла, фрезы, винты. Отточенные, закаленные кромки. Сверхпрочные резцы и насадки начинали вращение, рокотали, вонзались в твердь, высверливая, буравя, выдалбливая. Летели голубые искры. Завивались раскаленные стружки. Осыпалась перемолотая крупа. Мир был деталью, в которой вытачивались неведомые формы и контуры. Мастер снимет деталь, кинет в шипящую воду, и она, остывая, засветится, как синяя брусчатка на площади.

— Помню, я пришел к нему в кабинет на доклад. — Буравков порозовел от выпитой водки. Умягченный едой, говорил медленно, похожий на отяжелевшего пеликана, чей желтоватый зоб был наполнен пойманной рыбой. — Он подозвал меня ближе к столу, открыл тонкую папочку и показал схему, начерченную его рукой цветными фломастерами. «Вот методика передачи власти от Горбачева к Ельцину. Метод Параллельного Центра. Очень скоро должно случиться нечто, что разрушит основной Центр и устранил Горбачева. И одновременно погубит страну. Мне остается понять, кто здесь играет ключевую роль. Быть может, тот, кто находится в нашем здании». Он поручил мне, в нарушение всех законов, в обход руководства, взять в разработку несколько высших чинов государства. С точностью до недели предсказал переворот. Знал, кто среди членов ГКЧП предатель...

— Он был гений, провидец... — издал странный цокающий звук Копейко, наклонив пушистую голову и став похожим на лесного серого филина. — Перед самым развалом он успел унести засекреченные списки агентуры. Спас сеть, которая теперь жива и работает. Успел закачать деньги в коммерческие фир-

мы, в фонды, перевел на личные счета в заграничные банки. Помните, как он говорил в июне, за месяц до обвала? «Сейчас задача всем уйти и рассыпаться. Уходите в бизнес, в общественные организации, в церковь. Затаитесь и переждите напасть. Будет время, я подам знак, и вы выйдете на поверхность...» Он был гений конспирации. Действовал быстро и точно, словно ловил сачком бабочку. — Копейко посмотрел на Белосельцева, желая этим сравнением подчеркнуть, что знает его увлечение. Помнит о неформальной близости Белосельцева и Авдеева, основанной на энтомологии.

— Он тебя очень ценил, Виктор Андреевич. — Гречишников нацелил оранжевые круглые глазки встревоженного ви-тютеня. — Говорил: «Берегите Белосельцева. Не вытягивайте его раньше времени. Только когда подойдет срок...» Испытывал к тебе особую симпатию... Помянем командира...

Они снова выпили, бросив на скатерть зайчики света. В голове Белосельцева вставало светило, окруженное воспаленной зарей. Храм за окном парил в мироздании. Разноцветные лучистые солнца. Синие туманные луны. Планеты, окруженные кольцами. Серебряные спирали галактик. Дышали, струились, источали радуги в проблеске комет, метеоров. Неведомый мир выплыл из черной дыры, приблизился к стеклам, раскачивался в безвоздушном пространстве, разбрасывая разноцветные перья сияний.

— Вы хотите сказать... — Белосельцев чувствовал, как в его голове из-за темного горизонта восходит светило, окруженное туманной зарей, — хотите сказать, что существует тайная организация?.. Что все вы находитесь в связке?.. Действует заложенная в прежнее время сеть?.. Что Суахили был главой организации?.. И вы пригласили меня, чтобы сообщить об этом?..

Гречишников приподнялся. На его розовом, разгоряченном лице появились белые пятна, словно на них нажали пальцами и выдавили кровь. Лоб был розовый, а переносица белой, твердой, будто обмороженной. Щеки розовели, покрытые едва заметной сетью склеротических капилляров, а скулы и желваки оставались белые, цвета бильярдного шара.

— Существует организация, Тайный Союз. Мы открываем тебе эту тайну. Суахили просил до времени не трогать тебя,

и мы не трогали. Наблюдали, как ты маешься, места себе не находишь. Хочешь найти себя в политике, приходишь то к коммунистам, то к монархистам. Посещаешь их митинги, демонстрации и, разочарованный, не найдя достойных лидеров, не увидев внятной политики, уходишь от них. Наблюдали твою неудачную операцию с поставками ракетной технологии Ирану, в результате которой погиб отважный человек, «афганец», генерал Ивлев, готовивший военный переворот. Быть может, и хорошо, что погиб, иначе сорвал бы нашу стратегию. Мы с сочувствием наблюдали твой скоротечный и мучительный роман, когда ты, как ангел, летал по Москве, а потом, обессиленный, стоял под ночными липами во дворе сумасшедшего дома, смотрел на окна палаты, где лежала твоя любимая. Мы хотели тебе помочь, но генерал Авдеев просил не трогать тебя. Ждать, когда ты понадобишься...

Белосельцев испытал ощущение незащищенности и беспомощности, когда множество невидимых глаз наблюдают за ним, следуют по пятам, заглядывают в его спальню, читают его мысли, просматривают сны, прослеживают тайные влечения. Все это извлекают из него и бережно переносят в прозрачную колбу, в которой, как легкий дым, содержится знание о его жизни.

— Кто в Тайном Обществе? — спросил он тихо, чувствуя себя бабочкой, которую достают из-под влажного прозрачного колпака и переносят на липовую расправилку, под яркий свет лампы, отраженной в нержавеющей стали пинцета. — Кто составляет Союз?

— Мы покинули здание на Лубянке, нашу оскверненную и поруганную «альма матер», куда устремились предатели и мерзавцы, — рылись в наших архивах, ворошили наши досье, уселись в наших кабинетах. Мы разошлись, чтобы снова сойтись. Суахили стал центром и мозгом Союза. Наши люди сохранились в армии, в милиции, во всех спецслужбах. В крупнейших банках и министерствах, в общественных организациях и заведениях культуры мы присутствуем незримо, на вторых ролях. Мы — в церкви, в международных организациях, в Кремле, в Администрации Президента, во всех, даже самых маленьких, политических партиях. За каждым видным поли-

тиком, удачливым бизнесменом, ярким журналистом стоит наш человек. Все они думают, что самостоятельны, неповторимы, виртуозны. Разыгрывают головокружительные комбинации, ослепительные политические спектакли, ходят на демонстрации, хоронят царей, устраивают телешоу. Но в каждой их инициативе — в строительстве храма или боевой операции, в назначении на министерский пост или скандальной отставке — тайно присутствуют наша воля, наш умысел. Они могут враждовать между собой, готовить друг на друга компромат, заказывать киллеров, но мы всегда дружны и неразрывны... — Гречишников посмотрел на Буравкова и Копейко, принадлежавших к двум беспощадно воюющим кланам, готовым уничтожить друг друга. Оба сидели рядом. Их локти касались. У обоих в белоснежных манжетах были одинаковые малахитовые запонки.

Белосельцев был бабочкой, которую держали в металлическом клюве пинцета. Опускали на липовые сухие дощечки. Погружали в длинное тельце тончайшую, из вороненой стали, булавку. Раздвигали крылья, открывая драгоценный узор. Разноцветные тугие пластины ложились на древесную гладь. И неподвижный, огромный, с голубой роговицей глаз смотрел на узоры, расширяя от наслаждения зрачок.

— Цель? — спросил Белосельцев почти отрешенно, почти не интересуясь ответом. — В чем цель Союза?

— Воссоздание государства... В полном объеме... Территориальная целостность... От Кушки до полюса, от Бреста до Владивостока... Сохранение народа и восстановление численности населения... Соединение разорванных евразийских коммуникаций, промышленных потенциалов, ресурсов нефти, урана, полиметаллов... Реставрация великих пространств... Мы используем потенциалы развития, накопленные Советским Союзом, благо все секреты науки, военной индустрии и энергетики находятся в наших руках... Мы восстановим роль Великой Державы в мировом сообществе, благо все прежние союзники целы и ждут нашего возвращения в мир... Мы устраним из политики и культуры предателей, всех паразитов, оставшихся от прежней партийной системы... Повсюду — в армии, в идеологии, в экономике — будут поставлены наши кадры...

Страна вернет себе будущее, но уже без прогнившей партии, предавшей народ, без гнилой бюрократии и либеральной извращенной интеллигенции... Такова краткая формулировка задачи, поставленной перед членами Общества...

Он был бабочкой, распятой на липовом кресте. Его голова была прижата к доске, а крылья в разноцветных узорах были пришпилены отточенной сталью. Его грудь была пробита стальной булавой, и он чувствовал, как острие соединяет проколотую спину и волокна сухого дерева. Он был еще жив, но к губам его длинным пинцетом прижали вату с эфиром, и он задыхался в веселящих эфирных парах. Огромный внимательный глаз с голубой роговицей, розовой сеткой сосудов наблюдал за ним, и он чувствовал падающее сверху дыхание, шевелившее волосы у него на груди и в паху.

— Как вы достигнете цели?.. — спросил Белосельцев, борясь с дурманом эфира, пробиваясь к смыслу неправдоподобных услышанных слов. — Как вы возьмете власть?..

— Мы это сделаем без пошлых выборных урн, к которым десять лет под красным знаменем водит народ Зюганов. Будто не знает, что в каждой урне живет огромная крыса, которую поселила туда Администрация Президента и которая съедает все бюллетени, поданные за коммунистов... — Гречишников презрительно оттопырил нижнюю губу. — Мы это сделаем без народного бунта, не повторяя романтический и кровавый спектакль, устроенный у «Останкино» и Дома Советов Анпиловым и Макашовым, после которого три дня выносили трупы и сжигали их в крематориях, а ОМОН, накачавшись дареной водкой, насиловал пленных студенток и протыкал шомполами барабанные перепонки баррикадникам.... И конечно же, мы не пойдем на военный переворот Рохлина или вашего друга Ивлева, который неизбежно столкнет лоб в лоб боевые дивизии, и на всей территории начнутся бои, переходящие во Вторую гражданскую с ядерными взрывами в Воронеже, Твери, Петербурге... Генерал Авдеев разработал иную стратегию. Иной метод...

— В чем стратегия Суахили?

— Ты можешь это узнать, только став частью плана. Ты не можешь знать план и оставаться за его пределами. Если ты со-

гласен войти в наш Союз, работать с нами во имя Родины, я открою тебе стратегию... Ты согласен?..

Все было неправдоподобно, случайно. Бытие во всей своей полноте совершалось в стомерном объеме мира, куда не было доступа его ограниченной жизни, и оставалось лишь верить в благую суть бытия. Шестикрылый дух над мертвой головой Суахили. Яблоко в руке у блаженного перед фреской Страшного суда. Храм Василия Блаженного за высоким окном. Бабочка, пойманная Авдеевым у французского полигона в Конго. Прокурор, собиратель бабочек, с его утренним плотоядным смешком. Похожие на пернатых сослуживцы, слетевшиеся проводить маленькую мертвую птицу. Живой Суахили, направлявший его в африканский поход. И мертвый, после смерти зазывающий его в тайный Союз. Все укладывалось в таинственный Закон Совпадений, открытый генералом Авдеевым.

— Ты согласен? — Оранжевые глазки Гречишникова сверлили его. Мочки его ушей горели, как прозрачные китайские фонарики, а верхние хрящи были мертвенно-белые, отмороженные, и их можно было с хрустом отломить. — Согласен вступить в Союз?..

— Да, — тихо ответил Белосельцев, словно за него говорил другой, вселившийся в его неживое тело.

— Отлично! Еще один товарищ вернулся! Выпьем за наш Союз!

Они поднялись и чокнулись, проливая водку на скатерть. Задохнулись от горечи. Буравков прикоснулся манжетой к обожженным губам, оставив на ней влажный след. Копейко с силой поставил рюмку на стол, так что пламя свечи колыхнулось, почти лизнув фотографию. За окном разноцветная, красная, золотая, зеленая, была расправлена бабочка. Закрывала небо драгоценной пылью.

— Ну что ж, как это водится в подобных случаях, выполним обряд посвящения. — Гречишников приобнял Белосельцева, легонько подвигая его к дверям. — Совершим небольшую прогулку. Так завещал Суахили... — На кристаллическом лифте, мимо молчаливой охраны они вышли на Красную площадь, где их поджидал «мерседес».

Он не спрашивал, куда они едут. Смотрел, как плывет мимо красный бесконечный Кремль. Баржа на Москве-реке подымала пышный бурун пены. В стрекозином блеске мчались встречный поток машин.

Они оставили в стороне Садовое кольцо, напоминавшее сеть, туго набитую рыбой. Взлетели на Крымский мост, словно их подкинуло катапультой. Коснулись на мгновение Якиманки с белыми хоромами Министерства внутренних дел. Подкатили к Дому художника на Крымском валу. Пустынное здание, у которого они остановились и вышли, породило у Белосельцева печальную и сладостную тревогу. Там, в прохладных безлюдных залах, в тихом свете, висели любимые картины. Красный конь с золотым наездником в лазурном озере — Петрова-Водкина. Ночная, маслянисто-черная Москва с желтыми, лимонными фонарями — Лентулова. Синие-зеленые осенние сады, отягченные райскими плодами, к которым тянутся оранжевые женские руки, — Гончаровой. И среди этих картин — его любимая, с босыми стопами, переступает по теплым половицам, подзывает его к портрету предестной женщины в утреннем убранстве, перед серебряным зеркалом, среди туалетных флаконов, булавок и гребней.

Гречишников, Буравков и Копейко повели его мимо здания, в глубину древесной аллеи, твердым тяжелым шагом знающих свою цель людей.

Шли мимо зеленой, подстриженной луговины, среди которой стояли бронзовые и каменные скульптуры. Колхозницы в окаменелых позах подымали над головами пшеничные снопы. Космонавты воздевали на мускулистых руках спутники Земли. Могучие, голые по пояс кузнецы перековывали военные мечи на мирные орада. Автоматчики в касках и плащ-накидках шли в атаку. Благообразный ученый и молодежавый инженер разворачивали свиток с чертежами.

Памятники украшали когда-то порталы и арки помпезных советских зданий, стояли на постаментах в академиях, университетах и министерствах. После крушения Красной Империи были свезены на этот зеленый пустырь, поставлены, словно кладбищенские надгробия. Белосельцев смотрел на них с мучительным прозрением, словно ему показали место, где

были закопаны останки любимой страны, в которой он родился, которой беззаветно служил. Разрезанная на части, словно огромное бездыханное существо, страна была похоронена на пустыре, и под каждым памятником, под каждым скульптурным надгробием скрылись навсегда ее кости, мускулы, расчлененные органы, приводившие в движение могучее тело Империи. Ее атомные реакторы и циклотроны. Подводные лодки и ракетные шахты. Бесчисленные города и заводы. Символы и иконы Красной Религии. Многоликие образы таинственного Красного Божества, подымавшего народ на великие битвы, даровавшего стране великие победы. Теперь все это, рассеченное на мертвые куски, истлевало в земле. И над каждым захоронением, как окаменелые танцоры балета, застыли солдаты, космонавты, сталевары.

Поводыри молча, тяжело шагая, вели его в глубину аллеи, наступая на хрустящий гравий, напоминая смену караула, держащего равнение и шаг. И он, Белосельцев, был включен в этот суровый торжественный караул.

Другая половина просторного зеленого луга была уставлена маленькими каменными уродцами из галереи абстрактных скульптур, напоминавших карликов с голыми задами, собак с человеческими головами, ящериц с волчьими загрызками, зубастых рыб с женскими грудями, лягушек с возбужденными мужскими членами. Маленькие упитанные чудовища, словно сошедшие с собора Парижской Богоматери, резвились на лужайке. Совокуплялись, дрались, испражнялись, весело догрызали какую-то падаль, разбрасывали задними лапами сочную траву, зарывая экскременты. И при этом поглядывали все в одну сторону настороженными свирепыми глазками, словно кого-то стерегли, чутко сторожили, готовые кинуться разом, всей стаей, рвать и терзать.

Белосельцев с опаской и гадливостью проходил мимо каменных злобных уродцев и, войдя под высокие деревья аллеи, увидел того, кого они сторожили.

Бронзовый Дзержинский, на высоком цоколе, под густой листвой, стоял, почти доставая головой до ветвей, в военной шинели, истовый, гордо выкатив грудь, как выкатывают ее перед расстрелом поставленные к стенке, презревшие смерть сол-

даты. Цоколь, с которым сливалась похожая на колокол шинель, был в следах глумлений, в остатках краски, в кляксах и сквернословиях тех, кто десятилетие назад сопровождали свержение памятника. На позеленелой бронзе хранился оттиск столкновения, когда Корабль Красной Империи ударился о подводный айсберг и пошел ко дну, а бронзовая статуя на носу корабля, окисленная, сорванная, смятая бурей, была выброшена на тихий московский пустырь, под осенние деревья.

Белосельцев всматривался в полустертые хуления, в испачканный и оскверненный щит и меч, привинченные к постаменту. И среди оскорблений, заборных надписей, шматков спекшейся краски в отверстие от вырванных болтов была вставлена живая красная роза.

Гречишников, Буравков и Копейко, замедляя шаг, медленно вытягивая и опуская ноги, наподобие почетного караула, приблизились к постаменту, замерли, склонив головы. Белосельцев встал среди них, испытывая робость, волнение, нарастающее возбуждение, словно памятник вливал в него сокровенную живую энергию.

— Прости, что не уберегли... — кланяясь памятнику, произнес Гречишников. Вслед ему Буравков и Копейко склонили головы. — Дело твое живет... Чекисты тебя не забыли.

Белосельцеву казалось, памятник был рад их появлению. От него исходило едва ощутимое тепло, словно под металлическим литьем оставалась живая, неостывшая плоть. Он был свергнутым божеством, сброшенным с расколотого, оскверненного алтаря. И они, четверо, явившиеся к нему, были его тайными жрецами, верными служителями, хранящими заветы и заповеди отвергнутой религии.

— Мы вернем тебя на площадь. Поставим на законное место... И те, кто пачкал тебя, подвешивал в петле, повезут тебя обратно на своих горбах. Впряжем их в платформу, и они, с надутыми пупками и выпавшими грыжами, повезут тебя на Лубянку...

— Пойдем, Виктор Андреевич... Теперь ты опять с нами, — сказал Гречишников, когда они уходили от памятника.

Молчаливый шофер поджидал их в «мерседесе». Белосельцев отказался ехать, желая пройтись пешком.

— Завтра я тебе позвоню, продолжим разговор, — стискивал ему ладонь Гречишников. Копейко и Буравков молча протянули руки.

— Как будем общаться по телефону? Называть всех по имени? — спросил Белосельцев, пожимая руки соратникам.

— Вообще-то у нас каждый носит имя птицы. Буравков — пеликан. Копейко — филин. Я — дикий голубь, витютень.

— А кем буду я? — без удивления, угадывая ответ наперед, спросил Белосельцев.

— Ты? — Гречишников внимательно осматривал Белосельцева, словно старался в его человеческом облике угадать образ тотемного зверя. — Ты будешь скворец... Завтра я тебе позвоню...

Они уселись в машину, и тяжелый «мерседес» ушел на Крымский мост, разбрасывая лиловый огонь, издавая затихающий вой сирены.

Белосельцев медленно поднимался на Крымский мост, пробираясь между огромными, падающими с неба синусоидами. Мост напоминал начертанный в небе график, изображавший пульс железного сердца, его всплески, предынфарктные сжатия, болезненные замирания. Кардиограмма города, в сиреневых дымах, бензиновых выхлопах, золоте соборов, шелесте блестящих, непрерывно мелькавших машин.

Он достиг середины моста. Остановился, касаясь руками толстого железного поручня. Руки чувствовали могучую дрожь, колебания, угрюмые гулы и рокоты, пробегавшие по металлическим тягам. Он был в глубине огромного рояля, в котором звучала грозная, рокочушая музыка. Река внизу была голубой, предвечерней, с блестящим отпечатком ветра, словно крылом по воде ударила большая птица. Там, где река поворачивала к Кремлю, колыхалось золотое отражение храма Христа Спасителя, будто с купола прямо в реку стекала жидкая позолота, и на этом струящемся, ударявшем в берега отражении шла черная баржа.

Он видел Африку, явленную ему на Москве-реке. Он плывет в океане, играет с зеленой веткой, ныряет под влажные листья, целует, обнимает ее. Бежит по сухому склону за бабочкой, за ее изумрудным мельканием, и в небе, недвижимая,

переполненная кипятком, ртутным ядовитым сиянием, застыла туча. Маленький, похожий на стрекозу самолет бежит по белесой траве, несет в пропеллере прозрачное искристое солнце, превращается в красный взрыв. Морская пехота в полосе прибоя проскальзывает белую пену, выносится на рыжий откос, и далекое, в душном ветре, трепещет военное знамя. Африканка в прилипшей одежде встает из воды, и сквозь мокрую ткань проступают ее соски, плотный кудрявый лобок. Маквиллен, веселый, острый, смотрит на него, как из зеркала, усмехается, наблюдает за ним из прошлого.

Белосельцев почувствовал жжение на груди. Стоя на мосту, глядя на желтое пятно отражения, расстегнул рубаху и увидел на груди длинный, спускавшийся к животу ожог, словно хлестнули крапивой, оставив на коже водянистые пузырьки. Другая воспаленная бахрома пересекала грудь от плеча к плечу. Крест горел на его коже под рубахой.

Все имело смысл. Имело объяснение в стомерном объеме мира, где двигалось истинное бытие, сокрытое от человеческих глаз. А здесь, на земле, в трехмерном пространстве, на Крымском мосту, это бытие обнаруживало себя как крестовидный ожог на груди, как яблоко в кармане пиджака, подаренное неизвестным прорицателем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наутро Белосельцев, едва проснувшись, увидел на стене знакомое пятно водянистого солнца, коробки смугло-фиолетовых, жемчужно-перламутровых нигерийских бабочек. Мгновенно пропитался ощущением утренней бодрости, готовности, нетерпеливого ожидания. Его новая жизнь началась, прекратив дремотное бесцельное прозябание. Он снова был в строю, был военный. Был частью осмысленного коллективного целого. Ожидал боевого приказа. Поднимался из постели одновременно с разгоравшимся телефонным звонком, похожим на ворвавшегося в комнату шального стрижа.

— Доброе утро, скворец! Это я, лесной витютень! — услышал Белосельцев звуки, напоминавшие гульканье дикого голубя на вершине дуба. — Виктор Андреевич, это я, Гречишников! — раздался добродушный веселый смех. — Как почивал? Не могли бы мы сейчас повидаться?

— Приезжай ко мне. — Белосельцев с тревогой оглядел свой неприбранный кабинет.

— Давай-ка встретимся на нейтральном месте. Приезжай на смотровую площадку, на Воробьевы горы, к Университету. Оттуда далеко видно. Поговорим по душам. Жду тебя через час... — И снова курлыкающие голубиные звуки, серый, в перламутровых переливах зоб, огненно-рыжие бусинки глаз.

Он вывел из гаража свою черную, слегка осевшую «Волгу». Покатил к месту встречи, освобождая в душе пространство для предстоящего разговора, в котором должен был обозначиться план, чьим участником его избрали. Поставил автомобиль на влажный асфальт, перед розово-серым Университетом, который косо улетал в ветряную пустоту, одинокий и прекрасный, как замысел вождя, оставившего народу свой прощальный дар.

Еще издали, у балюстрады, среди прилавков и одиноких торговцев, Белосельцев увидел Гречишникова. Тот расхаживал, заглядывая на лотки с дурацкими матрешками, изображавшими Горбачева и Ельцина, перебирал сувенирные платки с двуглавыми орлами. За его головой, падая в туманную синеву, кудрявились склоны, блестела река с кораблем, круглилась арена Лужников. Москва, среди облаков и брызжущих лучей, сверкала, как огромная перламутровая раковина, с жемчужинами храмов, монастырей и дворцов, окутанная туманами, в легчайшей желтизне наступающей осени.

— Рад видеть, Виктор Андреевич. — Лицо Гречишникова было розовым. Свежий ветер вырвал из оранжевых глаз две слезинки, в которых крохотными перламутровыми завитками отражалась Москва. Он был одет просто, почти бедно, напоминающая праздного, располагавшего временем пенсионера. Выпьем по кружке пива, там, где ветер нас не возьмет, — он кивнул на стекляшку, прилепившуюся на откосе, с надписью «Хайнекен». Сквозь прозрачную стену был виден затейливый фар-

форовый кран, из которого служитель выдавливал густую струю пива. — Кое-что тебе поведаю там, где не достанет нас чуждое ухо.

Они сидели в стеклянной пивной перед тяжелыми кружками. Осторожно погружали губы в белую, словно сбитые сливки, пену, добираясь до терпкой горечи. На тарелках, окутанные легким паром, розовели креветки, похожие на маленьких распаренных женщин, вышедших из душистой бани.

Москва сквозь стекло переливалась, пестрела, вспыхивала золотыми россыпями церквей, полосатыми дымными трубами, стальными кружевами мостов и башен. Храм Христа Спасителя казался огромной золотой дыней, созревшей посреди города под падающими голубыми дождями. Белосельцев, оглядывая Москву, любуясь ее женственной красотой, не забывал ни на минуту, что в городе царствует враг. Захватил Кремль, засел в министерствах и военных центрах. Невидимый червь проточил золотистое яблоко столицы, поместил свое тулово среди ее площадей и проспектов, уткнулся лбищем в Спасскую башню, окружил тугим хвостом окраины.

— Я говорил тебе, что все известные методы захвата Кремля и отстранения Истукана от власти недействительны... На выборах спятивший, разделенный на части народ, как стадо бычков, торопится к урнам под крики телевизионных пастухов, под ударами электронных бичей. С торжественным видом ставит в листах каракули, а компьютер хохочет над доверчивыми старушками, выбивая на табло заложенный в него результат... Военный переворот исключен при помраченном сознании офицеров, которые днем в Генштабе планируют победы в несуществующих войнах, а ночью идут на товарную станцию и разгружают картошку, чтобы заработать на хлеб. Этим офицерам, чтобы вернуть себе самоуважение, необходима маленькая победа на маленькой горной войне, а этого, как ты знаешь, в Чечне не случилось... Народное восстание невозможно, ибо наш народ предпочитает тихо вымирать под пение группы «На-На», нежели браться за цепи или вилы и идти палить усадьбы еврейских банкиров... Импичмент не может состояться, потому что к каждому народному депутату прикреплен тайный советник, который в нужный момент сует ему в карман

конверт с зелеными визитками Джорджа Вашингтона... Остается единственное, — Гречишников сильно дунул на пену, раскрывая под губами черное зеркальце пива, которое тут же сомкнулось под пышными белыми хлопьями, — Истукан должен добровольно уйти из Кремля, передать власть другому, в которого бы верил, как в сына, полюбил, как себя самого... Необходим человек, — назовем его условно «Избранник», — кому, не страшась возмездия за смертный грех, Истукан вручит чемоданчик и ключик... Такой человек существует... Его продвижение во власть составляет содержание «Плана Суахили», который разработал покойный генерал Авдеев...

Белосельцев смотрел на Москву, которую им, заговорщикам, предстояло отнять у врага.

Толпы, прорывая ряды оцепления, сокрушая солдат щитами, валят, как кипящая смола. По Новому Арбату, мимо Манежа, к Кремлю, накатываясь на розовые отвесные стены. С красными и имперскими флагами, выставляя иконы, падая под огнем пулеметов, бегут к Боровицким воротам. Ломают запоры, вышибают хрустящие щепки ворот, врываются в Кремль. Мимо соборов, дворцов яростное, в тысячи ног, топотание. Арсенал, Колокольня Ивана Великого, Белокаменное теремное крыльцо. В здании Сената, в пустом кабинете, среди золота, малахита и яшмы — Истукан, больной и безумный. За ноги, по лестницам, головой о ступени, сволакивают на брусчатку, тянут, оставляя липкий слизистый след. Истерзанного, неживого, с вываленным языком затапливают в Царьпушку. С ревом огня, в длинном, косматом пламени выстреливают через стену, к реке. Летит обугленный, похожий на огромную ворону, комок. Плюхается в реку у Английского посольства, качается, как груда тряпья, дымя, распуская по воде нефтяную пленку сгоревшего жира...

— Наши враги умны, осторожны, опасливы. Они поместили Истукана в непроницаемый кокон из тысячи оболочек. Охраняют его вблизи и на дальних подступах. В его кремлевских палатах и на границах страны. Все этажи власти заняты, захвачены их клевретами. Охранник и лекарь, гастроном и чесальщик пяток, командир дивизии и начальник Генерального штаба, Министр внутренних дел и Министр культуры, теле-

визионный магнат и последний репортеришка в занюханной уездной газетенке. Все, что приближается к власти, тщательно просматривается под лупой, изучается под рентгеном, проверяется на детекторе лжи. Сто колец обороны, как вокруг Сатурна. Сто слоев защиты, как у атомной станции. Не пройти, не проникнуть в святилище. Но Суахили нашел проход. Прочитал прогалы в их обороне. Прочертил единственно возможный лабиринт, как в компьютерных играх, по которому можно подойти к Истукану, не взорвавшись, не задев лазерного луча, не возбудив систему электронной защиты. Гениальность плана заключается в знании законов, по которым действует власть. Инстинктов новых властолюбцев, которые вывелись, как черви, из самых гнилых слоев, накопившихся в недрах страны. Наши соратники, наши птицы, как мы их называем, расселись по всем ветвям околдованного русского леса. На каждой засохшей ветке, в каждом глухом дупле, на каждой обожженной вершине сидит наша молчаливая птица. На плече каждого предателя, у его уха и его виска, сидит наш сокол-сапсан. Они используют его для охоты на русскую дичь и не ведают, что в час их потехи сокол взлетит, но ударит не лисицу, не зайца, а охотника, прямо в лоб, в висок, в темя... Читай сказку Пушкина о «Золотом петушке...». — Гречишников засмеялся, отчего пена в его кружке вылепилась вмятинами.

Белосельцев смотрел на Москву, на ее розово-белые, телесные тона, в которых улавливалось дыхание жизни. Среди белесых туманов и бегущих голубых теней тонко сияла останкинская игла, отточенная, как завершение шприца. Уже влита ядовитая ампула. Бьет в небо крохотный фонтанчик пузырьков. Подставлена исколотая, в перекрученных венах рука. Красный резиновый шланг врезался в дряблую кожу. В черносинюю вену вонзается острие, медленно втекает желтоватый раствор. На измученном, изможденном лице наркомана, в голубых белках, как луна, восходит безумие. Огромное, волосатое, с красными губами, розовыми влажными клыками хохочет лицо Сванидзе.

Жестокие дни октября. Толпа осадила «Останкино». Генерал Макашов в мегафон побуждает народ к атаке. Грузовик пробивает дверь. Рев, ликование толпы. Со всех этажей, припеча-

тав толстые губы к стеклу, расплющив горбоносые лица, смотрит нечистая сила. Плоскогрудые, в румянах, русалки. Косматые, замшелые лешие. Размалеванные дикие ведьмы. Развратные, в белилах, старухи. Растленные жеманные мальчишки. Все ждут возмездия. Смотрят, как разгорается пламя, вылизывает этажи. Казак с золотой бородой грозит автоматом. Рабочий в пластмассовой каске держит бутылку с бензином. Из черных бойниц бэтээров, из оконных проемов — кинжальный огонь пулеметов, гора дымящихся трупов. Бег толпы, в которую вонзаются пули. По спинам, по головам, по затылкам, раздирая одежды, зажимая ладонями раны, бегут, проклиная и ахая. Сверху жестокими глазами змеи, как огромная железная кобра, смотрит башня. Шипит, извергает синее пламя, кидает ртутные молнии. Кровавый поход на «Останкино». Неудавшийся штурм Макашова.

— Есть Избранник. Он никому не виден. Его не увидишь в толпе напыщенных, говорливых политиков. Не заметишь на лживых пресс-конференциях, помпезных юбилеях, потешных военных парадах. Он закрыт, зашифрован. Как восточная женщина, укрыт в паранджу. Он сбросит покров в нужный момент, которого никто не ждет. Его не успеют уничтожить клеветой, испачкать компроматом, ошельмовать дешевым публичным спектаклем, превращающим политика в карикатуру. Он появится внезапно, как древний герой-избавитель, на фоне грозных событий, сотрясающих страну, и народ уверует в него, как в спасителя. Изберет его, одного из тысячи, понесет на руках. Мы долго его искали. Просматривали множество других кандидатов. Изучали в них каждую мелочь, до родословной, до группы крови. Нашли, наконец, крохотную маковую соринку и стали возвращать. Росток за ростком, листик за листиком. Переносили с места на место, когда грозила опасность. Пересаживали с грядки на грядку. Пропалывали вокруг него сорняки. Теперь он возвращен. Из теплицы будет высажен в открытый грунт. Он сам не догадывается об уготованной ему роли. Он драгоценный плод наших коллективных усилий. Наш сын полка. Выращен в оранжерее нашего тайного движения великим садовником Суахили. Ему отдаст Истукан ключ от кремлевского кабинета и ключик от потаенного, с ядерными кодами, кейса...

Москва переливалась стеклянными вспышками окон, белыми чешуйками зданий, прожилками проспектов и улиц. Напоминала крыло белой бабочки с тонким цветным узором. Белосельцев вглядывался в открывающуюся панораму, различая нервные волокна и линии, упругие опоры, соединяющие город. Высотные здания своими остриями закрепляли Москву на земле, не давали ей улететь. Монастыри и храмы соединяли ее с небесами, устремляли ввысь. Проспекты, разбегаясь в разные стороны, как тугие стропы, растягивали ее на равнине.

Отряды повстанцев уходили из Дома Советов, атаковывали министерства и штабы, захватывали центры управления и связи. Стрельба у военного объекта в районе метро «Динамо». Схватка в здании ТАСС. Попытка пробиться в Министерство внутренних дел. Рывок к небоскребу МИДа. Казалось, еще усилие — и враг будет изгнан из города, войска поддержат повстанцев, перехватчики ПВО станут догонять самолеты с предателями, сажать на военные аэродромы. Слабая воля вождей лишила повстанцев победы. Танки генерала Грачева гвоздили по Дому Советов, вырывая из белого здания клочья огня и копоти. У стены стадиона каратели генерала Романова расстреливали пленных повстанцев.

— Цель, которую мы поставили, — огромна и свята. Россия, тысячелетняя, великая, гибнет у нас на глазах навсегда, как Атлантида, как Майя. Мы, только мы, тайные патриоты России, можем ее спасти. Удержать на плаву, не дать погрузиться. Эти дни, недели и месяцы покажут миру, сохранится ли Россия и населяющий ее народ, или от русских останется миф Достоевского, свиток древней летописи, довоенное издание Пушкина, помещенные в библиотеку Конгресса. Цель свята. Средства для ее достижения не имеют ограничений. Взрыв атомной станции или сожжение останкинской вышки допускаются для достижения цели. Этика членов нашего общества сводится к абсолютному подчинению, к безоговорочному выполнению приказа. Это не слепая тупость автомата, а свободный выбор офицера, дававшего клятву на верность Родине, продолжающего исполнять святую присягу в условиях оккупации. Повторяю, священная цель оправдывает любые, ведущие к победе средства...

Белосельцев был возбужден. Радостно внимал Гречишникову. Был наперед с ним согласен. Готов подчиняться братству. Рисковать, умирать, истреблять ненавистных врагов. Был снова не одинок, был с друзьями. Награжден их доверием. Принят в их тайный круг. Его опыт разведчика, его ненависть и любовь, страстное желание служить, завершить свою долгую жизнь осмысленным, главным поступком — все это находило теперь выражение. Москва, в драгоценном мерцании кремлевских соборов, повитая сиреневой дымкой, в тончайшей позолоте осени, призывала его. Своей открытой грудью, пульсирующим сердцем, любящим и ненавидящим, он прижимал к себе Москву, окроплял своей кровью, окружал сберегающим дыханием.

— По указанию Суахили, мы не тревожили тебя до срока. Видели, как ты пробираешься под землей в осажденный Дом Советов. Как убегаешь в леса от бесов в черных масках, когда по Москве катились погромы. Видели твою апатию, тоску, метания. Наблюдали твою трогательную любовь к сумасшедшей красавице. Но теперь срок настал, ты нам нужен. Ты африканист, любимый ученик Суахили, а сегодняшняя русская жизнь напоминает Африку. «Русская Африка» — так говорил Суахили. Ты специалист по мусульманским проблемам, знаток Востока, Кавказа. У тебя есть давние связи с дагестанскими исламскими лидерами, которые исповедуют ваххабизм. И ты этнолог, обладатель уникальной коллекции, которую хочет посмотреть Прокурор, получить от тебя в подарок несколько африканских бабочек. Ты нам нужен. Готов ли ты, рискуя жизнью, отказавшись от собственных представлений и целей, служить общему делу спасения любимой России?

Голова у Белосельцева кружилась. С вершины Воробьевых гор Москва лежала перед ним в своей женственности, красоте. Молила о защите, спасении. Сидящий перед ним человек, старый товарищ, глава священного братства, предлагал ему власть над миром. Над Кремлем, над храмом Христа, над миллионами невидимых жизней. Из области таинственных совпадений, недоступной для разумения, открылись ему золотые капли церквей, кровли белых дворцов, шатры колоколен и башен. Давнишняя притча, когда бабушка, растворив ма-

ленькое, с золотым обрезом Евангелие, читала ему об искушении в пустыне, о кровле высокого храма, о царствах мира, предлагаемых во владение. Он искушался. Был взят из пустыни своего одиночества, из горючих песков духовной немощи, где чахла и иссыхала его душа. Был поставлен на Воробьевых горах пред ликом любимого города, взывающего о спасении. И только он один мог его сберечь и спасти.

— Согласен, — сказал Белосельцев, глядя в вопрошающие глаза Гречишникова, — располагайте мной до конца.

— Вот и ладно, дорогой скворец! — весело, по-простецки, рассмеялся Гречишников. — Что-то мы здесь с тобой засиделись... Как бы кто не заметил... Давай от греха поедим по городу, оторвемся от хвостика, если он прицепился...

И они, оставив на столе недопитые кружки, мимо двух молчаливых людей, отвернувшихся от них к балюстраде, прошагали к машине, на которую упал золотистый лист.

Белосельцев вел машину, отрываясь от «хвоста», который вдруг обнаруживал себя маленьким скромным «жигуленком», привязавшимся, как назойливая муха. То нарядным «фольксвагеном», ровно, соблюдая дистанцию, катившим вслед. То разбухшим, тяжеловесным джипом, косолапо бежавшим по пятам. Желая сбросить «хвост», Белосельцев погружался в шестелящую гущу Садового кольца, зарываясь в блестящий поток машин, как в густую листву. И тогда ему казалось, что все автомобили гонятся за ним, и он сбрасывал их с себя, как пестрый назойливый ворох, ныряя в боковую улочку, пробираясь среди посольских особняков и вялых флагов, радуясь, что обманул преследователя. Но вдруг малиновая «вольво» из подворотни плотно садилась на хвост, начинала преследовать его среди церквушек и ампирных особнячков, и он вновь кидался в месиво Садовой.

— Здесь остановимся, — сказал Гречишников, указывая на старинный дом, украшенный белыми колоннами, ампирным фронтоном с лепниной, чугунным балконом. Над деревянными, старой работы дверьми чернел глазок телекамеры, в каменной кладке желтела медная кнопка звонка.

Молчаливые охранники с пистолетами и рациями проводжали их в глубь особняка, сверкавшего новизной, хрусталь-

ными люстрами, дорогими паркетами, мебелью пушкинских времен, каминными часами в виде античных героев, картинами старых мастеров в золоченых рамах. И все это вдруг исчезло, превратилось в матово-белый, без окон, зал, где ровными рядами выстроились белоснежные бруски вычислительных машин, столы были уставлены компьютерами, на экранах вспыхивали цветные таблицы и графики, и десяток операторов в белых халатах бесшумно били по клавишам, порождая причудливую игру голубого, зеленого, красного.

— Благополучно? Без приключений? — встретил их Копейко, облаченный в белый халат, с пепельно-серой круглой головой, похожий на полярную сову. — Рад вас приветствовать в нашем святилище.

Копейко, возглавлявший в былые времена управление военной контрразведки, после крушения и исхода с Лубянки пошел в услужение к магнату Зарецкому. Создал для него разветвленную сеть безопасности, построил службу разведки, собрал аналитический центр. Способствовал его обогащению и могуществу. Незримо следовал за ним по пятам, создавая проекты, благодаря которым Зарецкий обыгрывал конкурентов, захватывал нефть и алюминий, трубопроводы и железные дороги, телевизионные каналы и банки. Проник в ближайший круг Президента, став другом президентской семьи. Очаровал и вовлек в свои сети президентских дочерей и зятьев. Использовал эти связи для укрепления своей империи, для оттеснения врагов и соперников.

— Все, что вы видите, — Копейко вел белым рукавом по белоснежным, сияющим компьютерами стенам, — все это удалось спасти от мерзавцев, когда они громили Лубянку. Лучшая вычислительная техника, лучшие программисты, лучшие аналитики. Мы не дали им погибнуть, собрали воедино, обеспечили работой и заработками. Постоянно совершенствуем аналитические возможности Центра, закупаем новые поколения машин, приглашаем лучших выпускников институтов. Мы можем проводить глобальный анализ, как это делали когда-то наши службы, прогнозируя мировые кризисы, смену политических формаций в разных районах мира. Ничто не погибло, ни один гениальный подход, ни один футуролог. И все суще-

ствуется под прикрытием Зарецкого. Он финансирует Центр, он дает ему задания и заказы. Вся информация, которая добывается нами, служит его могуществу. Но в любой момент может быть использована против него. Сокрушит его империю, а искусственный мозг во всей полноте будет возвращен государству...

Белосельцев восхищался. С обожанием смотрел на Копейко. В то время, как он, Белосельцев, проводил никчемные годы, уныло бездействовал, ходил напрасно на митинги, впадал в прострацию, ловил мимолетное любовное счастье, его бывшие товарищи действовали. Сражались, обманывали врага. Как во время Великой Войны, когда немцы шли на Восток, у них из-под носа на товарных эшелонах вывозили заводы, научные институты, инженерные школы. В Сибирь, за Урал. И там, в чистом поле, начинали крутиться станки, вытачивались стволы и снаряды. А в тылу у противника создавалась подпольная сеть, складировалось оружие, работали рации, и на взорванных рельсах истлевали составы с танками, пылали цистерны с горючим. Он смотрел на Копейко, человека-сову, восхищаясь его гениальностью.

— Наши компьютеры содержат сведения обо всех известных персонах страны. О политиках, банкирах, промышленниках. О писателях и бандитах. О священнослужителях и лидерах партий. Их тайные и явные связи. Их пороки и достоинства. Компрометирующие сведения. Кто получал и давал взятки в правительстве и парламенте. Кто передавал государственные тайны агентам иностранных держав. Кто участвовал в заказных убийствах. Кто замешан в содомских грехах. — Копейко остановился у оператора, немолодого мужчины, чьи сухие желтоватые пальцы бежали по клавишам, выбивая на экране сложные схемы и графики. Мелькали имена олигархов, названия оффшорных зон, лоббированные в Думе депутаты, члены президентской семьи. И бесчисленное количество цифр, напоминавших бесконечные цепи, на которые были посажены люди, ухищрениями разведки превращенные в цепных животных.

— Перед тем, как обратиться, например, к какому-нибудь епископу с просьбой похлопотать у губернатора за представителя нашего регионального банка, мы заглядываем в компьютер и узнаем, какую долю этот епископ имеет в торговле

нефтью и табаком, как он связан с гомосексуальным скандалом в подопечном ему монастыре, какие услуги он оказывал нашему ведомству в советское время и какая сумма положена на счета его мирских племянников и сестер. Мы проводим с ним переговоры, намекаем на эти данные, иногда показываем пленку, запечатлевшую игры иноков в келье, жертвуем дары в новопостроенный храм, и епископ изо всех сил хлопочет перед губернатором, чтобы тот направил бюджетные деньги в подведомственный нам банк... — Копейко мягко улыбался, переходя к другому компьютеру, за которым сидел молодой человек с черной повязкой во лбу и крохотной сережкой в одном ухе.

— Есть специальный дисплей, на котором выявлены потенциалы всех имеющихся политических сил. Их соперничество, их тайные взаимодействия, вспышки их активности и периоды угасания. Их влияние в парламенте и правительстве. Политическая агентура в тех или иных странах мира. Источники финансирования, в том числе из криминальной среды. Их участие в важнейших государственных событиях, социальных волнениях, экономических и военных кризисах... — Молодой человек за компьютером выстилал экран разноцветными полями, напоминавшими цветущую тундру, — белое, золотое, огненно-красное, изумрудно-зеленое, ослепительно голубое, словно цвели мхи и лишайники, благоухал багульник, дергались на ветру лютики, солнце дрожало на поверхности озер и болот. Все двигалось, менялось местами, сжималось и расширялось, смешивало цвета и оттенки. Так изображались влияние и интенсивность различных политических групп и партий, их зарождение и распад.

— Мы можем, например, проследить историю болезни под названием «Черномырдин», ее зарождение, превращение в эпидемию, пик ее тлетворного влияния и постепенное угасание и вырождение. В момент его переговоров с Басаевым, когда он сорвал операцию спецслужб в Буденновске, а затем предательски остановил войска в Чечне на пороге победы. В пору его «миротворческой» миссии в Югославии, когда он, в угоду американским друзьям, навязал Милошевичу позорный мир, предав российские интересы на Балканах. Здесь зафиксиро-

ваны его тайные переговоры в Нью-Йорке и Бонне, когда он огласил свое намерение стать Президентом. Его жалкое отступление, когда спецслужбы пригрозили расследованием невиданного воровства газа и нефти... — Копейко говорил, и, откликаясь на его слова, грязно-коричневое пятно на экране, изображавшее влияние Черномырдина, колыхалось, расплывалось и стягивалось, словно пролитая на воду нефть.

Белосельцев жадно внимал. Это был его мир, его стихия. Хаос, который окружал его эти годы, был управляем. Среди разрушительных безумных стихий находился скрытый, осознанно действующий Центр. Его одинокий, обессиленный разум нашел, наконец, свое подобие. Словно в огромном безжизненном Космосе, среди обугленных мертвых галактик, черных дыр, крохотная живая планета, страшась своего одиночества, принимает послание с другой, удаленной планеты, на которой есть жизнь и разум, послание, подтверждающее разумность бытия, его неслучайность.

— Есть программа, которая показывает основные тенденции в обществе. — Копейко остановился у компьютерного стола, за которым работала красивая женщина, чье лицо казалось смуглым от легкого грима, а волосы отливали стеклянным блеском. От нее едва слышно веяло духами, и пальцы в кольцах плавно перебирали бесшумные клавиши. — Мы можем проследить темпы спада промышленности, кривую вымирания населения, износ оборудования на атомных станциях, нарастание вывозимых за рубеж капиталов. Можем предсказать возможность техногенных катастроф на флоте и в авиации, вероятность народных волнений и «рельсовых войн», приближение военных конфликтов в Чечне и Дагестане, где распространяется ваххабизм и зреет мятеж экстремистов.

Женщина перебирала пальцами, из-под которых бежали разноцветные графики. Сплетались, возносились, падали. Отображали умирание огромной страны, попавшей в аварию, находившейся под капельницей на операционном столе.

Белосельцев остро смотрел, понимая с полуслова, читая орнаменты графиков, как музыкант читает по нотному листу партитуру. Отыскивал среди множества линий ту синусоиду,

что изображала его метущуюся мысль, всплески его надежды, провалы его тоски.

Они покинули компьютерный зал и сидели теперь в уютной ампирной гостиной за овальным ореховым столиком, отделанным бронзой, перед горящим камином, на котором стояли фарфоровые часы с купидонами. Им принесли крохотные чашечки кофе из старинного усадебного сервиза с изображениями Наполеона и Александра I, молочник и сахарницу с золотыми каемками. Белосельцев с наслаждением делал маленькие глотки, глядя на пылающее смоляное полено. Ни о чем не расспрашивал. Довольствовался тем, во что его посвящали. Должен был многое узнать о проекте, прежде чем ему укажут его место.

— В основе «Проекта Суахили» лежит «теория конфликтов». — Копейко любезно, на правах хозяина, лил молоко из фарфорового молочника в чашки Гречишникова и Белосельцева. — Наше умение искусственно создавать конфликты и управлять ими, «управление конфликтами» есть способ проникновения во власть и устранения препятствующих факторов. Мы создаем в монолитной обороне противника серию надломов и трещин, ведущих в Кремль, сквозь которые осторожно, шаг за шагом, продвигаемся в центр власти. В этой гостиной во время тихих собеседований рождаются «активные мероприятия», которые воздействуют на Думу, на членов кабинета, на самого Президента, и каждая «активка» неуклонно приближает нас к победе. «Теория победы в конфликтах» — главный инструмент овладения властью, разработанный генералом Авдеевым...

Белосельцев упивался, вслушиваясь в формулировки, от которых отвык среди бессмыслицы фальшивых лозунгов, ханжеских молитв, лживых деклараций. Это был язык его племени, на котором изъяснялся его народ, рассеянный, поруганный, изгнанный из дома, потерявший своих вождей и пророков. Он узнавал своих единокровцев по неповторимому языку, сохраненному ими после падения Вавилонской башни. Открывал единоверцев по их речениям, сбереженным среди смешения языков и народов. «Теорию конфликтов» он изучал под Кандагаром, прочесывая с отрядом спецназа пустыню Регистан, где вертолетным ударом был разгромлен караван мод-

жахедов, раненные насмерть верблюды отрывали от песка плачущие головы, солдаты распарывали ножами полосатые тюки, вываливая груз автоматов и мин, уцелевшему погонщику в чалме и хламиде крутили веревкой руки. «Теорию конфликтов» он познавал в долине реки Кунене, где двигались батальоны ЮАР, горели тростниковые хижины, отряд ангольской пехоты, побросав оружие, убегал, и «канберры» на бреющем раздували траву до земли, кося солдат пулеметами. Эту «теорию управляемых локальных конфликтов» он постигал на берегу Рио-Коко, где сандинисты в сыром окопе наводили пушку на коричневый блестящий поток, по которому скользило каноэ, индейцы мескитос уходили от погони, и снаряд подымал на воде высокий гулкий фонтан. Эту «теорию тлеющих конфликтов» он проверял в кампучийском храме Ангкор перед золоченым Буддой, чье деревянное тулово было прострелено очередью, за окном устало пылила вьетнамская пехота, лязгали трофейные американские танки и тянулись унылые вереницы погорельцев и беженцев.

Теперь, слушая старого товарища, он наслаждался его жесткой, металлической лексикой, которая, как наждак, счищала с души ржавчину пустопорожних слов.

— Публика, наблюдая Зарецкого, его влияние на семью Президента, неутомимую деятельность, что увеличивает его миллиардное состояние, виртуозные политические комбинации, от которых сотрясается страна, падают правительства, начинаются приграничные войны, — наша близорукая публика считает, что я являюсь его слугой и рабом, послушным исполнителем его воли, копьем, продлевающим его руку. — Копейко обвел смеющимися глазами гостиную, любовно осматривая каждый хрусталик в люстре, каждый завиток на лепном карнизе, каждую золотинку на фарфоровых часах с игривыми купидонами, наслаждаясь завершенностью старомодного интерьера, его музейной подлинностью. — Но никто не догадывается, что все финансовые операции и политические проекты, сделавшие Зарецкого миллиардером, осуществлены с нашей помощью, с использованием наших связей, нашей разведки, аналитиков и исполнителей, которых вы, Виктор Андреевич, могли встречать в Афганистане, в спецподразделе-

ниях нашего ведомства. — Копейко наслаждался окружающим его комфортом. Тяжелым поленом в камине, над которым витало золотисто-голубое пламя. Ореховым полированным столом, в котором, как в ледяной поверхности, отражались фарфоровые чашки и кофейник. Высоким полукруглым окном, полным серебристого дрожащего солнца. Прислушивался, словно за дверью, в соседнем танцевальном зале, вот-вот раздастся звук рояля.

— Это мы проникли в государственные банки и, взломав защиту, с помощью фальшивых авизо выкрали огромные деньги, перебросив их на зарубежные счета Зарецкого, списав это воровство на чеченцев. Мы, используя связи среди полевых командиров Афганистана, таджикских военных, русских пограничников и таможенников, организовали транзит наркотиков из Лашкаргаха через Россию в Западную Европу, с последующим отмыванием денег в игорном бизнесе Варшавы и Будапешта, контролируемого Зарецким. Мы создали хитроумную цепь подставных фирм и офшорных зон, куда сбрасываются кредиты Валютного фонда, выделяемые России, утекают в нью-йоркские банки, пополняя богатство Зарецкого на миллиард долларов в год. Мы помогли ему завладеть крупнейшим телеканалом, устранив опасного конкурента, о котором до сего дня рыдают либеральные журналисты, отмечая ежегодно день трагического убийства, когда этот кумир толпы и ловкий коммерсант был найден в подъезде с окровавленными усами. И именно наши специалисты, работающие с изотопами, заложили капсулу с калифорнием в спинку кресла, на котором любил сидеть один из удачливых соперников Зарецкого, после чего тот умер от скоротечного рака мозга. — Копейко бережно тронул фарфоровую чашечку, столь тонкую, что она просвечивала на солнце, как розовая мочка женского уха. Император Наполеон в военном мундире был чуть стерт от множества прикосновений, словно потускневший узор на крыле бабочки, которую помяли дожди и ветры.

— Может показаться, что всем этим владеет Зарецкий. Но это иллюзия. Его богатство устроено нами так, что висит на тоненькой паутинке. Отрезается от Зарецкого и падает нам в руки. Мы копили это богатство, лишь используя его имя,

не для него, а для нас. Сбереженное, сконцентрированное, действующее, оно станет работать не на магната Зарецкого, которого похоронят в неизвестной могиле где-нибудь в латиноамериканской стране, а на русское государство, которому мы присягнули на верность...

Белосельцев чувствовал, как у него по-молодому горят щеки. Глаза, подернутые влажной пленкой, смотрели зорко, различая крохотные выбоины на мраморной плите камина. Ноздри чутко ловили запахи елового дыма и горьковатого бразильского кофе. Слух улавливал слабые потрескивания горящего полена, в котором закипали смоляные соки. Услышанное не пугало, а восхищало его. В борьбе с отвратительным злом, которое убивало народ, были дозволены все методы и средства, если они служили борьбе и победе. Он, разведчик, был готов сражаться по правилам беспощадной войны, для которой его готовили, в которой он был разгромлен, и теперь, найдя уцелевших соратников, был счастлив продолжить сражение.

— Вместе с Зарецким мы втянули в незаконный бизнес множество высоких чиновников, министров правительства, действующих генералов, офицеров безопасности. Мы осторожно и незримо включили в его доходные, криминальные дела Администрацию Президента, дочерей и родственников Истукана, самого Истукана, запятнав его нефтяными кляксами, кровавыми брызгами, усыпав бриллиантами пальчики его очаровательных сластолюбивых дочек, возведя в Австрийских Альпах, на Лазурном берегу, на побережьях Испании особняки и виллы, записанные на Августейшее семейство. И когда все спутались в преступный клубок из взяток, незаконных хищений, нераскрытых убийств, мы сделали утечку. Сначала во французские газеты — о русских счетах в отделениях банка «Барклай». Потом в американские — о незаконном отмывании денег в «Бэнк оф Нью-Йорк». Потом поместили в английских журналах фотографию виллы в Баварии, подаренной президентской дочери богатым банкиром. Потом передали швейцарской прокуратуре некоторые сведения о взятках и операциях с наркодолларами. И скандал начал разрастаться, как махровый георгин с жирными лепестками. О нем заговорили в американском Конгрессе, о нем шептались на международ-

ных форумах, им стали заниматься прокуроры нескольких стран. И главное — им стал заниматься наш Прокурор, о нем стали писать наши газеты. Постепенно Кремль стал казаться местом, куда свозят краденое, где угнездилась грязная мафия, хранятся наркотики, складировются фальшивые доллары, происходят содомитские оргии. Президент со своим окружением стал мишенью беспощадной критики со стороны конкурентов. Лысого Мэра, мечтающего въехать в Кремль, множества зубастых, как пираньи, журналистов, купленных Мэром, и главное — Прокурора, который открыл уголовное дело о «коррупции в кремлевских верхах». Возник конфликт, в который вмешиваются все новые и новые силы, раскалывая правящий класс надвое. Раскалывают армию, безопасность, правительство, сообщество олигархов. Ибо соперник Зарецкого, которым незримо управляет наш умный соратник Буравков, талантливый Астрос, включился в конфликт на стороне Прокурора и Мэра со всей мощью своей телевизионной империи, своих капиталов, международных еврейских связей, превращая эту схватку в прелюдию гражданской войны. В монолитных льдах открылась трещина, появился просвет свободной воды, куда мы направили наш маленький юркий челнок — «Пи-рогу Суахили». — Копейко расхохотался, показывая ровные вставные зубы, делающие его вечно молодым.

Белосельцев испытывал утонченное наслаждение, как от звука любимой музыки или созерцания любимых картин. Изощренное искусство управления людскими пороками, страстями и похотями, разработанное в иудейских молельнях, усовершенствованное в святилищах египетских жрецов, проверенное в римских дворцах и термах, блистательно применяемое ватиканскими нунциями, воплотилось в политику Сталина, сумевшего стравить и рассорить своих злейших врагов. Руками одних уничтожить других, а последних, обессиленных в кровавом конфликте, приковать к своей политической колеснице, волоча по булыжной мостовой пятилеток, коллективизаций и чисток. После чего он остался единственным властелином огромной Красной Империи, которую сделал мировой и космической. Этот метод, опробованный с библейских времен, в совершенстве освоенный Дзержинским и Берия, был

теперь единственным средством борьбы, которую вело подполье разведчиков. И он, Белосельцев, не испытывал угрызений совести. Владея методом, был готов включиться в борьбу.

— В этот разлом, постоянно его расширяя, не давая сомкнуться, мы ввели Избранника. Ведем его незримо для глаз. Мне поручено курировать Зарецкого. Управлять его действиями. Его руками подвигать Избранника к власти. А потом уничтожить магната. Я использовал тысячу способов, чтобы сделать его могучим. И знаю тысячу средств, чтобы его сокрушить. Нам известны его привычки, одна из которых побуждает его запирааться в ванной, и там, среди пенистых шампуней и зеркал, заниматься любовью с самим собой. Нам известны стихи Бодлера, которые он выучил наизусть и в которых видит отражение своего мазохизма и своего патологического честолюбия. У нас есть полная история его болезней с самого детства, включая психические расстройства и венерические инфекции. У нас есть отпечатки его пальцев, слепки с зубов, рентгеновские снимки скелета, пробы волос, данные о генетическом коде. Есть модели его поведения в случае успеха, неудачи, смертельной угрозы, приступов мизантропии. Когда кольцо вокруг него сомкнется и он убежит из России, сделает себе пластическую операцию, наденет парик, отрастит усы, мы все равно его вычислим. Найдем в каком-нибудь крохотном пуэрто-риканском городке на берегу океана, и наш снайпер пустит пулю в открытое окно, у которого тот будет дремать в плетеном кресле с книжечкой Бодлера в руках. Мы закопаем его в рыжую глину насыпи, по которой пройдет трансамериканское шоссе, и над его костями будут проноситься бессчетные автомобили тех, кому он хотел нравиться, кем желал повелевать, кого презирал и боялся и кто никогда о нем больше не вспомнит.

Гречишников все это время молчал, чуть прикрыв сухими пепельными веками оранжевые глаза, полагая, что из уст Копейко Белосельцев получает исчерпывающие сведения, необходимые на первых порах. Но вот веки его поднялись, круглые глазки воззрились на часы с купидонами.

— Нам пора, — сказа́л он, вставая, — нас ждут в Кремле.

Белосельцев, не переспрашивая, ничему не удивляясь, вышел из гостиной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Они погрузились в знакомый «мерседес» с молчаливым шофером в кепи. Пересекли Каменный мост, с которого Кремль казался уходящей в синеву горой с красными, белыми и золотыми ступенями. Повернули к Троицкой башне, где милицкий пост, оглядев номера их глазированного лимузина, возжег зеленый огонь семафора. Машина, похрустев по брусчатке, оказалась в Кремле. Автомобиль остановился на Ивановской площади, где уже стояло несколько дорогих тяжеловесных машин. Они вышли и двинулись через площадь к Дворцу, мимо колокола и пушки, принадлежавших когда-то племени великанов, — звонарей и артиллеристов, — которые ушли из Москвы за Волгу, за Уральский хребет, в Сибирь, на Енисей, где окаменели, превратившись в Красноярские столбы.

Для Белосельцева Кремль был таинственным, родным, самым теплым и нежным местом земли, которое питало его, словно материнская грудь. Детские рисунки с зубчатой стеной и башнями, над которыми горели огромные пятиконечные звезды и взлетали разноцветные букеты салютов. Новогодняя елка в Кремле, куда привела его бабушка, и он, запрокинув голову, смотрел на смоляное душистое диво, увешанное хлопушками и шарами, среди хрусталей и белого мрамора. Георгиевский зал с золотой геральдикой гвардейских полков, куда его приглашали на вручение наград, и он принимал боевые ордена за Афганский поход, за Кампучию и Африку, за разведоперацию в сельве Рио-Коко.

На парадном крыльце их встретили охранники, дружелюбно и почтительно поклонившиеся Гречишникову и Копейко как хорошо знакомым и уважаемым визитерам. По широкой пустынной лестнице они поднимались вверх. Белосельцев глядел на огромную, приближавшуюся картину в золоченой раме, где суровыми, сумрачными красками была изображена Куликовская сеча. Вспоминал, как смотрел на ту же картину много лет назад, поднимаясь среди множества торжественных депутатов в кремлевский зал, где проходила сессия и обсуждались планы и свершения страны. Прошли по дорогому паркету, под высоким озаренным плафоном. Сквозь бело-золотые приот-

воренные створки, словно ослепительная глыба льда с отблесками хрустального солнца, мелькнул Георгиевский зал. Приблизились к дверям, за которыми Белосельцев, волнуясь, ожидал увидеть знакомое пространство главного зала страны, с рядами дубовых кресел, со ступенчатым возвышением президиума, с резным гербом на тяжелой деревянной трибуне. С этой трибуны, перед черными чашечками микрофонов, полвека сменяя друг друга, читали доклады вожди. Зал, рукоплеская, вставал, глядел с обожанием на усатое лицо, на плотно застегнутый френч. Беломраморный Ленин, высеченный из лунного камня, слабо светился в нише.

Дверь растворилась, Белосельцев ахнул, зажмурил на мгновение глаза. Не было строгих рядов, туманно-сумрачных ниш, деревянной трибуны с гербом, статуи из лунного камня. Блистал ослепительный зал из мрамора, малахита и яшмы. Сверкали драгоценные люстры. Золото било в глаза. Со стен свисали шелковые знамена и флаги, голубые атласные ленты. Фрески, картины украшали высокие стены. Уходили ввысь лепные потолки и плафоны.

Белосельцев стоял изумленный. Казалось, половину Кремля, суровую, сумрачную, пропитанную железным духом эпохи, отпилили и куда-то унесли. А вместо отпиленной приставили новую, изготовленную мастерами драгоценных декораций, художниками костюмов, музейными собирателями гербов и старинных знамен. Зал, блистая позолотой и краской, казался склеенным из папье-маше, и хотелось подойти, тронуть пальцем малахит или яшму, чтобы почувствовать мягкость картона, клейкость плохо просохшей краски.

— В новые мехи новое вино, — усмехнулся Гречишников, заметив изумление Белосельцева, — царя еще нет, а покои готовы...

Они прошли великолепное пустое пространство. Два охранника растворили перед ними новые двери, и они оказались в другом, ослепительном зале, богаче и великолепнее первого. Белосельцев изумленно-испуганными глазами успел разглядеть возвышение с царским троном и огромным пологом из горностая, просторные, полные солнца окна и, в пустоте, окруженный сиянием, овальный стол, уставленный яствами. Сидевшие за сто-

лом люди, легко узнаваемые, поразили Белосельцева, и он смотрел теперь только на них, желая убедиться, что это не актеры, играющие первых лиц государства, а сами эти лица.

Зарецкий поместился в середине стола, как хозяин и заправила, жестикулируя, привлекая к себе внимание, и Белосельцев удивился его сходству с большой чернявой белкой. Его узкий череп покрывал линялый, с плешинами, волос, узкие плечи переходили в длинные подвижные руки, удерживающие какой-то плод, то ли крупный орех, то ли сморщенный гриб, большие резцы в ощеренном рту были готовы грызть и точить, а выпуклые, черно-вишневые, почти без белков глаза смотрели настороженно и часто мигали.

Подле него сидел Премьер-министр с розовым, воспаленным лицом, напоминавшим мятый распаренный корнеплод, без подбородка, с выпуклыми щеками, маленькими холодными глазками.

По другую руку магната сидела молодая женщина с крепким мужским лицом. Розовая от выпитого вина, она налегала всем телом на стол, замечая, что на ее грудь с отпечатанными выпуклыми сосками смотрят участники застолья. Снисходительно, весело сощутив глаза, слушала Зарецкого, выставив кончик языка, проводя им по верхней губе. Белосельцев узнал в ней младшую дочь Президента, показавшуюся здесь, в застолье, более женственной и привлекательной.

Тут же сидел щуплый, сутулый, похожий на богомола человек, свесив на слабой шее длинную рыжеватую голову с лысым лбом и подслеповатыми глазками. Он мучительно улыбался, словно слышал невыносимые для себя высказывания и только правила хорошего тона мешали ему встать и уйти. В этом замученном, с несовершенным сложением человеке Белосельцев узнал могущественного главу президентской Администрации.

Вольно развалившись на стуле, подбоченясь одной рукой, внимая застольным речам, сидел главный хозяйственник Президента. На его большом, красивом, начинавшем полнеть лице остро блестели маленькие плутоватые глазки. Весело перебежали с Зарецкого на Премьера, с главы Администрации на президентскую дочь, словно их вид, а также еда, которую они

поглощали, вино, которое они пили, доставляли ему наслаждение. Казалось, это он придумал поставить стол посреди великолепного зала, зажечь посреди стола свечи в серебряных подсвечниках, поместить у дверей служителей в старинных камзолах с галунами, в белых чулках и напудренных, завитых париках.

Еще один гость поставил на стол локоть дорогого костюма, подпирая щепотью пальцев большую благородную голову. В белой манжете сверкала бриллиантовая запонка. Рука, тонкая, с заостренными пальцами, розовыми ухоженными ногтями, небрежно касалась щеки. Умные, зоркие глаза внимательно озирали застолье. Сжатые, утратившие свежесть губы сложились в едва заметную презрительную усмешку. Это был известный художник, чьи выставки в Манеже собирали пол-Москвы, приходившей подивиться на огромные картины, похожие на кипящие котлы, в которых варились комиссары и белые офицеры, священники и красноармейцы, мученики царского семейства и жестокие вожди. Теперь этот автор мистерий взирал на застолье, словно старался запомнить сидящих, чтобы поместить их на свой, еще не законченный холст о царстве Антихриста. Сидящие позировали, не догадываясь, что их скоро нарисуют в виде уродливых и похотливых наездников, оседлавших ягодицы и спину Вавилонской блудницы.

Помимо тех, кого сразу узнал Белосельцев, присутствовали двое, ему неизвестных. Густоволосый генерал в новом мундире, громко хохотавший, отчего во рту его загорались золотые зубы. И худой, очень бледный брюнет, молча взиравший на шумное общество, завесив шелковый галстук и черный атласный костюм белой салфеткой.

Все они не сразу обратили внимание на вошедших и еще минуту допивали и доедали, видимо сопровождая вином и закуской произнесенный тост.

— А вот и моя безопасность! — воскликнул Зарецкий, воздевая руки, как конфёрансье, демонстрирующий выход артистов. — Бес опасный! — попытался он произнести каламбур и, чувствуя, что неудачно, повел рукой, отметая неполучившуюся шутку. — Садитесь! — указал он на остававшиеся свободными места. Щелкнул пальцами, подзывая служителей,

указывая на пришедших и тут же о них забывая. И пока наклонялась над бокалом черная французская бутылка, обернутая в белую салфетку, и золотились галуны на малиновом камзоле, Белосельцев, пользуясь невниманием к себе окружающих, стал наблюдать и слушать.

— Итак, достопочтенные господа и вы, наша блистательная дама. — Зарецкий склонил лысоватую, с желтыми проплешинами голову в сторону Дочки, блестя над ней черными веселыми глазами. — Не случайно мы выбрали для нашего торжества этот императорский дворец, ибо день рождения Татьяны Борисовны, которое мы празднуем здесь, в самом торжественном зале России, если хотите, является своеобразным венчанием на царство! Русской государственности в переломные периоды было свойственно выдвигать на первые роли женщин, которые умели собрать вокруг себя блистательных мужчин, верных сынов Отечества и направить их таланты и добродетели на служение Матушке-России. Не боюсь впасть в преувеличение, но я нахожу прямое сходство между императрицей Екатериной и нашей Татьяной Борисовной. Государственный ум, смелость, способность сплотить таланты, понимание ближней и дальней перспективы — все это делает нашу именинницу дочерью своего отца, продолжательницей великих реформ. В такие эпохи, как наша, одни люди сгорают дотла, превращаясь в горстку ненужного пепла. Другим, редчайшим, удастся уголь своей сгорающей жизни превратить в алмаз. Татьяна Борисовна принадлежит к последним. Она бриллиант нашей политической элиты, и я счастлив моим подарком подтвердить это сравнение. — Зарецкий сунул руку в карман пиджака, извлек сафьяновый футляр. Отворил его, и на черном бархате возникла ослепительная струйка бриллиантов, словно волшебная золотая змейка в солнечной чешуе, лежащая на темном камне. — Вашу ручку, августейшая Татьяна Борисовна! — Зарецкий, чуть кривляясь, но с глубочайшим почтением укрепил на запястье именинницы драгоценный браслет, успевая оглаживать ее пальцы. Прижал к своим малиновым губам ее ладонь, продлив поцелуй на мгновение дольше, чем следовало, позволяя собравшимся отметить это многозначительное промедление.

Все поднялись, чокались шампанским. Дочь держала над столом хрустальный бокал, приветливая, милостивая, позволяя любить себя, восхищаться собой.

Почти без перерыва, не давая источиться возникшему в застолье воодушевлению, поднялся Премьер. Сдержанный и деликатный, понимая свое достоинство и значение и одновременно тонко чувствуя свое место среди влиятельных персон, стал говорить:

— Мне, собственно, почти нечего добавить к вышесказанному. Как русский офицер, должен заметить, что служение для меня есть естественная потребность, подкрепленная воинской присягой. И я, пусть это подтвердят знающие меня, не изменял ей никогда. Служить под началом нашего Президента есть высшая для меня честь, а пользоваться расположением Татьяны Борисовны — высшая для меня награда. Мне думается, что в случае, если меня поддержат мои уважаемые коллеги и друзья, мы бы могли разработать законопроект о преемственности власти, аналог акта о престолонаследии, и добиться принятия Думой закона. Повторяю, для меня не будет выше чести и награды, чем возможность служить под началом Татьяны Борисовны. За что и предлагаю поднять наши звонкие бокалы! — Он быстро осмотрел всех настороженными глазками, проверяя, не наговорил ли лишнего, так ли были поняты его льстивые шуточки. Перед тем как поднести бокал к вялому рту, сделал знак стоящему у дверей служителю. Тот на мгновение исчез, вернулся к столу, неся нарядную золоченую шкатулку. Премьер принял шкатулку, нажал в ней какую-то кнопку, ящичек с мелодичным звоном раскрылся, из него выпорхнула крохотная, выточенная из слоновой кости балерина и под хрустальные переливы музыки стала кружить, поворачивая во все стороны хрупкую ножку. Премьер с поклоном передал подарок имениннице, и та с любопытством, приоткрыв от удовольствия влажные губы, рассматривала забавную шкатулку. Благодарно коснулась плеча Премьера. Все пили шампанское, тянули из блюд лепестки красной рыбы, розовые ломти языка, рассеченные надвое яички с горкой красных икринок. Балерина в шкатулке продолжала танцевать и кружиться.

Поднялся Главный Администратор, столь слабый телом, что казалось, его изможденная шея и хилые плечи едва удерживают тяжелую лысую голову с остатками рыжей растительности. Он держал ножку бокала двумя руками, словно боялся, что не справится с тяжестью хрусталя, и прежде чем начал говорить, некоторое время шевелил губами, словно вспоминал, как произносятся забытые слова.

— Помимо всех перечисленных достоинств, которыми природа щедро наделила нашу дорогую именинницу, я бы особо отметил еще одно, быть может, необязательное для красивой женщины, но абсолютно необходимое для государственного деятеля. Это бесстрашие, умение рисковать и идти до конца во имя цели. Мы пережили много трагических минут, когда решалась судьба страны, судьба власти, наша личная судьба. Кровавый коммуно-фашистский путч. Чеченская война. Последние президентские выборы, совпавшие с опасной болезнью Президента, повлекшей за собой операцию на сердце. Во всех перечисленных случаях власть качалась на шатких весах, нам грозила смертельная опасность. И всегда Татьяна Борисовна проявляла отвагу, жертвенность, неутомимость, и часто благодаря ее воле и оптимизму мы исправляли безнадежную ситуацию. За нашу воительницу, за русскую Жанну д'Арк! — Он поднял двумя руками бокал, как священник подымает дароносный сосуд. Сделал служителю знак выпуклыми, печально увлажненными глазами, и тот поднес к столу старинный кокошник, шитый золотой нитью, украшенный речным жемчугом. — Позвольте, Татьяна Борисовна, я увенчаю вас этим древним русским убором. — Он отпил шампанское, осторожно поставил бокал и, выйдя из-за стола, бережно поместил кокошник на голове именинницы. Та распрямила плечи, приподняла подбородок, свежая, властная, полная соков и сил, поводя глазами, дыша шеей и полуоткрытой грудью. Все аплодировали стоя, а Главный Администратор, довольный, вернулся на место, схватил вилкой скользкий грибок.

Хозяйственник Президента, которого за глаза многие любовно называли Плут, вальяжно приподнял свое тучное тело, облаченное в тонкий дорогой костюм. Жестом опытного за-

стольного декламатора повел рукой, привлекая к себе внимание:

— Это все, — распахнул он руки, уместая в объятия роскошный зал с гербами, знаменами, золоченой геральдикой, с резным тронем и горностаевым пологом, — это все я готовил для вас, для народа, для России. Кто-то говорит, что это де слишком дорого, не по карману, когда кругом такая разруха и голодуха. Но это, скажу я вам, обычное лицемерие. Люди в своей бедности и в напастях придут сюда и радостно ахнут: «Вот она Россия! Жива, сильна, царственна! Значит, можно и потерпеть, когда-нибудь и у меня будет радость!» — Плут поправил на животе расстегнувшуюся рубашу, из которой выглядывал полный живот с крупным пупком. Не смущаясь, зная, что его любят, ценят, глядят сквозь пальцы на его плутовство, поднял бокал. — Уважаемая Татьяна Борисовна, видит Бог, когда я торопился построить этот императорский зал и приглашал сюда лучших ювелиров, краснодеревщиков, скульпторов, я мечтал, что успею к вашему дню рождения. Я подымаю бокал в сердце Кремля, желаю вам счастья и повторяю слова запорожцев в адрес Екатерины Великой: «Будь здорова, как корова, плодовита, как свинья, и богата, как земля!» — Мужским плотским взглядом он осмотрел именинницу, ее открытую белую шею, выпуклую шаровидную грудь, вылепленные под тканью соски. Та благосклонно улыбалась, мерцая жемчужным кокошником, и соски ее еще больше набухли под шелком.

Служитель в белых чулках и завитом парике внес подарок — старинную икону Параскевы Пятницы.

— Покровительница торговли и строительства. — Плут передал икону имениннице, предварительно поцеловав старинное дерево влажными от еды губами. — Будем торговать, будем строить, будем молиться.

Дочь приняла подарок, перекрестилась, приложилась к образу, и служитель отнес подарок к маленькому столику, бережно уложил рядом с другими подношениями.

Следующим говорил Художник с утомленным лицом умного царедворца. Он, рисовавший множество правителей и владетелинов, которые бесследно исчезли из жизни, но сохранились

на его парадных портретах, теперь был среди новых хозяев жизни, пригласивших его на пир. Когда-нибудь он поместит это застолье на свой огромный холст, положит на стол перед пирующими огромную отвратительную ящерицу, на голову именинницы вместо кокошника повяжет черную гремучую змею, Администратору в растворенных губах нарисует два кровавых клыка, карманы Плута будут туго набиты ворованными купюрами, Зарецкий будет держать на коленях голенький трупик задушенного им ребенка, на Премьере генеральский мундир будет надет на голое тело, аляжки под столом будут женские, пухлые, с приоткрытым золотистым лобком. Но все это будет позже, когда присутствующие потеряют власть и влияние. Теперь же его выцветшие губы сложились в тонкую почтительную улыбку, и он с поклоном обращался к виновнице торжества:

— Великие женщины России всегда были ревнителями искусств. Вы, уважаемая Татьяна Борисовна, служите России в том числе и на этом поприще. Когда мэр, невзлюбив меня, отказал мне в Манеже и тысячи москвичей, ожидавших открытия моей выставки, были горько разочарованы, вы, Татьяна Борисовна, замолвили слово перед Президентом за скромного художника, и Москва две недели выстраивалась перед Манежем в тысячную очередь. Ваша любовь к России несомненна, и русские художники ожидают от вас дальнейших благодеяний. — Он махнул служителям, и те, распахнув узорные двери, внесли портрет в тяжелой золоченой раме. Дочь Президента была изображена в бархатном синем платье, с высокой прической. Ее строгое, надменное лицо выражало властолюбие и потаенную страсть, а на белой руке, на запястье, красовался бриллиантовый браслет, точно такой же, что недавно подарил ей Зарецкий.

Все ахнули, любуясь портретом, сравнивали нарисованные бриллианты с настоящими. Дочь встала из-за стола, подошла к Художнику, поцеловала его в бледную, слегка отвислую щеку. Тот поклонился, осторожно прижал к губам ее пальцы.

Застолье продолжалось. Златозубый генерал подарил Дочери кавказскую серебряную вазу с узкой горловиной и черненым узором. Бледноликий брюнет с длинными артистиче-

скими волосами оказался французским архитектором, проектирующим на Лазурном берегу виллу для именинницы. Он подарил ей фломастер, который якобы принадлежал Корбюзье, на ломаном русском пригласил ее весной на Средиземное море справлять новоселье.

Белосельцев испытывал мучительное изумление, болезненное непонимание: почему его привели в этот зал и сделали свидетелем сокровенной встречи? Ему, чужаку, показали закулисную сторону власти, куда не проникал посторонний глаз. Дали подсмотреть придворную сцену, один лишь кадр из которой стоил целого состояния. Кому из присутствующих было важно его появление? Кто из сидевших за овальным столом с яшмовой тяжелой доской и гнутыми золочеными ножками поручился за него? Пришедшие вместе с ним Гречишников и Копейко чувствовали себя среди своих, вступали в разговоры, смеялись, наливали в хрустальные бокалы шампанское. Белосельцев вставал со всеми, протягивал над столом тяжелый, в золотых и лиловых отблесках бокал, слышал, как продолжают нежно гудеть от удара звонкие стенки.

Он стоял теперь с налитым бокалом, среди горящих свечей, нарядных тарелок, хохочущих возбужденных людей, к которым склонялись почтительные слуги в камзолах, и вспоминал, как много лет назад в строгом зале съездов он подымался вместе с тысячью рукоплещущих депутатов, приветствуя появление в президиуме правительственных и партийных вождей. Их темные пиджаки, чопорные одинаковые галстуки. Медлительный косноязычный старец, двигая тяжелым каменным ртом, читал с одышкой доклад, где рассказывалось о строительстве новых городов в Заполярье, о создании боевых кораблей и подводных лодок, о производстве урана и алюминия, о победе национальных движений на континентах Африки и Америки, откуда только что вернулся он, Белосельцев, загорелый, с незажившей под рубахой раной, с орденом на груди. Он стоял теперь в той же точке пространства, где была испепелена огромная эра, свернулась, словно пыльный ковер, и была унесена прочь история его жизни. Казалось, насмешливый и злой режиссер, изобретательный, как Мейерхольд, поставил его в бутафорский расцвеченный зал, перед

муляжами гербов, перед пластмассовым тронem, размалеванным бронзовой краской, над которым свисал искусственный мех, раскрашенный под горностаю. Кому понадобился этот жестокий театр, в котором он играет роль страдальца с помутненным рассудком?

— Мне кажется, и пусть меня поправят, если я заблуждаюсь, нам бы следовало слегка придержать финансовые потоки на Кубань, к Кондратенко. — Премьер промокнул крахмальной салфеткой маленький, как у улитки, рот, приготовив влажные от еды губы к серьезному разговору. — Батяка Кондрат со своими антисемитскими высказываниями, дикими, на всю Россию, заявлениями о «жидах», становится опасен. Его влияние растет, и казачий юг России приобретает в его лице вождя, готовящего деникинский поход на Москву. Мне кажется, с этим больше невозможно мириться. Его следует наказать рублем. Пусть к его резиденции придут голодные пенсионеры, безденежные учителя и матери-одиночки, и он им расскажет о «жидах», — Премьер победно улыбнулся, довольный своей изобретательностью и изощренным чутьем, угадывающим царящие за столом настроения. Однако его настороженные глазки продолжали бегать от Зарецкого к Администратору, останавливаясь на мгновение на Дочери, от которой он ожидал одобрения.

Дочь бережно сняла с головы жемчужный кокошник, вручая его подоспевшему служителю, этим самым давая понять, что праздничная программа выполнена и можно приступить к обсуждению государственных дел, во имя которых они и собрались в тронном зале Кремля.

— Я думаю, это рискованно и несвоевременно, — произнесла она задумчиво. — В ответ на это строптивый Батяка может задержать у себя урожай кубанской пшеницы, что создаст угрозу голода в других регионах. К тому же Кондратенко станет мешать прокладке нефтепровода к новороссийским терминалам, а это больно ударит по нашим дружественным нефтяным компаниям. — Она многозначительно взглянула на Зарецкого, перехватившего ее взгляд и склонившего в знак согласия голову. — Я бы на месте правительства выплачивала ему деньги в полном объеме, но при этом просила ФСБ следить

за их целевым использованием. В случае нарушений, что неизбежно, завела уголовное дело. Контроль рублем я бы заменила контролем спецслужб, которые смогут оказывать на Батьку-антисемита мягкое и эффективное давление. — Она завершила фразу и стала разглядывать бриллиантовый браслет, любуясь переливами света.

— Хотел посоветоваться. — Администратор сжал у груди длинные сухие ладони. — Накануне голосования в Думе мы, как водится, провели профилактику депутатов, не выйдя за пределы установленных сумм. Ну, Жириновский, разумеется, взял все деньги разом, в одном конверте, не делясь со своим поголовьем. Коммунисты всегда берут стыдливо, с опаской, меньше, чем им выделяют, не зная себе цену, однако необходимое число голосов мы среди них наберем. А вот «Яблоко» по-прежнему сохраняет девственность, берет не деньгами, а исключительно министерскими портфелями. Может быть, я думаю, посулить Явлинскому пост Премьера в следующем кабинете и держать его на этом крючке вплоть до голосования по бюджету? — Администратор посмотрел в сторону Премьера, чье мятое, бабье лицо покрылось малиновыми пятнами возмущения. — Это не более чем уловка!.. Червячок для Явлинского!..

У Дочери возмущение Премьера вызвало едва заметную улыбку удовольствия.

— То, что вы делаете с бедным Явлинским последние несколько лет, должно окончиться для него психиатрической клиникой, — сказала она, тронув Премьера за локоть, успокаивая, давая понять, что он по-прежнему в милости. — Бедный, он так стремится стать Премьером, а потом Президентом, так пылко об этом мечтает, репетируя перед зеркалом присягу на Конституции, что когда в очередной раз проигрывает, с ним случается срыв, он рыдает, у него появляется тик, раздвоение сознания, и он исчезает из политики на длительное время.

Она засмеялась своей шутке, остальные вторили ей.

— Прошу меня извинить, что я опять со своим. — Густоволосый генерал сжевал и проглотил кусок золоченой кровли. — Может быть, я и не прав, но слухи относительно командующего Дальневосточным округом подтверждаются. Скрытый

коммунист, ведет в войсках пропаганду. Высказывается в защиту сербов, хочет возглавить русский экспедиционный корпус на Балканах. Его опасно держать на таком посту. Все-таки у нас на Востоке развернута одна из самых больших группировок. Я бы еще раз хорошенько его проверил да и отправил в отставку, чтоб не мутил воду. — Лицо генерала, минуту назад дурацкое и хохочущее, приобрело мстительное и жестокое выражение, словно крамольно мыслящий командующий был его личным врагом и генерал сводил с ними какие-то давние счёты.

Дочь раздумывала над наветом генерала, и ей, по-видимому, доставляла удовольствие мысль, что в ее силах вершить самые ответственные и деликатные дела государства. Однако это требовало обдумывания. Невозможно было рубить сплеча.

— Его нельзя отправлять в отставку, — произнесла она, отыскав взвешенное решение, — он слишком влиятелен в войсках. Его отставка вызовет разнотолки не только у нас, но и в Китае, и в Японии. Я слышала, освобождается вакансия начальника Академии Генерального штаба. Вот туда его и назначим. От войск подальше, к нам поближе. Вы ведь сами говорили, что Академия в условиях сокращения войск готовит комдивов и командармов для несуществующих дивизий и армий. Вот и пусть формирует добровольческий полк из безработных генералов, едет с ними добывать Милошевичу Косово.

— Татьяна Борисовна, вам бы стать Министром обороны, честное слово! — восхитился генерал, вновь отгрызая невесть откуда кусок золота. — А то нынешний больно плох, одним ухом не слышит, одной ногой не ходит! — и захохотал, приглашая остальных потешиться над престарелым глуховатым маршалом, кого в войсках называли «дедуська».

— Ну уж если мы злоупотребляем временем, отведенным на праздник, и отвлекаем именинницу на решение государственных дел... — Администратор свесил голову. — Я бы хотел обсудить кандидатуру на Государственную премию по литературе. Вчера был в московском Пен-клубе, и там в один голос назвали замечательную книгу нашего известного писателя. — Администратор замолчал, пошлепав большими губами воздух, словно тренируясь перед тем, как выговорить трудное имя,

а потом назвал писателя, чью книгу о судьбе гомосексуалиста, страдающего от непонимания и одиночества, азартно обсуждали газеты и журналы и по которой уже начал сниматься фильм с известной рок-звездой в главной роли. — Мне кажется, присудив эту премию, мы исправим несправедливость по отношению к сексуальным меньшинствам, страдающим от общественного порицания и церковного осуждения. Привлечем на свою сторону многих талантливых режиссеров, художников, модельеров, ждущих с нашей стороны подобных знаков внимания.

— Почему же только художников и модельеров? — Зарецкий зло хохотнул, ударив в хрустальный бокал зубами. — Помоему, многие в Администрации Президента воспримут эту премию как личную удачу! — И, увидев, как в подслеповатых глазах Администратора вспыхнули зеленоватые огоньки ненависти, сделал рот бантиком и стал поводить плечами, изображая кокетливую женщину, намекая на известную всем аномалию Администратора.

Дочь с веселой гримасой наблюдала эту комическую, длившуюся несколько секунд сценку.

— Я думаю, повременим с присуждением премии. Мы должны дорожить нашими отношениями с Церковью. Хотя, как мы знаем, некоторые церковнослужители не уступят своими романтическими наклонностями самому Версаче. Я бы предложила другого писателя. — Она назвала имя прозаика, считавшегося последователем Юрия Трифонова. — Рекомендую его книгу о герое современного духовного подполья, в котором каждый из нас в той или иной степени узнает себя. — Она улыбалась, глядя остановившимися глазами в одну точку, на хрустальный подсвечник.

Белосельцев пугался поверить, что его допустили в самую сердцевину власти, где влажными от жира губами, под дурные намеки и гнусные шуточки, принимают решения, от которых возносятся и гибнут карьеры, исчезают могучие армии и гаснут научные школы, нефть по огромной черной трубе, мимо остывших городов и голодных селений, утекает за море, и на этой трубе, как на спине огромного змея, восседает голая блудница в жемчужном кокошнике.

Он хотел понять, чего желают соратники, заманившие его в этот помпезный зал, напоминающий позолоченную маску на лице мертвеца. Но Гречишников и Копейко, забыв о нем, с удовольствием поглощали вкусную еду, оживленно беседовали с соседями. Белосельцев заметил, как с розовой куропатки, которую переносил в свою тарелку Копейко, упала на махитовый стол жирная капелька.

— Пользуясь случаем, Татьяна Борисовна, как говорится, к столу будь сказано, — Плут шурился, рассылал во все стороны синие счастливые лучики, — не пора ли вашему уважаемому батюшке подписать президентский указ о строительстве зимней резиденции под славным городом Клином? Место изумительное — холмы, леса, трамплин, горнолыжная трасса. Тут же рядом охотохозяйство, подледная рыбалка. Сам ездил, осматривал. Проект резиденции готов. Не так ли, господин Дюран? — Плут повернулся к французу-архитектору. — Смета готова. Фирма-изготовитель проверена. Может сделать кремлевский зал, или, если пожелаете, синагогу, или египетскую пирамиду, или виллу на Ривьере. Я, грешным делом, подумал, зачем ездить куда-то в Швейцарские Альпы, когда рядом, почти под Москвой, своя Швейцария, только лучше. Тут тебе и слалом, и охота на лося, и теплый бассейн, и апартаменты по шестизвездочному стандарту. Давайте построим, Татьяна Борисовна! У каждого царствования свои архитектура и памятники! Может, кто-то и разрушал эти годы Россию, а уж мы в нашем ведомстве строили, как никто. Как при Петре и Екатерине Великой, дворцы и усадьбы!

Плут озираал гостей, ожидая одобрения от благодушной именинницы. Но та вдруг потемнела, гневно подняла глаза, и на ее лбу пролегла злая тяжелая складка.

— Не хватит ли этих проверенных фирм-изготовительниц, от которых не отмыться, как от дерьма! Может, пора поумерить аппетиты, чтобы не лопнуть! Алексашка Меньшиков и дворцы строил, и казну воровал, но ведь получал от царя затрешины! Вы втянули меня и отца в эти швейцарские дразги, от которых идет гул по всем мировым газетам. Ничего не скажешь, вы дали отличный козырь врагам отца и врагам России, впутав меня в свои махинации. Вчера, когда отцу докладыва-

ли о ходе скандалов, связанных с этими кремлевскими залами, — она ненавидяще оглядела люстры, гербы и знамена, — когда ему читали вырезки из «Монд», «Шпигель» и «Нью-Йорк таймс», с ним случился приступ, и мы хотели снова везти его в Центральную клиническую больницу! Это ты, — она резко повернулась к Зарецкому, произнесла грубое площадное ругательство, — ты втравил меня и отца в свои дерьмовые махинации, чтобы связать нас одной веревкой и утопить вместе с собой. Не выйдет! Веревку обрежем, тони один! Многие у нас и за границей порадуются, увидев, как в твой труп впились раки! Да вот беда, — Дочь криво ухмыльнулась, цокнула ртом и полезла отточенным ногтем доставать из зубов застрявшую рыбью косточку, — ты все не тонешь, потому что легче воды!..

Зарецкий вздрогнул от оскорбления. Из суетливой белки превратился в малинового пятнистого осьминога с фиолетовыми выпученными глазами. Сидел, мелко сотрясаясь, переваривая чернильные яды. Из жестокого моллюска снова превратился в злую рассерженную белку.

— Не могу понять, как произошла утечка, — говорил он, поворачиваясь к Копейко, — мы спрятали все концы в оффшорных зонах, засекретили банки, сделали переводы на подставные фирмы. Нигде не фигурировали имена, объекты и суммы. Неужели против нас работает ФСБ? Неужели долбаная служба работает против самого Президента? Неужели деньги, которые я закачиваю в этих поганных разведчиков, оборачиваются против меня? Сколько мы можем терпеть этого слюнявого директора во главе ФСБ? Он ведь враг, враг! Пора его вышвырнуть вместе с Прокурором и Мэром, пока они не спровоцировали импичмент!.. — Зарецкий последние слова произнес с тонким тоскливым вскриком. И чтобы вернуть самообладание, жадно, залпом выпил бокал шампанского, показывая служителю, что бокал его пуст.

— Мы обсуждали эту проблему, — смиренно сказал Копейко, — она сводится к тому, чтобы в ФСБ произвести замену директора.

— Не только директора! — Довольный тем, что гнев именинницы лишь краем его ошпарил, а весь удар пришелся на узкую плешистую голову Зарецкого, Плут изобразил высшую

степень негодования, и его полные мясистые щеки стали похожи на две фляги с вином. — Не только долбаного директора, но и долбаного Прокурора, и долбаного Мэра, и долбаного Астроса, вашего, я извиняюсь, недавнего друга! — Плут едко посмотрел на Зарецкого, желая его уязвить. — Президент столько им сделал добра, столько прощал, из рук кормил, а они, как неблагодарные суки, стали его кусать

— Ненавижу предателей! — Лицо Дочери огрубело, на нем выступили белые хрящи. Оно отяжелело, стало почти мужским, в набрякших складках и линиях, в маленьких оспинах и пятнах пигмента. По этим внезапно проступившим чертам можно было судить, какой она будет в старости, когда исчезнут молодая припухлость щек и сочная женственность губ. Все, кто сидел за столом, испугались того, как стала она похожа на своего отца. — Ненавижу! — повторила она. — Когда отец был здоров и в силе, они ползали перед ним по земле, целовали его ночную туфлю... Помню, Мэр приехал поздравить папу на Новый год. У нас гостила племянница, совсем малютка. Мэр опустился на четвереньки, стал изображать собаку, лаял, хватал зубами папу за брюки... Отец, вы знаете его шуточки, желая повеселить девчушку, кинул Мэру на пол говяжью кость, и тот, что бы вы думали, схватил ее по-собачьи и стал грызть!.. Теперь, когда папа слаб, болеет и мы все боимся, что он умрет, они на него ополчились! Травят, науськивают народ, оскорбляют прилюдно. Этот тайный блудник Прокурор, от которого веют тлетворные ветерки порока, он готов завести на отца уголовное дело! Этот мерзкий Астрос, которому мы подарили телеканал, продали за копейки, в благодарность поливает нас грязью. У них одна мечта — отстранить отца от власти, выдать нас толпе, чтобы с нас срывали одежды, топтали ногами, как Чаушеску! Или посадить всей семьей в клетку и держать там до расстрела!.. Это ужасно, ужасно! — Она закрыла лицо ладонями, и все думали, что она станет рыдать. Но слезы не достигли глаз, расточились по сосудам и венам. Она отняла от лица руки, сидела прямая, с покраснелыми веками, с пульсирующей синей жилой на шее.

Белосельцеву не было ее жаль. Он испытывал к ней гадливость, чувствуя ее несвежую, увядающую плоть, скрытые

под дорогим платьем и тонким бельем запахи, болезненные выделения, слизистые покровы, требующие постоянного возбуждения и утоления. Ее страхи, семейное горе, рыдания среди имперских знамен и штандартов, хрусталей и уральских самоцветов были смехотворны на фоне умирающей огромной страны.

Высокие двери зала, украшенные гербами, золотыми кирасами, греческим меандром, растворились, и в зал вошел человек. Никто не обратил на него внимания. Он был невысок, ладен, в скромном сером костюме. Его лицо было спокойно, приветливо. Светлые глаза внимательно, без удивления осмотрели застолье, к которому он двинулся по паркету легким шагом, взмахивая правой рукой чуть сильнее, чем левой. Приблизился к насупленному, отяжелевшему от выпивки Плуту, наклонился и что-то сказал ему в ухо. Плут кивнул, ткнул пальцем в стоящий рядом пустующий стул, и вошедший послушно опустился рядом. Молча, слегка улыбаясь, стал прислушиваться к разговору, стараясь уяснить для себя, в чем суть охватившего всех раздражения, как затронуты интересы и чувства присутствующих.

Белосельцеву показалось разительным его отличие от страстных, властолюбивых персон, каждая из которых сверяла свою величину и значение по влиянию и значению соседа, чутко следя за тем, чтобы неверным словом и жестом не был нарушен невидимый табель о рангах. Вошедший человек не был включен в эту невидимую иерархию. Был посторонен, асимметричен. Из иного чертежа отношений. И этим привлек Белосельцева.

— Кто это? — спросил он у сидевшего рядом Гречишников.

Тот промолчал, передавая архитектору Дюрану блюдо с фиолетовым виноградом.

— Кто этот маленький человек, похожий на шахматного офицера? — повторил вопрос Белосельцев.

Гречишников дождался, когда француз положит на тарелку тяжелую гроздь. Поставил на место стеклянное блюдо. Повернулся к Белосельцеву и тихо сказал:

— Это Избранник.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Белосельцев был поражен. Избранник явился без звука, без колокольного звона, без гонца и предтечи, возвещавшего о его приближении. Прошел по слюдяному паркету, как по тонкому льду. Лед выдержал его легкую поступь, не прогнулся, не хрустнул, словно вошедший был невесом. Он сидел за столом на пиру нечестивых, и мерзость застолья, скверна произносимых речей не касались его. Он был тих и невнятен, как дремлющее зерно, таящее в себе будущий урожай. Будущее, которое в нем содержалось, могло проявиться мятежами и войнами, грядущей победой или необратимым поражением. Белосельцев старался поймать у Избранника слабый жест, невзначай произнесенное слово, чтобы угадать, каким будет будущее.

Он был счастлив, что Избранник, находясь среди врагов, ничем не обнаружил себя. Оставался ими неузнан. Был укутан невидимым облаком, сберегавшим его. Если бы пугливые зрачки Премьера, или змеиные, упрятанные в костяной череп стекляшки Администратора, или подозрительно и остро взирющие глазки Зарецкого, или волоокий мутноватый взгляд Дочери, или пронзительный взор Художника разгадали его, ему грозила бы немедленная гибель. Белосельцев восхищался его выдержкой и спокойствием.

Перестал на него смотреть, чтобы своим пристальным вниманием не раскрыть его. И снова исподволь взглядывал, стараясь постигнуть суть человека, которому уже начал служить, принес присягу на верность и за которого, если потребуется, добровольно погибнет.

Избранник сидел прямо, в свободной позе, положив на край стола небольшие красивые руки. Застолье продолжало шуметь, возмущаться, бурно бранить Прокурора и Мэра, усматривая в них угрозу своему благополучию и власти. Не ведало, что к ним за стол тихо подседа их смерть. Эту смерть Белосельцев должен был охранять и беречь, как свою жизнь, а также жизнь тех, кто еще не успел умереть.

— Он знает о нашем плане? — тихо спросил он у Гречишникова. — Посвящен в «Проект Суахили»?

— А разве обязательно знать?

Плут заволновался, заерзал. Стал бегать глазами.

— Слушай, забыл свой мобильник в прихожей, — обратился он к сидящему рядом Избраннику. — Сходи, принеси.

Тот послушно встал. Вышел из зала. Снова вернулся, неся телефон. Любезно, с легким поклоном протянул хозяйственнику. Плут, не поблагодарив, вылез из застолья. В дальнем углу зала, под имперским трехцветным знаменем, стал набирать светящиеся кнопки.

— Изумляюсь тебе, умной, отважной, дальновидной! — Зарецкий накрыл своей желтоватой, малярной рукой пухлую ладонь именинницы. — Ты боишься народа? Боишься народного гнева? Русского бунта, бессмысленного и беспощадного? Боишься, что твоим пеплом зарядят Царь-пушку и пальнут через кремлевскую стену? Что тебя задушат шелковым шарфом в коридорах Теремного дворца? Рванут бомбой твой «мерседес» на Успенском шоссе? Что в ваш дом придут суровые стрелки и застрелят тебя, твою сестру, твоего отца и мать, весь ваш августейший род? Ты всего этого боишься? — Он смеялся, открывая желтоватые резцы. Кожа на его лице, на лысой голове, на волосатой руке стремительно желтела, наливалась таинственным пигментом, словно он был хамелеон и менял окраску в соответствии с переживаниями и эмоциями. Желтый гепатитный цвет соответствовал сарказму и иронии. — Ты хочешь сказать, что сегодня русский народ способен, подобно сербам, устроить этнические чистки и у русских есть свой Караджич? Полагаешь, что русские, подобно палестинцам, с камнями и бутылками способны пойти на танки и начать священную интифаду и у них есть свой вождь-федаин Арафат? Не бойся, здесь этого нет и не будет! Солнце русской поэзии, русской литературы, русской революции погасло, и мы живем под призрачным светом мертвой русской луны! — Его лицо стало мертвым, голубым, по невидимым сосудам и жилам побежали фиолетовые соки. — Русский народ мертв, он больше не народ, а быстро убывающая сумма особей, за популяцией которых мы пристально наблюдаем, регулируя ее численность, исходя из потребности рабочей силы и затрат на ее содержание!

— Эта мысль вызвала в нем прилив жара, и он стал краснеть, багроветь, как лакмус, опущенный в кислотный раствор.

— Мы вырвали у народа его волю, язык, глаза, отсекали семенники, наложили на него большую ременную шлею, и теперь это народ-мерин, больше не способный скакать, а только жалко волочить по мерзлой обочине свои пустые сани, принимая от нас, как милость, охапку гнилого сена!

Все слушали его, затаив дыхание, следя не столько за потоком его мыслей, сколько за преобразованиями его плоти, в которой совершалась волшебная химия, возникали разноцветные растворы, двигались волны цвета, сыпались лучи дискотеки, и он был частью колдовской цветомузыки. Одна его половина была малиново-красной и быстро темнела, как фонарь в фотолаборатории, а другая становилась золотистой, словно чешуя рыбы, скользнувшей под стеклом аквариума.

— Мы отняли у народа его страну, он отдал нам ее без боя, и мы разломали ее на части, как плитку шоколада, поглощаем по частям эти сладкие ломтики. Мы отобрали у рабочих и инженеров великолепные заводы, где они изготавливали атомные реакторы и космические корабли, заставили их производить пластмассовые бутылки для пепси-колы, и они послушно их стали штамповать на поточных линиях, где еще недавно производились лучшие перехватчики мира. Мы отняли у ученых циклотроны и обсерватории, компьютерные центры и научные полигоны, и атомные физики в обносках смиренно стоят на толкучках, продают турецкие колготки и китайские плюшевые игрушки. Мы покончили с русской военной мощью, перед которой трепетала Америка, привели в негодность танковые и воздушные армии, разрушили атомный флот, взорвали ракетные шахты. Мы уничтожили военную науку и Генштаб, перессорили генералов, а остатки бессильных контингентов кинули в Чечню, под гранатометы Басаева, набив морги непознанными телами солдат. Мы остановили, развернули вспять, сбросили в овраг, завалили отбросами, залили бетоном русскую культуру, устроив на этом месте дансинг с бесплатной марихуаной, и исколотые девочки под музыку Купера танцуют, не ведая, что под ними, глубоко зарытые, истлевают иконы Рублева, книги Толстого, скульптуры Цандера.

Зарецкий стал терять очертания, лишался формы и цвета, растекался, словно студень, колебался, как огромная плаваю-

щая медуза. В его прозрачной синеватой глубине, среди слизи и влажных пленок, едва заметно темнела туманная сердцевина, таинственная скважина, соединявшая эту реальность с другой, запредельной, из которой вытек загадочный водянистый пузырь, чтобы снова в нее утекь и всосаться.

Белосельцеву казалось, что дурной режиссер продолжает абсурдистский спектакль. Актер, загримированный под Зарецкого, с характерным носом и мимикой, играет роль русофоба, собрав воедино все подпольные страхи, все угрюмые толкования о «заговорах», все болезненные знания и домыслы, напечатанные неразборчивым шрифтом в бессчетных брошюрах и книжках, в мелких листках и газетках. И все, кто сидел за столом, слушали его слова, несущиеся под гулкими сводами.

— Если захотим, мы сгоним их с территории к железной трубе, проложенной из-за Урала в Европу, по которой текут русские нефть и газ. И они будут жаться к этой трубе, как крысы, замерзающие на морозе, и из них уцелеют лишь те, кто сумел прислониться к нефтяной магистрали. Если они станут вдруг размножаться, мы прикажем их женщинам перестать рожать, предложим мужчинам безболезненную стерилизацию. Если это не поможет, мы столкнем их в гражданской войне, и пусть они убивают друг друга, русские режут татар, татары стреляют в башкиров, а якуты под бубны шаманов станут курить первобытную трубку мира, в то время как мы займемся их кимберлитовой трубкой. Зараженных СПИДом, туберкулезом и сифилисом, пьяниц и наркоманов мы отправим за Полярный круг, где они тихо уснут от переохлаждения, на радость песцам и росомахам. А у здоровых мы станем брать кровь и органы и продавать в медицинские центры Израиля, утоляя ностальгические чувства евреев — выходцев из России, чтобы у них не прерывалась связь с их второй Родиной.

Зарецкий налил себе полный бокал шампанского и выпил залпом, погрузив иссохшие губы в шипящую пену и хрустальные радуги. Помолодел на глазах, на его лысеющем желтом черепе образовалась иссиня-черная волнистая шевелюра, лицо стало бледным и красивым, как у киноактера в немом кино, и на этом черно-белом жгучем лице краснел яркий сочный рот.

— Ты не должна бояться, — он крепко сжал запястье Дочери, — ты находишься под нашей защитой, и тебе не страшны ряженные мужики из кинофильмов о Пугачеве и Ермаке, снятых на наши деньги для показа туземным зрителям. Мы сделали твоего отца Президентом, когда это было несложно, и русский народ слюнявил один на всех карамельный леденец под названием «демократические ценности». Мы сделали его Президентом, когда это было почти невозможно, когда народ его ненавидел, а он сам умирал от гниения сердца. Я держал его холодное запястье без пульса, с малиновыми трупными пятнами, когда приборы кардиологического центра показывали клиническую смерть. Я послал самолет в Америку за стариком Дебейки, и пока он летел над Атлантикой, я поехал в банк донорских органов, где держали на искусственном кровообращении вологодского солдата с простреленным черепом и с отличным здоровым сердцем патриота. Я наблюдал, как ему извлекают из грудной клетки сердце, кладут в хромированный сосуд с жидким азотом, сам вез по Москве этот драгоценный сосуд русской государственности, торопясь доставить в клинику к прилету Дебейки. Этот великий кудесник, похожий на сморщенную обезьянку, пересаживал твоему мертвому отцу сердце юноши, и я видел, как оно погружается в пустую, похожую на синий сундук, грудь и на осциллографе возникает первый всплеск воскресшего Президента. Теперь, когда ты видишь, как у твоего отца проваливаются глаза и изо рта начинает пахнуть могилой, объясняй это тем, что он побывал на том свете. А когда он начинает буйно танцевать под «Калинку-малинку» или «Вдоль по Питерской», это танцует в нем сердце юноши, которое не дотанцевало в другом, молодом теле.

Дочь, которую Зарецкий по-прежнему держал за запястье, оцепенела, глаза ее остановились и остекленели, из полукрытого рта едва доносилось дыхание. Она была под гипнозом, в полной власти красавца чародея.

— Не бойся, милая, кроткого русского народа, за который день и ночь молится его Патриарх. Русский народ в душе монархист, пусть меня поправит наш великий живописец. — Зарецкий поклонился через стол Художнику, который фломас-тером Корбюзье делал эскиз на салфетке. — Под колокольные

звоны и вынос чудотворных икон мы провозгласим твоего отца царем Борисом Вторым, а потом наш утомленный правлением царь, посасывая нарядную пустышку, сделанную из натурального соска певицы Мадонны, отречется от престола в пользу любимой дочери. В твою пользу, моя дорогая...

Белосельцев понимал, что это фарс, талантливая изуверская игра великолепного актера, который играл постоянно, — на бирже, на взвинченных нервах истерической публики, на противоречиях финансовых конкурентов, в казино, за ломберным столом, на слабостях немощного Президента, на скрипке, на саксофоне. Он играл и сейчас, импровизируя, пугая игрой робкую горстку людей, которые зависели от его воли и прихоти.

Белосельцеву стало тошно и страшно. Ему хотелось подняться, приблизиться и ударить что есть силы в лицо красавца. Он уже поднимался, но успел взглянуть на Избранника. Тот сидел, спокойный, потупясь, едва заметно улыбался.

— Мы устроим твою коронацию в этом зале, при великом стечении народа. Будут наши генералы, командующие армий и округов в плюмажах, лосинах и начищенных ботфортах. По Москве-реке во всей своей гордой красе поплывет наш флот, состоящий из ста петровских ботилов и двухсот весельных сверхсовременных галер. Над Кремлем проплывут наши воздушные армии из раскрашенных бумажных драконов и крылатых китайских фонариков. Прибудут тебя поздравить представители всех политических сил. Коммунисты в шитых кафтанах, монархисты в тюбетейках, демократы в конногвардейских шлемах, славянские молодцы в ермолках. И все в один голос воскликнут: «Правь нами, царица Татьяна!» И ты, приветливая, милостивая, в бархатном синем платье, пройдешь через зал и сядешь на трон.

Зарецкий поднялся, вывел из-за стола именинницу и, легко пританцовывая, подвел ее к трону, усадил под горностаевый полог, и она, околдованная, испытывая блаженство, с полубезумной улыбкой, послушно уселась, а Зарецкий пал перед ней на колени:

— Да здравствует ее императорское величество, государыня-императрица Татьяна Великая!

Все встали из-за стола, подняли бокалы с шампанским, чокаясь.

За дверями дворцового зала раздался негромкий шум, створки растворились, у бело-золоченых косяков возникли два молодца с проводками антенн, торчащими из ушей. На пороге медленно, тяжко возник Президент. Быть может, он возвращался из кремлевского кабинета, где под трехцветным штандартом, среди роскоши и драгоценного блеска вяло и сонно листал государственные бумаги, ставя кое-где наугад нечеткую подпись. Или захотел взглянуть еще раз на великолепие царственных залов, которые он возвращал России, изгоняя из Кремля последние знаки большевистской эпохи. Он стоял на пороге, мутно глядя на веселое пиршество, на Дочь, восседавшую на троне под горностаевым пологом, на Зарецкого, упавшего перед ней на колени. На нем был надет застегнутый плащ, ниспадавший колоколом почти до земли, скрывавший одутловатое грузное туловище, которое постоянно мерзло от замедленного движения крови, и он надевал под плащ множество теплых вещей.

Премьер в испуге уронил салфетку. Плут от неожиданности разбил бокал, и шампанское растекалось по яшмовому столу. Администратор кинулся было в сторону, желая отмежеваться от фривольной компании, но застыл на месте под оловянным взглядом хозяина. Генерал вытянулся по стойке «смирно», и казалось, вот-вот пойдет строевым шагом навстречу Верховному. Зарецкий встал, отряхивая колени, превращаясь из демонического киноактера в сутулого узкоплечего вырожденца с лысым черепом и глазами испуганной белки. Именинница словно проснулась, виновато покинула трон и, поправляя прическу, смущенно вернулась к столу.

Президент видел совершаемое непотребство, скверну, занесенную в царственный зал. В нем подымался гнев, но холодная кровь, вяло толкаемая больным и немощным сердцем, не разносила толчки гнева по тучному недвижному телу и вместо ярости, слепого бешенства, породила тупую боль головы, ломоту костей, унылую тоску, от которой на лбу прорезалась одинокая морщина страдания.

Белосельцев смотрел на того, кого ненавидел все эти годы столь сильно, что сама эта ненависть стала источником жиз-

ненных сил. Тот, кто толчком ноги опрокинул страну, воитель, один одолевший могучую партию и разведку, оратор, прочитавший с танка смертный приговор коммунизму, беспощадный палач, спаливший Парламент и перебивший из пулемета тысячу безоружных людей, тиран, превративший цветущий Грозный в обугленный котлован, — этот человек стоял теперь бессильный и дряблый. Белосельцев, изумляясь, испытал к нему подобие сострадания.

— Веселитесь? — спросил Президент от порога, не ступая в зал. — Хотите меня в тираж списать?... Да вас без меня сразу повесят, так вы народу обрыдли... Скоро сам уйду, сил больше нету... Хотите жить, ищите преемника... Хорошо ищите, а не то найдете такого, кто вас живьем закопает... Еще есть у вас пара месяцев, а потом поздно будет, — умолк, покачнувшись, будто прихлынула к голове дурная кровь и все скрылось в красном тумане. Повернулся и исчез в дверях, увлекая за собой молодцов с антенками, торчащими из ушей.

Все облегченно вздохнули. Премьер нагнулся, подбирая салфетку. Плут налил шампанское в чужой бокал и жадно выпил. Генерал громко гоготал, рассказывая анекдот. Администратор цапнул вилкой ломтик севрюги и мелко жевал. Белосельцев стоял рядом с Гречишниковым и Копейко, оглядывал зал, желая увидеть Избранника. Но того не было. Он незаметно исчез, неясно в какую минуту.

К ним подошел Зарецкий, возбужденный и злой. Обратился к Копейко:

— Надо кончать с Прокурором! Я держу службу безопасности, соизмеримую с государственной спецслужбой... Располагая средствами, которые я вам предоставил, вы можете, наконец, остановить Прокурора?

— Считайте, что он остановлен. Через несколько дней мы заставим его уйти в отставку. Но этого мало.

— Что еще? — Зарецкий нервно ломал желтоватые пальцы, издавая неприятные хрусты.

— Мы должны сменить Директора ФСБ. Вы правильно сказали, что этот тип куплен на корню Астросом и работает против нас. Необходимо поставить там надежного человека.

— Подберите кандидатуру. Я поговорю с Татьяной. Президент подпишет указ. Но не раньше, чем вы остановите этого долбаного Прокурора.

— Считайте, что он остановлен.

Зарецкий отошел к столу, где снова ели и пили.

— Мы можем идти, — сказал Белосельцеву Гречишников. — Полдела сделано.

Не прощаясь, они вышли из парадного зала.

На выходе из Боровицких ворот постовой механическим жестом отдал им честь. Они подымались по Каменному мосту от Кремля, над рекой, по которой ветер водил легким серебряным веником. Навстречу скользили машины. «Ударник», словно мучаясь тиком, дергал бледной рекламой «Рено». «Дом на набережной» смотрел печальными глазами расстрелянных комиссаров.

— Ты показал мне мерзость, — Белосельцев мотнул головой на Кремль, где за розовыми стенами, среди золотых куполов чьи-то желтые зубы продолжали драть мясные волокна, шматок жирной рыбы падал на драгоценный паркет, мокрые губы громко тянули шампанское, — я должен был это видеть? Зачем?

— Видеть, чтобы ненавидеть, — засмеялся Гречишников. — После этой встречи нам легче будет осуществить операцию «Прокурор», в которой тебе выделена ключевая роль.

Комиссары в красных петлицах и ромбах смотрели из окон большого дома. Над потоком глянцевитых машин возвышалось здание времен сталинизма. На крыше трепетала реклама в виде красной бабочки, созданной из стеклянных газовых трубок. Белосельцев смотрел на бабочку, как на символ своей прожитой жизни, который следовал за ним на всех континентах, над полями сражений, горящими городами и селами. Старался припомнить, на каком цветке — в пойме Меконга, на топком берегу Рио-Коко или в африканской саванне — он видел эту красную бабочку.

— В чем суть операции «Прокурор»?

— Прокурор осторожен и чуток. Он оружие Мэра и Астро-са в их смертельной войне с Истуканом. Он ощущает себя ра-

кетой, которую будут сбивать. Множество глаз и радаров следят за его полетом. Он не догадывается, что это мы через швейцарских юристов сбрасываем ему информацию. Наименование оффшорных фирм и криминальных банков, через которые кремлевские воры утягивают из России огромные состояния. Он крайне осторожен в высказываниях, нелюдим, не идет на контакты. Хочет затеять громкие дела против Истукана и его окружения в момент президентских выборов. У него две слабости. Тайно блудлив и время от времени хватает на бегу лакомые кусочки. И коллекционирует бабочек, покупая их во время зарубежных поездок. Кичится своей великолепной коллекцией. Эти слабости его и погубят, если ими умело воспользоваться...

Белосельцев вспомнил африканский глянцевитый куст с розовым соцветьем, на котором сидела красная, напоминавшая алебарду, нимфалида.

— Ты выманишь его на свидание. Он домогается встречи с тобой, мечтает посмотреть твою замечательную коллекцию. Хочет обменять ангольских бабочек, пойманных тобою в долине Кунене, на своих, бразильских, купленных на рынке в Сан-Паулу. Ты назначишь ему свидание в квартире, которая расположена в этом доме. — Гречишников указал на сталинское строение, увенчанное стеклянным газовым ангелом. — Мы развесим по стенам твою коллекцию. Ты станешь рассказывать ему о своих боевых трофеях, добытых не автоматом Калашникова, а кисейным сачком. Твоя секретарша, которая на самом деле будет валютной проституткой из гостиницы «Метрополь», станет потчевать вас коньяком, очаровывать Прокурора. «Эликсир любви», который она нальет в рюмку, усыпит его бдительность, сделает сентиментальным и страстным...

Красная нимфалида сидела на цветке среди эфирных испарений, и он тянул к ней сачок, готовясь ударить, прочерчивая зрачком траекторию. Тянулся сачком, умоляя незримого лесного божка, владеющего африканской опушкой, повелевающего бабочками, антилопами, птицами, чтобы он даровал ему эту добычу. Знал, что промахнется и бабочка от него улетит.

— Прокурор останется наедине с валютной красавицей, и та обольстит его. На широкой кровати он возбудит не уголовное дело, а нечто иное, на что будут направлены две телекамеры, спрятанные в потолке и стене. Когда он наконец застегнется на все свои прокурорские пуговицы и покинет квартиру, мы уже будем рассматривать уникальные кадры, которые войдут в анналы отечественной юриспруденции. Копейко смонтирует отличную ленту под музыку из кинофильма «Мужчина и женщина». И, быть может, в тот же вечер, сразу после вечерних известий, на канале Зарецкого изумленные зрители увидят того, кто воюет с кремлевским вором. Правда, детям до шестнадцати лет смотреть такое не рекомендуется...

Он ударил сачком, сшибая пустой цветок, цепляя кисею о колючки. Знал, что промахнулся и бабочка от него улетела...

— Эти кадры возмутят общественность и дадут основание отстранить Прокурора от должности. Будут заморожены все крупные уголовные дела, направленные против Истукана. Мэр лишится оружия. В знак благодарности за блестящую операцию будет смещен директор ФСБ, и на его место сядет наш человек...

Бабочка, которую много лет назад он не догнал в африканской саванне, теперь, созданная из стекла, наполненная пылающим газом, присела на крышу московского дома, куда он должен войти. Он стоял, изумляясь таинственным совпадениям, в которых скрывалась тайна многомерного мира.

— Тебе понятна твоя роль? — спросил Гречишников. — Знаешь, как действовать?

— Я не буду в этом участвовать, — ответил Белосельцев.

— Почему?

— Гадко. Это вопреки моим правилам.

— Неужели? — Оранжевые глаза, как ягодки рябины, вмерзшие в ледяной круг, приблизились к лицу Белосельцева. — Твоя этика запрещает тебе быть «подсадной уткой»? Но разве тебе не известно, что в атласе разведок «подсадная утка» — самая распространенная птица? Что ею в любой момент может стать пеликан, или сова, или дикий голубь витюнь? Это честь для разведчика — облечься в утиное оперение и немного покрывать, подманивая селезня.

— Мне претит заманивать в постель к проститутке подвыпившего мужчину. Не хочу быть «подсадной уткой».

— А разве ты ей не был однажды — в баре отеля «Дон Карлош», куда заманили Маквиллена?

Сумрачный бар отеля. Полированная красноватая стойка с отражением цветастых бутылок. Узорная телефонная трубка. Бутафорский рыцарь в углу. Из далеких дверей навстречу идет Маквиллен, светловолосый, веселый, что-то издали ему говорит, дружелюбно кивает. С обеих сторон, из потаенных углов, кидаются на него чернолицые агенты, крутят руки, утаскивают. Оборачиваясь через плечо, тот кинул на него укоризненный взгляд.

— Если ты внимательно изучал мое африканское досье, то должен знать, что Маквиллен заманивал меня в ловушку. Это было под Лубанго по дороге в Порт-Алешандро, где меня пытались убить. Маквиллен враг, и в баре «Дон Карлош» я поступил с ним, как с врагом.

— Те, с кем мы боремся, — тоже враги. К ним неприложима этика. Их истребление — богоугодное дело. Их пребывание в Кремле стоит каждый год миллиона жизней. Нет такой цены, которую не заплатил бы народ, чтобы их уничтожить. Их истребление требует не выстрела, не взрыва, не победы на выборах, а сложнейшей интеллектуальной игры. От тебя мы требуем ничтожных усилий, а результат последует огромный. Тебе нельзя отказаться....

Они стояли у подножья моста. Ветер прикладывал к реке серебристые пышные папоротники. Трепетала на кровле огромная стеклянная бабочка. Это был генерал Авдеев, продевший руки под стеклянные трубки, готовый вспорхнуть в небеса.

— Согласен? — спросил Гречишников.

— Да, — сказал Белосельцев. — Кто станет директором ФСБ?

— Избранник.

Они приблизились к дому с бабочкой, обогнули его со двора. Под деревьями стояли машины, напоминавшие коллекцию разноцветных жуков. В одной из них, с затемненными стеклами, мог скрываться приемник, снимающий сигнал с телека-

меры. Пока Гречишников заостренным пальцем постукивал по кнопкам кода, Белосельцев высматривал: не топорщатся ли над капотом машины усики приемных антенн, не мелькнет ли за темными стеклами красный уголек сигареты? Мягкий лифт вознес их на верхний этаж. Они остановились перед серой замшевой дверью, на которой был выбит затейливый готический номер. Гречишников открыл замок заветной квартиры.

На них пахло теплом и уютом, словно квартира была обитаема и где-то рядом, среди просторных комнат, вольных гардин, находился хозяин, любитель хорошего табака, дорогого одеколона, а также старинных фолиантов, источавших сандаловые запахи древнего клея.

— Твой дом, — широким жестом радушного домовладельца Гречишников пригласил Белосельцева, — здесь все отвечает твоим привычкам и вкусам.

Белосельцев удивился сходству этого сфабрикованного жилища с его собственным домом, словно кто-то изучал его быт и привычки, делал опись его безделушек и книг. Черные африканские маски Анголы и Мозамбика. Эфиопские цветные лубки, тисненные на пергаменте. Глиняные божки мексиканских пирамид и надгробий. Звонкая бронза Востока с фигурками летающих дев. Гератское стекло, похожее на голубые сосульки. Пуштунские ожерелья и бусы среди черно-красных кандагарских ковров. Это был дом путешественника, собравшего за долгую жизнь фетиши своих странствий, талисманы своих сражений и войн.

— Вот бар, где любимые Прокурором виски, коньяки и французские вина... Вот холодильник, где уже готовы кубики льда... Вот полка с кофейным сервизом и бразильским кофе... Рюмки, бокалы, пепельницы... — Гречишников ввел Белосельцева в кабинет, где стоял старинный письменный стол с гранитной чернильницей и стеклянными пустыми кубами, небрежно лежали бумаги и книги и, белый, словно вырезанный из снега, мерцал компьютер. На книжных полках пестрели лаковые паспарту и старинные кожаные корешки научных журналов, географических атласов, этнографических справочников и живописных альбомов. На журнальном столике лежал забытый энтомологический атлас с многоцветьем африканских нимфа-

лид и альбом буддийских храмов, где черно-белые, словно из метеоритного камня, барельефы Ангкора воспроизводили сладострастные позы восточной любви.— Здесь все говорит об уединенных трудах старого воина, который пишет одиссею своих походов... Труд, который ты затеял и в котором тебе помогает молодая прелестная помощница, называется «Житие генерала Белосельцева». — Гречишников мягко усмехнулся. — А это опочивальня, место, где Прокурор сразится с обольстительным демоном и падет в неравной борьбе...

Они вошли в спальню, где стояла просторная кровать, устланная полосатым восточным покрывалом, с длинными мутками, обшитыми цветастым шелком.

— Стены, как видишь, пустые. На них мы развесим твою коллекцию, и битва Прокурора и демона будет проходить на этой арене, окруженной тысячами молчаливых крылатых ангелов, желающих поражения демону. — Гречишников засмеялся. Приподнял палец вверх, к потолку, где висела красивая люстра из тонких бронзовых лент. Перевел палец к окну, к узорному карнизу, на котором висел прозрачный занавес. — Там телекамеры... Черно-белый и цветной варианты...

Белосельцев осматривал стерильно чистые стены, где через несколько дней засверкает его коллекция. Просторную, без единой складки, кровать, на которую возляжет наивный, опьяненный любовник. Комната была операционной, куда приведут пациента, уложат под хирургическую сверкающую лампу, вольют обезболивающие растворы, наденут на лицо маску веселящего газа...

В прихожей раздался звонок, напоминающий переливы клавесина.

— А вот и героиня романа. Та, которой ты диктуешь свои военные саги. — Гречишников заторопился в прихожую открывать.

Вошла молодая женщина, прелестная и приветливая, изначально, от порога, излучающая красоту, очарование, рассчитанные на немедленное приятие и влечение. Все исходило в ней свежест и женственность: светлые, расчесанные на прямой пробор волосы, золотистые, с изумлением приподнятые брови, блестящие смеющиеся глаза, свежий, с милой

усмешкой рот, нежный приподнятый подбородок. Она была похожа на дворянскую барышню, поступившую на Бестужевские курсы. Таково было первое от нее впечатление, взволновавшее Белосельцева. Но вторым, зорким и опытным взглядом он различил едва уловимую ненатуральность этого милого и простодушного образа. Весь этот облик был создан, сконструирован, надет на нее и плотно подогнан. Ее одежда — жакет, блузка, короткая юбка, туфли — была вычерчена на тончайших лекалах, повторявших очертание тела, измерена и вычислена до микрона, сочетая приоткрытую выпуклость груди с нежной белизной шеи, выступающие овалы колен с гибкими, чуткими щиколотками. Каждая пуговка, крючок и запонка, металлические и пластмассовые молнии были удобны и оправданны, как на чехле механизма, позволяя быстро и ловко освободить дорогое устройство от защищавшей его оболочки.

Ее маленькая кожаная сумочка с кармашками и застежками, чуть потертая от употребления, напоминала саквояж мастера с набором рабочих инструментов, где каждый имел свою ячейку. В этой плотно застегнутой сумочке, в каждом отдельном кармашке таились средства обольщения, гигиены, книжца с адресами клиентов, ключи от машины, а в кожаном узком отсеке — длинные, мутно-зеленые купюры, полученные за выполненную работу.

Белосельцев смотрел на молодую прелестную женщину, стремящуюся очаровать его, расположить к себе веселыми круглыми глазами, милой улыбкой, струйкой золота на белой дышащей шее, и знал, что созерцает прекрасно выполненную, безупречную в исполнении «машину любви».

— Здравствуй, Вероника, здравствуй, красавица! — по-отечески ласково приветствовал ее Гречишников. — А это Виктор Андреевич, которому ты помогаешь писать мемуары... Виктор Андреевич, это Вероника, твоя секретарша, которой ты надиктовываешь одиссею своей многотрудной жизни... Как говорится, любите друг друга и жалуйте. — Довольный, он поглядывал на обоих. И Белосельцеву почудилось, что взгляд у него острый, холодный, точный, как у механика, осматривающего сложные механизмы, прежде чем пустить их в дело. В его гла-

зах Белосельцев тоже был «машиной», которую после долгого стояния вывели из ангара, пробовали в работе, тайно сомневаясь, провернутся ли застоялые валы и колеса, схватит ли горючую смесь холодный двигатель.

— Очень приятно, — произнесла женщина. — Я знаю, вы много путешествовали по Африке. Бывали в Анголе и Мозамбике. Какой эпизод ваших путешествий вы будете мне надиктовывать?

— Не знаю, — смутился Белосельцев, улавливая исходящий от женщины тончайший аромат духов, вдруг сравнивая его с неуловимыми запахами эфиров, которые бабочка, черно-зеленый, светящийся махаон, оставляет в воздухе, прочерчивая среди ветра, солнца, древесной листвы и душных испарений болот невидимую трассу, по которой летят одурманенные самцы в поисках пролетевшей черно-зеленой самки, и он стоял на берегу океана, подняв высоко сачок, захватывая в него вместе с солеными брызгами и песчинками кварца пышного махаона, похожего на сорванный ветром цветок. — Не знаю, — повторил он, — может быть, эпизод в ночной Луанде, на берегу лагуны, в отеле «Панорама», где собрался весь «бомонд» ангольского общества...

— И конечно, вы танцевали с черной красивой женщиной... — Она произнесла это приветливо, без всякой заинтересованности, все с той же целлулоидной улыбкой, за которую было уплачено, но эти случайно оброненные слова вдруг взволновали его.

Бархатная африканская ночь. Черная лагуна с золотыми веретенами отраженных огней, там, где днем взлетали в воздух тяжелые литые тунцы, держались миг, переливаясь на солнце, рушились с плеском в воду. Сиплый рокочущий саксофон, похожий на изогнутое морское животное, которое целуют мягкие замшевые губы. Он обнимает за талию Марию, чувствуя пальцами гибкие позвонки на ее обнаженной спине, прижимает к себе ее длинные груди, видя за ее обнаженным затылком, как кружится белая балюстрада, проплывают черный фрак дипломата, пятнистый мундир военного.

— Вы хотите сделать Прокурору подарок? — спросила она. — Хотите подарить ему бабочку?

— Ты и есть та бабочка, которую мы подарим Прокурору, — засмеялся Гречишников. — Этот подарок он будет помнить всю жизнь.

Он увел Веронику в гостиную, хлопал дверцей бара, показывая бутылки с напитками, хрустальные рюмки, блюдо для кубиков льда. Что-то негромко втолковывал, и она, как прилежная ученица, переспрашивала. Белосельцев боялся спугнуть безумную, невозможную мысль. Они останутся в этой красивой уютной квартире с молодой милой женщиной, которая будет выслушивать длинную повесть его прожитой жизни. Мысль была сентиментальной, из тех, что могла родиться в голове престарелого разведчика при виде молодой проститутки.

— Мне все понятно, — сказала Вероника, — рада была познакомиться. Теперь мне надо идти. Меня ждут в «Метрополе». А я еще хочу зайти в парикмахерскую.

Улыбнулась, качнула сумочкой и вышла, оставив в воздухе легкий аромат духов, по которому ее можно будет найти, следуя через Каменный мост, мимо Кремля и Манежа, угрюмого здания Думы, колоннады Большого театра к «Метрополю», где в вечернем баре ее жадно отыщут глаза богатого арабского шейха.

— Ну что, Виктор Андреевич, пойдём и мы полегоньку. Место тебе известно. Время, когда потребуется твоя коллекция, тебе сообщат. Будем снимать кино. — Он засмеялся воркующим смехом лесного витютеня.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Белосельцев покинул дом с красной стеклянной бабочкой и двинулся пешком по Полянке, стараясь припомнить, как еще недавно называлась эта улица, по которой столько раз проезжал от «Ударника» к Садовой. Но в памяти вместо названия улицы был неровный рубец, где вырезали у него кусочек мозга и наспех зашили нейлоновыми нитками. Однако другая улица, катившаяся в стороне среди богатых магази-

нов, помпезных отелей, посольских палат и храмов, называлась Якиманкой, и он не забыл ее прежнее название, — Георгия Димитрова. В этом исчезнувшем имени, как в круглой металлической коробке с документальной лентой, таился горящий рейхстаг, факельные шествия, открытый «опель» с торжествующим Гитлером. Москва захватила часть всемирной истории в качестве военного трофея, перенесла в свой пантеон, замуровала в стены своих домов, в названия площадей и улиц. Теперь же безвестный Якимка в колпаке скормороха снова выскочил из глухого сундука, где пролежал полвека среди шариков нафталина, истлевших кафтанов и бабьих салопов. Соскоблил имена красных героев и мучеников, скакал по крышам и проводам, корчил смешные рожи водителям «мерседесов» и «вольво».

Белосельцев шел утомленно, перебирая впечатления огромного, еще не завершенного дня. Человек, к которому он приближался, смотрел на него тихими ясными глазами стареющего москвича, и этот взгляд был знаком Белосельцеву, словно он видел человека вчера.

— Куда идем, знаем, а куда придем — не знаем, — сказал человек, когда Белосельцев с ним поровнялся.

— Что вы сказали? — переспросил Белосельцев.

— «На полянке встали танки», такая песня поется. Пойдем, посажу тебя в самолет. «Мы, друзья, перелетные птицы». Такая поется песня.

Белосельцев вдруг узнал человека. Блаженный прорицатель, яблочный пророк, подаривший ему в церкви золотистый благоухающий плод, стоял перед ним все в том же потертом пиджачке, запорошенный мягкой пылью дорог. Лицо его было блеклым, но глаза, сияющие, серые, словно летнее тихое небо с сеющим теплым дождем, смотрели наивно и ласково.

— Змей сквозь метро в Кремль прополз? — спросил Белосельцев, без насмешки, а лишь для того, чтобы напомнить о себе прорицателю.

— Змей, у которого голова с пятном, а сердце в ямах. Числится двумя, а значится одним. Есть число змея, а есть имя змея. Имя змея — Яким, — прорицатель указал на соседнюю улицу с драгоценными витринами и дорогими палатами.

Эта встреча в солнечной предвечерней Москве была очередным совпадением. Из числа случавшихся в последние дни. Подтверждала незыблемый закон совпадений. Казалось, сероглазый человек стерег его здесь, на перекрестке московских улиц. Стерег день назад в церкви среди душистых яблок. Его звали Николаем Николаевичем. Руки его были черные от машинного масла и слесарного инструмента.

— В Москве одному царству конец, а другое настать не может. Змей не пускает, лежит поперек Москвы. Кто змея убьет, тот и царь. Ты убьешь — ты царь, я убью — я царь. В ком больше слез, тот и убьет. Владыка Иоанн плакал три года, а вышел пожар Москвы. Змей танки прислал, и Пашка Мерседес в народ из танков стрелял. Царевичей всех убил, а царевны остались. Змей каждый день одну царевну под землю уводит. Под землей, в метро, есть мертвое поле, имя «Метрополь». Там русские царевны закопаны. Красавицы. Дальше сам понимай...

Он повернулся и пошел, не оглядываясь, зная, что Белосельцев следует за ним. Тот следовал. Увлеченный путаницей слов, их вязким невнятным смыслом, шагал за прорицателем. Белосельцев шел за Николаем Николаевичем, не понимая его бормотаний, наслаждаясь этим мучительным непониманием.

В переулке, близко от Полянки, они остановились около автомобиля, похожего на те, что вращаются на каруселях вместе с разноцветными конями, нарядными самолетами и цветастыми ракетами. Машина была маленькая, какой-то забытой советской марки, многократно перекрашенная, в наклейках, нашлепках, в переводных картинках. За стеклом красовался портрет генералиссимуса Сталина, была укреплена икона Богородицы, собран целый иконостас открыток, где соседствовали православные святые, советские вожди и герои. Вдоль машины была прочерчена сочная красная линия, а на багажнике выведена красная звезда, что придавало автомобилю сходство с довоенными тупоносими ястребками, бесстрашно погибавшими от стальных «мессершмиттов».

— Садись на место второго пилота. — Николай Николаевич открыл перед Белосельцевым маленькую дверцу, запуская его в тесный салон, и тот, удивляясь себе, послушно сел, оказавшись внутри экипажа, похожего на железную божью коров-

ку. И первое, что странно его поразило, был мимолетно налетевший аромат духов. Словно женщина, с которой он только что виделся на заповедной квартире, заглянула сюда.

Они покатали на этой расцвеченной заводной игрушке, стесненные хромированными осками джипов, сдавленные раскормленными боками «мерседесов», обгоняемые узкими телами «ниссанов». Когда мимо них заструился нескончаемый, скользкий, как угорь, «линкольн», Николай Николаевич заметил:

— На ней мертвецов хорошо возить, а живые ко мне садятся, — и посмотрел на Белосельцева тихими, одобряющими его выбор глазами.

Их затянуло в водовороты и шумные промоины Садового кольца, где их автомобиль казался скомканной пестрой бумажкой, несущейся по бурным волнам. Таганка напоминала рулет, в который замешивались дома, колокольни, мигающие светофоры, стальное месиво машин, сочное варево толпы.

Белосельцев не спрашивал, куда они едут. Он перестал сопротивляться напору явлений, принимал их как неизбежную данность, где смысл и значение имеет любая частность, пускай до поры до времени непонятная. Как и этот странный пилот, направлявший свой бутафорский истребитель к туманным московским окраинам.

Несколько раз Николай Николаевич останавливал свой лимузин, и они выходили. В первый раз это случилось, когда пророк зашел в продуктовый магазин и среди нарядных витрин, пластмассовых бутылок с цветными ядовитыми напитками закупил большое количество конфет в разнообразных обертках, указывая пальцем на горки помадок, соевых батончиков, шоколадок, искусственных трюфелей, чьи фантики были нарядные, словно елочные игрушки. Весь этот блестящий конфетный ворох он ссыпал в холщовую сумку, дал ее подержать Белосельцеву и долго, старательно мусолил деньги, расплачиваясь истертыми купюрами.

Другой раз они остановились у аптеки под зеленым крестом. Выстояли небольшую печальную очередь, поглядывающую на флакончики и пузырьки. Николай Николаевич сунул рецепт в стеклянное оконце, за которым сидела библейского

вида жрица в белом колпаке. Жрица поставила на прилавок коричневый флакон с таинственной жидкостью, и Николай Николаевич молча и старательно выложил ей мятые деньги.

Третья остановка была сделана у рынка, накрытого, словно цирк, бетонным куполом. Николай Николаевич пошел по рядам, а Белосельцев остановился среди пьяных и сладких ароматов. Горы яблок, аккуратно возведенные пирамиды груш, прозрачные, источающие сиреневый свет виноградные гроздья. Мятый оранжевый урюк, коричневый изюм, смуглые грецкие орехи. Рассеченные на длинные доли, напоминающие египетские ладьи, желтые дыни. Алые, как хохочущий рот негра, влажные половинки арбузов, наполненные блестящими черными семенами. Все благоухало, отекало соком, манило и возбуждало. И повсюду за прилавками стояли крепкие черноусые азербайджанцы, плохо выбритые, с синей щетиной, дружные, наливающие из чайника горячий черный напиток, подносящие к усам отточенный ножичек с ломтиком красного арбуза. Они же, предприимчивые дети Кавказа, деловитые и уверенные, стояли у рыбных прилавков, на которых лежали золотистые остроносые осетры с колючими загривками и перламутровыми пластинчатыми жабрами, похожие на драконов. Серебряные льдистые семги с зубатыми хищными клювами излучали голубой свет зимнего утра. Горы розовеющих креветок, пересыпанных крошками льда, представляли в Москве бесчисленных обитателей тепловодных глубин. Панцирные пупырчатые крабы, разложенные на холсте, раскрывали для дружеских объятий клешни. Черноусые торговцы, произнося ласковые слова на неведомом языке, зазывали покупателей.

Белосельцев двигался между прилавков, разглядывая кавказские лица с синей щетиной, мелькавшие среди цветочных рядов. Золотые зубы, смеющиеся среди темно-малиновых роз и белоснежных лилий. Наблюдал, как ловкие пальцы с серебряным перстнем сжимают мокрый ножик, отделяют пленки от бараньих ляжек, отслаивают жир от круглых семенников. Ставят поудобней отсеченную голову с круглыми рогами и высунутым, прикушенным языком. Он испытывал к этим людям неприязненное чувство поруганного шовинизма. Разрушив «империю зла», обглодав до костей Россию, нарыдавшись всласть

над жертвами «русских оккупантов» в Баку, пылкое племя Кавказа не отпускает Россию. Передравшись с армянами за Карабах, растерзав русские погранзаставы и гарнизоны, передав бакинскую нефть американским компаниям, торговцы Гянджи и Шуши вторглись в Москву сплоченной миллионной ордой. Захватили рынки, оттеснили с прилавков старушек с их грибами и клюквой. Яростно, жадно торгуют, скупают дома и квартиры, земли и фермы, картины и драгоценности. Держат рестораны и казино, захватывают власть в префектурах. Отмытые и выбритые после рынков, в дорогих костюмах и галстуках сидят в застольях, демонстрируя среди русских печалей кавказское жизнелюбие и достаток.

Работая на Кавказе в последние месяцы своего пребывания в разведке, Белосельцев помнил, как в районе Гянджи был пойман русский майор, забит до полусмерти, вложен в старый баллон от КамАЗа. Когда подоспел на «бэтээре» взвод десантников, среди черной зловонной резины торчали только обгорелые кости майора да скалился белый череп.

Белосельцев отыскал Николая Николаевича в дальнем углу рынка, когда тот прятал баночку меда, купленную у тихого старичка.

— Теперь и белки сыты, и пчелки здоровы, — произнес Николай Николаевич, удовлетворенный сделанными покупками. — Теперь и мы в силе, и Бог в славе! — добавил он, увлекая Белосельцева к своему экипажу. И опять, усаживаясь на затертое сиденье нелепого автомобиля, вдыхая запах прелых фруктов, бензиновый ветер, дым невидимого шашлыка, Белосельцев, как наваждение, уловил мимолетный аромат женских духов, словно пролетела бабочка, оставляя душистый след.

Они въехали в Печатники, в монотонную серо-белую застройку, напоминавшую не затейливые печатные пряники, а сухие, поставленные под разными углами галеты. Покрутили по бестолковым улицам и вдруг оказались на берегу Москвы-реки, среди откосов, подъемных кранов, полузатопленных барок. У самого берега, на пустыре, стояли гаражи, и машина Николая Николаевича остановилась перед одним из них, с открытой дверью и горящей в глубине лампы.

— Бомбардировщики, которые без бомб, суть истребители. А остальные не значатся, — непонятно изъяснился Николай Николаевич и покинул машину.

Из гаража вышел худощавый подросток в косынке, прижимающей к голове белесые волосы, с измазанными руками, которые отирал масляной ветошью, с яркой гагаринской улыбкой, с гагаринскими же чуть поднятыми вверх уголками губ.

— Долго добирался, дядя Коля! Клиента привез? — смело, как на равного, посмотрел на Белосельцева. — Я передние подвески поменял. Будешь, нет, проверять? — Он кивнул в глубь гаража, где под лампой, с поднятым капотом стояла «Волга», туманился железный воздух, смутно различались полки с инструментами, газовые баллоны, верстаки и табуретки. — Давай загоню твой «Гастелло»! — Он ловко поместился в машине и въехал на ней в гараж, заслонив стоящую на яме «Волгу».

Внезапно из гаража, из-под земли, из-за чахлых кустов, казалось, даже с веток облезлого дерева, посыпались, выбежали, выскочили ребятишки. Множество, с целый десяток, маленькие девочки и мальчики, смешно, разношерстно одетые, в поношенных курточках, в драных брюках, в линялых, не по росту длинных платьях. Чумазые, глазастые, шумно обступили Николая Николаевича. Стали хватать его за полы пиджака, теребили за руки, подскакивали, норовили вскарабкаться на него. Были похожи на белок, цепко прыгающих, цокающих, верещащих. Это сходство еще увеличилось, когда Николай Николаевич достал кошелку и стал выкладывать на перепачканные детские ладони купленные конфеты. Маленькие грязные пальцы цепко хватали сласти, почти вырывали, прятали в карманы. Тут же разворачивали нарядные фантики, раскрывали серебряные бумажки. Набивали конфетами рот, вырывали их друг у друга, роняли, ползали по земле. Визжали, ссорились, снова лезли к Николаю Николаевичу. Так белки хватают грибы и орехи, прячут в дупла, насаживают на острые лесные сучки.

Николай Николаевич улыбался блаженно, расставив руки, словно накрывал детей покровом, защищая от опасности в момент, когда они лакомились, пачкаясь шоколадом.

— Опять все деньги потратил, — произнес юноша в косынке, обращаясь к Белосельцеву без осуждения, но с легкой

усмешкой, словно извинял Николая Николаевича за его слабость. — Каждый раз пенсию на конфеты просаживает.

— А у меня «Арахис»! — вертела конфетой черноглазая, смуглая девочка, чьи коричневые золотистые глаза были обведены синеватой тенью. — У меня «Арахис», «Арахис»!..

— А у меня «Раковая шейка» и «Мишка»! — хвасталась другая, белокурая и синеглазая, подпрыгивая и пританцовывая сношенными туфельками. — А у меня больше ваших!..

— А у меня «Трюфель», шоколадный, с орехом! А у вас нет! — торжествовал миловидный мальчик с русым чубчиком, в слишком просторной, поношенной курточке с оторванными пуговицами. — У тебя, Верка, карамельки липучие, а у меня шоколад за сто рублей!

— Давай, Сонька, меняться. Я тебе две «Раковых шейки», а ты мне «Мишку на Севере», идет? — Девочка с голубыми глазами протягивала конфеты другой, рыжеволосой, зеленоглазой, чьи тонкие оголенные руки были в темных синяках.

— Хер тебе! — ответила рыжая, стискивая зло кулачок, в котором была зажата дорогая конфета.

Белосельцева поразило грубое, мужское ругательство, жестоко прозвучавшее из уст веселой, игривой девчушки. Он уже догадывался, что дети, окружавшие Николая Николаевича, были беспризорными. И тот одарял их лакомствами и подкармливал, как сердобольные люди подкармливают бездомных собак и кошек, подсыпают зерно в кормушки зябнувшим на морозе птицам.

Заглотив первую порцию конфет, набив про запас карманы, они теперь расправляли красочные обертки и играли в фантики. Но не так, как это делал в детстве Белосельцев, складывая конфетные обертки в плотные маленькие конвертики, после чего сложенный фантик помещался на ладонь, пальцы с силой ударяли о край стола, и цветная бумажка, брошенная катапультной, летела в гущу других, рассыпанных на столе. Накрывала своей плоскостью разноцветный конвертик, делая его собственностью удачливдого игрока. И каким богачом и счастливецом чувствовал себя азартный метатель, если его прозрачная, дешевая, от лимонных карамелек бумажка накрывала тяжелый и плотный фантик шоколадной конфеты «Мишка на Севере», где заиндевелый медведь, стоя на красочной льдине,

подымал морду к серебряному полярному сиянию. Малой грошовой бумажкой выигрывалось целое состояние, помещалось в жестяную коробку из-под монпансье.

Дети у гаража играли в иные фантики. Разглаживали конфетные обертки во всю ширину, складывали их в кипы, делили по размеру, дороговизне, достоинству. Пускали в обмен, ловко перебирали маленькими грязными пальцами. Считали, мусолили, придирчиво наблюдали за партнером, подозревая обман и подвох. Слова, которыми они обменивались при игре, были: «Твои сто баксов!» — «Еще отстегни!» — «Сшибаю зеленые!» — «Давай по обменному курсу!» — «Ты мне капусту не суй!» Голоса их были азартные, страстные, злые. Глаза блестели. Маленькие руки, хватая кипу бумажек, ловко сметали их в карман. Некоторые фантики вырывались из общей кипы, просматривались на свет, словно подозревался обман, возможность фальшивой купюры.

Внезапно из стайки играющих раздались крик, визг. Две девочки сцепились, как маленькие разъяренные кошки.

— Лахудра рваная, кинуть меня хотела! — визгливо выкрикивала смуглая, похожая на цыганочку, яростная, гневная, беспощадная. — Ты сперва заработай, а потом и хватай!.. На халяву хотела! — Она трясла конфетной оберткой перед своей голубоглазой подругой, которая в ответ толкала ее кулачком, и ее лицо покрылось пунцовыми пятнами.

— Ты у меня будешь пасть разевать! — кричала она в ответ. — Я Ахмету скажу, он тебя раком поставит!..

Они сцепились, дрались, хватали друг друга за волосы, впились в кожу ногтями, отстаивая право на собственность в виде конфетных бумажек. Как зверьки, еще только учились биться насмерть, выкраивая себе среди жестокого, враждебного мира малую территорию жизни.

Мальчик с чубчиком, миловидный, с тонкой переносицей и синей жилкой на шее, грязно выругался. Кинулся к дерущимся девочкам, пинками и ударами разнял их:

— Морды себе поцарапаете! С мордами поцарапанными ни хрена не заработаете!.. Ахмет вас обеих раком поставит!

Эти слова и ругательства остудили дерущихся. Девочки разошлись. Всхлипывали, поправляли растерзанную одежду, подбирали с земли рассыпанные фантики. Мальчик, установив-

ший перемирие, желая его продлить, достал из кармана пачку сигарет. Предложил соперницам. Извлек прозрачную пластмассовую зажигалку, поднес газовый огонек. Обе девочки, черноволосая и русая, молча, по-взрослому, закурили. Глубоко затягивались. Выставляя нижнюю губу, выпускали струю дыма.

Белосельцев изумленно смотрел на эту схватку. Подросток в косынке не вмешивался. Виновато, будто извиняясь перед Белосельцевым, улыбался гагаринской улыбкой. Мальчик с чубчиком, бывший среди детей старшим, по-взрослому, вразвалку, держа в зубах сигарету, подошел к подростку в косынке:

— Ну чего, Серега, давай включай воду! Помоем «Гастелло»! А то Николаю Николаевичу на грязной ехать неловко!

Из шланга забила вода. Чубатый мальчик, не выпуская изо рта сигарету, окатывал автомобиль искристым водяным ворохом, разбивал струю о лобовое стекло с портретом генералиссимуса и Богородицей, о красную звезду, о нарисованный на мятом корпусе самолетный киль. Девочки, уклоняясь от брызг, терли машину губками. Николай Николаевич, опустив усталые руки, стоял в стороне, нежно и печально смотрел на мойщиков.

Парень в косынке, которого называли Серегой, держал в руках отвертку, протирал ее ветошью, поясняя Белосельцеву:

— Вон та, черненькая, Ленка, сама не знает, откуда взялась. Из Тамбова, что ли. Беленькая, Верка, — у нее мать под электричку попала, а больше никого, так и слоняется... Эта рыжая — Сонька, — родители, пьяницы, ее цыганам продали, а она сбежала и здесь толчется... Лешка, пацан, — у него мать и отец — воры, в тюрьге сидят, а он из детдома сбежал...

Дети превращали мытье машины в игру. Брызгались, визжали, норовили мазнуть друг друга белой пеной. Паренек направлял струю то на одну, то на другую девчонку, и те восхищенно вопили, делали вид, что сердятся, грозили мокрыми кулачками.

— Их всех, ребятишек этих, прибрал чечен Ахмет... Гнида сучья, паразит, наркотой торгует... Он их вечером собирает. Пудрит, красит и к азерам на рынок отвозит, в гостиницу на всю ночь... А утром девчонки и Леха сюда приползают, синюшные, побитые, кто пьяный, кто накуренный. В гараже, на

нарах отсыпаются... Вечером Ахметка опять их на рынок везет... Люди в милицию обращались: «Арестуйте Ахмета, всех наркотой отравил!.. Над детишками измывается!.. Вы что, в милиции, не русские люди?..» А его на час в отделение забрали, допросили и обратно выпустили. Он ментов с потрохами купил, с ними деньги делит. Они у него как охрана работают...

Дети радовались, шалили. Рыжая девочка, вся мокрая, в прилипшем платье, с потемневшими от воды волосами, вырывала шланг у мальчишки, визжала.

— Оксана, девчушка, беженка с Казахстана... Ее азеры какой-то болезнью заразили... Ахметка избил, сказал, что живьем закопает, чтобы заразу не разносила... Она в реку бросилась... Мы с Николаем Николаевичем выловили, откачали... Теперь в больнице лежит, лечится. Николай Николаевич ей лекарства возит и мед покупает...

Мир, в котором жил Белосельцев, был не достоин существования. Должен был погибнуть, распасться на изначальные атомы. Чтобы Бог, убедившись в ошибке своего творения, получил возможность создать мир заново, по иному замыслу и чертежу.

— Я Ахметку достану... Я его в джипе достану и в казино достану... Я его на рынке возьму и в ресторане возьму... Если в Чечню сбежит, я его, черножопого, там достану... Осенью в армию иду, в Чечню попросился... Буду его по горам гонять, как зайца, пока его уши вонючие на подметки себе не пущу... За ребятишек отомщу... — Подросток, еще недавно казавшийся смешливым и легкомысленным, теперь был темен, жесток лицом. Уголки губ, которые минуту назад улыбались ггаринской улыбкой, сейчас были опущены, как у беспощадного бойца, готового нанести удар. Отвертка в руке мерцала, словно нож.

Дети отложили опустевший шланг. Отдыхали, оглаживали мокрые волосы. Приводили в порядок одежду. Вымытая машина напоминала цветную ракушку. Николай Николаевич что-то говорил чубатому мальчику, передавал ему фунтик с лекарствами, баночку меда, должно быть, для больной Оксаны. Дети еще пощебетали, поскакали и все разом, как птицы, исчезли, мелькая на пустыре и на отдаленной дороге.

Солнце опускалось к реке, освещая травяной остров красным светом. Краны порта казались красными. Затонувший остов ржавой баржи выглядел сочным, свежим, словно покрашенный суриком. Руки Николая Николаевича, пропитанные маслом, запорошенные железом, были опущены, и казалось, он только что мешал в большом тазу раздавленную малину, и теперь этот таз, полный варенья, висел над рекой, и под ним на воде лежал след пролитого сока.

Они сидели с Белосельцевым у речного откоса на старом бревне, и Николай Николаевич тихо говорил:

— Были Печатники, а стали Печальники, потому такие начальники... Оксана — царевна, ее змей ужалил, а мы отстояли... Она птичка Божья, ей рай снится, а ее змей в ад утащил... Райских птичек нельзя стрелять, они мудрость Божья, им перышки Бог раскрашивал... Змея с земли не видать, ты взлети, тогда и увидишь... Я икону пишу, ангел с крыльями, капитан Гастелло... Он змея с высоты увидал, сам знаешь, что вышло... Отчего ты мне друг? Оттого, что другой... Русские люди — другие... Они от другой травы, от другой земли, от другого камня... На русском камне весь мир стоит... Когда змей русский камень сдвинет, тогда и мир завалится... Не хочу быть другим, да Бог велит... Русский камень больно тяжел... Из него Голгофа сложена... Христос под русским камнем лежит, товарищ Сталин, Александр Матросов... Русский камень только детям под силу... Все русские люди — дети, а кто для них мать, это сам пойми...

Стрела мира летит против солнца, а русская стрела летит на солнце... Река мира течет под гору, а русская река течет в гору... Нам Бог землю дал, чтобы мы ее заново слепили руками и поцелуями... Христос в Россию придет и каждого в глаза поцелует, тогда и рай увидим... Красную Пресню знаешь?.. Там генерал Макашов... Ему верь... Он на жидов поднялся, за это его и убили...

Все, что слышал Белосельцев, казалось безумием. Голова прорицателя была полна тумана, в котором являлись размытые видения и образы. Но эти видения объясняли Белосельцеву его самого.

— У змея топор, томагавк называется, потому на Россию гавкает... Змей топором русский рай до пеньков вырубает, а нам

снова сажать... Каждые сто лет заново рай сажаем, а яблок никак не отведаем... У России цари — садоводы... Царь Иван садовод, в Казани сад посадил... Царь Петр садовод, в Полтаве сад посадил... Сталин садовод, в Берлине сад посадил... Теперь одни пеньки... Русский народ — трава, его косят, головы, как цветки, летят... Но и в косе усталость, железо о цветок снашивается, потому как живем без вождя... Будет вождь, имя ему Избранник, но не мы изберем... Чтоб ему в Кремль пройти, надо змея убрать, а то не пройдет... Кто змея от Кремля уберет, тот герой. Рядовой Матросов — герой... Лейтенант Талалихин — герой... Капитан Гастелло — герой... А нам с тобой помолчать, еще повидаемся...

Белосельцев был поражен. Прорицатель своей путаной речью угадал его, Белосельцева. Назвал Избранника. Встреча с блаженным была неслучайной, входила в загадочный замысел, где ему, Белосельцеву, выпадала неотвратимая роль. Их связь была путана и невнятна, как и сами речения, где лишь смутно угадывались контуры древней религии..

— Русский рай есть Победа... Победа есть Бог... Жуков есть Бог Победы... Ты есть Победа, тебе и молюсь... На станции «Баррикадная» многие ходят, которых в живых нет... Пойди и поймешь... А теперь помолчим... Солнышко спать ложится...

Белосельцев поднялся с бревна, простился с умолкнувшим, не ответившим на поклон Николаем Николаевичем, махнул рукой парню в косынке, и пустырями, мимо складов и гаражей, уже в сумерках, вышел к Печатникам.

На углу многоэтажного дома, под уличным фонарем, стоял джип. Дверцы были раскрыты, и молодой усатый кавказец в кожаной куртке, с крутыми плечами, подсаживал в машину ребятешек, тех, что недавно веселились и брызгались у гаража. Девочки были в коротеньких юбках, на высоких каблуках, с обнаженными хрупкими руками. Их лица были покрыты гримом, глаза подведены, губы в яркой помаде. Чубатый мальчик был причесан на пробор, волосы блестели от бриолина. Он был облачен в темный сюртучок с галстуком-бабочкой, был похож на маленького пианиста, выступающего на музыкальных конкурсах. Чеченец подсаживал их в машину, посмеивался, легонько подшлепывал. В глубине машины сидели еще двое, в ко-

жанных куртках, такие же смуглые и усатые. Принимали девочек себе на колени. Джип укатил, влажно помигав хвостовыми огнями. Белосельцев смотрел вслед, испытывая такую боль, словно напоролся грудью на железный штырь и теперь остроконечная дыра заполнялась хлюпающей кровью. Ненависть его была столь велика, что уличные фонари увеличились и стали лиловыми.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Утром позвонил Гречишников и сказал, что время перенести коллекцию бабочек на квартиру, куда, быть может, уже сегодня вечером нанесет визит Прокурор. Вслед за звонком к Белосельцеву явились вежливые молодые люди, одинаковые в своей ловкости и любезности. Стали снимать со стен стеклянные коробки. Бережно, словно хрустальные сервизы, уносили коллекцию вниз, помещали в длинный черный кабриолет.

Когда коллекцию увезли, опять позвонил Гречишников.

— Не тревожься, ни один усик не упадет с головы твоих гренадеров... Загляни в гардероб, извлеки свой лучший костюм и галстук... Через полчаса я приеду...

Ровно полчаса потребовалось Белосельцеву, чтобы облачиться в серый английский костюм, повязать просторным узлом французский шелковый галстук, и, разглядывая в серебристом стекле утомленное лицо, отметить среди складок и ломаных линий взгляд прищуренных глаз.

Гречишников поджидал его у подъезда, в светлом, превосходно сидящем пиджаке, в клетчатых брюках и в батистовом шарфе, который он повязал на шее, словно был модный художник или богемный поэт.

— Мы сегодня гости званые. — Гречишников поймал его взгляд и белоснежно улыбнулся прекрасно отреставрированными зубами, как улыбаются на рекламах жизнерадостные потребители зубной пасты. — Положение обязывает.

— Кто нас принимает? — спросил Белосельцев.

— Весь блеск еврейской интеллигенции, которую собирает Астрос по случаю присуждения телевизионной премии «Созвездие». Постарайся быть милым, хвалить Шагала и Бродского, чуть-чуть грассировать, пару раз щегольнуть знанием театральных постановок Бродвея, и боже тебя упаси хвалить Макашова. — Он произнес это столь легкомысленно, по-светски, тронув свой пышный шарф, что Белосельцев улыбнулся.

— Но прежде мы навестим Буравкова в его тайной пещере и захватим с собой. — Гречишников указал на сияющую хрустальными фарами «ауди», которая бесшумно понесла их по городу.

Тайная пещера Буравкова, о которой обмолвился Гречишников, на самом деле была домом приемов телевизионного магната Астроса. Особняк в стиле модерн, с изразцовыми панно, на которых кистью Врубеля были нарисованы игривые фавны, фиалки, обнаженные нимфы. Балконы украшали медные решетки в виде переплетенных водорослей, цветущих лилий и лотоса. Зеркальные, со стеблевидными переплетами окна драгоценно сверкали. Внутри все поражало первозданной подлинностью, духом и эстетикой декаданса, так что казалось: вот-вот в гостиную, придерживая длинное бархатное платье, войдет горделиво-таинственная Гиппиус, или появится с тетрадкой новых эротических стихов жгучий, черный, с костяным белым черепом поэт Кузмин, или ступит в небрежной бархатной куртке, утомленный известностью художник Бакст. Но вместо них появился Буравков.

— Покажи-ка нам свою «Электронную Хазарию», — попросил Гречишников, — пусть Виктор Андреевич познакомится с хозяевами, что пригласили его на банкет.

— Добро пожаловать в «Электронную Хазарию», — благодушно, бархатным голосом произнес Буравков, провожая гостей сквозь игривые декадентские интерьеры к стальной, окруженной видеокамерами, электронными запорами двери.

Буравков приблизил свой глаз к полупрозрачной, врезанной в сталь пластине. Пластина всмотрелась в расширенный зрачок, сверила его с электронным изображением. Обнаружила сходство, и дверь с легким чмоканьем растворилась. Они вошли в просторный зал с приглушенным светом и едва слышной

электронной музыкой, льющейся из полукруглой стены. Помещение напоминало диспетчерский зал с большими, погашенными, врезанными в стену экранами.

— То, что вы сейчас увидите, — говорил Буравков, незаметно облачившись в белый халат, — есть плод творческого откровения наших лучших кибернетиков, работавших в советское время над супердисплеем. Этот огромный экран должен был высвечивать картину мирового театра военных действий. На дисплее, который они разрабатывали, вы могли увидеть все подводные лодки, плавающие в Мировом океане. Все космические орбитальные группировки, патрулирующие в околоземном пространстве. Локальные конфликты на всех континентах с постоянно меняющейся картиной борьбы. Можно было наблюдать все армии мира, ракетные шахты, перемещения войск, массовый взлет авиации, движение мобильных ракетных установок на железных дорогах и лесных просеках. В случае мировой войны на этом экране вы могли следить за развитием апокалипсиса, за разрушением мировых столиц, бросками армий по зараженным территориям, смещениями фронтов, исчезновением военных группировок и целых стран. После распада Союза работы над экраном были прекращены, коллектив кибернетиков стал рассыпаться. Но Астрос перехватил лучших специалистов, обеспечил неограниченное финансирование, заставил их работать над проектом «Электронной Хазарии»...

Буравков приблизился к пульта. Тронул кнопку. На овальном экране во всю стену засветилось пятно.

— Здесь собрана информация обо всех членах Еврейского конгресса, главой которого является Астрос. Их социальное положение и статус. Их общественные связи и финансовое состояние. Политические, культурные или коммерческие проекты, в которых они задействованы. Прогнозируется исход этих проектов. Отслеживается движение карьер, репутаций, восхождение по социальной лестнице. Особое внимание уделяется тому, чтобы место, которое освобождает умирающий член Конгресса или уходящий вверх по ступеням карьеры, чтобы это место тотчас замещалось другим, молодым, перспективным членом...

Буравков тронул другую кнопку. Тонкая стрелка коснулась наугад точки в туманном пятне. Точка, выхваченная из туманности, увеличилась, укрупнилась. Каждая мерцавшая в ней пылинка стала различимой ячейкой. В нее было внесено имя. От нее тянулись связи к другим подобным ячейкам. Каждая была включена в бесчисленное количество связей. Все они, словно паутинки, напрягались, рвались, вновь завязывались, сотрясаемые невидимым пучком.

— На этом экране вы можете оценить совокупную мощь Конгресса, выраженную в условных единицах, наподобие килобайтов. Она определяется степенью присутствия и уровнем влияния евреев в правительстве, силовых структурах, прокуратуре, бизнесе, банковском деле, науке. Отдельно — в электронике. Отдельно — в биоинженерии. Отдельно — в медицине. Отдельно — в армии и судебной системе. Здесь отслеживается уровень контроля за прессой, отдельно — телевидение. Присутствие в искусстве, отдельно — актеры театров и артисты эстрады. Особый интерес представляет проникновение членов Конгресса в православную Церковь, не только в среду иерархов, но и в каждый отдельный приход...

Буравков манипулировал кнопками. На экране мерцающий сгусток то удалялся, то приближался.

— Вы можете, к примеру, узнать, — Буравков водил по экрану волшебным лучом, — как один влиятельный член Конгресса, занимающий пост в Правительстве, сообщает другому, играющему на бирже ценными бумагами, конфиденциальные сведения о готовящемся обвале акций. И тот успевает проверить выгодную сделку, получить огромный доход, перевести его в оффшорные зоны, растворить бесследно в потоках мировых криминальных финансов. При этом множество мелких предпринимателей в русских провинциях, лотошников, челноков, по крохам собирающих скромные состояния, разоряются. Начинают пить «горькую», пускают пулю в лоб. А чиновник из Правительства пересаживается на шестисотый «мерседес», строит великолепную виллу на Успенском шоссе...

— Вы без труда углядите действие оборонного лобби, возглавляемого еврейским вице-премьером. — Буравков нажимал на кнопку, вырывая из общей картины отдельный фрагмент,

который словно увеличивался под выпуклой линзой, принимал вид разветвленной схемы со множеством имен, учреждений и фирм, стянутых стропами. — Например, здесь вы видите, как израильская фирма, разрабатывающая приборы ночного видения для боевых вертолетов, получила заказ в обход российских конструкторских бюро, превосходящих по качеству израильский аналог. Деньги из военного бюджета России идут в Израиль, израильская технология поступает на секретный боевой вертолет, который становится прозрачным для чужих разведок. А великолепное русское «кабэ» разоряется, чахнет без заказа. Рабочие и инженеры разбегаются, занимаются мелкой спекуляцией и торговлей. А изобретатели и ученые уезжают за границу, в Америку или в тот же Израиль, получая щедрые вознаграждения...

Белосельцеву стало жутко.

— Главный заговор, укутанный во множество непроницаемых оболочек, спрятанный от глаз множеством отвлекающих скандалов, праздников, фестивалей, главная цель Конгресса, замаскированная сотнями ложных целей, — устранение от власти Истукана и выдвижение на его место Мэра. Этому посвящена огромная, охватившая весь Конгресс работа. Распределенная по средствам информации, по силовым ведомствам, по корпорациям и банкам, включающая в себя сбор колоссальных денежных средств, поддержку зарубежных отделений Конгресса, иностранных разведок, тайных обществ и клубов, парapolитических образований и лож, эта работа должна привести в ближайшее время к моментальной смене власти. Это послужит окончательному утверждению в России новой реальности, которую сами они называют «Новой Хазарией»...

— «Новая Хазария» — это грандиозный план перенесения в Россию центра еврейской цивилизации. Создание для нее абсолютной безопасности. Обеспечение условий для ее максимального процветания и развития, исключающих любую форму русского самосознания, суверенной государственности...

Белосельцев почувствовал, как опрокидывается мир, в котором он живет. Он летел в свистящую бездну, теряя сознание. Очнувшись, увидел над собой встревоженное лицо Гре-

чишникова. Тот легонько похлопывал его по щекам, приводя в чувство:

— Тебе лучше?... Извини... Это был тест... Мы проверяли тебя на непричастность к Заговору... Всякого, кто входит в наш Союз, мы сажаем под это электронное дерево. «Дерево познания Добра и Зла»... Чистый, незапятнанный человек, как правило, не выдерживает и лишается чувств...

— Не все так безнадежно и страшно. — Буравков помогал Белосельцеву подняться. — Все, что вы слышали, отнимает рассудок и вызывает помрачение. Но это не фатально. Не Бог выращивает во Вселенной это библейское дерево. Я — его садовник. Я знаю законы его роста, движение корневой системы, питательную среду для его листвы и плодов. Разве вы не замечаете, что иногда один влиятельный член Конгресса убивает другого?... То разбивается самолет с блистательным журналистом. То находят в подъезде с простреленной головой любимца телезрителей. То преуспевающий банкир умирает от странной лучевой болезни, словно в его кабинете рассеяна пыль Чернобыля... Я могу одним нажатием кнопки отсечь это дерево от питательной среды, и оно зачахнет. Могу перепутать в нем корни и ветви, движение соков. Создать в нем путаницу, хаос так, чтобы одна его часть поедала другую. Чтобы вместо плодов на нем вырастали уродливые грибы, сжирающие его ствол. Плодились мхи и лишайники, поедающие его древесину. Астрос думает, что это он выращивает Заговор. Но я-то знаю, где таится его смерть. Где на этом электронном дубе, к какому суку прикован волшебный сундук с зайцем, с уткой и колдовским яйцом, в котором спрятана игла с Кощеевой смертью. В должный час я сброшу сундук на землю, застрелю зайца, подстрелю утку, расколю яйцо, выну из желтка иглу со светящимся жалом и передам ее Избраннику. Он отломит ядовитый кончик, и Астрос умрет. Мэр из грозного Черномора превратится в трусливого угодливого человечка, знатока городской канализации и водопровода. Будет на Праздниках Города возглавлять колонну скоморохов, и сам, в дурацком колпаке с бубенцом, понесет портрет нового Президента.

Буравков засмеялся и выключил экран. Электронное дерево погасло, будто его срубил топор. Вспыхнул мягкий мато-

вый свет. Белосельцев изумленно озирался, медленно возвращаясь в реальный мир.

— Пора, — сказал Буравков, оказавшийся в парадном серо-стальном костюме и малиновом галстуке, в котором блистала алмазная булавка, — нас ждут на фестивале «Созвездие». Там будет Прокурор, любитель ночных бабочек. Глядишь, и сам попадет в сачок! — Он снова засмеялся.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Действо, на которое они устремились, происходило в концертном зале «Россия». И первое, что изумило Белосельцева, это огромная, красочная, расцвеченная лампами и неоновыми трубками надпись, возвещавшая о торжестве: «Созвездие Россия». На ней было множество взлетающих звезд — целый салют мерцающих, золотистых, шестиконечных звезд, а слово «Россия» было выведено шрифтом с неуловимыми искривлениями и характерным наклоном влево, напоминающим еврейский алфавит.

К цоколю то и дело подлетали роскошные лимузины с хрустальными фарами, хромированными радиаторами, фиолетовыми вспышками, иные с дипломатическими номерами и крошечными флажками на капотах. Из них выходили великолепные дамы с обнаженными плечами, в драгоценностях, в бальных туалетах, приобретенных у знаменитых кутюрье. Преподносили себя толпе репортеров и операторов, убежденные, что ими любуются, их узнают, их сияющие лица и драгоценности украсят лакированные страницы модных журналов. Им сопутствовали мужчины в смокингах, в изысканных костюмах, гордые, властные и надменные, успевавшие тем не менее лучезарно улыбнуться фотокамерам и телеобъективам, зная, что о каждом в разделах светской хроники расскажут невероятные истории их любовных походов, курьезных браков, с перечнями киноролей, шокирующих привычек, странных пристрастий и аномалий. Их машины, одежды и драгоценности были

самые дорогие, прически, грим, духи — высшего качества. Их походка, жесты, манера улыбаться и кланяться, искусство ступать, слегка выворачивая колени и бедра, ничем не отличались от повадок голливудских звезд, приглашаемых на вручение «Оскаров».

— Все, что вы видели на экране, здесь представлено в натуральном виде, — пояснял Буравков, вводя Белосельцева в блистающий мир, наполненный независимыми гордецами, влиятельными политиками и свободолюбивыми журналистами. — «Новая Хазария», полнокровная, но еще не провозгласившая свой государственный статус.

Белосельцев в сумраке зала пытался разглядеть Прокурора. Лица гостей были почти не видны. Лишь иногда, словно радужная росинка, вспыхивал бриллиант на обнаженной груди. Или гуще, темнее становилось скопление в рядах, там, где оказывалась особо важная персона.

Музыка становилась все более страстной и сладостной. В мерцании неба вдруг возник и приблизился, озарился красным свечением огромный летящий петух с огненным гребнем, развеянным пылким хвостом. Проплыл над залом, под восхищенное аханье обомлевших зрителей. Вслед за красным петухом возник голубой, с раскрытым клювом, с белым дышащим нимбом. На спине петуха сидела обнаженная женщина, рыжая, зеленоглазая, с розовыми сосками, с пучками жарких, торчащих из подмышек волос. Все в зале приподнялись, зааплодировали прекрасной наезднице, провожая ее воздушными поцелуями. В небе возникла невеста, в белом подвенечном платье, в венке из цветов жасмина, с черно-синими жгучими кудрями. Жених с малиновой розой в петлице обнимал свою избранницу за пышные бедра. Они летели в небе, перевортывались. То она нависала над ним пышными, не помещавшимися в платье грудями. То он царил над ней, притягивая ее к своей полосатой жилетке, сгибая от возбуждения ногу в блестящей туфле. Зал восторгался, рукоплескал.

Один из петухов отделился от небесного свода. Стал снижаться, сопровождаемый пятном прожектора. Опустился на сцену. Приподнял крыло, и из-под крыла, сквозь красные и зеленые перья, вышел сияющий содержатель телевизионного

казино, в котором собирал вокруг своего магического «колеса счастья» наивные толпы, верящие в чудесный выигрыш.

— Господа, — восторженно, с легкой хрипотцой, произнес спустившийся с неба посланец, — я явился к вам из других миров, где для жизни вечной среди миллиардов землян выбираются отдельные выдающиеся экземпляры. Этот выбор сделан, и я хочу представить вам новых небожителей, чьи имена горят, как звезды, как золотые девятисвечники!.. Вот они, снискавшие наше обожание и любовь!.. Одна из них прекрасна, как царица Савская!.. Другой великолепен и мудр, как царь Соломон!.. Слава им!..

Посланец взмахнул рукой. Занавес растворился, и в аметистовых лучах появились лауреаты «Созвездия». Шагнули навстречу восхищенному, грохочущему овациями залу.

Белосельцев, вовлеченный во всеобщее ликование, тянулся на аметистовые лучи, высвечивающие двоих, отмеченных божественной милостью. Ими оказались маленькая, изящная дикторша, известная своей прелестной улыбкой, а также своими печально-прекрасными глазами, и руководитель аналитической программы, чьи прищуренные, проницательные глаза, слегка увеличенные очками, прозревали самые скрытые и замысловатые комбинации кремлевских властителей, а рыжеватые благообразные усы придавали респектабельность английского лорда, знающего, как управляться с черепашью супом и серебряными щипцами, раскалывающими панцирь лобстера. Оба светились в лучах, словно были созданы из неземного вещества.

Демонстрация прелестей продолжалась минуту. И затем на сцену, бодрый, великолепный, пышущий здоровьем и благополучием, щедрым жизнелюбием и воинственностью, вышел Астрос, главный устроитель церемонии. Он был бел лицом, с румяными щеками, голубыми, навывкат, глазами. Его сочные пухлые губы счастливо улыбались. Бодрое тело наслаждалось великолепно сшитым костюмом, удобными туфлями, вольно повязанным галстуком, двигалось свободно и независимо. Всем своим видом он демонстрировал победу, одоление вековой несправедливости, удерживающей разбег талантливого народа, вынужденного сжиматься, таиться, терпеть унижения

свирепых грубиянов, ленивцев и неучей. Теперь эти времена миновали. Гнет был преодолен. Мощь и красота еврейского интеллекта, неусыпное трудолюбие, неукротимая воля двинули вперед дружный, искушенный, закаленный страданиями, окрыленный верой народ.

— Телевидение — это не просто власть, с помощью которой мы подавляем мятежников, усмиряем врагов, изгоняем предателей, возводим на вершину самых талантливых и преданных! — начал Астрос свою торжественную речь. — Телевидение — это не только информация, которая выявляет событие, подмечает явление, называет человеческую личность и ее деяние. Телевидение, — Астрос вытянул вперед руки, ладонями вверх, — телевидение — это религия, которая захватывает всю полноту человеческого бытия, требуя от человека поклонения, любви и смерти, вызывая в нем реликтовый ужас или порождая несбыточную мечту. Это многоцветное Диво, переливающееся на экранах множеством форм, ликов и ипостасей. Неуловимое в своей сущности, неотразимое в своей красоте, неодолимое в своем могуществе, это электронное Чудо находится в наших руках, служит нашему делу. Вот почему награждаемые сегодня лауреаты не просто великолепные мастера, не только любимцы и кумиры публики, но и жрецы, стоящие между Богом и людьми. Я горжусь, что работаю с этими великолепными магами. Я счастлив, что могу прилюдно, в присутствии лучших представителей нашего круга вручить им награды! — Астрос поднял вверх заостренную ладонь, на которой аметистовый луч зажег драгоценный перстень.

Грянула музыка. На сцену вышли жених и невеста, которые только что летали в поднебесье. В руках у них были ларцы. Они остановились перед лауреатами. Невеста с белой фатой и соблазнительно распахнутой грудью — напротив аристократического аналитика. Жених в полосатой жилетке с пунцовой розой в петлице — перед милой дикторшей.

Астрос открыл ларцы. Извлек из них две маленькие, усыпанные бриллиантами короны с острыми, как на статуе Свободы, лучами. Ловко водрузил диадемы на головы лауреатов. Отошел в сторону, приглашая зрителей полюбоваться. Зал

бушевал, славил своих любимцев, посылал им свои восторги, обожание, преклонялся перед ними.

Астрос взял лауреатов за руки и увел со сцены.

Появились верткие скрипачи-виртуозы. Вслед за ними высыпала целая толпа музыкантов с трубами, саксофонами, тарелками, ударником, контрабасом. Засверкала, задудела, загромыхала, забарабанила. Засверкала медью, белым серебром, смуглым лаком, одинаковыми белоснежными улыбками. Маленький приветливый дирижер, копируя Леонида Утесова, расхаживал перед оркестром, поворачивался лицом к залу, подмигивал. И зал упивался музыкой из кинофильмов «Веселые ребята», «Свинарка и пастух», и кто-то из рядов воодушевленно кричал: «Браво!»

Затем на сцену выкатили белый рояль. Распахнули настежь крышку. Пианистка, пышная, в бархатном платье, из-под которого виднелись полные розовые ноги в маленьких туфельках, громко и мощно играла Шнитке.

Концерт завершил известнейший зарубежный рок-певец, изображавший сатану, с клыками вампира, волосатой дымящейся грудью, разбухшими в плавках гениталиями. Он харкал кровью, швырял в зал липкие внутренности растерзанной жертвы, полосовал себя цепями, вскрывал вены, бился в изнурительном незатишающем оргазме, и под конец вознесся в белоголубом пятне лунного света, бросая в зал жуткую рогатую тень.

На этом концерт окончился. Вальяжный держатель телевизионного казино направлял воодушевленных гостей в соседний банкетный зал, сопровождая их возгласами: «Уж и погуляем, господа!».

— Через некоторое время мы отыщем Прокурора, и ты постараешься его увезти, — глухим от волнения голосом сказал Гречишников, пропуская вперед Белосельцева.

— «Как ныне сбирается вещий Олег...» — пробовал пошутить Буравков, ступая следом, но было видно, что он волнуется.

Залипая в вязком потоке туалетов, драгоценностей и причесок, они втроем потекли в банкетный зал.

Уже при входе Белосельцев ощутил обжигающее дыхание невидимых лучей. На длинных столах было тесно от обильной еды, вкусного мяса, благородной рыбы, пышной зелени.

Теснились на блюдах копчености и заливные. Искрились маринады и разносолы. По всему столу, головами в одну сторону, стояли жареные поросята, подогнув колени, с румяными корочками на боках, с пытливыми, вытянутыми пяточками. С ними перемежались осетры с зубчатыми спинами и острыми, как веретена, клювами. Вдоль столов, вторгаясь в стройные ряды кушаний, хватая вилками и цапая руками, рассекая ножами и разрывая пальцами, стояли гости. Жадно жевали, глотали, давились, роняли жирные куски на пиджаки и платья. Поливали свои одежды вином и водкой.

Белосельцев издали углядел Прокурора, его дряблое, как остывший кисель, лицо, маслянистые, как ягодки облепихи, глазки, белесую лысеющую голову, напоминающую кукурузный початок в путанице блеклых волосьев. Первым побуждением Белосельцева было подойти, вступить в общение. Но проверенный опыт разведчика заставлял его медлить. Постепенно, от одного гостя к другому, приближался он к Прокурору, ненароком попадаясь ему на глаза, давая возможность привыкнуть к его, Белосельцева, появлению, уверовать в случайность их встречи.

Гости, утолив первый аппетит и жажду, забросав в себя массу ломтей мяса и рыбы, опрокинув в горящие от соленостей пищеводы потоки вина и водки, складывались в отдельные кружки и группы. В центре каждой находилась какая-нибудь особо яркая именитость. Чтобы доклеваться до нее, приходилось пробиваться сквозь ароматы духов и дым табака.

Гости обступили счастливых лауреатов, на головах которых продолжали сверкать алмазные венцы. Обе знаменитости держали бокалы шампанского. Усатый аристократ-аналитик, воодушевленный успехом и шампанским, произносил тост в честь Астроса. Прелестная дикторша-дюймовочка обворожительно улыбалась, позволяя собравшимся рассматривать свои пленительные черты. Посылала Астросу с вершины смоляной головки алмазный луч благодарности и счастья.

— Вы Творец в самом высоком, религиозном смысле, — эту фразу аналитика услышал Белосельцев, подойдя к блистательному кружку. — Пью за ваши творения, среди которых считаю и себя, созданного, что называется, по образу и подобию

вашему! — Он потянул к Астросу бокал. Дикторша, трогательно улыбаясь, добавила:

— В саду, который вырос на нашем телевидении, в самом его благоухающем месте, растет великолепный цветок Астра, а над ним сияет синяя звезда Астрос! — Все три бокала сдвинулись, издав мелодичный звон. Окружающие зааплодировали.

— Помню наш весенний разговор на яхте, на Женевском озере, — говорил аналитик Астросу, беря его дружески за шелковый галстук. — Вы пророчили, что этой осенью из Кремля вынесут большое мертвое тело и повезут мимо Триумфальной арки и Поклонной горы в Барвиху. Похоже, ваше пророчество начинает сбываться.

Своим ясновидящим взором Белосельцев обнаружил, что под тканью дорогого костюма тело аналитика лишено сосков, пупка, гениталий. Не имеет волосяного покрова. На нем отсутствует живая человеческая кожа. Все оно помещено в плотный черный чехол, как мобильный телефон, с зашнурованными жесткими швами, проходящими вдоль рук и ног, по ребрам и паху, охватывая промежность и поднимаясь вверх, по спине. Внутри кожаной, стянутой шнурками оболочки что-то мелодично позванивало. Озарялись цифры. В прорезях виднелись кнопки. По крохотным экранам пробегали синусоиды. Лауреат был электронный, фирмы «Филлипс». Находился в постоянном электронном контакте с отдаленными передающими центрами, соединяясь с ними через серию ретрансляторов. И пока его усатая человеческая голова разговаривала с Астросом, его электронное тело связалось с «Боингом-747», который летел сейчас над штатом Флорида и в котором находился шеф ЦРУ.

В окружении поклонников и последователей стояли три персоны, те, кого долгие годы принято было именовать «молодые реформаторы», хотя время, проведенное ими на телеэкранах и пресс-конференциях, в правительстве и парламенте, не прошло для них даром. Все трое изрядно полиняли, облупились, осыпались, и сквозь опавшие млечные краски молодости проступила костяная желтизна.

Один из них был мужчина с мелко-кудрявыми волосами, которые он тщательно разглаживал с помощью паровых компрессов. Его большое лицо было похоже на миску, в которой

мешали кисель и забыли вынуть ложку. Он говорил громко и назидательно, с поучающими интонациями, словно профессор, с кафедры втолковывающий что-то студентам.

— Если вы хотите потворствовать расползанию по стране «русского фашизма», вы бы не могли для этого изыскать лучшее средство, чем и впредь поддерживать все это кремлевское уродство и непотребство. Я же предлагаю вам соглашение на принципиальной основе, которая будет понятна демократам как внутри страны, так и за ее пределами...

Ему отвечал второй реформатор, очень бледный, с иссиня-черными, стеклянно блестящими волосами, который одно время считался любимцем Президента, его приемным сыном и прямым наследником. В этой роли он ходил несколько месяцев, повелевал, грозно красовался на заседаниях правительства, но потом был внезапно удален из Кремля, выброшен из теплой уютной квартиры под дождь. С тех пор обида и неутоленность сделали его мертвенно-бледным, подозрительным и принципиальным.

— Вы не правы, никто не желает, чтобы Газпром питал своими трубами газовые камеры для демократов. Вы знаете, я не честолюбив, не стремлюсь к личной власти. Готов работать на общее дело хоть трубочистом. Но я полагаю, если мы хотим достичь желаемой цели и коренным образом изменить ситуацию в Кремле, мы должны сплотиться вокруг одного человека. И этим человеком, как бы вам ни горько это было услышать, должен стать Мэр...

Третьим говорящим была женщина. Ее имя было похоже на название японского острова. Ее фигура напоминала колючую веточку засохшей сакуры. Ее подвижные, с ухоженными ноготками руки имели сходство с кошачьими лапками, только что растерзавшими наивную птичку. Она смотрела на обоих мужчин, как на костюмы, висящие в гардеробе, высматривая на них пылинки.

— Доверьтесь моей интуиции, господа. Сейчас самое время, чтобы добиться расчленения атомного монстра, доставшего нам от времен Курчатова и Берия. Мы начали приватизацию атомной энергетики, и ваши связи, одного — на Западе, другого — в правительстве, должны ускорить создание банка,

где будут учтены интересы и наших партий, и наши личные. Поверьте интуиции восточной женщины...

Белосельцев слышал все это, пробравшись к столу, делая вид, что его интересуют ломтики рыбного заливного с замороженными дольками лимона. Искоса, боясь привлечь внимание, он рассматривал всех троих своим ясновидящим взором.

Первый имел лишь голову человека, а в остальном был рыба. Сразу, под воротничком и галстуком, выступая едва заметной блестящей кромкой, шла чешуя. Спускалась вниз по туловищу, вздывалась на боках с красноватыми жесткими плавниками, мокрыми от слизи. Местами чешуя отсутствовала, как у зеркального карпа, и вместо нее была мокрая холодная кожа. Там, где туловище начинало сужаться, под треугольным плавником отчетливо было видно анальное отверстие, из которого сочилась молока. Она стекала к хвосту, под штанины, набегала на пол маленькой лужицей около модной туфли. Туфля переступила, и от подошвы потянулись мутные липкие нити.

Второй на самом деле был собакой. Непородистым бобиком с клочковатой шерстью по всему жилистому костлявому телу, с пролысинами на спине от частого пролезания под заборами, с репейником на хвосте и с черной неуголимой блохой, впившейся в розовый пах. От него сквозь дорогой мужской одеколон пахло псиной.

Дама, продолжавшая говорить о создании банка, лишь по грудь была женщиной, но ниже маленьких жилистых вздутий с пористыми камушками сосков была ящерица, гибкая, серо-серебристая, с начинавшей шелушиться кожей. С чувственным изгибом хвоста, который в случае внезапного нападения и захвата был готов отвалиться, оставив на теле шевелящуюся кровавую ранку с бело-розовым позвонком.

Прокурор о чем-то благодушно витийствовал, поднимал коньячную рюмочку, чокаясь с какой-то пышной блондинкой, старавшейся походить на Мэрилин Монро. Белосельцев не выпускал из вида его белесую, осыпанную тальком голову. Приближался к нему неторопливо, от кружка к кружку, стараясь не спугнуть. Он испытывал брезгливость.

От Прокурора его отделяла тесная группа гостей, состоявшая из театральных примадонн, эстрадных звезд, думских

депутатов и нескольких лысеющих, бестолково говорящих мужчин, по виду политологов. В центре этой группы, выступая из нее лакированной твердой головой, находился Мэр.

Белосельцев впервые видел Мэра столь близко и не мог обойти его. Казалось, Мэр притягивает его загадочным магнетизмом. Он был благодушно настроен. Крепок и коренаст. С головой, похожей на огромную твердую пятку с толстой кожей, связками сухожилий, среди которых поблескивали маленькие жестокие глаза носорога. Под его пиджаком и рубашкой, в недрах модных брюк отсутствовали пустоты. На них не было складок, словно одежда была плотно натянута на чугунную тумбу, распиралась ею изнутри. Мэр поправил на голове отсутствующую кепку и продолжил фразу, обращенную к заискивающему политологу.

— Я открыто говорю: если Президент страдает от болезни, которая мешает ему работать по десять часов в сутки, он должен, в интересах государства, оставить свой пост и уйти на покой. Я открыто говорю: если кремлевское руководство поражено коррупцией, о чем заявляет нам уважаемый Прокурор, то это руководство должно быть наказано по суду, невзирая на посты, на близость и родство с Президентом. Я открыто говорю: получив власть законным путем, мы готовы взять на себя заботы по воссозданию Великой России. Такова моя открытая и честная позиция...

Эту фразу уловил проходивший мимо Белосельцев, испытывая притяжение чугунной намагниченной тумбы. Мэр был всегда ему страшен своей неукротимой, геологической энергией. Эта неодолимая энергия превращала любимую Белосельцевым Москву в совсем иной город. Словно город спешно украшали для какой-то пышной коронации. Готовили чье-то пышное венчание на царство.

Мэр железными палками избивал ветеранов войны, насылая на них закованную в латы милицию, которая ломала ребра защитникам Москвы и участникам штурма Берлина. При этом на Поклонной горе отстроил Пантеон Победителей, соорудил мечеть, синагогу и церковь, которые издалека, с недоверием, наблюдали друг за другом, создавая треугольник тревоги и отчуждения.

Он построил белоснежный, златоглавый храм Христа, сиявший над туманной Москвой, как золотое негасимое солнце. Но туманы, в котором сияло солнце храма, были испарениями греха и болезни. Он пригласил в Москву орды денежных предприимчивых кавказцев. Посадил в префектуры армян. В музеи — коротконогих упитанных татов. В казино и отели — чеченцев. В банки и тресты — евреев. Рынки и нефтезаправки отдал азербайджанцам. За ним по пятам, как придворный колдун и советник, следовал неотступный кореец.

Страна, для которой Мэр спешно готовил столицу, была «Новой Хазарией». Повелитель, которого Мэр звал на царство, был ослепительный чернокудрый красавец в пурпурных одеждах, в рогатом, усыпанном алмазами венце. Мэр украшал Москву золотом и мрамором, возводил висячие сады, пускал в небеса хрустальные фонтаны, ожидая часа, когда в «День Города» на черном «кадиллаке», в упряжке тысячи крылатых грифонов, сошедших с рекламы «Шелл», в сопровождении голых юношей из эротического театра Виктюка въедет Антихрист. И Мэр в сопровождении Патриарха под венчальную ораторию Шнитке, написанную на стихи Бродского, поведет его в Успенский собор.

Такая несусветная картина пронеслась в измученном воображении Белосельцева, когда он, преодолевая магнитное поле Мэра, приближался к Прокурору.

Прокурор продолжал разговаривать с пышной, полуобнаженной блондинкой, изображавшей из себя Мэрилин Монро. Он нежно обсасывал розовую креветку, заглядывая в глубокий вырез платья, где круглились взволнованные влажные груди.

— Мы будем действовать только в духе Его Величества Закона. Нам необходимо очищение, которое, как весенний ливень с грозой, смывает с кремлевских башен всю грязь и скверну. — Прокурор слегка грассировал, словно во рту его вибрировала розовая чешуйка креветки. — Но закон для прокурора превыше всего. Знаете, как называют меня за спиной? «Рыцарь закона»!.. — Он обсосал креветку, посмотрел на дамскую грудь. Аккуратно отложил креветку на край тарелки. В этот момент и подошел к нему Белосельцев.

— Боже мой! — сказал Белосельцев, протягивая Прокурору ладонь. — Вот уж не думал вас здесь увидеть!

— Поистине, это чудо! Чудо совпадений! — Ладонь у Прокурора была мягкая, сдобная, и если поковыряться в ее теплой глубине, то можно было отыскать изюм. — Сегодня утром звонил вам, да не застал. И по дороге сюда думал о вашей коллекции.

— Вот она, коллекция бабочек! — Белосельцев, ощутив свободу и прелесть игры, повел рукой по блистающим туалетам, драгоценностям, приклеенным ресницам и парикам. — Столько великолепных экземпляров!

— Жаль, что у нас нет сачков, — принял игру Прокурор, глядя вслед удалявшейся Мэрилин, чье серебристое платье раздваивалось при ходьбе, приклеиваясь к ягодицам.

— Вон та — африканская нимфалида. — Белосельцев глазами указывал на известную эстрадную певицу в полупрозрачной накидке, из-под которой выглядывали полные, обтянутые панталонами ноги. — А вон тот — кампучийский сатир. — Он проследил, как проходит мимо редактор влиятельной либеральной газеты в бархатном пиджаке, мерцая ослепительной лысиной. — А вон папильонида с атлантического побережья Никарагуа, — он кивнул в сторону женщины-депутата, известной своей безудержной пропагандой презервативов.

— Как я вам завидую! — загорелся Прокурор. — Вы собирали свою коллекцию среди джунглей и саванн. А я, увы, только в больших городах. В цветочных магазинах, в лавках колониальных товаров. Недавно в Испании ехал по дороге в окрестностях Барселоны. На цветке, на обочине сидел великолепный парусник. И я не решился остановить машину, со мной был прокурор Каталонии...

К ним подошел официант, неся на подносе два бокала шампанского. Один бокал был ближе к Белосельцеву, другой к Прокурору. Официант с блестящими, набриолиненными волосами молниеносно взглянул на Белосельцева, указав зрачками на ближний бокал. Из толпы померещились глаза Грецишникова. Белосельцев взял ближний бокал, оставляя второй Прокурору.

— За ваше начинание!.. — поднял он искристый сосуд. — За ваше мужество!.. За «рыцаря закона», не ведающего страха и упрека!

— За вашу изумительную коллекцию и великие труды, в которых вы ее собирали!

Они выпили шампанское.

Прокурор держал на весу опустошенный бокал, медлил вернуть его на поднос.

— Ха-ха! — легкомысленно хохотнул Прокурор, возвращая бокал. — Собственно, я неплохо танцую... Женщины любят силу и богатство... В воскресенье на даче я опробовал мой пистолет... Стрелял в березу, и ни одного промаха, ни одного!..

Мысли роились в голове Прокурора, одна отважней другой. Выпитое зелье возбуждало его.

— Вы сказали, она похожа на африканскую нимфалиду? — Прокурор нашел в толпе эстрадную звезду, облаченную в тесные панталоны. — Хотел бы я поместить этот экземпляр в мою коллекцию, предварительно высвободив ее из этих пестрых тряпочек и осмотрев ее тельце! — Полагая, что удачно сострил, он громко захохотал.

— Все в наших силах! — Белосельцев рассмеялся его остроте, чувствуя, что в сознании Прокурора устранены все препоны и он готов совершать неожиданные шальные поступки. — Мы бы могли отправиться сейчас ко мне, посмотреть мою коллекцию. Вас ждут африканские экземпляры, которые я специально для вас отложил... Это здесь, рядом...

— А действительно, почему бы нам не поехать!.. Давно мечтал!.. Надо вызвать машину!.. Красота превыше всего!.. Эстетика выше этики!.. Закон — это этика, беззаконие — эстетика природы и жизни!..

Белосельцев вышел из зала и очутился на набережной под мелким дождем. Прокурор махал рукой, подзывая машину.

— Прошу вас, Виктор Андреевич, едем смотреть коллекцию!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

От гостиницы «Россия» они катили по набережной, глядя на реку, где скользили нарядные, в лампочках и гирляндах, кораблики, с которых пускали салют в честь победителей фестиваля. Прокурор был очень возбужден, говорил без умолку, перескакивая с темы на тему:

— Я считался лучшим оратором на факультете и вполне бы мог практиковать адвокатом!.. Мы проводили на первом курсе конкурсы экзотических галстуков, и я завоевал первый приз!.. Я даже писал стихи, от которых девушки сходили с ума!.. Там была такая строфа: «Умирают левкои, — легко им. Как сиреневый пар — парк...» Неплохо, не правда ли?..

Кремлевская стена, мимо которой они проезжали, казалась сочно-малиновой, воспаленной, словно ей дали пощечину.

— Не спрячутся! — Прокурор иронически кивал на стену, подразумевая засевших в Кремле властителей. — Мы их заставим уйти!.. Вы знаете, как говорил Франко?.. «Друзьям — все, врагам — закон». В Испании я видел его могилу... И там, представляете, летали бабочки-белянки, как белые духи примирения...

Они въехали на Каменный мост. «Ударник» все так же мучился тиком, дергая рекламой «Рено». Белосельцев боялся, чтобы прежде времени не кончилось действие веселящего напитка, чтобы Прокурор не опомнился, не развернул машину в сторону Генеральной Прокуратуры, где в сейфе лежит сокровенная секретная папочка со стопкой бумаг, способных сокрушить Президента. Но Прокурор был в ударе, продолжал разглагольствовать:

— Прокурор должен быть бесстрашным и честным... Мне угрожают... После последнего телеинтервью угрожают сжечь дачу... Я непременно приглашу вас на дачу... У меня великолепно... На участке весной цветут ландыши, а осенью растут белые грибы...

Дом времен сталинизма возник в окончании моста, и над ним, в сыром тумане, огромная красная бабочка складывала и раскрывала крылья, привлекая к себе внимание. Словно требовала от Белосельцева, чтобы тот не проехал мимо.

— Вот здесь! — Белосельцев указал водителю разворот, куда следовало направить машину, чтобы приблизиться к дому.

Во дворе было сумрачно, сыро. На тяжелом фасаде желтели окна. У тротуара стояли машины. Он быстро просмотрел их ряды, безошибочно выделяя одну, притаившуюся под деревом у заветного подъезда, — со штырями антенн, с погашенными фарами, затемненными стеклами. Машина была обитаема.

Сидевшие в ней невидимки отметили их прибытие. Проверили частоту настройки приемника. Всматривались в индикаторы, принимая сигналы крохотной, размещенной в квартире телекамеры.

— Приехали... Можем выходить... — бодро сказал Белосельцев, указывая Прокурору на подъезд. Поднялись на этаж, к двери с затейливо выбитым готическим номером. Белосельцев позвонил, и в глубине квартиры откликнулся клавесин, пролепетавший аккорд средневековой мелодии.

Дверь отворилась, и Вероника, радушная, радостно-изумленная тем, что хозяин явился не один, а с гостем, встала на пороге. Прямой пробор на маленькой красивой голове, белая просторная блузка с отложным воротником.

— Здравствуйте, — улыбнулась она сразу обоим свежей и чистой улыбкой, от которой Прокурор стал чуточку выше, потянувшись на ее свет, — дождик на улице?

— Какая у вас милая дочь. — Прокурор стал галантно расшаркиваться.

— Это мой секретарь, — посмеиваясь, сказал Белосельцев. — Помогает мне писать мою книгу. У меня с ней роман, чисто платонический. — Дивясь своей непринужденности, Белосельцев взял Веронику за руку, осторожно поцеловал. — Дайте-ка нам что-нибудь выпить, милая Вероника.

Белосельцев приглашал Прокурора в комнаты, зорко оглядывая уже знакомые декорации. Бар с напитками, среди которых не виден флакон с возбуждающим, веселящим настоем. Ангольские и нигерийские маски. Эфиопские лубки на пергаменте с изображением чернокожих святых. Буддийская бронза, добытая на рынках Камбоджи. Каталог бабочек, раскрытый на африканской странице. Белый куб компьютера с голубым экраном, на котором мерцает таблица. Все говорит о привычках и пристрастиях хозяина. О его скитаньях. О многотрудной работе над книгой, в которой ему, утомленному путешественнику, помогает молодая поклонница, с которой он на «вы», у которой старомодно целует руку.

— Боже мой, какая красота! — Этот возглас Прокурора относился к сверкающему драгоценному многоцветью, которым была наполнена вторая, полуоткрытая комната. Там, на сте-

нах, переливались всеми цветами радуги бабочки, помещенные в промытые, стеклянные коробки. Стекла были освобождены от пыли.

— Вот моя коллекция, которую я вам обещал показать! — Белосельцев ввел Прокурора в комнату, занятую почти наполовину просторной кроватью под полосатым восточным покрывалом с длинными круглыми мутаками. Эта постель была волчьей ямой, тщательно замаскированной, куда должен был рухнуть потерявший бдительность Прокурор. Не подозревая близкого конца, тот шел в яму с завязанными глазами, на которые ему наложили многоцветную повязку. Две телекамеры, черно-белая и цветная, спрятанные в люстру и узорный оконный карниз, следили за ним.

— Расскажите, как вы ее собирали? Как провезли сквозь границы и континенты? — Прокурор приближал лицо к коробкам, и оно отражалось в стекле, облепленное бабочками. Вошла Вероника, неся маленький серебряный поднос, на котором стояла бутылка коньяка, две налитые рюмки, стеклянная вазочка с фисташками.

— О чем же книга, которую пишет Виктор Андреевич? — Прокурор был восхищен коллекцией, восхищен Вероникой. Опоенный зельем, искал поводов восхищаться. Казался себе чутким, романтичным, утонченным.

— Он пишет книгу о бабочках, — охотно и приветливо стала объяснять Вероника. — Каждая пойманная бабочка — это страничка его жизни, какой-нибудь военный случай, встреча с политиком или разведчиком. Ну и, конечно, любовные приключения, встречи с прекрасными женщинами. Книга — дневник жизни, где каждая бабочка — листок календаря.

Белосельцев был изумлен проницательностью молодой женщины, угадавшей его тайную мечту. Был изумлен утонченной веселой ложью, с которой она говорила. Ей нравилось лгать и играть.

— Рад видеть вас в моем доме. — Белосельцев взял с подноса рюмку, ту, на которую указали ему смеющиеся глаза Вероники. — Я восхищаюсь вашим мужеством. Понимаю весь риск вашей деятельности. Желаю вам успеха в многотрудных деяниях на благо России, во имя Его Величества Закона!

Прокурор благодарно принял рюмку из рук Вероники. Они чокнулись, и Белосельцев, глотая обжигающий душистый коньяк, видел, как хватают хрусталь губы Прокурора, как не спускает он глаз с Вероники.

Действие зелья стало проявляться немедленно. В голове Прокурора загорелось негасимое солнце. Он испытал прилив возбуждения, желание говорить, рассуждать. Ему хотелось нравиться, слышать похвалы, быть в центре внимания. Растворенный в коньяке препарат порождал в нем род безумия, когда он остро, с нарастающей силой ощущал свое величие, был милостив к окружающим, делился с ними этим величием.

— Вы верно меня угадали!.. Его Величество Закон и Ее Величество Россия!.. Я чувствую драматизм момента!.. От меня одного зависит, в каком направлении двинется история России!.. Страшно подумать, что от воли, честности, бесстрашия одного человека зависит судьба великой страны, великого народа, нашей молодой и такой хрупкой демократии!.. Это страшная тяжесть, страшная ответственность!.. И одновременно счастье!.. На тебя смотрят враги и друзья, тебя ненавидят, тебя обожают!.. Я владею страшной тайной!.. Если бы вы знали, что содержится в тоненькой розовой папочке, лежащей в сейфе в моем кабинете!.. Какие чудовищные преступления власти!.. Какая бездна падения!.. Это не люди, а клубок червей, проползший в Грановитую палату!.. Не просто воры, похитившие заводы, прииски, авиационные компании!.. Не просто грабители, уносящие из казны алмазы, золото, драгоценные изделия и царские монеты!.. Они похитили саму власть, сам священный выбор народа, каждый раз, в дни выборов, похищая миллионы голосов избирателей, продлевая с помощью невиданного обмана свое бесчестное присутствие в Кремле!.. И вокруг этого трупы, заказные убийства, развязывание войн!.. В этой папочке смертный приговор Президенту!.. Смертный приговор его ненасытной семейке!.. Смертный приговор Зарецкому!.. — Прокурор говорил безостановочно. Белосельцев чувствовал его беззащитность. Ему было скверно от мысли, что он участвует в несправедном деле. Вероломно заманил человека в ловушку.

Он уже собирался прервать Прокурора, открыть обман. Но в соседней комнате громко зазвонил телефон. Белосель-

цев поспешил к телефону, снял трубку и не ошибся — звонил Гречишников:

— Молодец, все отлично!.. Вижу вас на экране!.. Слушаю ваш разговор!.. Все классно, все удастся!.. Ты делаешь великое дело!.. Отомсти за «Новую Хазарию»!.. Отомсти за оскверненный Кремль!.. Через пять минут уходи, оставляй его с девкой!.. Если что, я рядом!.. — Гудки в трубке. Он вернулся в комнату в момент, когда Прокурор читал Веронике стихи, держа ее руку.

— «Умирают левкои, — легко им. Догорела заря — зря. Как сиреневый пар — парк...» Ну это так, пустое... Воспоминания чудных дней... Теперь в моей судьбе властвует не рифма, а закон... Впрочем, сейчас, когда я вас увидал... — Появление Белосельцева его смутило. — В молодости я увлекался Бальмонтом, Северяниным... Божественная коллекция...

— Срочный вызов. Должен вас ненадолго оставить, — сказал Белосельцев. — Вероника, развлеките дорогого гостя. Расскажите ему подробнее о нашей коллекции. Совершите с ним путешествие на иные континенты, в иные миры...

Вероника проводила его до дверей, улыбнулась на прощанье очаровательной улыбкой, синтезированной в лаборатории обольщений. Он снова ощутил запах ее духов, как струйку эфира в душном воздухе Африки, оставленную пролетевшей бабочкой.

Во дворе было темно, шел дождь. Горели по фасаду мутные желтые окна. Машина с антеннами стояла под мокрым деревом без огней. Белосельцеву почудилось, что за темными стеклами загорелся и тут же погас красный уголек сигареты.

Он вернулся домой, зажег свет, и голые, лишенные коллекции стены кабинета ужаснули его бледными прямоугольниками, испятнавшими обои. Вернулся в гостиную. Снял с книжной полки Тургенева. Положил на столик. Лег на кушетку под плед. Открыл «Записки охотника» и стал читать наугад отрывок с описанием летнего луга. И вдруг счастливо задохнулся, ослеп от солнечного блеска травы, мелькания цветов. От мотыльков, прозрачных в слепящем свете, облепивших пряный цветок.

Его сон был продолжением луга. Он бежал по траве, и голые ноги чувствовали теплую землю, режущий, застрявший между пальцев стебель, рыхлую кротовую норку, пепельно-

сухой муравейник. Он не хотел просыпаться, стараясь продлить молодой и горячий бег, слыша вторжение режущей телефонной трели.

Говорил Гречишников:

— Немедленно приезжай к Копейко!.. Такое увидишь!.. Ты великий разведчик, Виктор Андреевич!.. «Подвиг разведчика», вторая серия!.. — с захлебывающимся смехом кувыркнулся и исчез в глубине телефонной трубки.

Среди ночи Белосельцев отыскал ампирный особняк с колоннами, с чугунной решеткой балкона, с кнопкой звонка, врезанной в белую кладку. Охранник, успев разглядеть его сквозь застекленную трубочку телекамеры, впустил в дом. В небольшом, матово озаренном помещении его встретили Гречишников и Копейко.

«О тебе, моя Африка, шепотом в тишине говорят серафимы...»

Гречишников обнял Белосельцева, любовно заглянув в него оранжевыми глазами.

— Радовался ли так Королев, получив первые снимки с лунохода?

Копейко, круглоголовый, пушистый, округлив совиные глаза, усмехался маленьким ртом.

— Настаивал и буду настаивать!.. Что невозможно достичь с помощью воздушных армий, достигается с помощью женского лобка, правильно сориентированного во времени и пространстве!..

Он держал в руках кассету. Целил ее в скважину видеомагнитофона, перед которым стояли початая бутылка водки, мокрые рюмки, тарелка с нарезанной семгой.

— Не томи, покажи! — Гречишников наполнил рюмки, восторженно глядя на Белосельцева, как на героя, за которого предстояло выпить. — Засунь ее поглубже, будь добр!

Копейко утопил кассету в магнитофон. Нажал пульт. На матовом экране, среди легкой ряби, как отражение на выпуклой голубоватой поверхности, возникли кадры.

Белосельцев увидел знакомую кровать с полосатыми мутками, изображенную в косом ракурсе сверху. Прокурор притягивал к себе Веронику. Та слегка отстранялась, а он двумя руками обнимал ее за пояс, прижимал к своему животу.

— Он может вернуться?.. Вы уверены, что он не вернется? — Прокурор целовал Веронику в открытую шею, при этом была видна его лысеющая голова и ее смеющееся лицо.

— Вернется через час или больше. Должно быть, поехал к своей старой больной тетушке, которой стало плохо. Он иногда уезжает к ней по срочному вызову. Мы прерываем редактирование книги.

— Давай ее с тобой редактировать!.. — Прокурор целовал ее шею, неловко расстегивал ей блузку. — Пускай помогает тетушке, а мы будем редактировать книгу.. Вернется, а она отредактирована...

Был слышал ее смешок, его тяжелое дыхание. В объектив попадал фрагмент стены с коллекцией бабочек.

— Ну давай, давай, старый козел! — весело комментировал Гречишников. — Давно не раздевал молодых баб?.. А как же жена?.. А семья?.. А нравственность?.. А честь мундира?.. Ну, Прокурор!.. Ну, «рыцарь закона»!.. Ну, совесть нации!.. Козел похотливый!..

На следующих кадрах, уже прошедших предварительный монтаж, следовал эпизод раздевания. Прокурор, неловко нагибаясь, хватая подол, а затем, подымаясь на цыпочки, снимал с Вероники платье. Вздыхал над ее головой. Вытянув руки вверх, она позволяла снимать, чуть мешая, выгибая бедра, поддразнивая Прокурора. Тот справился с платьем, откинул его куда-то в сторону. Принялся из-за спины расстегивать ей лифчик. Она улыбалась. Был виден ее прямой бестужевский пробор, зябкое передергивание плеч. Прокурор, что-то курлыкая, освободил ее от лифчика. Колыхнулись ее круглые, тяжелые груди. Прокурор жадно наклонял лицо, пытался целовать ее грудь, задыхался, а она мешала, глядела насмешливо на его наклоненную, дрожащую лысину.

— Дорогая, как же ты хороша, как прелестна!.. Не бойся меня, не бойся!..

Гречишников едко смеялся:

— Да она тебя не боится, хрыч!.. Ты бы ее не боялся!.. Своя небось баба обрыдла!.. Свежатишки захотелось?.. Кушай, кушай, с подливочкой!.. Скоро икать начнешь!..

Затем следовали кадры, которые не включали в себя раздевание Прокурора, по-видимому, состоявшее из бестолково-

го сволакивания пиджака, дерганья галстука, отстегивания нелепых подтяжек, комканья брюк, стыдливого освобождения от длинных семейных трусов. Сразу появилась постель с двумя телами, успевшими смять покрывало и сдвинуть мутаки. Вероника лежала лицом вверх, согнув красивый локоть, подложив ладонь под голову. Другой ладонью чуть прикрывала грудь, растворив тонкие пальцы, сквозь которые невинно выглядывал сосок. Прокурор тыкался в нее по-собачьи, жадно целовал ее неподвижное тело, и казалось, что он собирается не любить ее, а торопливо ею поужинать. Были слышны его постанывания, утробные, похожие на всхлипывания слова:

— Богиня!.. Несравненная!.. Помоги мне!.. Ты мне как дочь!.. Я теряю сознание!.. Сделай так, чтоб я умер!..

— Ты уже умер, козел!.. — ликовал Гречишников. — Ты уже на Ваганьковском!.. Закажем тебе памятник работы Эрнста Неизвестного!.. Фаллос в прокурорском мундире!.. «Под камнем сим лежит законник, он членом бил о подоконник!» — Они с Копейко подняли рюмки. Не дождавшись того же от Белосельцева, чокнулись, выпили, хватая руками розовые ломти семги.

Белосельцев вдруг испытал острое, нарастающее чувство позора. Сознание своего мерзкого греха.

Прокурор лежал навзничь, лицом в потолок, с полуоткрытым, постанывающим ртом, идиотическими, побелевшими от наслаждения глазами, уродливо раздвинув стопы с загнутыми большими пальцами. Женщина склонилась над ним, белея гибкой спиной, с подвижной линией позвоночника, круглыми, кувшинообразными бедрами. Целовала его волосатую грудь, выпуклый дышащий живот. Ее голова двигалась, плавно описывала цифру «восемь». Были видны ее маленькие, тесно сжатые стопы. Время от времени она поднимала голову, отбрасывая назад спадавшие волосы.

— Как хорошо!.. — подавал ноющий голос Прокурор. — Мы созданы друг для друга!.. Мы поедем во Францию!.. Будем жить у моря!.. Как мне хорошо, моя радость!..

— Обещаю, козел, через день это услышит вся Россия! — гоготал Гречишников, подливая водку. — Только уточни, где будете жить?.. В Ницце?.. На Лазурном берегу?.. В какой-ни-

будь маленькой уютной гостинице под Марселем?.. Может быть, вам обвенчаться?.. Справим свадьбу в «Метрополе», позовем на нее всех валютных проституток Москвы!..

Прокурор лежал на женщине, похожий на носорога, с жирной горбатой спиной, тучными плечами, маленькой лысеющей головой. Сопел, бормотал, хлюпал. Через несколько пропущенных кадров подымался из постели. Стыдливо отвернувшись от женщины, напяливал нелепые семейные трусы и при этом хотел казаться галантным, благодарил ее. Она продолжала лежать, смотрела ему в спину и улыбалась.

— Стоп-кадр!.. — возопил Гречишников. — Это лучшее, что мы имеем!.. В журналы «Лица» и «Профиль»!.. На первые страницы!.. Правосудие надевает трусы!.. Зевс покидает Данаю, натягивая сатиновые трусы образца первых сталинских пятилеток!.. После этого его будут узнавать не только по лысине, но и по трусам!.. Ради такого стоит жить и работать!..

Они выключили магнитофон. Внезапно дверь растворилась и вошел Зарецкий, возбужденный, нетерпеливый.

— Где?.. Получилось?.. Покажите!.. — потребовал он, заикаясь.

Гречишников и Копейко с победным видом перемотали кассету.

Белосельцев больше не смотрел на экран. Он наблюдал лицо Зарецкого. С первых минут просмотра это лицо выражало торжествующую радость и облегчение, как если бы с плеч Зарецкого спала огромная тяжесть. Он опять был свободен. Ибо его палач, его главный враг обезврежен. И Зарецкий ликовал, хлопал себя по худым ляжкам.

Экран погас. Зарецкий жадно схватил кассету, засовывая ее во внутренний карман пиджака тем особым заливчатским жестом, каким прячут туго набитый бумажник.

— Благодарю! — произнес он тоном, каким полководцы благодарят полки за победу. — Копия сделана?.. Дубль обеспечен?.. Завтра по нашей программе в «прайм тайм» мы это покажем стране. Никаких утечек!.. Атомный проект, Лос-Аламос!.. Они узнают о нашем оружии после того, как оно будет взорвано!.. Благодарю вас отдельно! — обратился он к Белосельцеву. — Тогда, в Кремле, не было возможности узнать вас поближе. Ваши

друзья прекрасно вас аттестуют. Я убедился, что они абсолютно правы. Хотите вместе работать? У меня есть восточное, кавказское направление. Чечня, Азербайджан, Грузия, нефтяной проект. Вы специалист по Востоку... Или, если желаете, можете вернуться в свою родную контору, в ФСБ. Там нужны преданные, разделяющие наши убеждения люди... В любом случае, я не забываю друзей, не оставляю их без вознаграждения... — С этими словами он повернулся и вышел.

— Он сдержит обещание, — сказал Гречишников, — Избранник будет директором ФСБ.

Они еще немного посидели, глядя на пустой видеомagnetофон. Белосельцев простился и вернулся домой.

Он спал бесконечно долго, и ему казалось, что его кости, большие и малые, раздроблены и расплющены. Превратились в пудру, в костный порошок, насыпаны из щепоти на дно черной ямы. Когда наступил день и сквозь веки забрезжило, засветилось, мучительно замерцало, он все еще цеплялся за сон, желая подольше оставаться внутри забытья.

Среди дня ему вернули коллекцию. Те же вежливые молодые люди внесли в кабинет коробки, начали было развешивать. Но он остановил их рвение, сказав, что сделает это сам. Некоторые экземпляры при перевозке были сотрясены и покинули свое место в коробках. У двух или трех бабочек отломились крылья и усики, и он, вооружившись пинцетом, тубиком резинового клея, приступил к реставрации.

Он и сам нуждался в реставрации. Он выгорел, как дом, в который попала струя огнемёта. К вечеру это отчуждение и холодная пустота сменились раздражительным нетерпением. Он подходил к телевизору, не решаясь его включать. Дождался вечерних новостей. Рассеянно прослушал гадкий набор событий, живописующих жизнь страны как непрерывную череду эпидемий, заказных убийств, производственных аварий, юбилеев еврейских артистов, с небольшим вкраплением праздника в Голливуде и трогательного сюжета из жизни эстонских коллекционеров.

Новости кончились, и после безжизненной синевы экрана, без объявления, возникло знакомое лицо телевизионного

хама, с лысым лбом, неопрятными бровями и вывороченными мокрыми губами. Обычно наглый, добродушно-пошлый, он был теперь страшно взволнован:

— Только чрезвычайные обстоятельства... Детям младшего возраста... По нашему глубокому убеждению... Честь прокурорского мундира... Долг честного журналистского расследования...

Диктор пропал, а вместо него возникли знакомые кадры, на которых Прокурор освобождал из лифчика женскую грудь. Обморочно лежал на кровати, раскрыв рот. Подымался смущенно с ложа, стараясь спрятаться в длинные семейные трусы. Все это сопровождалось постанываниями, смешками, сентиментальными и пошлыми признаниями. Прокурор был узнаваем по грассирующему голосу, плешивой голове, губам, хотя весь его облик был слегка невнятен, как бывает на кадрах оперативных съемок.

В следующий момент возникла четкая, официальная фотография Прокурора в служебном мундире, словно для того, чтобы подтвердить подлинность недавних кадров. Диктор зачитал Указ Президента о временном отстранении Прокурора от должности, до выяснения обстоятельств, связанных с продемонстрированной пленкой. Еще через минуту была показана иная фотография — Избранника, спокойного, утонченного, чьи светлые, чуть навывкат, глаза смотрели мимо фотографа. Диктор зачитал второй Указ — о назначении Избранника на пост директора ФСБ.

Белосельцев выключил телевизор, испытыв облегчение. Болезнь отступила. Он выполнил долг разведчика. Друзья могли быть довольны. «Проект Суахили» продвинулся еще на малый отрезок.

Ночью он ушел гулять. Двинулся не вниз по Тверской, куда устремлялся блистающий поток ночных лимузинов, в которых сидели уверенные мужчины, иные с бритыми головами, в золотых цепях и браслетах, иные в дорогих галстуках, со спокойными глазами умных и великодушных победителей. Он нырнул в подземный переход. Торопливо обогнул здание кинотеатра «Россия», на котором сверкало самоцветами огромное павлинье перо, привлекая в ночную дискотеку бледных юно-

шей, выросших без солнечного света, под фонарями, среди сладких дымов. Туда же устремлялись блистающие глазами барышни с огоньками дорогих сигарет в покрашенных сиреневой помадой губах. Достиг Страстного бульвара и оказался в сырой, бархатно-коричневой пустоте под пышными молчаливыми деревьями.

В этот час московской ночи бульвары были безлюдны и пустынно, как лес. Погруженный в свое созерцание, он вышел к Котельнической набережной, где высотное здание смотрелось горой с удалявшимися к вершине огнями окон. Ему не хотелось к набережной, где дрожало зарево неугасимых ночных увеселений, и Кремль, озаренный стараниями московского Мэра, казался праздничным ванильным тортом, с марципанами и цветами сладкого крема. Он уклонился от этого кондитерского дива и свернул на Яузу.

Он шел среди изгибов реки, у подножья холмов, на которых молча, словно стены крепостей, высились здания самолетных и ракетных «кабэ» с погашенными окнами лабораторий. Он думал о своей жизни, которая приближается к завершению, и он не знает, чем она завершится.

Он шагал вдоль Яузы, к ее верховьям, к неведомому ключу, бьющему в отдаленном лесном овраге. На черной воде струилось длинное отражение фонаря. Услышав негромкий плеск, как если бы в воду, мягко оттолкнувшись от гранитной набережной, погрузился пловец, Белосельцев заглянул через край каменного парапета. Вода оставалась неразличимо черной, но отражение фонаря всколыхнулось. Он чутко вслушивался в звуки, всматривался в колебания света. Вдруг различил едва приметное скольжение, словно в реке двигалось черное гладкое тело, покрытое лаком водяной пленки. Он всматривался, наклонялся и вдруг с испугом и сладким предчувствием, расширяя зрачки, увидел, что это женщина, черная, с отливом, с глянцевыми, прижатыми к голове волосами. Светились ее белки. Дышали, отгоняя набегавшую воду, полные губы. Когда она проплывала под фонарем, подымая из воды длинную гибкую руку, с которой сыпались яркие капли и вскипал голубоватый бурун, она обратила к нему свое лицо, похожее на африканскую маску, и он на грани счастливого обморока

узнал Марию. Африканская царица, бессмертная волшебница горячих пустынь и душистых зарослей, избегнувшая огня и смерти, сохранившая молодую прелесть, тонкость и гибкость шеи, плавную силу плеч, сочность длинной груди. Чудо ее возникновения на Яузе состоялось в минуту его отчаяния и духовной болезни. Напоминало давнишнее ее появление в «Полане», когда, вызволенный из плена, он лежал, обгорелый, в ушибах и ссадинах. И она явилась к нему, как целительница, накладывая на переломы и раны отвар из корней и трав.

Она подплыла к каменным ступеням. Поднялась из реки, осторожно ступая, нащупывая дно. Ее стопы с длинными гибкими пальцами расплескивали мелкую, облизывающую ступени воду. Длинные груди колыхались над круглым глазированным животом. Он видел ее стеклянно-черный кудрявый лобок, темные чаши бедер, узнавая все таинственные пропорции ее африканского тела.

Подошла и встала рядом с ним, поставив на парапет острый локоть. И он слышал, как пахнет рекой ее тело, как она дышит, отдыхая после купания.

И вот они танцевали на открытой веранде у теплой ночной лагуны, и за белой балюстрадой вдруг возникало бронзовое лицо автоматчика, а потом проплывал саксофон, и он обнимал ее за гибкую спину, чувствуя, как движется у него под ладонью мягкая ложбина, округло колыхнутся бедра и сквозь блузку давит ее выпуклый твердый сосок. В маленьком ухе, похожем на черную ракушку, золотилась серьга с зеленым камушком, и он хотел его коснуться губами, прижимал ее, глядя на туманные огни, и она едва слышно откликалась на его объятья.

Они лежали на просторном ложе в его прохладном номере. В стеклянной вазе круглились спелые яблоки, топорщил перья медовый чешуйчатый ананас, свисали лиловые виноградные грозди. Он украшал ее плодами и ягодами. Клад на ее чело кисточку вишен, помещал на грудь тяжелые золотистые груши, на дышащий живот — полумесяц отекающей дыни, на округлые бедра — два алых ломтя арбуза, на теплую кудель лобка — золотистую виноградную гроздь, на гибкие пальцы ног — душистые земляничины. Она милостиво принимала дары, улыбаясь ему в полусне.

Они плескались в океане, в солнечном зеленом рассоле. Он подныривал под нее, видел, как колеблется размытое зеленое солнце. Под водой он охватывал ее колени, целовал ее живот, ее гладкие скользкие бедра. Чувствовал губами соль океана, водяное скольжение вокруг ее ног. Вырывался на поверхность в бурю воды и света — ее хохочущее лицо, яркие белки, красный быстрый язык.

Они шли под дождем в ночную «Полану», брызги скакали по белому столику с забытой кофейной чашкой, овал бассейна был туманным от ливня, и он, промокая насквозь, держал над ее головой бесполезный журнал.

Белосельцев стоял, улыбаясь, на набережной. Смотрел на влажный парапет, к которому только что был прислонен ее локоть, на недвижный, отраженный фонарь. Думал: что это было? Что сулит ему это чудо на Яузе?

Часть вторая

ОПЕРАЦИЯ «ПРЕМЬЕР»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Звонок Гречишникова, которого он не хотел и отдалял несколько дней, последовал под утро. Дружелюбный голос произнес:

— Прости, Виктор Андреевич, дорогой, что не звонил, пришлось ненадолго уехать... Соскучился, хочу повидать... Все коллеги соскучились, говорят, пора повидаться... И вот какая счастливая мысль — поехали-ка мы на охоту!.. Есть свое родное охотохозяйство, лося завалим, воздухом подышим... Рюмку подыдем, подальше от посторонних глаз и ушей... Согласен?

— Да я уж давно не охотник, — отнекивался Белосельцев, — бабочек и тех не ловлю. А ты говоришь — лось...

— Тряхни стариной... Лес, красота... Домик охотничий... В тесном кругу посидим... Вечером выезд, к ночи на месте... Ночуем, а утром, с зарей, на охоту... Жди, мы заедем!

Вначале мысль куда-то тащиться за тридевять земель показалась ему ужасной и невозможной. Но мало-помалу им вдруг овладело молодое волнение, вселившееся в него из румяной юности, когда школьником вместе со старшим другом уезжал на охоту в волоколамские леса. Накануне весь вечер при свете настольной лампы снаряжал патроны. Блестящим наперсточком сыпал в картонную гильзу горстки бездымного

пороха, состоящего из крохотных сизых квадратиков. Вгонял мохнатый, вырубленный из валенка пыж. Вкатывал в гильзу литую порцию дроби, напоминавшей черно-серебряные икринки. Закручивал края гильзы специальным устройством, которое потом вспоминалось каждый раз, когда особым штопором открывал бутылки сухого вина. И вот снаряженные патроны, натертые парафином, вставлены в кармашки патронташа. Одностволка, смазанная маслом, покоится в брезентовом чехле. Собран старенький рюкзак с провиантом. И вся предшествующая охоте ночь, полная сладких мечтаний и предчувствий, обрывается мгновенным утренним пробуждением. Прощальные хлопоты и тревоги бабушки, и вот уже морозный вокзал, хрустящий перрон с простывшими пассажирами, замороженный вагон электрички, которая с наждачным воем начинает мчаться навстречу дымному солнцу. Эти воспоминания опьянили его, и он решил ехать.

Под вечер его подобрал вместительный джип, где ему протянули крепкие руки Копейко и Буравков, одетые по-охотничьи, в куртки, один в тирольском берете, другой в клетчатой, с помпоном, кепке. Гречишников, в удобных сапожках, в смешном колпачке, приобнял Белосельцева, пуская его внутрь машины, за рулем которой сидел молодой приветливый шофер.

— Вся гвардия в сборе!.. Лося по дороге купим!.. Трогай, Леня!.. — бодро приказал Гречишников, заглядывая в задний отсек, где лежали кожаные чехлы с ружьями, стояли ящики с пивом, водкой и виски. Машина мягко снялась, покатила в гуще московского вечернего потока.

Устроившись на заднем сиденье, глядя на вечерние витрины Арбата, Белосельцев не жалел, что поехал. Было приятно покидать нарядный город на один только день, зная, что снова в него вернешься. Триумфальная арка была похожа на мраморный камин с чугунными решетками, античными колесницами, римскими воинами. На шоссе машина набрала скорость.

Компаньоны вели себя так, словно их связывало единственное увлечение — охота. Ни слова, ни намека о недавно случившемся. Только шутки, анекдоты, легкие друг над другом насмешки — над тирольской шапочкой Копейко, над пом-

поном Буравкова, над кожаной, похожей на ягдташ сумкой Белосельцева, куда он, по-видимому, собирался запихнуть убитого лося.

Через некоторое время Буравков извлек изящную, обшитую кожей фляжку, отвинтил серебряную крышку, превратившуюся в маленькую рюмку, и предложил всем для поднятия духа испить французского коньяку. Что они и сделали, пуская рюмку по кругу, один, другой, третий раз, приятно возбуждись от бодрящего напитка.

Копейко рассказал какой-то смешной анекдот про «нового русского». Буравков поддержал его анекдотом про Клинтон и Монику Левински. Гречишников очень смешно поведал об охоте в Германии, где его водили стрелять фазанов. Белосельцеву было хорошо от скорости упругого мощного автомобиля.

Они приехали на лесной кордон поздно ночью, высветив фарами бревенчатую избу с крыльцом, двор с тесовыми воротами, стог сена, окруженный пряслами, и влажную глубину близкого леса.

Их ждал егерь, вскипятивший самовар и принявший участие в трапезе, с удовольствием поглощая дорогую городскую еду, копчености, колбасы, наливая в мокрые рюмки водку.

— Надо его бить наверняка, чтоб из шкуры вылетел, — учил егерь, разомлевший от водки, чувствуя расположение гостей. — Лучше в хребтину целить, в скелет. Парализует его, и ляжет. В прошлый раз генерал приезжал, пробил быку сердце, так он еще двести метров, не сбавляя хода, шел.

— Главное, семенники ему сразу вырезать, — со знанием дела добавил Копейко. — Он еще жив, а ты ему вырежь. А то мясо мочой пропахнет.

— Если течка, бык ли, корова, все равно мясо пахнет, — заметил Буравков, — но под водочку да с приправой — любое сойдет.

— Ну что, друзья, по последней. Завтра ранний подъем! — завершил трапезу Гречишников. — Кто рано встает, тому Бог подает!

Они переместились в прохладную спальню с удобными кроватями, и Белосельцев, запахиваясь одеялом, подумал, как

хорошо, что он согласился поехать на охоту, — не за лосем, а за давнишними, драгоценными переживаниями, делавшими его молодым.

Утром он проснулся от голосов, звяканья, шумных шагов. За окнами было темно. Охотники, полуодетые, стояли под лампой, собирали ружья, оглаживая иссиня-черные вороненые стволы.

Холодный чай, бутерброды. На пороге возник егерь, в брезентовой куртке, картузе, ладный, ловкий и озабоченно-строгий:

— Лошадь запряг, пора... До острова добираться, а там по номерам вставать... А то уйдет стадо, ходи за ним целый день...

Один за другим выходили на крыльцо, в темень, в чудный сырой аромат близкого леса, сплошного, черного, над которым начинало чуть заметно синеть. Под желтым окном стояла телега. В клетках поскуливали, шумно бросались собаки. Продирая горло, прокричал петух.

Погрузились в телегу, покидав на сено ружья. Тронулись вдоль леса по мягкой, продавливаемой ободами дороге. Все это сдабривал теплый запах дышащей лошади и табачный дымок кем-то запаленной сигареты. Сна как не бывало.

Рассвело, когда они въехали в сырое мелколесье с желтыми мокрыми травами, полуоблетевшим, пушистым кипреем, редкими вершинками сосен.

— Тут, на выходе, встанете, — сказал егерь, соскакивая с телеги. — А я пойду гнать... Некуда им деться, с болота на вас пойдут...

Он провел охотников краем сырого прогала, за которым чувствовалось болото, источавшее сочные, кисло-сладкие ароматы ягод и мхов. Там, завершив ночную жировку, отяжелев от обильного корма, укладывалось стадо лосей, чутко прислушиваясь к шелесту осин, разбуженных утренним ветром.

Белосельцева оставили одного среди пушистых зеленых кочек и хилых болотных сосенок, под желтым утренним небом. Ему вложили в руки двустволку, которую он не намерен был пускать в ход, довольствуясь ее изящной легкостью и нежностью приклада, волнующим запахом железа и смазки. Остальные охотники ушли вперед, окружая болото. Белосельце-

ву издалека был виден Копейко, остановившийся в зарослях, его тирольская шапочка, мутно белевшее лицо.

Стало тихо. Стремительно светлело. Впереди был виден ярко-лиловый цветок лесной гераньки, резные папоротники с налетом осенней ржавчины, чахлый кустик малины. Белосельцев сорвал ягоду, положил в рот.

Он услышал, как за болотом, высоко и тонко, с переливами и перепадами звука, прогудело и смолкло. Еще и еще раз. Это егерь приложил к стволу побледневшие от напряжения губы, выдувал сложный мотив. По сосняку, перепархивая через чахлые вершинки, загавкало, застучало. Молодой шофер, сопровождая егеря, колотил палкой по стволам. И в ту же минуту из мелколесья, как из растворенных ворот, вышли лоси, переставляя высокие ноги, качая горбатыми спинами. Черный гривастый бык со вздыбленной шерстью толкал вперед трех пугливых низкорослых коров. Плавнo качаясь, выбрасывая пар на холодные мокрые травы, они пробежали мимо Белосельцева, не замечая его, чавкая и треща, продавливая среди стеблей и кустов шумную дорогу. С восторгом и сладким ужасом он смотрел на зверей, чувствуя их горячие запахи, мощь и красоту работающих мышц, сотрясавших гладкую кожу. Видел, как погружаются они в заросли и над их спинами смыкаются ветки.

Резко и чисто ударил выстрел. Следом — другой. Передняя корова схватила на лету пулю в грудь, ее развернуло страшным ударом, кинуло вбок. Тяжелым вихрем она сминала вокруг себя тонкие сосны, резала копытами стебли, взрывая жидкий бурун земли. Лес затихал от хруста убежавших лосей.

— Готов! — раздался торжествующий крик Копейко.

Все сбегались на этот крик, выскакивали из зарослей, сосняка, ржавой гущи болота. Окружали лосиху.

— Кто стрелял? — Егерь подбегал на проворных кривых ногах, скаля рот.

— Я! — разгоряченно и азартно сказал Копейко. — Обе пули в ней!

— Молодцом! — похвалил егерь. — Корова-трехлетка...

— Бык следом шел, да она на выстрел вышла...

— Бык больно грамотный, вперед коров пропускает...

Буравков, оттолкнув остальных, неожиданно подскочил к лосихе, схватил ее за жесткий клочок бороды, приподнял тяжелую голову и, выхватив из ножен длинный нож, полоснул по горлу. Горло раскрылось, и из него, звеня, густо шлепая на листья, потекла кровь. Этот ловкий взмах Буравкова был приемом опытного, бывалого охотника, спускавшего звериную кровь, но также проявлял неуголенную страсть добытчика, которому не достался выстрел и который желал хоть как-нибудь приобщиться к убийству зверя.

Все громко, возбужденно разговаривали над убитой лосихой.

— От, елки зеленые! Котлеты будут! — Молоденький шофер, помогавший егерю гнать стадо на выстрелы, ухватил лосиху за ногу.

Егерь под уздцы подвел лошадь. Лошадь послушно топталась, скалила желтые зубы. Добычу подхватили за ноги, за уши, с трудом вволокли на подводу. Лосиха не помещалась на ней, и егерь супонью стянул к животу ноги, подогнул голову и плотно уселся ей на глаза. Лошадь тронулась, все двинулись следом, оставляя на болоте черную мокрую вмятину, розовую по краям.

Телега мягко колыхалась в колее. Спина лосихи бугрилась, закиданная зеленым сеном. Белосельцев шагал за телегой, видя, как капает кровь.

Они вернулись на кордон под хрипы и визги загнанных в клеть собак, учуявших издали запах звериной плоти. Егерь соскочил с телеги, достал из-под сена веревку, ловко накинул петлю на лосиную ногу, другой конец намотал на столб. Тронул лошадь, веревка натянулась, лосиха соскользнула с саней, грохнулась с гулом и стоном. Опустевшая телега облегченно покатилась.

Лосиха лежала посреди двора, одна нога вытянута, как струна, с веревкой, подтянутой к столбу. Все сошлись над добычей.

— Кто разделывать станет? — спросил егерь, обращаясь к Копейко, как к главному хозяину добычи. — Шкуру бы не испортить. Из нее хороший ковер выйдет.

— Пусть Буравков разделывает, — усмехнулся Копейко, — всю жизнь сдирал шкуры. Ни одной не испортил.

Буравков вынул длинный блестящий нож и быстро, точно обвел им лосиные ноги выше копыт. Шкура легко распалась, из-под шерсти глянули красные жилы. Буравков ухватился за кромку кожи, потянул, скаля от напряжения зубы. Кожа поползла с легким потрескиванием, обнажая кость с белыми, туго натянутыми сухожилиями и перламутровыми венами. Он толкал шкуру концами коротких пальцев, то и дело вытирал их о шерсть. Из-под звериной шкуры буграми выходили мускулы, как из открытой кастрюли шел пар. Лицо Буравкова розовело сквозь пар, ноздри его сжимались, ловя разлетающийся запах крови. Все жадно помогали ему, хватались за шкуру, тянули, чертыхались, пинали лосиху ногами с веселой ненавистью.

— А ну колыхни его!.. — приказывал Буравков. — На бок, на бок вали!..

Тушу перевернули. Что-то вдруг екнуло в ней, забурлило. Из раскрывшейся шеи брызнула мертвая кровь. Лизнула Буравкову сапог. Он брезгливо отдернул ногу, пнул лосиху.

— Давай сюда колун, — потребовал он, — шкуру сильнее натягивай!

В несколько рук стали тянуть шкуру, отделяя ее от мускулов, а Буравков тыльной стороной колуна, мокрым тупым железом, стал бить в млечные пленки, в перламутровые сплетения, отбивая шкуру от красных мышц. Ее содрали с хрустом и чмоканьем, вытолкали красную мускулистую тушу, как из халата. Постелили шкуру на траву посреди двора, и она, как серебристо-серый ковер, устелила траву, окутанная розовыми испарениями.

Звякнув и повертев лезвием в позвонках, отделили голову. Собаки хрипели, кидались сквозь железные прутья. Принялись разделывать тушу. Всунули нож в легкие. Раскрыли брюшину, закачались огромные мешки кишок, перетянутые сетью жил. Раскроили грудную клетку, и там, среди бледно-розовых легких, зачернело сердце.

— Дай-ка за него подержусь!..

— Ого, склизкое!..

Кишки колыхались, как резиновая надувная лодка. Синяя печень ныряла среди них, будто маленький гладкий тюлень.

Жадные руки хватали и драли внутренности, тянули их, как постромки огромного парашюта.

Возвращались в избу, гремели рукомойником, смывая с пальцев сукровь и слизь. Резали на доске печенку, чистили лук, кидали на шипящую сковородку. Достали из ящика водку и виски. Ели раскаленную печень, кидали вслед частые хмельные рюмки. Блестела клеенка с розовыми цветочками. На нее падали и застывали капельки сала. Егерь и шофер, охмелев и насытившись, вышли из избы покормить жилами и костями собак. Гречишников, жадно запивая обжигающую печень стаканом холодного пива, сказал:

— Теперь от наших лосей к нашим баранам. — Он весело и любовно взглянул на Белосельцева. — Тебе особая благодарность от Избранника. Он восхищен проведенной операцией. Сказал, что она войдет в историю новейшей русской разведки.

— Польщен, — ответил Белосельцев, чувствуя, как отяжелел от еды.

— Нам нужно обсудить следующий этап «Проекта Суахили», — продолжал Гречишников голосом руководителя конференции, отодвигая черную сковороду с потускневшим остывшим жиром. — Пускай Копейко кратко проанализирует сложившуюся ситуацию.

— Надо констатировать, — начал Копейко тоном докладчика на оперативном совещании штаба, — что в результате спецоперации по устранению Прокурора в президентском окружении возникла высшая степень доверия к Избраннику. Дочь пригласила его в узкий круг друзей, и они провели несколько часов вместе в элитном ночном клубе. Зарецкий нанес ему визит на Лубянку, посвятил в свои закрытые проекты, в том числе и тот, что касается чеченской нефти, и просил содействия, обещая долю в прибыли. Сам Истукан принял его в резиденции. Необычно много говорил. Жаловался на одиночество, на здоровье, на вероломство подданных, на бездарность помощников. Сообщил, что занят поисками преемника, кому бы мог передать власть.

Белосельцев понимал, что является участником тайной встречи, по-прежнему участвует в заговоре. Он честно, хотя и с мучительными издержками совести, выполнил возлагавшуюся на него задачу. Все остальное будет проходить без него.

Он давно ушел из разведки, а теперь уходит и из политики. Уедет из Москвы, запрется на осенней даче и отшельником станет доживать свои годы. Перечитывать любимые стихи, перелистывать бабушкин томик Евангелия.

— Раскол в правящей верхушке после устранения Прокурора не уменьшился, однако приобрел иной характер, — продолжал Копейко, четко, по-оперативному, формулируя мысли. — Мэр и Астрос ослаблены, и вместо фронтальной атаки на Президента, с обвинениями в коррупции и упреками в слабости, они стараются заключить с Истуканом компромисс. Предметом торга является пост Премьера. Нынешний слабый и безвольный Премьер должен уйти в отставку. Его место занимает московский Мэр. Для Президента это означает снятие уничтожительной критики. Для Мэра возникает сверхвыгодный плацдарм для последующего рывка в Кремль...

Предметы конспирации были умело расставлены на столе. Пустая бутылка водки. Мокрые, поблескивающие рюмочки. Черная, сальная сковорода, в которой, как стеарин, застывает лосиный жир.

— Таким образом, — Копейко завершал свое сообщение, — слабым звеном, удерживающим равновесие политических сил, является Премьер. За эту позицию разгорается схватка. Нынешний — безвольный и недееспособный, неизбежно будет отставлен, и мы должны опередить Мэра и продвинуть на эту позицию Избранника...

— Благодарю, — тоном председателя произнес Гречишников, устремляя глаза на Белосельцева. Этим взглядом давая ему понять, что сообщения делаются специально для него. Ему отдельно открывается следующий этап проекта. — Пусть Буравков кратко изложит содержание операции «Премьер».

— Психологические и моральные характеристики Премьера способствуют проведению подрывной операции, имеющей цель дискредитировать его в глазах силовых структур, лично Президента и общества в целом.

Буравков, утонченный мастер активных операций, в прошлом подавлял диссидентов. Чернил их репутацию, отсекал от общественной поддержки, травмировал угрозами. Теперь он использовал свой опыт для истребления новой жертвы.

— Премьер слабоволен, тщеславен, пуглив, подозрителен, подвержен маниям. Это делает его объектом манипуляций, чем, несомненно, следует воспользоваться... Нам видится возможным побудить Премьера сделать перед телекамерами ряд заявлений, которые затем будут опровергнуты действительностью и обнаружат его полную политическую несостоятельность в глазах общества. Представляется также эффективным представить Премьера нарушителем кодекса офицерской чести, которой он часто и не к месту бравирует. Для этого следует выставить его в глазах силовых ведомств предателем их интересов, выявить его неспособность и нежелание заступиться за одного из генералов, влиятельных и любимых в среде силовиков. Шаткое равновесие на Кавказе, мнимое замирение с Чечней, брожение в ваххабитских районах Дагестана — больная мозоль Президента. Ответственный за эти проблемы Премьер может пасть в глазах Президента в случае, если мир на Кавказе, хотя бы на краткий момент, будет нарушен. Дестабилизация Северного Кавказа — вот радикальнейшее средство устранения Премьера...

Они молчали, обступив Белосельцева настороженными птичьими ликами. Большая седая сова смотрела с вершины осеннего стога. Тяжелый пеликан с наполненным желтым зобом наблюдал из мелкой лагуны. Зоркий голубь витютень всматривался оранжевыми глазками, пружиня на ветке. И сам Белосельцев вновь превратился в усталого немолодого скворца с тусклым зеленым отливом и розовым отсветом черных истрепанных перьев. Был членом стаи, заговорщиком.

— Поможешь? — спросил Гречишников. — Очень мало талантливых, верных людей.

— Что я должен сделать?

— Подготовь небольшую референтную справку о движении ваххабитов. Пусть Премьер перед телекамерами заверит общественность, что это неопасное, миролюбивое учение, которого не нужно бояться. И второе. Освежи свои дагестанские контакты. Ты был близок к молодому Исмаилу Ходжаеву. Сегодня он очень влиятелен, контролирует боевые отряды. К его слову прислушиваются. Нужен на него надежный выход. Готов это сделать?

— Я готов, — сказал Белосельцев.

— Вот и ладно, — тряхнул плечами Гречишников, сбрасывая оперенье витютеня.

Выпили прощальную чарку. Стали собираться в Москву.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Референтная справка о ваххабитах, написанная Белосельцевым, уместилась на двух страничках и содержала сведения о мистическом вероучении, соединявшем мусульман в земное братство, где равенство, нестяжательство, совместный труд и жертвенность вели правоверных в Рай. Белосельцев, опуская метафизическую сущность учения, придал ему черты утопического социального братства, стремящегося среди неравенства современного мира, несправедливости жизнеустройства построить подобие исламского социализма. Лазурь минаретов, красота и мудрость Корана побуждали героев и мучеников, жертвуя за ближних, становясь угодными Богу, очистить человечество от разврата и скверны. Соединиться в едином царстве Божественной Правды и Святости.

В этом виде справка была вручена Премьеру. Через несколько дней Белосельцев был приглашен Гречишниковым в Кремль присутствовать на вручении боевых наград участникам чеченской кампании. Из-за отсутствия болевшего Президента вручение производил Премьер. Гречишников, проходивший в Кремль так же свободно, как действующий работник охраны, взял с собой Белосельцева, чтобы тот мог принять участие в увлекательном предприятии. Наблюдать, как Премьер озвучит перед телекамерами текст записки, написанной Белосельцевым, пропуская ее смысл. Тележурналисты унесут из Кремля кассеты, в которых высказывания Премьера — не теперь, а несколько позже — станут звучать как последнее, произносимое перед казнью, слово.

И вновь, второй раз за недавнее время, Белосельцев очутился в Георгиевском зале, среди мраморных стен с золотыми

начертаниями гвардейских батарей и полков, под сверкающими люстрами, на которые было больно смотреть. В зале на креслах сидели военные, те, кому вручались награды. Тут же, как почетные гости, расположились генералы в лампасах, церковные иерархи, артисты, именитые ученые. Все смотрели на пустое пространство с большой корзиной цветов и маленькой изящной подставкой, на которой были выложены сафьяновые коробочки с орденами. Ждали появления Премьера.

Поодаль, тесной группой, стояли тележурналисты, наладив свою аппаратуру. Белосельцев всматривался в молчаливых, равнодушных репортеров, стараясь угадать среди них того, кто подставит черный, застекленный омуток телекамеры доверчивому Премьеру, и его судьба всосется, бесследно исчезая, в стеклянную лунку, как в черную скважину.

По невидимому, едва ощутимому колебанию света почувствовалось приближение важной персоны. Из боковых дверей, толкая перед собой нарастающее сияние, вышел Премьер. Радужный и одновременно величественный. Простой и доступный и в то же время возвышенный, как сама верховная власть. Все встали, и Премьер заулыбался. Занял позицию у корзины цветов, в стороне от конторки с наградами, где уже оказалась красивая женщина в строгом английском костюме, ассистент и помощник.

Телекамеры чуть слышно заурчали, замигали рубиновыми глазками, направили на Премьера нюхающие чуткие рыльца.

— Уважаемые товарищи и друзья, я уполномочен передать вам поздравления Президента Российской Федерации, который в силу легкого недомогания не смог приехать в Кремль и поручил мне исполнить этот почетный долг. Вручить награды Родины тем, кто в недавних боевых операциях своим мужеством и героизмом отстоял демократию, остановил расползание нестабильности на юге России, сделал все, чтобы на нашей земле установился прочный и долгожданный мир.

Слова были тщательно подобраны, умно расставлены, напоминали искусно раскрашенный фанерный стенд, за которыми не был виден разрушенный до фундаментов Грозный, обгорелые остовы танков, вагоны с замороженными трупами, разросшиеся военные кладбища.

— Высшей наградой Родины, званием «Героя России» награждается подполковник воздушно-десантных войск... — Премьер с торжественным лицом, возвышая интонацию до певучей вершины, упивался своей ролью. Не просто подменял Президента, но почти становился им, предлагая присутствующим восхищаться не только героическим подвигом подполковника, но и им самим, явившимся в этот царственный зал как высшее лицо государства.

Подполковник, плотный десантник с офицерскими усами и крестообразным шрамом на лбу, встал из рядов. Приблизился к Премьеру. Тот принял из рук красивой ассистентки сафьяновую коробочку с наградой. Раскрыл ее. Жестом фокусника, обращая в разные углы зала, показал собравшимся, улыбаясь и кланяясь, словно чародей, создавший звезду из воздуха. Белосельцев смотрел на десантника, получившего звезду на грудь, а огненный крест — в лоб, там, на лестницах и переходах дудаевского дворца, куда рвались штурмовые группы, пронося обрывок знамени сквозь вспышки очередей, ртутные пунктиры трассеров в пролом стены, оставленный фугасным снарядом. А потом их полк отводили из Грозного, и бородатые боевики презрительно ухмылялись вслед уходившим колоннам. Подполковник принял из рук Премьера награду, произнес: «Служу России!» Проследовал на свое место.

— За героическое поведение в боевых условиях, при наведении конституционного порядка в Чеченской республике награждается орденом Мужества командир вертолета огневой поддержки, майор... — Премьер взял из рук помощницы сафьяновый коробок с крестом, напоминающим четыре сложенных вместе алебарды. Передал худому лысеющему майору. Тот неловко принял. Запинаясь, произнес ритуальный ответ. Подслеповато озирался под люстрами, окруженный золотыми вензелями и мрамором.

Вертолет, рокоча простреленными лопастями, садился в ущелье, где попала в засаду группа спецназа. Лежали в снегу убитые, стонали раненые, живые вставляли последние магазины, отбиваясь от атакующего вала чеченцев. Молились, прощались, когда сверху, как пятнистый, в стальном оперении ангел, возник вертолет. Окруженный взрывами, с дырами в фю-

зеляже качался, не выключая винтов. Экипаж, стреляя из курсового пулемета в чеченцев, подбирал живых и убитых, взмывал над ущельем, уклоняясь от колючих пунктиров. Уходил, оставляя в небе дымок горевшего масла.

— За мужество и отвагу, проявленные в боевых условиях, орденом «Заслуги перед Отечеством II степени» награждается капитан бригады морской пехоты...

Морпех в черной парадной форме прошествовал на пустое озаренное место, где его поджидал Премьер с крохотным сафьяновым ларчиком.

Бригада штурмовала дом в центре Грозного. Танки прямой наводкой били в подвалы, подавляя пулеметные гнезда. Пехота прорывалась в подъезды, швыряя гранаты. На лестницах шла рукопашная. Люди визжали и рыкали, вонзали друг в друга клинки, рвали руками рты, били в лицо лопатками. Дом был взят, и он докладывал в штаб о потерях, глядя, как сносят с этажей убитых и раненых, и лицо замкомбрига, на котором разорвалась граната, казалось красным прожектором. Через месяц, вернувшись на флот, он видел по телевизору, как во двор знакомого дома возвращается чеченский отряд. Вывешивают зеленое знамя, варят пищу в котлах, стреляют в воздух, славя своего командира. А тот, со смоляной бородой, белозубо смеется, воздевает кулак, возглашает: «Аллах акбар!» Капитан с товарищами пили водку, не вытирали злых ядовитых слез.

Церемония завершалась фуршетом, который проходил в соседних покоях. Премьер в сопровождении свиты направился туда, задержавшись у телекамер, благодушно и мило шутил с журналистами, демонстрируя простоту и доступность, умение ладить с прессой.

— Журналистский хлеб — самый черный!.. Как и хлеб Премьер-министра, не так ли?.. Мы всегда друг друга понимали и будем впредь понимать! — Он занял позу перед телекамерами, над которыми враз загорелись белые лампы.

Первый вопрос, который был задан вальяжным, жующим жвачку журналистом, касался предстоящих перемен в правительстве:

— Правда ли, что готовится чистка последних министров прежнего кабинета?

— Кабинет не грязный ботинок, чтобы его чистить, — грубовато пошутил Премьер. — А я, как вы видите, не похож на чистильщика сапог, хотя уважаю и эту профессию. Как работали, так и будем работать. — По расплывшейся улыбке журналиста он понял, что понравился, и его грубоватые, военные шутки сегодня же вечером выйдут в эфир.

Второй вопрос, касающийся возможного перенесения столицы в Санкт-Петербург, задал чернявый, тощий репортер, работающий в Кремле со времен советских вождей.

— Не кажется ли вам, что Россия устала от сытой и равнодушной Москвы и не желает в ней видеть столицу? Ваша родина, Санкт-Петербург, вполне могла бы вернуть себе статус главного города.

— Мы, петербуржцы, никогда не считали свой город вторым. Но Москва остается столицей. Я ратую за построение сверхскоростной магистрали, и тогда мы сможем проводить заседания кабинета то на берегах Невы, то у Москвы-реки.

Третьим был молоденький, румяный журналист, робеющий в кремлевской обстановке, стремящийся казаться независимым, выделиться незаурядным острым вопросом.

— Как вы, господин Премьер, относитесь к возможности выноса тела Ленина из Мавзолея? Дискуссия на этот счет становится все более острой!..

На долю секунды лицо Премьера окаменело, ибо он почувствовал опасность вопроса. Как либерал он был за вынос тела. Однако его ответ не должен был задеть интересы «красного» думского большинства, с которым не стоило ссориться перед рассмотрением годового бюджета.

— Вы помните, что случилось, когда в Самарканде разрушили могилу Тимура и вынесли на свет его кости? Этим самым выпустили дух войны, и она пошла гулять по миру. Вы хотите, чтобы растревоженный призрак коммунизма вернулся на землю? Не лучше ли оставить его в Мавзолее, под стеклянным колпаком?

Юноша стал пунцовым от удовольствия. Премьер залюбовался его свежестью и нежностью. Подумал, хорошо бы его приблизить и взять с собой в какую-нибудь заграничную поездку.

Четвертый вопрос, в завершение отведенной для пресс-конференции пятиминутки, задал невзрачный, лысеющий, похожий на бухгалтера, репортер в поношенном журналистском жилете.

— Господин Премьер-министр, небольшой горный район Дагестана, контролируемый ваххабитами, заявил о своем отделении от России. Не является ли это новым признаком начавшегося распада страны? Что намерена делать власть? Послать туда войска для усмирения сепаратистов? Или просто не заметить этих горцев, повторяя наш опыт в Чечне, когда мы предпочитаем не говорить о статусе территории?

Премьер сделал строгое, почти сердитое лицо.

— Говорить о посылке войск — значит идти на прямую конфронтацию. Проблему Кавказа нельзя решить с помощью войск, — наставительно заявил Премьер, желая отчитать не смыслящего в национальной политике журналиста. — Ваххабизм не является тем, с чем следует бороться с помощью танков и штурмовой авиации. Ваххабизм — это вполне безобидное утопическое учение о всеобщем равенстве, рожденное в современном исламе. Исламская идея несет в себе устарелые средневековые черты и, по мнению ваххабитов, нуждается в модернизации. — Премьер почти дословно повторил выдержку из референтной записки, составленной для него Белосельцевым.

— Два крохотных дагестанских села, наивно заявивших о своей независимости, — это курьез, шутка, на которую мы будем реагировать улыбкой. Очень скоро эти горцы образумятся, и мы на общем празднике выпьем с ними за великую неделимую Россию!..

Премьер ласково кивнул журналистам, давая понять, что встреча окончена. Бодро, стараясь придать себе офицерскую выправку, направился туда, где уже наливали в бокалы шампанское. Белосельцев заметил, как похожий на бухгалтера телевизионщик выключил камеру, извлек кассету, бережно уложил ее в карман своего поношенного жилета.

Фуршет проходил в золоченой гостиной, с вензелями, гербами. Зеркальные стены многократно отражали стол. Эти подхватывающие друг друга, сверкающие отражения уносили

вдаль тарелки, хрусталь, генеральские погоны, офицерские усы и награды, и казалось, фуршет распространяется бесконечно, от кремлевских стен до Урала, и дальше до Тихого океана.

Премьер, сжимая бокал шампанского, поднял по-офицерски локоть. Озирая стол острым и, как ему казалось, суворовским взглядом, произнес тост.

— Армия — лучшее, что есть у России. Вы — лучшие представители армии. Так выпьем же за героев, которым нет равных. Я, в свою очередь, даю вам слово русского офицера, что сделаю для армии все, что позволяет мое положение! Ваше здоровье! — И он лихо, запрокидывая голову, выпил до дна шампанское, делая удалой взмах опустошенным бокалом, как если бы собирался его разбить. В последний момент передумал, аккуратно поставил на скатерть.

К Премьеру приблизился епископ в мантии, в клобуке, с фарфоровой, золоченой панагией на золотой цепи. Как и все остальные, он держал бокал с шампанским, нес его к Премьеру, как лампаду, перед своей чесаной, пахнущей духами бородой.

— Наше воинство подает примеры высокого служения Отчизне и Христу Распятому. — Епископ добился внимания Премьера, направил на него острые, умные, одновременно и веселые, и смиренные глаза. — Без преувеличения могу сказать, что русское воинство все больше становится воинством православным. Не сомневаюсь, что подвиги наших воинов, совершенные за Отечество и за Веру Православную, воссияют, как подвиги святомучеников, умножая несметный сонм наших святых! — Епископ протянул Премьеру бокал, и тот смиренно поклонился, словно чокался и одновременно принимал благословение.

— России нужны новые святые. Новый период русской истории должен быть освещен подвижниками. Ваша, Владыка, деятельность по углублению связей Церкви и армии находит глубокое понимание у Президента. Помолитесь, чтобы ему стало лучше и его оставили недуги и немощи.

К ним присоединился худощавый, слегка разболтанный генерал, ответственный за воспитательную работу в армии:

— В воспитательной работе в войсках нам надо соединить православие и демократию. И нам это удастся. Есть офицеры,

которые по итогам чеченской войны пишут научные работы о совместимости православных ценностей и демократических идеалов.

— Одно не противоречит другому, — глубокомысленно заметил Премьер, довольный тем, что разговор ведется на религиозные и философские темы. — Собственно, если правильно взглянуть, Христос был первым на земле демократом. Если угодно, его заповеди отстаивали и защищали права человека.

Генерал-воспитатель восхищенно откинул голову. Епископ, напротив, склонил клобук, то ли в знак согласия, то ли для того, чтобы не заметили хохочущий моментальный блеск в глазах.

Военные, получившие награды, пили на другой окончательно сти стола. Белосельцев видел, как они опустили в бокалы с водкой свои ордена, окрасившие стекло в красные и золотые тона. Что-то кратко сказали друг другу. Подняли бокалы и, двигая кадыками, напрягая на лбах ожоги и раны, пили красно-золотую водку. Всасывали в себя едкую горечь, пьяный настой войны. Наливку из горящих городов и селений. Эликсир подорванных транспортеров и танков. Коктейль из крови, блевотины и слез. Выпили, задыхаясь. Поставили бокалы на скатерть. Сквозь стекло размыто краснели и золотились награды, как мокрые моллюски на отмели. Подполковник десантных войск прикрепил на китель Звезду Героя. Направился к Премьеру мягкой походкой разведчика, сжав кулаки до белых костяшек, способных разбить кирпич, покачивая крутыми плечами борца. Премьер издали услышал его приближение. По его лицу побежали белые и красные пятна.

Десантник подошел к Премьеру:

— Товарищ Председатель Правительства, разрешите обратиться?

— Разрешаю, — ответил Премьер.

— Никто нам так и не сказал, почему мы ушли из Чечни. Мы разгромили этих долбанных «чехов», загнали Басаева в горы, где у него яйца к камням примерзли, а нас увели из Чечни и отняли победу. Полбатальона я отправил в Россию в цинковых пиджаках, и что я скажу теперь вдовам? Как мне искать ротного, которого взяли в плен под Шатоем, а теперь выкалы-

вают ему глаза и срезают лоскуточками кожу? Кто и сколько получил за наши кости и кожу? Что стоил наш уход из Чечни банкирам и что он стоил России? И когда, товарищ Председатель Правительства, мы снова пойдем брать Грозный, подставляя наши лбы под гранатометы Басаева?..

Десантник стоял без единой кровинки. На белом лице, как сосульки, сияли голубые глаза. Медленно, хрустя промороженными суставами, роняя на паркет пластинки льда, он сделал «кругом, марш» и вернулся на место, где обеспокоенные товарищи, желая его согреть, влили в его бескровные губы рюмку водки.

Все заметили неловкую сцену. Испуганно, перестав жевать, смотрели на Премьера, не зная — то ли сгрудиться вокруг него для защиты, то ли кинуться врассыпную.

— Нельзя говорить о победе или поражении, когда речь идет о чеченском народе, который входит в семью народов России. — Премьер убедился, что опасность конфуза миновала, и теперь говорил назидательно, чуть сердито, извиняя контуженого героя. — Армия сделала главное — остановила кровопролитие, обеспечила соблюдение Конституции, добилась мира, пускай худого, но который, как известно, лучше любой хорошей войны. — Премьер окончательно осмелел, победно обвел стол глазами. — Наши жертвы не напрасны, ибо они принесены за Конституцию, демократию и права человека. Я всегда говорю, нам нужно быть терпимей и снисходительней. Я уже упомянул, что ваххабизм — это оригинальное вероучение, которое вдыхает новую энергию в одряхлевшие формы ислама. Поверьте мне, изучавшему эту проблему. Ваххабизм нужно понять, освоить, сделать частью нашей политики на Кавказе, а не грозить по каждому поводу установками залпового огня. Я немного знаю Кавказ, чувствую кавказский характер. Знаю, как легко на Кавказе можно превратить друга во врага. Нам чаще нужно вспоминать наших великих предшественников — Лермонтова, Толстого, которые не только воевали на Кавказе, но и любили его. Мы должны полюбить Кавказ, не потерять для России его драгоценный аромат. — Премьер разволновался, ибо заговорил о прекрасном. Лишь усилием воли удержал себя от того, чтобы не прочитать запомнившийся ему лермон-

товский стих. Он был не просто политик, не просто военный, но знаток истории, ценитель русской поэзии. Пережитое вдохновение окрасило его щеки в нежный пунцовый цвет. — Должен вам сообщить, что завтра я отправляю моего специального представителя по Кавказу, генерала Шептуна, в Грозный. Обычным пассажирским авиарейсом, не задействуя для этого истребительную и бомбардировочную авиацию. Генерал Шептун передаст президенту Масхадову мое личное послание. Не сомневаюсь, оно послужит дальнейшему развитию добрых отношений между Москвой и Грозным. — Он снова поднял бокал, кивая через головы высокому, красивому генералу, который, услышав свое имя, радостно обернулся на голос начальника. — За вашу успешную миссию, генерал! — Тот оживленно задвигал сильным красивым телом. Подошел к Премьеру, радостно чокнулся, влил шампанское под пышные колосья усов.

Испытывая презрение к пустомеле, Белосельцев отошел от Премьера к другой половине стола. Теперь его внимание привлекал генерал Шептун, по виду баловень, царедворец. Дама, во время награждения подававшая Премьеру сафьяновые коробочки с орденами, ярко улыбалась генералу, изумленно и счастливо смотрела на него, невзначай поправляя блузку, увеличивая вырез, на который был устремлен его взгляд.

— Как бы я хотел быть орденом и висеть на вашей груди, — услышал Белосельцев начало фразы. Женщина смутилась, порозовела, засмеялась влажным глубоким смехом. Шептун, отходя, успел поцеловать ее длинные лакированные ногти.

Он уже находился возле епископа, с которым, по-видимому, их связывало знакомство. Генерал фатовато расправил усы, оглядывая церковное облачение, клобук, дорогую панагию на золотой цепи.

— Мы оба, Владыка, из служивого сословия. Только вы служите Богу, а я Государю, — произнес он с легкой развязностью и одновременно с почтением. Что, видимо, понравилось епископу, допускавшему в столь высоком собрании мягкую насмешку над чопорностью канонических форм. Они сказали друг другу что-то незначительное и шутливое, и епископ, явно расположенный к генералу, перекрестил ему лоб.

Шептун вошел в круг награжденных офицеров, где сгушалось горячее, нервное опьянение и неслись тревожные, с трудом удерживаемые волны раздражения. Свободно и бесстрашно погрузился в эти волны. Кого-то приобнял, с кем-то лихо чокнулся. Начал анекдот, приглашая всех поближе:

— Заходит Масхадов в военторг, а там прапорщик, наква-сился, лыка не вяжет. «Слушай, дай, говорит, консервов, но чтобы свинины не было!» А прапорщик снимает портки... — Тут Шептун опасливо оглянулся на Премьера, который что-то строго внушал худощавому начальнику протокола. Понизил голос, так что Белосельцев не услышал конца анекдота. Только видел, как умягчались и веселели лица офицеров и потом грохнул хохот, так что Премьер изумленно вздрогнул. Офицеры наполнили бокалы, дружно, по-товарищески чокнулись с генералом.

Белосельцеву нравился Шептун, его лихой лейб-гвардейский вид, сильные плечи с золотыми погонами, крупная, хорошо посаженная голова с выпуклыми голубыми глазами и пышными ухоженными усами. Белосельцев следил, как движется эта голова среди зеркал, гардин, золоченых багетов.

— Ну просто вылитый поручик Ржевский, — засмеялся Гречишников. — Так, значит, завтра авиарейсом, без прикрытия истребителей, к другу Масхадову?... Э-хе-хе, банкетные политики... Армии за ними придется дерьмо разгребать... — Ну пошли, — сказал Гречишников. — Нам здесь больше нечего делать... Ждут в другом месте, — и взял Белосельцева под локоть.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Из Кремля они уезжали в дожде, который накрыл Москву мерцающей толщей. Белосельцеву казалось, он плывет среди утонувшего города, пробираясь сквозь зеленоватые заводы улиц, протоки переулков, где в утонувших домах, в наполненных водой квартирах висят абажуры, стоят в библиотеках книги, расставлены на столах тарелки и чашки, и молчаливые, колебле-

мые течением люди сидят за столами, с распущенными, плавающими волосами. Чудный храм с изразцами и кустистыми золотыми крестами, и рядом, заслоняя его, огромная бутылка пива «Балтика» с отекающей перламутровой пеной. Памятник Пушкину, печальный, с понурой головой, и вокруг его шеи, словно огромная светящаяся водоросль, обмоталась огненная надпись.

Город еще был узнаваем, еще прочитывались на стенах названия улиц и номера домов, но был уже заселен обитателями подводного мира. Вокзальная площадь с озаренным стеклянным куполом была наполнена розовыми медузами, проплывающими прозрачной флотилией. Вокруг высотного здания, мерцая чешуей, струились рыбы стаи.

— Вижу, Виктор Андреевич, как ты устал, как мучат тебя сомнения. — Голос Гречишникова, мягкий, отеческий, звучал сквозь шелест дождя и рокот мотора, создавая ощущение гипноза. — Если бы ты знал, как я тебя понимаю. Я и сам в минуты печали помышляю о побеге, о тихой обители, одинокой старости, когда пустынная дача, астры на клумбах, вялый огонь в камине, и сидеть, набросив на плечи плед, листать запыленную книгу, Тацита или Плутарха, смотреть, как тихо гаснет за окнами день.

Военное министерство опустилось на дно, и в наполненном водой гардеробе вяло колыхались, стремясь к потолку, повешенные генеральские шинели, а в затопленных кабинетах, перед картами мира, стояли офицеры и тихо вальсировали в круговоротах воды, среди актиний и раковин, вокруг которых резвились маленькие голубоватые крабы.

— Что может быть важнее для такого философа, как ты, чем осмыслить прожитую огромную жизнь, прозреть ее смысл, написать свою «Книгу царств», которые ты покорял, перед тем как смиренно постучаться в Царствие небесное, с надеждой, что тебе отворят.

Стадион казался заросшим подводными мхами и травами, скульптуры атлетов начинали покрываться кораллами.

— Но, друг мой, не время нам читать фолианты и писать о галльских походах. Родина в беде, ее взяли в плен, как рабыню. Ее убивают и мучают, и никто, кроме нас, ей не сможет помочь.

Старинное здание банка с полукруглыми окнами, с чугунными фонарями и тумбами, казалось подводной пещерой, и над входом застыл осьминог.

Сон кончился вместе с дождем. По мокрому асфальту бежала толпа, складывая сырые разноцветные зонтики. Город всплыл, омытый, перламутровый, сочный. Они подкатили к останкинскому телецентру.

— Куда ты меня привез? — спросил, выйдя из машины, Белосельцев. — В этом проклятом месте у меня начинают болеть старые раны.

— Не мудрено, — ответил Гречишников, — плотность зла превышает в «Останкине» все прочие места в России. Экстрасенсы здесь не могут работать. У них случаются инфаркты и кровоизлияния в мозг. Чтобы рекультивировать это место, потребуется лет триста.

Из стеклянного здания вышел Буравков, поднимая руки к башне, словно вознося ей молитву:

— Добро пожаловать в электронную империю Астроса!..

Они вознеслись на лифте к верхним этажам. Проследовали по коридорам, где сновали изможденные молодые люди и прокуренные девицы. Среди них, узнаваемый, пожелтелый, как старый бильярдный шар, припадая на подагрическую ногу, пролетел телеведущий Познер. Достигли поста, на котором блестели турникеты из нержавеющей стали, стояли детекторы, мерцали глазки контролирующих индикаторов, и охранники в черных униформах с короткими иностранными автоматами осмотрели их ледяными глазами.

— Это со мной, — произнес Буравков, проводя товарищей сквозь систему контроля.

По ту сторону открывался иной мир, стерильный, хрустальный, драгоценно-прозрачный, благоухающий озоном, украшенный витражами, инкрустациями, с висящими на белоснежных стенах дорогими картинами модных художников.

Они оказались в приемной, пустой и вместительной, как вокзальный зал ожидания. Расположились в удобных креслах, откуда Белосельцев наблюдал ожидавших приема посетителей. Там были робеющие генералы с лампасами, какой-то затей-

ливо разодетый господин в вызывающих белых носках и два чернобородых, хасидского вида, еврея в черных сюртуках и шляпах.

Посреди комнаты, на деревянном постаменте, напоминавшем алтарь, высилась стеклянная колба, в которой металась зеленая пульсирующая синусоида.

— Генералы представляют Ракетные войска стратегического назначения, — полусшепотом пояснял Буравков. — Мы намерены с помощью боевых ракет с полигона Плесецк запустить серию наших телевизионных спутников, а для ракетчиков это равнозначно спасению вида войск... Вон тот господин в белых носках — глава сельского района, где расположена усадьба Вяземских. Астрос задумал построить недалеко от Москвы Диснейленд, как раз на территории района. Усадьба должна пойти под снос, и глава района за хорошее вознаграждение готов уладить проблему... Та еврейская делегация, — Буравков указал на пейсы, смоляные бороды и черные колпаки, — прибыла из Тель-Авива, чтобы уступить Астросу часть акций крупного израильского издания. С его помощью он будет контролировать общественное мнение евреев — выходцев из России...

Белосельцев не понимал, зачем его сюда привели. О чем и собирался сказать, но внезапно Буравков встрепенулся:

— Нас ждут, пойдемте, — и в бесшумно распавшиеся двери они вошли в кабинет.

Это не был кабинет в обычном понимании. Они вступили в овальное помещение с эллиптической кривизной стен, на которых размещалось множество телевизионных экранов. Каждый мерцал, полыхал, пульсировал. Астрос сидел за пультом, управляя экранами, увеличиваядвигающиеся объекты, приближал или удалял. На экране, куда были устремлены его восхищенные глаза, появился труп молодой женщины, лежащей на бетонном полу. По распухшему лицу, в слизи и сукровице, ползали мухи. На ноге были видны следы проволоочной петли. Груды были обрезаны. А в паху, среди волосяного покрова, торчал какой-то предмет. Астрос увеличил изображение, и стало видно, что это мокрое, забитое в плоть долото.

Белосельцева передернуло, он перевел глаза на другой экран, и там из-под развалин взорванного дома спасатели в кас-

ках и оранжевых комбинезонах вытаскивали раздавленную девочку. Оператор умело и подробно показывал маленькую детскую руку с расплюснутыми пальчиками.

Белосельцеву стало худо, захотелось спрятаться, убежать. Но отовсюду, куда бы ни кидался испуганный взгляд, его встречали яркие, огнедышащие экраны, из которых стреляли в него образы умертвленной и страдающей плоти. Взорванные, упавшие под откос поезда с окровавленными жертвами. Картины казней с палачами, стреляющими из пистолета в затылок. Взрывы домов, по которым в упор бьют установки залпового огня. Похороны солдат с заплаканными лицами матерей.

— О, друзья мои, проходите! — Астрос поднялся от своего электронного пульта навстречу вошедшим. — Счастлив познакомиться с вами! — Он протянул руку Белосельцеву — Мои друзья рассказали, как вы прекрасно сработали, какой вы тонкий специалист по вопросам ваххабизма. Кассета с идиотскими высказываниями Премьера уже у меня, уже в работе. Мне нужны талантливые, компетентные люди. Буду счастлив с вами сотрудничать! Мы должны исходить из того, что стратегия в корне поменялась. — Астрос воздел розовый палец с полированным длинным ногтем, поблескивая голубоватым прозрачным бриллиантом. — После бездарного провала Прокурора, на которого мы убухали столько денег и которого обвел вокруг его собственного полового органа какой-то опер из ФСБ, после этого меняется вся схема замещения трухлявого Истукана нашим крепким, как золотой желудь, Мэром. Для достижения наших целей мы прекратили критику Президента, оставили в покое его заграничные счета, закрыли глаза на австрийские особняки и швейцарские вклады, оставили на время самого Зарецкого, пообещав ему союз и дружбу. Мэр уже был у Президента, оказал ему полную поддержку, выдал с головой всех его недругов, пообещал поддержать его выдвижение на третий срок. Взамен просил для себя место Премьера. С этого места, когда нам удастся его получить, мы начнем борьбу за Кремль. Пост Премьера становится первостепенной задачей. Нынешний, трусливый и дряблый, должен быть устранен. Мы должны расчистить площадку для нашего друга Мэра. Этому вы посвятите свои умения. Вам известна ахиллесова пята Премье-

ра. Дагестан готов взорваться, начиненный ваххабитами, которых этот наивный оболтус называет «добрыми утопистами». Если Дагестан взорвется, это будет прямой промашкой Премьера, и Истукан смахнет его, как крошку. Премьера терпеть не могут военные, как выскочку и гражданскую тлю. Бунт силовиков, отказавших Премьеру в доверии, должен поставить его на грань падения. Ваш анализ безукоризнен и определяет дальнейшую линию поведения...

Белосельцев понимал, что его включили в тонкую интригу, не раскрывая ее опасную суть. Что соучастники заговора готовы использовать мощь и ресурсы Астроса для свержения Премьера, двинуть на освобожденное место Избранника, оттеснив честолюбивого Мэра и оставив Астроса в дураках. Играя за спиной Зарецкого и Астроса, то сталкивая их в борьбе, то примиряя на время, они следуют выбранной цели, реализуя «Проект Суахили».

— От моих друзей, Виктор Андреевич, я узнал, что вам поручена ключевая роль. Я дорожу нашим знакомством. В моей корпорации, в моей электронной империи, вам уготовано почетное место. Приз за победу вы назначите себе сами. Средства для подавления Премьера у нас есть. Давайте совершим маленькую экскурсию, хочу показать наше производство, чтобы вы знали, чем можете располагать...

Он загадочно улыбнулся, вывел гостей в едва заметную дверь. Пространство, где они очутились, казалось бесконечным, не умещалось в стеклянную призму телецентра. Они стояли перед прозрачной стеной, охраняемой автоматчиками, сквозь которую сверкала, вспыхивала, распускалась электрическими радугами волшебная зала.

— Это наша игротека. Здесь мы снимаем телевизионные игры, исходя из магической формулы: «Вся наша жизнь — игра!» — комментировал Астрос.

Множество телекамер, управляемых сосредоточенными операторами, снимали сразу несколько игр. Одна из них, под названием «Поединок умов», проходила в стеклянном отсеке и состояла в том, что два соперника в разных углах держали во рту длинные, похожие на свирели трубки. Выдували из них разноцветные мыльные пузыри. Пузыри множились, не ло-

пались, переливаясь в лучах. Наполняли комнату до краев, сталкивались, давили один на другой, захватывали в свое мерцающее прозрачное вещество дующих игроков. Душили их, лишали воздуха, погружали в пузырящуюся слюну. Игрок начинал задыхаться, дул что есть силы в трубку, стараясь оттеснить прозрачную массу. Но выбивался из сил, падал в обмороке от удушья, окруженный бесчисленными пузырями. А счастливый победитель в изнеможении вырывался из мыльного ада. Под победный марш, весь в разноцветной слизи, получал денежный приз.

Вторая игра называлась «Дантес» и состояла в том, что соперники, выходя на рубеж стрельбы, из длинных трубок, напоминавших оружие африканских пигмеев, с силой выдували легкие дротики, которые летели сквозь лазерные лучи и вонзались в большой портрет Пушкина, покрытый легкой пронумерованной сеткой, где каждое попадание исчислялось очками. Тот, кто выбивал из Пушкина наибольшее количество очков, нарекался Дантесом и награждался богатым подарком.

Третья игра «Увод капиталов» была чисто электронной и представляла из себя огромный, во всю стену, электронный лабиринт с запутанными ходами и маршрутами. Лабиринт начинался от стен «Московского банка», включал в себя множество препятствий и ловушек в виде агентов ФСБ, Налоговой полиции, таможенного контроля, Интерпола, подставных клиентов, бандитских групп. Победителем в игре оказывался тот, кто находил безопасный маршрут, проводя электронную, пульсирующую золотом нить сквозь все тупики и ловушки. Умудрялся переправить деньги из «Московского банка» в «Бэнк оф Нью-Йорк», сквозь офшорные зоны и банки-посредники, прибегая к одной-единственной хитроумной комбинации. Победителя нарекали «Русский Сорос» и награждали билетом в средиземноморский круиз.

— Эти игры, — Астрос радостно убеждался в том сильном впечатлении, какое произвели игры на Белосельцева, — при кажущейся наивности и простоте, моделируют поведение, сложным образом подавляют или возбуждают различные области подсознания у отдельной личности или у целых социальных групп. В период социального напряжения, массового

недовольства, во время массовых вспышек шовинизма или пережитков имперского чувства эти игры подобны психотропным препаратам. Игры составлены с учетом последних достижений психиатрии и запатентованы нами.

Второе, застекленное, помещение своей пластикой, овалами и округлостями странным образом напоминало ванны, биде, умывальные раковины и другую сантехнику. На белом гинекологическом кресле сидела женщина средних лет, в строгом английском костюме, с красивой прической, какую носят сосредоточенные на бизнесе дамы, и умно, точно, как это делают серьезные эксперты и аналитики, рассказывала о своем искусстве управлять оргазмом. Это искусство приобреталось ею в результате длительных тренировок с гуттаперчевыми и целлулоидными шариками, которые она училась сдавливать мышцами влагалища столь сильно, что они выпрыгивали наружу и падали точно в подставленную корзину. Она называла эту игру «сексбол», предлагая ее вниманию девочек старших классов, которые, замирая, покрываясь румянцем, слушали ее.

Тут же, за прозрачной перегородкой, сидела еще одна, розовая, улыбающаяся, напоминавшая кустодиевскую купчиху, женщина. Завернутая в белую простыню, босоногая, с обнаженным плечом и чуть приоткрытой грудью, она то и дело смотрелась в овальное зеркало, укрепленное над туалетным столиком. Обращалась к другим, собравшимся вокруг женщинам, рассказывая им о пользе любовного самоудовлетворения, которое разгружает женскую психику, снимает мучительный «комплекс мужчины». Этим комплексом, по ее словам, страдает множество современных женщин, лишенных сексуальных партнеров, одни из которых спились и больше не способны к мужским проявлениям, другие погибли в многочисленных войнах и катастрофах, оставив одиноких вдов и невест, третьи, и их число неуклонно растет, склоняются к гомосексуальным отношениям, отвергая любовь к женщине как пережиток старомодных патриархальных эпох. В этих условиях женщина должна обходиться средствами, которые щедро предоставляют ей современная гигиена, электроника и аутотренинг. Ведущая тянулась к туалетному столику, на котором рас-

полагались разноцветные кремы, благовония, продолговатые, вибрирующие массажеры, кисточки из нежного птичьего пуха, пучки беличьих хвостиков. Показывала аудитории, как ими следует пользоваться.

— Эта программа переводит «проблему головы», в которой скопилось множество извечно неразрешимых вопросов, в «проблему паха». — Астрос, казалось, был возбужден зрелищем женской наготы. — Мы создаем электронное эротическое поле над всей Россией. В любой лесной деревушке, в любом фабричном бараке обездоленная женщина или неуголенный мужчина чувствуют себя счастливыми...

Они перешли в следующий отсек, где помещался огромный экран. Перед ними за пультом сидел оператор, худой и ржавый, как старый гвоздь.

— Это лаборатория антропсихологической коррекции, — пояснял Астрос. — Мы создаем телевизионный продукт, с помощью которого подавляем антропологический шовинизм русских. Отдаляем угрозу «русского фашизма», снимая у националистов чувство мессианства..

Астрос едва заметно кивнул оператору, и тот, понимая его без слов, включил огромный, во всю стену экран. На нем возникло лицо, обезображенное гневом, с оскаленным мокрым ртом, редкими желтыми зубами, узким лбом, над которым рассыпалась потная белесая прядь. Звероподобное существо было одето в русскую косоворотку с северным орнаментом, состоящим из языческих деревьев, волшебных коней и сказочных наездников. Изображение исчезло и возникло другое — заключенный в тюрьме, понурый, бритый наголо, с провалившимися чахоточными щеками, с затравленными, глубоко запавшими глазами. Вслед за этим возник солдат в камуфляже и каске, с выставленным подбородком, безумными глазами, стреляющий от живота из автомата. Его сменил пациент в больничном халате, бессильно сидящий на убогой койке среди капельниц и резиновых грелок. Опять возник уже знакомый громила с кабаньими глазками в русской косоворотке. Вновь потянулась череда портретов. Демонстрант под красным знаменем, безобразный, полный ненависти, с плохо выбритым старообразным лицом, в нелепых стариковских обнос-

ках, с портретиком Сталина на груди. Следом — дебил с улыбающимся слюнявым ртом, ковыряющий грязным пальцем в носу. Его сменил нищий, похожий на волосатого зверька, опирающийся на костыль, среди реклам женского белья, элитного жилья и итальянской мебели.

— Подбирая для всех телевизионных сюжетов определенный тип персонажей, мы тем самым умеряем гордыню русских, насыщая зрительный ряд другими национальными типами, что абсолютно необходимо в нашем многонациональном государстве, где проживают якуты, татары, кавказцы. — Астрос говорил профессорским тоном, словно читал лекцию по генетике. — Мы предлагаем нашим телезрителям другой антропологический тип, который может примирить реликтовые импульсы национального подсознания. Создаем типологический образ, на котором соединялись бы все остальные народы. — Астрос едва заметно кивнул оператору.

На экране возник портрет Альберта Эйнштейна, задумчивый, тихий, с глубокой мировой печалью в прищуренных добрых глазах. Эйнштейн исчез, и его сменил известный одесский юморист, пухленький, милый, скосил головку набок, лучился вишневыми глазками, вызывая к себе прилив невольной симпатии, чем-то, быть может нежной формой ушей, напоминая великого физика. Вслед за ним возник молодой красавец, политик правого толка, еще недавно мечтавший стать Президентом. На смену ему появился известный артист-кукольник, аскетический, горбоносый, с дряблым стариковским ртом, но очень добрыми, хоть и печальными глазами. Вновь появился Эйнштейн, подчеркивая свое родовое сходство с только что промелькнувшими персонажами, — все те же печальные благородные усы, устремленный в неэвклидово пространство взгляд, любовь ко всему живому и неживому. Из этого эталона, повторяя его и видоизменяя, потянулись схожие типажи. То были — благообразный музейный работник среди древних фолиантов. Министр иностранных дел. Известный банкир, чья финансовая группа поддерживала московского Мэра. И, наконец, сам Астрос, благодушный, наивно-беззащитный, в домашнем костюме, с жестяной лейкой, поливающий клумбу садовых ромашек.

— Продемонстрированный тип способствует сглаживанию этнических конфликтов в России, — пояснял Астрос, — он легко узнаваем в мире, помогает стране на антропологическом уровне встраиваться в мировое сообщество...

Белосельцев испытывал отвращение, боясь, что оно будет замечено проницательным Астросом и он будет изобличен как агент, проникший в «святая святых» противника.

Они задержались в мраморном холле, превращенном в оранжерею с диковинными орхидеями, мохнатыми пальмами, глянцевыми олеандрами. Посреди оранжереи был бассейн, в котором плавали белые лилии, мелькали золотые рыбки и на лучистые листья папируса садились большие глазастые стрекозы. Они казались Белосельцеву сконструированными в оптических лабораториях Астроса. Их выпуклые, бирюзовые, изумрудные и рубиновые глаза были миниатюрными телекамерами, следившими за ним, Белосельцевым.

— Все, что вы видели, и многое другое мы можем использовать для сокрушения Премьера. Мы нанесем по нему метафизический удар. — Астрос обращался к Белосельцеву, почти не замечая стоящих рядом Гречишникова и Буравкова. — Надеюсь, вы понимаете, что все разговоры о «свободе слова», о «независимой информационной политике», — это прикрытие для парламентских олухов. Мы занимаемся не информированием и не развлекаловкой, мы формируем реальность. С появлением новых технологий мы научились воздействовать на «силовые линии истории». Замыкаем их на нужном нам персонаже, превращая его в исторического гиганта. Или же, напротив, отрываем «силовые линии истории» от любого, сколь угодно значительного политика, лишая его питания, превращая в пустоцвет. Так мы очень скоро поступим с нелепым Истуканом, не желающим уходить из Кремля. Так мы поступим со смешным Премьером, разотрем его, как горстку пепла... Что вы сказали? — он повернулся к Гречишникову, хотя тот молчал. — Премьер дорожит поддержкой силовиков?.. Отправляет генерала Шептуна обычным рейсом в Грозный?.. Без авиационного прикрытия?.. С этим что-нибудь можно сделать?.. Не знаю, не знаю, — произнес он задумчиво. — Давайте посмотрим наш кукольный театр!..

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Помещение, в котором они оказались, охраняемое стальными турникетами и детекторами, напоминало пошивочную мастерскую, ателье скульптора и химическую лабораторию, вместе взятые. На дощатых верстаках были разбросаны цветные лоскутья шелка, бархата, золотистой парчи, лежало множество ножниц, портняжных лекал и подушечек, утыканных иглами и булавками. Тут же стояли миски с глиной и гипсом, высились груды мятого пластилина, остывала электрическая печь для обжига. На столах поблескивали колбы с разноцветными растворами, реторты с мутной жидкостью и кристаллическими осадками, пинцеты, пробирки, мудреные аппараты, соединенные змеевиками и раструбами. Отдельно, на полке, расставленный в неслучайном, тщательно подобранном порядке, тянулся ряд предметов, назначение которых лишь смутно угадывалось. Тут было несколько хрустальных призм и пирамид с заключенными в прозрачную глубину радугами. Лежали засушенные лапки птиц, мышей и лягушек, и среди них человеческая кисть, обтянутая черной иссохшей кожей, с желтыми ногтями и костяными фалангами. Стояли светильники и подсвечники в виде замысловатых иероглифов, лежал обглоданный свиток папируса, замусоленная старинная книга, где на толстых страницах были изображены каббалистические знаки, геральдика тайных союзов, тянулись строчки неведомого, похожего на клинопись, шрифта.

Среди музейного хлама едва заметный, зарывшийся в груды лоскутьев, прячась за реторты и колбы, находился человек, маленький, чернявый, с вишневыми глазками зоркого зверька. Он был карликом, сидел на стуле, не доставая ногами земли. Обнаружил себя звяком ножниц, казавшихся огромными в его крохотных цепких руках, которыми он, однако, ловко орудовал, вырезая из серебряной парчи затейливый завиток.

— Прошу знакомиться — Маэстро! — Астрос сделал жест, словно преподносил гостям маленького, дрессированного хомячка. — Сотворяет кукол, как Господь сотворил Адама, вдыхая в него душу живую. — Человек блестел умными глазками-ягодками, позволяя Астросу витийствовать. Хотя сам, по-видимо-

му, знал о себе нечто большее. — В этой скромной мастерской мы шьем и кроим политику. Лепим репутации лидеров. Обжигаем в тигле их характеры. Добываем «философский камень» истории. — Астрос положил руку на хрустальную призму. Другой ладонью накрыл книгу с магическими формулами. — Наша кукольная программа — не фарс, не политическая карикатура, не забавный спектакль марионеток, как полагают простосердечные обыватели. Это магия, мистерия, таинство, основанные на мистическом соотношении Образа и Прообраза. Их одновременный, экстрасенсорный удар соединяется с электромагнитной телевизионной волной, и миру навязывается образ, по которому он вынужден действовать. Мы гордимся тем, что нам удалось соединить новейшие достижения электронной цивилизации, индустрию развлечений и древние колдовские знания.

Белосельцев и прежде догадывался о природе этих коротких и ярких кукольных представлений.

— А теперь посмотрим на кукольный забавный народец, который так же, как и мы с вами, рождается, живет, умирает. Сначала умирает кукла, а уж потом изображенный ею человек. — Астрос печально улыбнулся, как мудрец, ведающий земные концы и начала.

Белосельцев услышал цокающий звук, словно на пол с подоконника спрыгнула мягкая кошка. Это карлик соскочил с высокого стула и ловко побежал перед ними на кривых ножках.

На длинном верстаке лежали в ряд куклы. Кто запрокинул вверх мертвенные лица, кто уткнулся носом в доски, в истрепанных облачениях, со следами копоты и надрезов, окропленные какими-то ржавыми пятнами. В некоторых куклах торчали булавки, у других были подрезаны носы и уши, словно марионетки побывали в игрушечной камере пыток, где их жгли игрушечными паяльными лампами, резали игрушечными лезвиями, брызгали игрушечной кислотой.

— Это наши мертвецы, которых больше нет ни на сцене, ни в политике. Так решил Маэстро! — Астрос опустил руку на вьющуюся шевелюру карлика, а тот благодарно потерся о ногу хозяина.

Среди умерщвленных кукол Белосельцев узнал нескольких членов Администрации Президента, еще недавно блистав-

ших красноречием, заполонявших экраны, теперь же почти позабытых, канувших в небытие. Здесь была кукла народного Трибуна, собиравшего под свои знамена тысячные толпы, оглашавшего площади пламенными мегафонными речами. Над куклой надругались, отрезали кисти рук, как Че Геваре, плеснули в лицо ядовитой кислотой, стянули с одной ноги обувь, обуглив ступню и пальцы. Тут были недавние министры, опрокинутые правительственными кризисами. Пресс-атташе Президента, славный своим тайными любовными похождениями и явными толкованиями скандальных заявлений Истукана.

Здесь же, без одежды, совершенно голая, с едва заметным клубеньком между ног, лежала кукла Прокурора.

Карлик небрежно поворошил мертвецов. Выбрал одну марионетку, изображавшую прежнего спикера Думы. Кудесник осмотрел ее со всех сторон. Цокая каблучками, подбежал к очагу. Кинул куклу на неостывшие угли. Стал что есть мочи работать старинными мехами, вдувая в угли жар. Кукла вспыхнула и мгновенно сгорела, оставив в воздухе запах паленых волос и жареного жира.

— Ну а это наш действующий актив, — произнес Астрос, отворачиваясь от улетающей струйки дыма, — им еще рано в печь.

Над верстаком подцепленные на аккуратные петельки, свесив руки и ноги, опустив на грудь головы, висели кумиры современной политики. Тут присутствовал лидер коммунистов, чье лицо было слеплено наподобие клецки. Был Мэр, похожий на Фантомаса. Был известный молодой демократ, черный и кудрявый, как пудель. Был Зарецкий, напоминавший облезлую белку. Был главный «яблочник» с маской вечного неудачника. И, конечно же, Истукан, представленный как благодушный русский дед, глуховатый и незлобивый, допускающий в свой адрес насмешки и издевательства. Среди всей этой коллекции висел и Премьер. Остро схваченный скульптором, с пухлыми щеками, без подбородка, с бабьим безвольным ртом, испуганными недоверчивыми глазками.

— Каков герой!.. — Астрос тронул куклу, и та закачалась на шелковой петельке. — Друг ваххабитов, говоришь?.. Наследник престола?.. Шептуна в Чечню?.. Без авиационного прикрытия?.. Что скажешь, Маэстро? — Он перевел на карлика потя-

желевший взгляд. И тот вдруг выхватил из обшлага длинную булавку для галстуков, украшенную крупным бриллиантом. С силой вонзил в Премьера. Булавка вошла как в живую плоть.

На той же перекладине, чуть поодаль, висели новые куклы, недавно изготовленные, ни разу не побывавшие в передаче. Белосельцев пытался узнать прототипы, но лица были незнакомы. Лишь в одной смутно угадывался вновь избранный губернатор, по-видимому, тот, из кого хозяева кукол собирались делать влиятельную персону.

Еще дальше, на верстаке, на специальном штативе, размещалась свежевылепленная пластилиновая фигура, которая должна была служить основой для будущей куклы. Белосельцев рассеянно вглядывался. И вдруг отчетливо, в надбровных дугах, в узком лице, в крупных губах и твердом, чуть выдвинутом подбородке, узнал Избранника. Скульптура была недоделана, кругом лежали ломти пластилина, резцы и лопаточки для шлифования поверхности.

— Этот фантом явился неизвестно откуда, загадочный, тихий. Кто им управляет? Куда ведет? На каком повороте дороги он исчезнет, как и явился? — Астрос задумчиво смотрел на Избранника. — Как мы поступим, Маэстро?

Карлик подвинул высокую скамейку. Вскрабкался на нее с ловкостью белки. Протянул к Избраннику маленькие ловкие руки. Стал оглаживать, согревать, размягчать. Приговаривал, припевал, бормоча неясные заклинания.

Белосельцев испугался, что тайна Избранника будет разгадана. Их секретный союз и заговор раскрыты. Весь изощренный «Проект Суахили» будет погублен. Подчиняясь слепому порыву, Белосельцев заслонил собой Избранника. Перенес в пластилиновую форму свое изображение. Почувствовал, как стало больно вискам, как выдавились от черепного давления глаза, заломило за ушами, и в мозгу взбухла, готовая лопнуть, кровяная артерия. Карлик перестал массировать скульптуру и удивленно на него оглянулся.

— Ну что ж, господа, закончим на этом экскурсию, — сказал Астрос, выводя их из магической мастерской в оранжерею с орхидеями и пальмами. — Пожалуй, вы правы. — Астрос посмотрел на Буравкова, который, словно ведая, о чем думает

магнат, услужливо протянул мобильный телефон. — Этим можно воспользоваться...

Белосельцев видел, как зашевелились его розовые губы, нашептывая телефонный номер, как холеные пальцы заударяли по кнопкам, превращая их в светящиеся жемчужины.

— Арби!.. — радостно воскликнул Астрос, услышав далекий ответ. Крохотный аппарат послал в пространство тончайшую иглу. Она проколола небо над равниной, пронзила предгорья Кавказа, отыскала среди скопища селений и разногласицы бессчетных людей одного-единственного человека, в ком нуждался Астрос. — Арби, дорогой, как здоровье?.. Как семья?.. Как бизнес?.. Твои люди приходили ко мне, просили помочь... Я помог. Теперь еду по Москве, вижу твои бензоколонки, только от них заправляюсь!.. Твой бензин чистый, как слеза ребенка!..

Астрос умолк, прижимая к уху маленькую черную раковину, и далекий голос с кавказским акцентом что-то шутливо отвечал.

— У нас с тобой все пополам, Арби! Хлеб пополам, нефть пополам, женщины пополам. Мы же братья, как можно иначе?.. Тут, видишь ли, наклеывается интересная комбинация... Только тебе и под силу... Ты просил у меня три миллиона. Я не отказывал, но не было под рукой свободных... Теперь ты их можешь получить, и мне перепадет некоторый процент с прибыли. Завтра в Грозный, обычным рейсом, без охраны, летит генерал Шептун... Да нет, он безвредный, ни разу ни в кого не стрелял, все больше по банкетной части... Сними его с самолета, пусть побудет у тебя в гостях...

Белосельцев еще не понимал смысла услышанного. Разговор, как он полагал, его не касался.

— Ты его, конечно, не в шестизвездочный, но и не в земляную яму... Прими по бизнес-классу... Потребуй выкуп, миллионов пять... Непременно получишь. В случае удачи пару мне, за идею...

Нельзя было понять, что отвечает из-за гор и рек неведомый бородач, сидящий на коврах своей сакли

— Я тебя всегда поддерживу... Когда война шла, кто тебя поддерживал, как не я... И теперь поддерживу, как брата... Пришли

кассету с пленным генералом, тут же пушу в эфир... Действуй во имя Аллаха... Твои люди меня найдут!..

Астрос погасил горящую в телефоне горсть жемчужин. Вернул аппарат Буравкову.

— Будем действовать, господа!.. Всегда рад вас видеть!..

Попрощались. Белосельцев был потрясен. Они стояли перед стеклянным брусом телецентра.

— Мы занимаемся работоторговлей? — спросил Белосельцев.

— Шептун не будет рабом, — ответил Буравков. — Он сиба-рит, сладкоежка. Ну проживет несколько дней под домашним арестом, без коньяка и женщин, а потом за проявленное мужество получит Героя России.

— Задержание чеченцами Шептуна бросает тень на Премьера, — вкрадчиво пояснял Гречишников, глядя на Белосельцева глазами воспитателя детского сада. — Это лишь маленький, изящный штрих в операции по его устранению.

— Шептун — наш товарищ, боевой генерал. Мы нарушаем всякую, в том числе корпоративную, этику. — Белосельцев испытывал такое чувство, будто его с завязанными глазами вели по скользкому краю.

— Какой он боевой генерал? — хохотнул Буравков. — Сделал свою карьеру, предав ГКЧП, переметнувшись к Истукану. Участвовал в штурме Дома Советов и настаивал на применении танков. Сидя в Москве, руководил бездарной чеченской кампанией. Повинен в гибели Майкопской бригады. Во время боевых действий ни разу не выезжал в Чечню. Так пусть же теперь прогуляется. Узнает природу, людей. Там, в отряде Бараева, есть хорошие краеведы.

— Не все средства хороши для достижения цели, — беспомощно повторял Белосельцев, чувствуя, как уловлен в невидимую паутину. Вся операция, куда его вовлекли, была подернута мучительной тайной. — Мы нарушаем неписанные законы корпоративной этики, и это неминуемо скажется на результате.

— Я тебя понимаю, Виктор Андреевич, — мягко произнес Гречишников, в знак сочувствия прикрывая глаза. — Чем ближе к старости, тем чувствительнее душа к вопросам этики. Из разведчиков, посвятивших себя служению Родине, мы превра-

щаемся в мудрецов, блаженных. Но вспомни себя другим, — Гречишников резко раскрыл глаза, и они, круглые, оранжевые, беспощадные, не мигая, уставились на Белосельцева, — вспомни трансафриканское шоссе Каир — Кейптаун, обломки красного форда, намибийского учителя Питера, так похожего на Сэма Нуйому, что ты решил использовать его как приманку. Подставил под удар «Миража» с тем, чтобы позже заманить в ловушку батальон «Буффало». Ликовал, глядя, как дымятся подбитые юаровские броневики, валяются по обочинам обгорелые трупы буров. Тогда ты был отважным и дерзким разведчиком, действовал в интересах Родины. Теперь враг в нашем доме, пирует и развратничает в Кремле, и ты мучаешься совестью, как настоящий мудрец и схимник. Не можешь позволить, чтобы один из врагов слегка пострадал в процессе спецоперации.

— Мне важно понимать целостность операции, — устало, сдаваясь, произнес Белосельцев, не выдерживая взгляда Гречишникова. — Мне неизвестна полная картина, и я не понимаю до конца своей роли.

— Твоя роль ключевая, — взял его под руку Гречишников. — Без тебя операция невозможна. В свое время ты будешь в нее полностью посвящен. А теперь поезжай домой. Отдыхай, смотри телевизор. Следи за информационными программами.

Гречишников подвел Белосельцева к автомобилю. Открыл перед ним дверцу. Помог устроиться на сиденье. Молча кивнул шоферу. И машина понесла Белосельцева мимо телецентра, графской усадьбы и пруда, над которыми возносилась бетонная башня и реяли духи сгоревшей истории.

Он вернулся домой, испытывая слабость, словно из него сцедили всю кровь, лег без сил на диване, лицом к потолку и увидел, как из белой лепнины, прямо от люстры, смотрит на него темнобородый учитель Питер, — в голубой косоворотке, подобранной офицером кубинской разведки, чтобы зоркие глаза наблюдателей заметили его продвижение по трансафриканской дороге.

Белосельцев отвернулся от потолка, стал смотреть на стеклянные коробки коллекции. В той, где были собраны бабочки Южной Анголы, пойманные на серпантине Лубанго, в сухих

перелесках Кунене. Среди алых нимфалид, пепельно-розовых сатиров смотрело лицо доктора Питера. Молчаливое и внимательное, сотканное из хрупких крыльев и разноцветных орнаментов.

Белосельцев поднялся, пошел в ванную, встал под душ, чтобы смыть наваждение. Стоял под шелестящей водой, глядя на худые, в стеклянной пленке ноги. И в затуманенном зеркале, в тусклой запотевшей глубине, смотрелó бородатое, коричневое лицо учителя Питера.

Ночью, во сне, он мчался по горячим пескам пустыни Намиб, пробирался в солончаках Калахари, задыхался от горчишной пыли, врывавшейся в кабину джипа. Оглядывался, следует ли за ним по лесной дороге грузовичок с двуствольной зениткой, защищая от воздушных ударов. На месте ли автомат, упавший на железное днище. И здесь ли кубинец Аурелио, в чьей фляге сохранилась теплая, с металлическим вкусом вода. Но Аурелио не было, а вместо него сидел учитель Питер в голубой косоворотке. Сквозь резную листву акаций, из-за слоновьих стволов баобабов следили глаза наблюдателей.

Наутро он чувствовал себя пустым и измученным, будто и впрямь маленький кривоногий колдун Астроса изъял его душу.

Белосельцев вышел на Тверской бульвар с пожухлыми деревьями, под которыми двигался неспешный московский люд, мимо ампирных особняков, старых корявых дубов, маленьких скульптур и скамеек. Среди прохожих, сменявших друг друга, проносивших мимо Белосельцева свои шляпы, портфели и сумочки, запахи духов и сигарет, обрывки разговоров и смеха, опять возникал Питер. Маячил вдалеке, в синей косоворотке, заложив за поясок широкие ладони, с падающей на грудь бородой, похожий на африканского Льва Толстого.

Его появление не пугало Белосельцева, лишь порождало недоумение. Казалось, африканец существует в действительности. Его образ перенесся на Тверской бульвар из другой половины Земли через систему лучей, преломляющих призм, перевортывающих увеличительных стекол. В этом пространстве находится много других людей, знакомых Белосельцеву по его походам и странствиям, погибших при его попустительстве.

Там стояли погонщики верблюдов, худые, в белых балахонах, с гончарными красными лицами, с величественным ожиданием смерти, перед тем как автоматчики пустили по ним разящую очередь и они упали, все в одну сторону, слились со своими длинными тенями. Там была итальянка, прелестная женщина, погибшая на вьетнамском фугасе по пути в Батамбанг, он стоял на солнцепеке, рассматривая воронку от взрыва, вспоминая, как день назад она воздевала над собой льющийся ковшик, обнажала подмышки, ее грудь волновалась, и у розовой округлости бедер влажно чернел лобок. Там был французский разведчик Виньяр, с кем сидели в кабульском баре, пили виски, а потом француз лежал мертвый в камере Пули-Чархи. Там был чернокожий солдат Роберту, которому он подарил авто-ручку, тот побежал догонять отстающую колонну и после атаки лежал на жухлой траве с полными слез глазами, и зеленая муха ползла по его мертвому лицу. Там была медсестра из госпиталя, разбившего палатки у зеленого вулкана Сан-Кристобль, она бесшумно входила к нему в палату, и он обнимал в темноте прохладное тело, чувствуя, как набухают ее соски и распущенные волосы начинают медленно скользить к нему на лицо, а потом на желтой воде Рио-Коко он греб что есть силы, направляя каноэ к берегу, где еще раздавалась стрельба, зная, что случилось несчастье и он потерял ее навсегда.

Вечером он включил телевизор. На экране была ведущая новостей. Аварии, катастрофы, заказные убийства, волнения в тюрьмах, эпидемии детского энцефалита, и под занавес — сообщение о празднике в еврейском культурном центре. Белосельцев собирался выключить телевизор, чтобы остаток вечера провести за перелистыванием дневников и архивов. Как вдруг ведущая вновь появилась на экране, взволнованная, с горящими глазами. Это выражение возникало на ее лице в случае экстренной и, как правило, трагической новости.

— Как сообщает корреспондент ИТАР ТАСС из Грозного, сегодня в аэропорту имени шейха Мансура по прибытии самолета, следовавшего рейсом Москва — Грозный, прямо из салона авиалайнера неизвестными людьми в масках был похищен спецпредставитель Премьер-министра России генерал Шептун, прибывший в Грозный со специальной правитель-

ственной миссией. Охране аэропорта не удалось задержать похитителей, которые вместе с захваченным генералом на двух машинах скрылись в неизвестном направлении. По факту похищения правоохрнительными органами Республики Ичкерия начато следствие...

Все время, пока дикторша зачитывала срочную информацию, на экране присутствовала фотография Шептуна в генеральском мундире, с холеным красивым лицом, пышными усами и смеющимися, слегка навывкат глазами.

Фотография исчезла, и страстный, неуголенный голос дикторши продолжал:

— Нашему корреспонденту удалось задать вопрос Премьер-министру на церемонии освящения часовни, воздвигнутой Министерством внутренних дел в память погибших в ходе чеченской войны...

Камера показала знакомое одутловатое лицо Премьера, огорченное, с проступившей нервной экземой.

— Эта возмутительная провокация не останется без ответа... Я бы подчеркнул — без решительного ответа... Мы используем все наше влияние на президента Масхадова, весь опыт агентурной работы, чтобы выволить боевого товарища из рук похитителей... Думаю, это вопрос трех-четырех дней, не больше... Для меня это вопрос офицерской чести, дело всей моей политической и военной карьеры...

Лицо Премьера исчезло, новости завершились. Пошла обильная реклама жвачек, туалетной воды, женских прокладок, шоколадных палочек, зубной пасты, педерастического певца Леонтьева, подагрической Аллы Пугачевой, престарелой Гурченко, жеманной, словно девочка кордебалета, и какого-то нового средства для устранения потницы.

Белосельцев сидел перед погасшим экраном, стремясь разгадать смысл операции, в которую был вовлечен. Выстраивал линию событий, от лосиной охоты, где узнал о намерении устранить Премьера, — к Георгиевскому залу Кремля, где Премьер, прочитав его справку, безудержно хвалил ваххабитов. От фуршета, на котором Премьер легкомысленно объявил о поездке Шептуна в Грозный, — до телефонного звонка Астроса неведомому чеченцу Арби, в котором сообщалось о са-

молетном рейсе Шептуна. Линия, которую он провел, проходила через миловидное, с хищными губками лицо теледикторши, поведавшей о похищении генерала, вонзалась в одутловатую щеку Премьера, на которой от огорчения выступила нервная сыпь.

Он двигался по квартире, описывая замысловатые петли между столами и полками. Старался направить взгляд на затемненное, туманное будущее, постигнуть которое был еще недавно бессилён. И ужаснулся.

Искусными хитросплетениями судьба Премьера оказалась в зависимости от пленного Шептуна. Если конечная цель операции сводилась к устранению Премьера, то Шептун не должен был вернуться из плена. Он был обречен на заклание. Прилюдная клятва Премьера — освободить его через несколько дней — лишь приближала день его смерти. Смерть генерала была лишь малым эпизодом, за которым следовали другие, еще более жестокие, вовлекавшие в себя множество неугодных людей, порождая лавину крушения. Под руинами собственных репутаций гибли сильные мира сего, и в развалинах, среди провалов и оползней, открывался узкий прогал, по которому, хрупкий и стройный, почти не касаясь земли, шел Избранник.

Белосельцева охватила паника. Он вдруг решил, что ему следует немедленно посетить Премьера, предупредить о скором ниспровержении, о грозящей Шептуну смерти. Помочь, если еще не поздно, спасти генерала. Или явиться к Гречишникову и потребовать полный план операции, где он не намерен играть вслепую. Или предстать перед Избранником, в его кабинете на Лубянке, и спросить, знает ли тот, какой ценой его ведут к власти. Не скажется ли смерть Шептуна на его будущем властвовании. Не всплывет ли красное пятно под ладонью, когда он станет клясться на Конституции. Ни одно из действий не казалось спасительным, а, напротив, было наивным, недостойным разведчика. Прежде времени выталкивало его из игры, лишало возможности исследовать ситуацию.

К ночи раздался звонок.

— Ты не мог не видеть, как Премьер клялся честью русского офицера. — Гречишников мягко похихатывал то ли над

Премьером, то ли над Белосельцевым, чьи страдания и муки ему были ведомы. — Вот так всегда, начальство клянется, а помогаем держать клятвы мы, малые мира сего. Нам с тобой предстоит выручать незадачливого Шептуна, возвращать его из чеченской темницы в банкетные залы, к хрустальным бокалам и прекрасным дамам, до которых он большой охотник. — Не видя лица Гречишникова, Белосельцев знал, что оно сейчас благодушно. На нем читалось, что хлопоты, которые им предстоят, пусть и обременительны, но неизбежны, вменены кодексом офицерской чести. — К тебе будет просьба, Виктор Андреевич, посети завтра одно заведение. Вот тебе адресок. — Он продиктовал улицу и номер дома в районе Садовой. — Найдешь там молодого чеченца по имени Вахид Заирбеков, кстати, он, кажется, окончил Оксфорд. Побеседуешь с ним на интересующую нас тему. А кто же еще, как не ты!.. Ты же у нас специалист по Востоку.. После этого милости прошу ко мне в «Фонд», на Красную площадь. Там все обсудим...

В телефонной трубке — капли гудков. Лицо учителя Питера, убитого на границе с Намибией. Синяя косоворотка, кося толстовская борода, лиловые, навывкат глаза.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Он отыскал особняк по соседству с Садовой, который, как и многие другие, подобные, выкрашенные в прозрачный сиреневый цвет с нежными линиями колонн и фронтонов, был превращен в маленькую, хорошо оснащенную крепость с электронной защитой, бронированными глазками, молчаливыми вооруженными стражами, встретившими Белосельцева жаркими, почти ненавидящими взглядами черных недоверчивых глаз. Их кавказские лица странно и грозно смотрелись среди ампирной прихожей, где когда-то раздевались добродушные московские баре, а теперь стояли на постах стройные смуглолицые горцы, словно из этого московского особнячка подземный ход уводил прямо в Аргунское ущелье.

Вахид Заирбеков, к кому был направлен Белосельцев, оказался молодым тонколицым чеченцем с черными сросшимися бровями, веселым и умным взглядом и прекрасными манерами, с которыми не рождаются, но талантливо усваивают их в процессе европейского обучения. Он наградил Белосельцева изящной визитной карточкой с голографическим знаком, переливающимся, будто капля росы. Из карточки следовало, что ее хозяин — директор какого-то фонда, кандидат юридических наук, почетный член международной ассоциации. Любезным жестом он усадил Белосельцева в удобное кресло, и служительница, узкая в талии, неслышно ступая, с потупленными, огненно-черными очами, похожая на лермонтовскую Бэлу, внесла поднос с расписным фарфоровым чайником, маленькие пиалы, вазочки с изюмом, орешками и сахаром. Пахнуло Востоком, пахнуло классической русской литературой и смертельной опасностью. И все это вместе вернуло Белосельцеву былую чуткость и подвижную, под стать хозяину, любезность, которая скрывала бдительность профессионала, действующего в расположении врага.

— Рад познакомиться с вами, Виктор Андреевич, — с простодушной открытостью и щедрой расположенностью сильного и процветающего дельца произнес Вахид. — Заочно я знаю вас, читал ваши работы по проблемам Афганистана и Африки, слышан о вашей деятельности на Кавказе. И вот теперь имею честь лично выразить вам мое уважение.

— Все это было давным-давно, — легкомысленным и усталым жестом Белосельцев отмахнулся от воспоминаний прошлого, предлагая видеть в себе одинокого, утомленного житейскими заботами человека. При этом подумал: чеченец готовился к встрече, наводил о нем справки. По открытому стилю общения, по свободным изящным манерам он вполне подходил для роли резидента чеченской разведки, свившего удобное гнездышко под сенью малоизвестного фонда.

— Впервые я прочитал ваши работы о русской политике в Афганистане и Средней Азии, проходя обучение в Оксфорде. Мой профессор высоко о них отзывался. — Вахид показал Белосельцеву диапазон своих интеллектуальных возможностей, предлагая вести разговор далеко за пределами повода, послужившего встрече.

— Я прочел несколько лекций в Оксфорде. — Белосельцев печально улыбнулся, словно с грустью вспоминал то время, когда был востребован и известен. При этом цепко подметил: чеченец, окончивший Оксфорд, вполне мог быть агентом английской разведки, самой умной и действенной в районах Кавказа.

— Вы давно не были в Дагестане? Я знаю, вы дружили с Исмаилом Ходжаевым. Теперь он очень важная, я бы сказал, ключевая фигура, от которой, быть может, зависит судьба региона. — Вахид двигался к нему напрямую, спрямляя углы разговора, давая Белосельцеву понять, что тот является прозрачным для умных наблюдателей, к числу которых чеченец причислял и себя. — У меня с ним тоже хорошие отношения.

— Давно его не видел, — равнодушно ответил Белосельцев, показывая чеченцу, что тонкий сигнал, означавший начало вербовки, принят им и чеченец может продолжить свой незатейливый танец.

— Русские странно ведут себя в Дагестане, словно не замечают, как закипает республика. — Вахид произнес эти слова задумчиво, размышляя вслух, с недоумением и печальной симпатией к неразумным русским. — Премьер-министр воспеваёт ваххабитов, при этом из республики выводятся войска, снимаются блокпосты на границе с Чечней, словно Басаева и Хаттаба приглашают к вторжению. Неужели Москва примирилась с потерей Дагестана? С потерей Каспия, Кавказа?

— Вы правы, у России нет кавказской политики, — вяло согласился Белосельцев, маскируя меланхолическим кивком свой острый интерес к чеченцу, который, казалось, читал его мысли, был посвящен в его разговоры с друзьями, мог быть элементом тайной игры Гречишникова, невидимой частью «Проекта Суахили».

— Русские поразительно ослабли как нация. Утратили государственную волю. Мужчины не хотят воевать, женщины не хотят рожать. Политикой руководят евреи, находящиеся на содержании у Америки. Церковь равнодушна к судьбе народа. Лидеры патриотических партий напоминают комнатные растения. Больной Президент — кукла в руках авантюристов. Премьер сделан из плюша, наподобие китайской игрушки. Мне больно за Россию и русских. — На узком, смуглом лице чечен-

ца, старавшегося изобразить сострадание, невольно промелькнула брезгливость. И он встревожился, не заметил ли этой брезгливой гримасы Белосельцев, прикрыл лицо сухой ладонью, потирая переносицу гибким пальцем с серебряным мусульманским перстнем.

— России свойственно временами переживать упадок, — произнес Белосельцев, делая вид, что не желает втягиваться в дискуссию, но и не уходит от нее окончательно. Чеченец нуждался в споре, чтобы в его бурном течении, на перепаде суждений, отыскать у Белосельцева открытое, незащищенное место и войти с ним в незримый эмоциональный контакт.

— Я не сторонник войны. — Вахид прижал ладонь к сердцу, требуя абсолютного к себе доверия, изображая всем видом, что дискуссия уже началась и оба страстно ее ведут с предельной искренностью и симпатией друг к другу. — Но надо признать, что победа чеченцев в войне с Россией и фактическое отделение Ичкерии от Москвы стали возможными благодаря огромному пассионарному взрыву, который переживает чеченский народ. Мы наконец ощутили свой Космос, свое мессианство, свою национальную и религиозную сущность. У нас есть самостоятельное государство, есть деньги, есть воины, готовые жертвовать собой за ислам, есть молодая интеллигенция, способная освоить ультрасовременные достижения цивилизации, и есть сверхзадача создать новый свободный Кавказ как самостоятельный центр мирового развития.

— Кавказ не центр, а радиус. Не столица мира, а дорога к ней, — не откликаясь на эмоциональную вспышку чеченца, осторожно заметил Белосельцев.

— Признак угасания народа — это отсутствие вождя. — Вахид желал накалить разговор, поднять его до вершин метафизики, показывая себя Белосельцеву равным партнером, и одновременно поддразнивал его, побуждая перестать защищаться, совершить неосторожный выпад. — У современных народов не вожди, а наемные служащие, которые в рангах президентов вершат рутинную политику, столь далекую от деяний Магомета или Моисея, спасавших свои народы от исчезновения. Сегодня, быть может, последними в мире вождями являются Арафат, Оджалан и Масхадов. Я не вижу вождя у русских, не вижу избранника.

— Плачевное положение русского народа предопределяет появление вождя, — спокойно, почти сонно ответил Белосельцев, хотя сердце его при слове «избранник» дрогнуло и громко забилося.

— Кстати, как вы оцениваете нынешнего директора ФСБ? Так мало о нем известно?

Это было прямое приглашение Белосельцеву доверять ему. Указание на то, что и он, Вахид, включен в «Проект Суахили». Является одним из его ответвлений. Участвует в продвижении Избранника. И только не ясно было, всецело ли принадлежит он проекту, либо, подобно Белосельцеву, ведет самостоятельную разведку и поиск.

— Он возник из сумрака, где разведка держит своих выдвиженцев. И вернется обратно в сумрак, если того пожелает разведка. — Белосельцев отделался незначащей фразой, не подпуская близко к себе экспансивного, изощренного чеченца. Желал лишь выявить линию, соединяющую оксфордского горца с Астросом, отдавшего Шептуна в руки Арби, и с Гречишниковым, которому понадобилось прислать его, Белосельцева, на связь с резидентом чеченцев.

— История с генералом Шептуном очень досадна. — Глаза Вахида стали круглые, черно-золотые под сросшимися бровями, как у вещего зверя, умеющего читать человеческие мысли. — Арби Бараев неуправляем, на него нет управы даже у Шамиля Басаева. Но мы поможем русским коллегам, тем из них, кто имеет заслуги перед чеченским народом. Пожалуйста, передайте господину Гречишникову кассету, где, по-моему, генерал Шептун подтверждает, что он жив и здоров. Кланяйтесь господину Астросу. Иногда его телеканал передает программы сомнительные с точки зрения исламских ценностей, но его вклад в нашу борьбу колоссален, и мы относимся к нему как к брату. — Вахид отошел к столу, достал видеокассету, вложил ее в бумажный конверт. Вернулся и протянул Белосельцеву. — Теперь мы станем видеться, не так ли? Надеюсь, вы не откажете мне в удовольствии отужинать с вами?

— Было приятно познакомиться. — Белосельцев принял кассету, с удовольствием всматриваясь в густые брови, проходившие над глазами чеченца сплошной бахромой черного меха. — Я знаю, как вас найти.

И покинул маленькую военную крепость в центре Москвы, замаскированную под ампирный особнячок. Уносил кассету и визитку, на которой драгоценно переливалась голографическая росинка.

Как было ему наказано, он отправился в «Фонд» на Красную площадь, и пока подходил к подъезду, храм Василия Блаженного, как тяжелый букет, наклонил свои головы, сыпал на него лепестки вянувших георгинов, пионов, подсолнухов. В кабинете, куда он вошел, находились Копейко, Зарецкий, Гречишников. Воззрились разом, нетерпеливо, отставив поднятые коньячные рюмки.

— Что передал нам этот абрек с дипломом английского бакалавра? — Гречишников тянул к Белосельцеву руку. — Кстати, знаешь, что он участвовал в похищении англичан из миссии Красного Креста, после чего их головы, похожие на срезанные ананасы, были выставлены на обочине шоссе Шали — Гудермес. Он тайно ведет переговоры с государственными структурами, занятыми торговлей оружием. За наличные покупает для Масхадова гранатометы и автоматы. Недавно приобрел два самоходных орудия, новеньких, прямо с завода. Так что он нам предлагает?

Белосельцев достал конверт с кассетой, передал Гречишникову, и тот, откинув конверт, ловко сунул кассету в щель видеоманитона,дохнул на широкий телевизионный экран, сдувая несуществующие пылинки.

Вначале на млечном экране побежали волны и полосы. Затем промелькнули черные зигзаги. Появился размытый камуфляж проходящего перед камерой человека. Качнулся расплывчатый, не попавший в фокус ствол автомата. И возникло лицо генерала Шептуна, одутловатое, отечное, с синяками и ссадинами. Его усы, обычно пышные, бравые, лучистые, были теперь вяло опущены, свалялись, как пакля. Глаза, еще недавно радостно-наглые и сияющие, смотрели затравленно, и под каждым темнел кровоподтек. Раздался чей-то неразборчивый окрик, губы генерала зашевелились, и он стал говорить:

— Я генерал Шептун, спецпредставитель Председателя Правительства России. Как видите, я жив и здоров. Содержусь в нормальных условиях. Для моего освобождения требуется

пять миллионов долларов США. Эти деньги следует передать в течение пяти дней. В противном случае... — Генерал замолчал и умоляюще посмотрел в камеру. Снова за его спиной раздался сердитый неразборчивый окрик, и Шептун продолжал: — В противном случае меня расстреляют...

Он замолчая, камера еще некоторое время была направлена на его несчастное лицо, а потом скользнула на заляпанную грязную стену, затоптанный пол, где стояла жестяная миска, из которой, как собака, питался пленник.

Изображение исчезло.

— Какая красота!.. Какая сделка!.. Какой первоклассный, ошеломляющий бизнес! — Зарецкий задвигался, заелозил, от возбуждения не знал, куда девать руки, шаркал под стулом длинными узкими штиблетами. — Астрос, сука!.. Породистая великолепная сука! Я хотел его застрелить... Уже снайпер выбрал позицию, уже был известен час, когда он поедет из казино, но в последний момент я дал отбой. Понял, что мне будет скучно без него в этом мире! Знаю, он собирался меня взорвать. Уже подложили бомбу под мой «мерседес», уже гранатометчики встали по пути моего следования из ночного клуба на дачу. Но анонимный звонок сообщил о засаде и бомбе, и я был чудом спасен. Знаю, это Астрос дал отбой, потому что понял, как ему будет пусто без меня в этом мире!..

Зарецкий беспокойно гримасничал, сучил ногами, дергал сутулыми плечами, словно старался пролезть в невидимую узкую щель, сбросить с себя тесный чехол, протиснуться в открывшийся ненароком зазор, который может сомкнуться, сжаться и больше никогда в себя не пустить.

— Это подарок судьбы! Случай, в который нам необходимо вмешаться! Сделайте с кассеты две копии!.. Одну немедленно отправьте Премьеру! Пусть ее тотчас же посмотрит!.. Скажите, это мой наказ! И пусть сразу же мне позвонит! Другую копию — Астросу! Он ее немедленно пустит в эфир!.. Разумеется, с недавним сюжетом, где наш плюшевый Премьер клянется честью русского офицера освободить генерала! Да это просто подарок судьбы!..

Он напоминал теперь большую суетливую белку, издающую тревожные цоканья. И все эти гримасы и шарканья, по-

дергивания головой и руками были средством выиграть время, ускользающее и летучее, которым он хотел овладеть, пустить его в оборот, извлечь максимальную прибыль.

— Он надеется за шкуру генерала выручить хорошие деньги. И попутно свалить Премьера, толкнуть на его место крепкого, как патиссон, московского Мэра. Но мы его переиграем в покер. Моя служба безопасности сильнее его службы безопасности. Мой аналитический центр умнее его аналитического центра. — Зарецкий весело взглянул на Копейко.

Кассета была размножена. Две ее копии ушли к адресатам, как ракеты, направленные к далеким целям. С места запуска, поглядывая на часы, они ждали, когда ракеты достигнут целей и поступит сигнал попадания.

В ожидании они пили коньяк, цепляя маленькими вилочками дольки лимона, вываленные в сахаре. Каждый раз, перед тем как выпить, Зарецкий протягивал рюмку к окну, словно чокался с собором, который подставлял одну за другой разноцветные чаши, узорные резные сосуды, дутые вазы и кубки, полные пьянящих напитков. По мере того, как веселящее зелье вливалось в него, он становился благодушной, доступней. Глаза, утратив зловещий лиловый пламень, благостно блестели.

— В чем суть затеи... — начинал он проговариваться, желая наградить верных помощников красотой гениального замысла. — Плен Шептуна, не дай бог с ним что-нибудь случится неладное, ставит Премьера на край катастрофы. И пусть себе ставит — сколько можно быть тюфяком, плюшевым котом, дутышем, клеткой, безвольным пузырем!.. Пусть-ка над ним пошвистит секира, гнев Истукана, презрение военных. Пусть почувствует ужас отставки... — Зарецкий направил рюмку к окну. — Астрос, едва почуяв, что Премьер закачался, направит Мэра с поклоном к Истукану. Этот патиссон, надеясь стать главой Правительства, повинится перед Истуканом за прежнюю фронду, сдаст ему в знак преданности всех союзников и друзей, силовиков, банкиров и журналистов. Оставшись голым, он не получит Правительства. Мы затеем маленькую победоносную войну в Дагестане, который является головной болью Истукана. Тот не знает, как усмирить ваххабитов, пла-

чет, рычит, ждет самого худшего. С помощью наших друзей-чеченцев мы спровоцируем в Дагестане малый конфликт. Премьер усмирит восставших, добьется быстрой и эффектной победы. Это будет его Тулон, ибо втайне он считает себя Бонапартом. Будет его Аркольский мост, где он вновь побратается с силовиками, позволив им победить. Он станет снова любимцем Кремлю, укрепитя на посту Премьера, безмерно увеличит шансы стать преемником Истукана... Надеюсь, вы меня понимаете?..

Белосельцева ужаснула простота сумасшедшего замысла, напоминавшего фантазию маньяка. Он был восхищен, как разведчик, случайно открывший замысел, за которым вел охоту. И изумлялся, как неуклонно, используя разломы и трещины в монолите противника, реализуется «Проект Суахили». Враг истребляет врага, деньги съедают деньги, энергия убивает энергию, и в свободный прогал, покрытый пеплом истребленных противников, юношеской легкой походкой ступает Избранник.

Они поглядывали на часы, гадая, на каком отрезке траектории находится ракета и сколько ей осталось до цели. Переводили глаза на разноцветные телефоны, среди которых один, без диска, белый, словно вырезанный из слоновьего бивня, служил для связи с Премьером.

Копейко из-под тяжелых кожаных век наблюдал витийствующего Зарецкого.

— Меня всегда поражали смелость и рискованность ваших проектов, казалось бы, невыполнимых, но всегда удававшихся. Вы рискуете и никогда не проигрываете!..

— Я игрок, по судьбе и по сути! — Лесть подействовала на Зарецкого тонким снадобьем. — Я играл в наперстки, в покер, в компьютерные игры, в лотереи, в рулетку, изучал «теорию игр» и «теорию малых войн» и всегда получал удовольствие от процесса игры, но никак не от выигрыша. Эта склонность к бесконечной игре и предельному риску сделала меня первым игроком России. Я выиграл власть, богатство, известность, историческое время, которое отмечено моим именем, и продолжаю играть. На кон положена Россия, и мой главный соперник — Астрос. Он хочет превратить Россию, с ее православием, Львом Толстым, маршалом Жуковым, сибирскими ре-

ками и березами, в центр еврейской цивилизации и противопоставить Русскую Хазарию всему остальному миру. Я же хочу включить Россию в состав мировой империи, где она в гармонии соединится с другими народами в единое мировое царство. Быть может, для этого мне придется провести две крупные войны, три малых локальных конфликта, десяток государственных переворотов в Прибалтике и в Среднеазиатских республиках, но великая цель будет мною достигнута. Я обнародую мой проект, когда мы сменим нынешнего, одряхлевшего Президента и на смену ему придет человек, способный воплотить мои планы. Если же такой не найдется, я сам стану Президентом. — Зарецкий потянулся рюмкой к окну, откуда ему навстречу выдвинулась узорная чаша, полная горького, на кореньях и травах, зелья, и хмель от нее был горячим и пряным, окружил его голову нимбом. — Новое тысячелетие мы встретим с новым Президентом. Я уже придумал вселенское празднество. Я установлю здесь, на Красной площади, тысячу ослепительных прожекторов, чтобы сияние было видно по всей России. Покрою кремлевские стены и башни, купола церквей и соборов прозрачным льдом, и они будут сверкать, как хрустальные. Построю изо льда, тут же, на набережной, на мостах и на площади, нью-йоркский «Эмпайер Стейт Билдинг», парижскую Эйфелеву башню, берлинский рейхстаг, лондонский Тауэр, римский Колизей, египетские пирамиды, индусский Тадж-Махал, «Зимний дворец» китайского императора. Я соберу хор из православных монахов, лютеранских псалмопевцев, буддийских бонз, еврейских раввинов, эскимосских шаманов, исламских мулл, и они исполнят «Гимн объединенного человечества», написанный самым великим из ныне живущих поэтов... — Зарецкий потянулся к окну, и оттуда собор подал ему кубок.

Копейко смотрел на него пристально, не мигая. Белосельцев подумал, что Зарецкого очень скоро найдут в тюремной камере с заточкой в сердце, и охранник в начищенных сапогах, с желтой кобурой, прикажет уголовникам положить его на брезентовые носилки.

Зазвенел телефон. Зарецкий подскочил, хватая трубку, переключая разговор на внешнюю трансляцию.

— Это ужасно!.. — запричитал Премьер с истерическими интонациями провинциального артиста. — Несчастный Шептун!.. Он такой чистюля, что перед едой протирает салфеткой ложки и вилки... А теперь вынужден есть из собачьей миски!

— Всего пять миллионов долларов, и он снова станет протирать вилки салфеткой. — Зарецкий сделал смешную гримасу, приглашая слушающих повеселиться над паникой Премьера.

— Где я возьму столько денег?.. Что мне делать?.. Я дал слово офицерской чести!

— Попробуй найти деньги в бюджете.

— Бюджет давно истрачен! Внебюджетные фонды пусты! Если я истрачу копейку, депутаты подымут вой!.. Президент не хочет ссориться с Думой!

— У тебя есть блестящий выход. Как у русского офицера... Потратить свои личные. За други своя... Насколько мне известно, на твоих счетах примерно такая сумма...

— А что я оставлю на старость?.. Я не могу жить на пенсию... Отставка может случиться в любой день, даже завтра...

— Пожалуй, я тебе помогу. — Зарецкий сделал вид, что думает. Тянул паузу, сам же, на потеху слушающих, корчил гримасы. — Пожалуй, я помогу тебе найти деньги...

— Выручи! Ты всегда выручал! Мы же друзья!

— Но за услугу... Проводится аукцион по продаже двух нефтяных месторождений в Сургуте... Поговори с министром топлива, чтобы они попали ко мне.

— Обещаю, ты их получишь!

— Деньги на выкуп генерала достану завтра. Мы сами войдем в контакт с чеченцами, не прибегая к услугам Правительства.

— Ты настоящий друг!.. Ты спасаешь меня от отставки!

— Есть хорошая идея, как тебе избежать отставки... Как тебе выиграть Тулон... И надеть треугольную шляпу!

Премьер не понял шутки, но на всякий случай засмеялся. Зарецкий положил трубку.

— Поставьте-ка еще раз кассету, — попросил Зарецкий, усаживаясь перед экраном с рюмкой. — Как-то раз Шептун пригласил меня на дачу в сауну и выиграл у меня в карты красивую девку, мулатку, настоящую «тропикаль». И ушел с ней на

ночь кувыркаться в постели. А я не люблю проигрывать, — сказал он, когда на экране промелькнул камуфляж, размытый ствол автомата и возникло распухшее, избитое лицо генерала. Зарецкий протянул к экрану рюмку, прикоснулся ею к губам Шептуна. — Хлебни, дружище... Тебе это пригодится, для храбрости, — и затрясся в утробном икающем смехе.

Белосельцев вернулся домой и посвятил вечер сосредоточенному скрупулезному думанию. Прояснявшаяся картина состояла из нескольких сочных мазков. Астрос, передав Шептуна чеченцам, бьет по Премьеру и при этом пытается заработать на выкупе. Зарецкий спасает Премьера, выкупая несчастного пленника, и при этом готовит военный конфликт в Дагестане. За обоими ненавидящими друг друга магнатами стоят Буравков и Копейко, ловко управляют конфликтом, и их цель — стравить олигархов, ослабить Премьера и в открывшуюся узкую брешь продвинуть Избранника. В этом новом объеме замысла, более жестоком, чем прежний, маячил военный конфликт в Дагестане. «Проект Суахили» напоминал череду вложенных одна в другую матрешек, «анфиладу зла», раскрывающегося по мере приближения к цели. И обжигающая, острая мысль: кто они, его соратники по борьбе, обладающие колоссальными средствами? Сколько людей в спецслужбах, Правительстве, в газетных концернах и банках участвуют в невидимом заговоре? Какова его конечная цель? И какую роль в достижении цели призван сыграть он, Белосельцев, прежде чем в нем отпадет нужда и о нем забудут либо как свидетеля страшной тайны зароют на дне лесного оврага?

Утром последовал звонок Гречишникова, его короткий сухой приказ:

— Приезжай в штаб-квартиру Копейко. На своей черной «Волге». Она прекрасно выглядит для своих лет и не внушает ничего, кроме добродушной насмешки.

Он двигался по Москве в своем добротном лимузине, с потертыми креслами, сохранившими пыль подмосковных дорог, частички пепла выкуренных женщинами сигарет.

Его поджидали нетерпеливый, возбужденный Зарецкий, молчаливый Копейко и вкрадчивый Гречишников, который

похаживал по ковру, вытаптывая ногами красно-черный орнамент. На ковре, бок о бок, стояли два сияющих алюминиевых кейса с цифровыми замками, с одинаковым набором пятизначных цифр.

— Здесь пять миллионов долларов для Арби Бараева, за душу непутевого Шептуна. — Зарецкий двумя руками сделал в сторону кейсов непонятный жест. — Ваши друзья решили, что никому, кроме вас, нельзя поручить передачу денег. Генерал Шептун должен знать, кому обязан жизнью. Когда его доставят в Москву и отмоют в бане, он явится к вам с букетом цветов.

Зарецкий насмешничал, играл глазами:

— Шептун не стоит и половины этих денег. Но разве дело в этом смешном похотливом фазане, который перед каждым женскими сиськами раскрывает разноцветный хвост и рассказывает один и тот же двусмысленный анекдот? В этих чемоданах, как в ящиках Пандоры, таится столько будущих событий, что если бы мы их сейчас открыли, то оказались бы в другой стране, в другой истории, при другом Президенте. Однако их откроют другие люди!

— Ты, Виктор Андреевич, отвезешь деньги Вахиду. — Гречишников продолжал вытаптывать по кругу ковровый орнамент. — Тебя там ждут. Следом пойдет машина сопровождения с охраной, не ровен час. Скажи Вахиду, пусть доставят Шептуна из Грозного завтрашним рейсом. Завтра Премьер выступит перед комсоставом силовиков и ветеранами спецслужб. Шептун появится в зале в момент выступления. Это будет триумфом Премьера.

Двое молчаливых молодцов подхватили чемоданы. Погрузили в багажник «Волги». Белосельцев тронул машину, заметив в зеркало, как следом, на расстоянии, двинулся огромный, с затененными стеклами джип.

Он двигался тесными улицами, ожидая, что из переулков выскочат воюющие милицейские машины. Преградят ему путь. Люди с автоматами, в масках вырвут его из-за руля, вскроют багажник, арестуют вместе с алюминиевыми чемоданами. Он понимал, что совершает очередной поступок, еще теснее и неразрывнее связывающий его с таинственной группировкой,

управляющей политической машиной. Малейшая неточность может стоить ему жизни. Если он свернет сейчас к отделению милиции, или позвонит в уголовный розыск, или сообщит о месте своего пребывания в контрразведку, то может статься, что из милицейской машины, явившейся по вызову, выйдет Гречишников, а с бригадой уголовных сыщиков нагрянет Копейко, а в кабинете следователя контрразведки его встретит вислый, как у пеликана, нос Буравкова.

Безумной и сладкой показалась мысль оставить чемоданы на краю тротуара, вырваться из огромного города, промчаться по окружной дороге, соскользнуть на шоссе и лететь, удаляясь от смертельной опасности, среди перелесков, поселков, все дальше и дальше, мимо церквей, городков, пока не окажется в глухомани, среди псковских синих озер.

«Он сказал про ящик Пандоры... Что он имел в виду? Какое будущее таят в себе алюминиевые чемоданы, набитые деньгами?... В какое новое пространство ведет “анфилада зла”? В какую бесконечность движется “Проект Суахили”?» — эта мысль пресекла попытку к бегству. Он медленно двигался в пробке под присмотром лакированного катафалка, отливавшего черными зеркалами. Вел «Волгу», в замороженную в ледяное поле, дрейфующее от Смоленской к Крымскому мосту.

У знакомого сиреневого особняка с нежной белизной колонн и фронтонов его встретили смуглолицые горцы, проводили машину в тесный дворик, где дворянские ампиры конюшни были превращены в гараж. Вахид, элегантный, в белой рубашке, с маленьким галстуком-бабочкой, стоял на заднем крыльце.

— Рад видеть вас, Виктор Андреевич. Приятно иметь с вами дело. Не сомневался в вашей пунктуальности. Проходите.

Он кивнул нукерам, которые выхватили из багажника чемоданы и несли их сквозь коридоры, уютные зальцы, где стояли компьютеры, сейфы с электронными замками, сидели сосредоточенные чеченцы, темноволосые красавицы-секретарши, шел непрерывный счет, нежно позванивали телефоны, звучала негромкая чеченская речь.

— Я не стану пересчитывать деньги. Я только посредник, — сказал Вахид, когда они вошли в знакомый кабинет и охран-

ники плашмя положили на стол чемоданы, — не сомневаюсь в достоинствах людей, с которыми мне поручено вести переговоры. Мы только посмотрим на содержимое. — Он кивнул, и по его взгляду охранник открыл незапертые чемоданы.

— Все в порядке, — улыбался Вахид, захлопывая чемоданы и отсылая взглядом охрану. — Если бы вы знали, как вовремя пришли эти деньги, — он обращался к Белосельцеву приветливо, не опасаясь того, что искренность будет использована Белосельцевым ему во вред. — У русских есть представление, что добытые чеченцами деньги идут на строительство вилл, на предметы роскоши, на покупку земель в Анталии. Это заблуждение. Сегодняшние чеченские политики — аскеты и пуритане. Мы не можем себе позволить построить даже лишнюю мечеть. Все деньги идут на закупку оружия.

— Разве в этом есть необходимость? — Белосельцев одолел минутную обморочность. — Чечня набита оружием.

— Мы исходим из неизбежности новой войны с Россией. — Вахид обращался с Белосельцевым как с другом, которого не нужно бояться. — К этой войне готовится Россия, готовимся мы. Кавказ становится расширяющимся полем боя, которое потребует много оружия. Мы закупаем госпитали, артиллерию, формируем свою авиацию. Создаем укрепрайоны в столице и в горных ущельях. Народ мобилизован и готов сражаться. Быть может, впервые за всю свою историю мы обрели мессианскую идею и готовимся ее реализовать. Мы преобразуем Кавказ, его веру и идеологию, его геополитику и государственное устройство. Чеченцы лидируют среди кавказских народов, и остальные народы Кавказа признают наше первенство.

— Можно очень быстро израсходовать накопленную за десятилетия энергию. Масхадов не Наполеон и не Гитлер. Ему не дойти до Москвы. — Белосельцев исподволь управлял разговором, как управляют ручьем, воздвигая на его пути малые препятствия.

— Он уже дошел до Москвы, — улыбнулся чеченец. — Наш с вами разговор происходит не в Гудермесе. Наша диаспора распространилась до Находки и Архангельска. Мы контролируем доходные российские отрасли. Так или иначе, владеем российской нефтью, золотом, алмазами, игорным бизнесом и, что гре-

ха таить, поставками наркотиков. Деньги, которые мы выручаем, будь то тюменские промыслы или кимберлитовые якутские трубки, идут в Чечню на закупку оружия. Эти деньги позволяют нам иметь друзей в Министерстве обороны, в Правительстве, в разведке, на российском телевидении. Однако наши с вами личные отношения, Виктор Андреевич, основаны не на меркантильных интересах, а на корпоративном чувстве разведчиков. — Вахид спокойно смотрел на него из-под сросшихся сине-черных бровей, предлагая предельную откровенность, что было завершающим психологическим приемом вербовки.

— Вы хотите сказать, что в случае военного конфликта с Россией не будет тыла, схватки станут проходить по всей Транссибирской и чеченские взрывники будет действовать во всех больших городах?

— И на атомных станциях, и на ракетных шахтах, и на химических заводах. Русская власть должна это знать. Эти деньги, — Вахид кивнул на алюминиевые чемоданы, — пойдут на создание опорных баз. Но не в Аргунском ущелье, а в Ставрополе, Казани, Москве. В сущности, они уже созданы. Есть персонал, есть тайные склады взрывчатки, есть объекты для взрывов. В случае новой войны на Кавказе Россия должна быть готова к ударам по своим самым чувствительным центрам, в число которых входят ее незащищенные святыни, такие, как Спас Покрова на Нерли и деревянная церковь в Кижях.

Белосельцев испугался своего прозрения, боясь его осмыслить. Он, разведчик, был накануне открытия. Мог стать обладателем драгоценной, не имеющей цены информации, которую не знал, кому передать. Кругом были враги и предатели, и заговор, куда он был вовлечен, казался ему всемирным.

— Теперь, когда ваши условия выполнены, — Белосельцев овладел собой, — пославшая меня сторона просит Арби Бараева вернуть генерала Шептуна завтрашним рейсом из Грозного. Его возвращение должно быть приурочено к важному политическому мероприятию и призвано снять напряжение, возникшее у российской общественности.

— Конечно, — заверил чеченец, — генерал вернется завтра вечером. Я вам сообщу. Если нетрудно, Виктор Андреевич, вашу визитку...

Белосельцев передал ему карточку из числа последних, сохранившихся с прежних времен. Зачеркнул телефон института, где когда-то работал, вписал телефон домашний.

— Непременно вам позвоню. — Вахид провожал его к выходу, стройный, элегантный, в шелковой белой рубашке с галстуком-бабочкой.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Он уезжал в «Волге» с опустевшим багажником. У светофора рядом с ним остановилась вишневая «мицубиси», шофер опустил стекло, ссыпал пепел сигареты, посмотрел на него, раскрывая в медленной волчьей улыбке золотозубый оскал. Белосельцева охватила паника — за ним следили, его сопровождали. Тайна, которой он обладал, была смертельно опасной. Черный джип с огромными стеклами, скрывавшими гранатометчиков и снайперов, исчез. Передал его маленьким голубым «Жигулям», где сидел рыжеватый парнишка, висел американский флажок, качалась православная иконка. Покрутившись вблизи, «жигуленок» исчез, передал его кофейному пикапу, который вел небритый мужик в картузе. Вслед за пикапом к нему прицепился красный форд, управляемый женщиной с пепельными волосами. Она нервно вела машину, говорила по «мобильнику», сердито двигала покрашенными губами. Бросила на Белосельцева раздраженный взгляд, который и выдал ее, — она вела наружное наблюдение, маскируясь под светскую львицу. Он оторвался от нее, едва не ударив бампером неуклюжую «Газель». Нарушил правила, пересек осевую линию, ловко ускользнув от «мерседеса», наполненного агентами ФСБ. Нырнул в туннель, обманув работников МУРа, которые прикинулись веселыми азербайджанцами в поношенном «ягуаре». Но выскользнув из туннеля, увидел на доме белую тарелку антенны, которая следила за ним, поворачивалась в его сторону, передавала изображение на невидимый экран. Он резко увеличил скорость, ушел от антенны, но впереди, на высоком здании красовался белый, похожий на

страусиное яйцо, шар. В нем находилась система слежения, передавала о нем информацию в центр слежения, наблюдатель видел его испуганное лицо. Он был захвачен, оплетен. Его вели, с ним играли. Куда бы он ни метнулся, он оставался в поле зрения следящих антенных систем.

«Стать невидимкой... Использовать технологию “стелз”... Покрыть машину отражающим радиоволны составом...» — так думал он, желая освободиться от навязчивого страха.

Проносясь мимо рекламных стендов, где предлагалось шипящее мясо восточного ресторана «Тамерлан», выигрыши в казино «Голден пэлас», перламутровые писсуары фирмы «Ламонти», концерты Киркорова и маленькие пупырчатые уродцы корпорации «Би Лайн», Белосельцев углядел скромный лист, извещавший о выставке художника Поздеева, сибирского гения, умершего тихой смертью среди нарисованных ангелов, цветов и небесных светил. И уже вскоре был на Крымском валу, оставил машину у пустынного фасада, поднимался по каменным теплым ступеням.

Залы, через которые он шел в поисках выставки, были пустые, солнечные, с белесыми деревянными половицами. В сухом теплом воздухе пахло сеном, висели любимые картины. Он удивлялся, отчего нет людей, лишь сидят на стульчиках престарелые зрительницы. Вошел в зал Поздеева, и душистый запах усилился. Исходил от картин в простых деревянных рамах, где, большие и свежие, стояли в вазах цветы, смотрели молчаливые животные из заповедных лесов, взирали спокойные темноглазые лики то ли святых, то ли языческих идолов. Белосельцев двигался от картины к картине, изображения становились все проще, лишались портретного сходства, с трудом угадывались люди, цветы и животные, и все превращалось в движение света. Он остановился перед высокой картиной, на которой сверкали ромбы, треугольники, сферы, расположенные в чудесной гармонии. В голубую глубину, словно в толщу прозрачного весеннего льда, залетел и замер в замороженный солнечный луч. Картина называлась «Чаша» и была предсмертной работой художника, который удалился от мира и в неустанных размышлениях и трудах стремился постичь суть бытия. Бытие открылось ему как равновесие множества миров и пространств, в центре

которых находился голубой прозрачный кристалл. Так Поздеев изобразил Бога, открывшегося ему перед смертью в прозрении.

Белосельцев стоял перед картиной, восхищаясь и одновременно страдая. Картина не была к нему равнодушна, звала, побуждала к поступку. Он смотрел на нее не мигая, расширив зрачки, задержав дыхание. Картина стала вдруг волноваться, как отражение в воде, на которую пал легкий ветер. Холст перестал быть твердым. В нем открылся тонкий прогал, едва заметная скважина. И в эту узкую щель, в игольное ушко, торопясь, сбрасывая брENNую плоть, превращаясь в тончайший луч, устремилась душа. Проскользнула в зазор, оставив опустелое тело безвольно стоять на сухих половицах. Его первый вольный порыв вознес его над Москвой, и он замер в восторге, опираясь на воздух, озирая розово-белый город, похожий на срез огромного дерева, в кольцах, слоях, в радиальных прожилках и линиях. В сердцевине был Кремль, алый, золотой и дышащий, и если приглядеться к Москве, то это был Спас, вышитый разноцветным шелком на зеленом полотенце подмосковных полей и лесов.

Вторым счастливым порывом он унесся на северо-запад, к псковским синим озерам. Он смотрел на них с высоты, видел туманные сосняки, слюдяной след от лодки, красного коня на лугу, низкое, туманное облачко летящих скворцов.

Третьим мощным порывом он вознесся в Космос, глядя оттуда на далекую Землю, похожую на живое яйцо, где что-то переливалось, дышало. Оттуда, к черному, усыпанному звездами небу, летели души умерших, прозрачные, похожие на пучки разноцветных лучей. Одна душа пролетела близко от него, и это была женщина, которую он когда-то любил. Она не узнала его, улыбнулась, увлекая с собой, и он смотрел, как она удаляется, переливаясь словно капля росы.

Белосельцев стоял перед картиной, не понимая, что с ним только что было. Служительница с седыми буклями, державшая на коленях вязанье, удивленно на него смотрела.

Он вернулся домой счастливый и верящий. Мир, в котором он пребывал, на своих отдаленных окраинах был ввергнут в жестокость и хаос. Но по мере приближения к центру становился все ясней и прозрачней. И там, куда стремилась душа, находился божественный синий кристалл.

Утром он проснулся от звонка. Среди осколков сна он схватил телефонную трубку. Услышал голос чеченца Вахида, едва узнаваемый, без оксфордских замшевых интонаций, с кавказским косматым акцентом:

— Фальшивые!.. Вы нас обманули!.. Чеченца нельзя обманывать!.. Русский не понимает язык дружбы!.. Русский понимает язык пули!.. Арби сказал, что за это оскорбление вы заплатите кровью!..

— Не понимаю... Что случилось? — встревожился Белосельцев. — Объясните толком, Вахид...

— Вы нас подставили!.. Пять миллионов фальшивых долларов!.. Это обман, оскорбление и насмешка!.. Чеченцы не прощают насмешки!.. Я не отвечаю за последствия!..

— Пойдите, Вахид, надо во всем разобраться...

Но уже пульсировали гудки в трубке.

Он понимал, что случилось нечто ужасное. И это ужасное заключалось в том, что он, Белосельцев, не понимал природу окружавших его опасностей. Двигался, действовал, переносил предметы, садился в автомобиль. Тешил себя мыслью, что прозорливо угадывал ход событий, опережал соперников, предвосхищал их коварные замыслы.

Он попытался обратиться к Гречишникову, чтобы выяснить суть происшедшего, но того не было ни дома, ни в «Фонде». Поехал в офис Копейко, но охрана у входа отчужденно сообщила ему, что Копейко отсутствует и едва ли будет сегодня. Он пытался дозвониться к Зарецкому по одному из многочисленных телефонов, но повсюду его вначале спрашивали, кто он такой, а потом холодно сообщали, что Зарецкий вне досягаемости.

Он пытался понять, что случилось. Вспоминал мельчайшие эпизоды последних дней, которые казались незначительными и ненужными, но теперь именно они должны были объяснить истинную сущность событий, выявить скрытую линию заговора.

Астрос, желая ослабить Премьера, сдал Шептуна чеченцам, оговорив себе долю в выкупе. Зарецкий, извечный соперник Астроса, желая помешать его сделке, подсунул фальшивые доллары. Стремясь подвигнуть Премьера к «малой войне» в Дагестане, обрек Шептуна на заклятие. Чокнулся рюмкой

с экраном, на котором колыхалось опухшее, с обвислыми усами, лицо. Назвал чемоданы с долларами «ящиками Пандоры», откуда вырвутся война, разрушения, смерть.

Все мешалось и путалось. Белосельцев кружил по городу, не находя себе места, и ему казалось, что повсюду — из туманных, перечеркнутых проводами небес, из-за сетчатой Шуховской башни, из-за университетского золоченого шпиля, из рекламного щита «Ламонти», из солнечного разлива реки, — отовсюду корчит рожи Зарецкий.

К вечеру, не найдя никого из вероломных сподвижников, он отправился на Лубянку, где в Доме офицеров проводилась встреча Премьера с ветеранами спецслужб. В вестибюле былолюдно и шумно. Мелькали генеральские лампы, слегка увядшие на прежних, советского покроя, мундирах. Дородные, вальяжные директора концернов и фирм узнавали друг в друге бывших полковников внешней разведки. Строгие, в дорогих костюмах и галстуках, банкиры лишь неустрашимой выправкой выдавали прежнюю свою профессию. Белосельцев встречался с бывшими сослуживцами, обнимался, обменивался рукопожатиями. Он искал среди них поддержки, искал возможных союзников. Быть может, вот тот генерал, гроза диссидентов, автор хитроумных кампаний в прессе, после которых вольнодумцы, надышавшись мордовским ветром, высылались самолетами за границу, обменивались на пленных разведчиков. Генерал был стар, жалок, старался бодриться. Многие из тех, кого он когда-то преследовал, сидели теперь в Президентском совете, были законодателями мнений, травили старика злыми нападками. Или тот полковник внешней разведки, кто готовил боевиков для «Фронта Фарабундо Марти», обучал сандинистов, теперь, с модной стрижкой, в нежно-сиреневом галстуке, протянул ему руку нефтетьельца, фрахтующего либерийские танкеры, снабжающего Кубу венесуэльской нефтью.

Многих он помнил в лицо. От многих получал указания. Многих сам отправлял на опасные боевые задания. Но никто из них не внушал доверия. Время всех изменило, выкрасило в иные цвета. И ему казалось, все они имеют на лбу тайную мету, включены в «Проект Суахили».

— Виктор Андреевич, вот так встреча!.. — Его остановил широкоплечий крепыш в сером вольном костюме. Белосельцеву потребовалась секунда, чтобы вспомнить, кому принадлежит это круглое, скуластое лицо, волосы, то ли седые, то ли белесо-желтые, умные, ярко-голубые глаза. Кадачкин, полковник военной разведки, с кем свела судьба в Лубанго. Его лицо почти не изменилось с тех пор. Казалось, хранило гончарный африканский загар, в складках его пиджака еще оставалась пыльца фиолетовых ядовитых акаций и где-нибудь в гуще волос притаились частички красной африканской земли. — Сколько лет, сколько зим!..

Они обнялись, и Белосельцев почувствовал — вот кому он может довериться, вот кто может стать сотоварищем, отвести беду.

Они ходили по вестибюлю кругами, не обращая внимания на толпящихся ветеранов, бестолково и радостно вспоминали.

— А помнишь, — Белосельцев обращался к Кадачкину на «ты», хотя, возможно, в те давние дни они оставались на «вы», — помнишь, как ты меня спас, когда этот стервец Маквиллен собирался меня похитить? Может, ангел тебя перенес на этот отрезок дороги Лубанго — Порт-Алешандро?..

— А помнишь, как ты ловил своих дурацких бабочек, а я тебя прикрывал с автоматом? — радостно подхватывал Кадачкин, принимая это панибратское «ты». — Думаю, ну сейчас разведка буров появится, а у меня только один магазин с патронами...

— А помнишь, как ты вытащил нас с Аурелио из-под коряги и мы пробирались на бэтээре по сухому ручью и слушали, как стонет по соседству раненый слон?..

— Не было в моей жизни ничего прекраснее, чем та дорога в Кунене, где мы поджидали «Буффало», и я никогда не видел разом столько горящих броневиков и машин...

— А в моей жизни не было ничего лучше той бани, где твой прапорщик хлестал меня эвкалиптовым веником, вытапливая из кожи всю ядовитую гадость и копоть...

— А помнишь кубинку, с которой я отплясывал на веранде, и она расстегнула блузку и показала свою грудь?..

Нет, этого Белосельцев не помнил, это было уже без него. Но он радостно кивал головой, представляя, как кубинка, выпив лишнего, колышет бедрами, расстегивает военную блузку, освобождает смуглую, глянцевитую от пота грудь.

В вестибюле зазвенел звонок, приглашая участников встречи в зал.

— Ты где обретаешься? — Белосельцеву не хотелось расставаться со старым товарищем. — Чем на хлеб зарабатываешь?

— Так, кое-чем. Экспорт-импорт, сам знаешь, — отмахнулся Кадачкин.

— Нам надо с тобой повидаться, посидеть, выпить рюмку. — Белосельцев вытащил визитную карточку и уже на ходу, увлекаемый в зал, написал домашний телефон. — Позвони, не откладывай, буду рад... — И они расстались, потерялись среди хлопанья кресел, в просторном зале с освещенной сценой, на которой был установлен стол для президиума и возвышалась старомодная трибуна с дубовым советским гербом.

Еще несколько минут разноголосого ропота, нарастающая тишина, и на сцену вышел Премьер. Избранник, изящный и скромный, быть может, впервые в новой роли директора ФСБ появившийся на публике. Несколько молодых генералов, неизвестных Белосельцеву, из тех, что стремительно вознеслись среди бесконечных чисток и перестановок в спецслужбах. Шествие замыкал Гречишников.

Зал поднялся, приветствуя руководство. Белосельцев из первых рядов всматривался в Премьера, который казался окруженным легкой мутью. Избранник был подчеркнуто сдержан, слегка улыбался, но не залу, а какой-то своей отрешенной мысли, которая занимала его. Гречишников был строг, сосредоточен, как будто вел невидимое управление.

Слово было предоставлено Премьеру, и он, бравировав военной выправкой, бодро, твердо прошел к трибуне и сразу тронул стакан воды, повинувшись рефлексу оратора.

Он начал с того, что передал привет ветеранам от Президента, который, по его словам, все силы отдает укреплению спецслужб:

— Я военный, и готов подчиниться любому приказу Верховного. Но должен честно сказать, все приказы, которые

я получаю как генерал и Премьер-министр, наполнены заботой о благополучии и величии России...

Несколько деликатных хлопков были ему наградой.

Затем он говорил о реформах, о трудностях, которые они встречают на своем пути:

— Демократия — дорогое удовольствие, но мы готовы платить за нее самую высокую цену, ибо за пределами демократии находится слепое насилие... — Многие поняли это как намек на разгром Парламента и, удивляясь его смелости, одобрительно захлопали.

Он перешел к обзору международных проблем.

— Сегодня у России нет внешних врагов, но я бы не сказал, что нет внешних долгов, — скаламбурил он, весело оглядывая зал, который наградил остроту негромким одобрительным смехом.

Он пространно говорил о внутренних проблемах, подчеркивая важность гражданского мира и согласия:

— Мы все здесь «государевы люди», готовы головы сложить за Отечество, но берусь утверждать, что худой мир с Чечней лучше доброй ссоры, и дело здесь не в статусе Ичкерии и не в слабости Москвы, а в том, что перестали гибнуть люди, а это самое главное... — Зал промолчал, но Гречишников ударил в ладоши, и ему отозвалось в разных рядах несколько громких хлопков.

— В подтверждение сказанного хочу сообщить, что усилиями наших коллег, некоторые из которых находятся здесь, в этом зале, генерал Шептун, задержанный несколько дней назад в Чечне, сегодня вернется в Москву. Как я обещал вам, поклявшись честью офицера. Мы ожидаем его появления в этом зале. Мне сообщили, что он благополучно сошел с трапа самолета Грозный — Москва. Вот это и есть, товарищи, миротворческий процесс!..

Зал радостно зааплодировал, воодушевленный освобождением генерала. Люди озирались, не появился ли он среди рядов, не выходит ли он на сцену. Белосельцев хлопал со всеми. У него отлегло от сердца. Его страхи и подозрения были маниями. Он торопил появление генерала, собираясь при встрече намекнуть на причину его злключения. Объяснить ему, быть может, за рюмкой коньяка, какое участие он, Белосельцев, принимал в его вызволении.

— А сейчас я хочу сделать подарок нашему Дому офицеров. Хочу преподнести фарфоровую вазу, созданную мастерами советского фарфора в честь десятой годовщины ВЧК. Пусть этот шедевр займет свое почетное место в нашем Доме как реликвия нашей борьбы и наших побед...

Он повернулся к сцене. Появился порученец в форме полковника. Нес не без труда высокий картонный футляр в цветастой бумаге, перевязанный серебристой бечевкой, в котором таился подарок. Виновато улыбаясь, держал на весу нелегкий футляр, в то время как Премьер неторопливо, старательно развязывал на тесемке бантик. Легкой змейкой тесемка соскользнула на пол. Следом опала цветастая обертка. Премьер обеими руками потянул вверх высокую крышку, снял, победно улыбаясь. В руках порученца на подставке возникла отрезанная голова Шептуна, с закатившимися лунными белками, ржавыми, свалывшимися усами, приоткрытым страдальческим ртом. Зал ахнул. Порученец, ужаснувшись, выронил подставку, и голова с глухим стуком упала на сцену, несколько раз перекатилась, опрокинувшись на ухо, показывая залу спекшийся обрубок шеи.

Белосельцев полуобморочно устремился со всеми к сцене, успевая заметить побледневшее, как мучнистый колобок, лицо Премьера, бесстрастный лик Избранника, и Гречишников, чьи глаза сверкнули торжествующим блеском.

Одна половина зала карабкалась на сцену, другая хлынула к дверям. Люди покидали ряды. Белосельцев видел, как военные, накрыв отрубленную голову содранной со стола скатертью, уносят ее за сцену.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Он чувствовал свою неприкаянность, свое одиночество. Он чувствовал свою случайность, заброшенность в мир, куда его впустили в далекое утро, снабдив напутствиями из бабушкиных сказок, книжных басен и притч, командирских приказов, библейских туманных заповедей, а потом оставили посреди пустыни.

Он сидел в кабинете перед стеклянными коробками, в которых, бесчисленные, посаженные на булавки, застыли разноцветные скелеты умертвленных бабочек.

С утра его донимали звонки, но он не снимал трубку. Несколько раз звонили в прихожей, но он не подходил к дверям, чтобы не выдать себя скрипом половиц. Из-за шторы он выглядывал на Тверской бульвар, и ему казалось, что под деревьями, начинавшими слабо желтеть, на зеленых скамейках, на утоптаных красноватых дорожках его караулят и ждут. Ему хотелось ускользнуть из дома, но не было человека, к кому бы он мог прислониться. Любимых и близких уже не было на земле. Друзей не осталось, а иные стали врагами. Женщины, которых когда-то любил, давно принадлежали другим, растили детей и внуков. Единственным, кого вдруг захотелось увидеть, услышать его несвязную, похожую на лепет ребенка речь, был Николай Николаевич, русский пророк, который сидел на полешках, на берегу реки и изрекал прочитанные на бегущей воде пророчества.

Белосельцев со всей осторожностью разведчика выскользнул из дома. Обманул невидимую «наружку», сделав несколько петель в переулках и подворотнях. Запустил свой пыльный лимузин и поехал в Печатники.

Он не плутал среди окраин, однотипных многоэтажных построек, а сразу выехал на прибрежный пустырь, где текла река с далеким зеленым островом и затопленной ржавой баржой. Знакомый гараж был открыт, в нем виднелся допотопный замызганный форд с лысыми крыльями. Дальняя часть гаража была завешана холщовыми тканями. В глубине темной масляной ямы, среди голого света ламп работали Николай Николаевич и его неизменный подручный Серега.

Белосельцев подошел, поздоровался, наклоняясь над ямой, стараясь поймать взгляд Николая Николаевича. Но тот был заслонен ржавым днищем, лишь виднелись его руки, освещенные лампой, сжимавшие гаечный ключ, набухшие жилы, ссадины, черные грязные ногти — руки мастерового, неутомимо исправлявшие поломки изношенных механизмов. Зато напарник его Серега сразу узнал Белосельцева.

— Виктор Андреевич, давно не были!.. А мы здесь с Ник Ником форд до ума доводим!.. Если не развалится, будет как

новый!.. Азерам продадим, жить будем!.. — Он шмыгнул носом, на котором темнел сочный мазок машинного масла. — Посидите на солнышке, скоро обедать... Надежда Федоровна обед приготовила. — И снова старый да малый заскребли по днищу, накидывая ключи на ржавые гайки.

У гаража, за железной стеной, был сложен из кирпичей очаг, в нем догорали дрова, стояла над углями сковорода, и рядом, на старых ящиках, сидела немолодая женщина в блеклых одеждах, лежала мягкая груда ветоши, из которой женщина вытягивала лоскутки и тесемки, наматывала на клубочек. Белосельцев подошел, присел рядом, вдыхая вкусный запах дыма и жарева.

— Здравствуйте. — Белосельцев приблизился к женщине. — Можно, посижу рядом с вами, покуда Николай Николаевич работает?

— Садитесь, — сказала женщина.

Он присел на бревнышко, посмотрев на ее сухое, белесое, как и у Николая Николаевича, лицо.

— Хорошо здесь, — сказал он, усаживаясь на полешко. — Город, а чувствуешь себя на природе.

— Хорошо, — согласилась женщина. — Спасибо Николаю Николаевичу, пустил меня жить сюда. Теперь-то мне хорошо.

— А вы откуда будете?

— Из Чечни. Беженка я. Бегала, бегала и сюда добежала. Дай бог здоровья Николаю Николаевичу. — Она наклонилась к матерчатой горке, в которой свились и перепутались цветные тряпицы. Стала аккуратно наматывать мягкий клубочек, в котором улеглись пестрые витки. — Это я половик плести затеяла. Может, продам, еды куплю.

Белосельцев притих на бревнышке, овеваемый сладким дымом. С реки прилетали беззвучные вспышки солнца, как прозрачные стрекозы, и их уносило ветром. Женщина тихим поблекшим голосом рассказывала свою повесть, виток за витком, наматывая ее на клубочек.

— Мы жили в Грозном, за Сунжей, собственный домик, садик. Муж на заводе работал, я дочку растила. Кругом чеченцы, татары, хохлы. Жили по-соседски, дружно. Помогали друг другу. У кого чего нет — соли, картошки, денег — в долг брали.

Если праздник какой, все вместе. Пасха ли, Рамазан, Новый год или ихний Новруз — за одним столом, в складчину, подарки друг другу дарили. Дочка моя Верочка с соседским Русланом дружила, в школу одну ходили. Бывало, под окнами встанет с портфельчиком: «Вера, выходи, я пришел!» Такой красивый, глазастый, меня тетей Надей звал...

Она вытянула из ветоши бледную голубую каемку. Медленно заплела в матерчатый колобок, крест-накрест поверх желтой тряпицы.

— А потом, когда Горбачев пришел, словно кто-то отравы налил. Какая-то зараза пошла. Чеченцы насупились, с русскими перестали дружить. Не здоровались. Мимо пройдешь, они тебе вслед волками смотрят. Что-то на своем языке бормочут. «Вы нас при Сталине гнобили, а мы еще с вас за это спросим!» В школе драки пошли, чеченцы с русскими, одного паренька до смерти забили, нож ему в легкое сунули. Нам камнями два раза окошко били, муж стеклил заново. Русланчик соседский в парня вырос. С другими чеченцами стоит на улице, русских девчонок по-всякому обзывают. К Верочке пристают. Муж ее из школы встречать стал, чтоб не обидели. Какая-то вокруг порча пошла, невесть с чего. Я плачусь мужу: «Давай, Петя, дом продадим, в Россию уедем. Здесь душно жить стало». А он мне: «Образуется, перетерпим».

Она потянула красную длинную тряпочку, бывшую когда-то кумачовым флагом. Ленточка, исцветшая, легла в клубок, погрузилась в пестрое разноцветье истлевшей жизни.

— Раз приходит к нам чеченец Махмут, на другом конце улицы жил. «Лучше бы, говорит, вам уехать. Я ваш дом куплю. Много денег нет, но кое-что дам на дорогу». И называет цену, которую и на билет едва хватит. Муж погнал его: «Совести нет!.. Я, говорит, этот дом на свои трудовые строил!.. Каждое деревцо своими руками сажал!.. А ты меня гонишь!..» А Махмут отвечает: «Ты свое дерево в мою землю сажал. Выкапывай и в Россию пересаживай. Уезжай добром, а то со слезами уедешь». Петя мой на него рассердился, прогнал, обещал прокурору пожаловаться. А Махмут ему: «Это раньше прокурор русский был, а теперь чеченец...»

Женщина вытащила зеленый, застиранный до белизны лоскуток, бывший когда-то гимнастеркой солдата, служившего в исчезнувшем полку. Намотала на клубок.

— Раз сидим с мужем, ужинаем, дочку из школы ждем. Она школу заканчивала, в институт поступать хотела. Красивая, белая, щеки розовые, глаза синие, волосы как солнышко золотое. Русская красавица. Вечер, темно, а ее все нету. Мы волнуемся. Муж говорит: «Ничего, должно быть, с подругами в кино заглянула». Вдруг прибегает соседка, хохлушка Галина: «Ой, говорит, Надя, беда!.. Веру твою какие-то чечены схватили, в машину посадили и силком увезли. Я только крик услышала!» Я — в обморок. Муж бегом в милицию. Послали наряды, туда-сюда, нету. Мы по всему городу бегаем, Веру ищем. Наутро из милиции к нам приходят, повели с собой. На каменном полу лежит наша Верочка, мертвая, черная. Надругались над ней, всю одежду порвали, а потом убили. Мы к следователю, к прокурору ходили, правду искали. Прокурор нам только сказал: «Не найдем убийц, а вам мой совет — уезжайте...»

— Жили мы с Петей как в страшном сне. Ночами не спим, дочкин голос мерещится. По городу чеченцы разъезжают, из ружей палят, хороводы водят. Где русских увидят, набрасываются. Дудаев грозит Москву штурмом взять, всех русских из Чечни выселить. А потом в Грозный танки вошли. Пальба, грохот. Уж не знаю, кто эти танки на верную смерть послал, только их всех подбили, а танкистов, которые живые остались, тут же, обгорелых, у стен постреляли. Один мальчишка-танкистик к нам в дом пробрался. Стал молить, чтоб спрятали. Молоденький, бритый, голова перевязана, рука как плеть, слезы текут. Мы его с Петей в подпол укрыли. Да сосед-чеченец выдал. Приходят с оружием: «Где, говорят, у вас русская свинья прячется?» Петя мой отвечает: «Нету здесь свиней, люди живут». «А вот мы сейчас посмотрим!» Открыли подпол, вытащили паренька. Вместе с Петей моим на крыльце расстреляли. Как стали город бомбить, начались пожары, днем и ночью стрельба. Я в церковь пошла, батюшки нету, один старичок-псаломщик служит. Встала я перед образом Богородицы и молю: «Заступница, Царица Небесная, сотри этот город с земли, чтобы ни камушка не осталось!.. Что-

бы в каждый чеченский дом бомба упала!.. Чтобы каждого чеченца пуля насквозь пробила!.. А меня за эту грешную молитву убей!.. Я и так жить не хочу!..» Вышла из церкви и пошла без пути. Кругом все рвется, горит, дом за домом падают. «Ну убей же меня, убей!» Ан нет, не убивает, ведет среди пожаров...

Женщина тянула лоскутья, мотала длинный бесконечный клубок.

— Ушла за город, вдоль Сунжи, в поля, где ни души. Иду по проселку всю ночь, только зарево за спиной, тянет гарью да сквозь снег волчьи глаза как зеленые искры. Выбилась из сил и упала. Лежу, замерзаю. Волк ко мне подошел, обнюхал и снова пропал. Должно быть, ядом от меня пахло, порвать меня не решился... После уж я бродила, маялась, в поездах, в машинах милостыню просила, от голода погибала. Добралась до Москвы, пришла в контору, которая беженцами заправляет, чтоб дали мне какую-никакую работу, какое-никакое жилье. Вхожу в комнату, а там чеченец сидит, на меня усмехается, я и упала, как срезанная. Хотела в реку броситься, но Бог Николая Николаевича на берег привел, отогнал меня от воды. Теперь вот здесь, в гараже, живу...

Она намотала на клубочек шелковую белую ленту от истлевшего подвенечного платья.

У гаража брызгали краном Николай Николаевич и Серега, мыли масляные руки, направлялись к костру обедать.

Серега вытащил из гаража и поставил на солнце колченогий стол со следами порезов, паяльных ожогов, посыпанный железной пудрой. Настелил на него газету и, чтоб не сдуло ветром, расставил тарелки, положил ковригу ржаного хлеба, груды мытых огурцов с помидорами, выставил резную солонку, закатил кривобокий зеленый арбуз с сухим черенком. Надежда Федоровна плюхнула на стол закопченную сковородку с шипящей картошкой и душистыми шкварками, и они устроились вокруг стола на ящиках. Стол, уставленный снедью, стоял на берегу просторной реки, на солнечной пустоши, за которой вставал бело-розовый город.

Николай Николаевич поднялся, освятил еду наложением рук, держа большие натруженные ладони над помидорами,

ковригой и черной сковородой. Прочитал языческую молитву, которую тут же и сложил:

— Хлеб и вода — правдивым устам... Соки жизни — взыскующим правду... Солнце и река — русскому сыну...

Уселся, прижал к груди каравай и острым ножом, ведя по хлебу от дальнего края к сердцу, стал кроить ржаную ковригу на ровные ломти, отдавая каждому долю. Белосельцеву, получившему свой душистый ломоть, казалось, что он присутствует при священном обряде преломления хлеба, и Николай Николаевич, как вероучитель, одаривает своих учеников и сподвижников хлебом мудрости.

Они ели пышущую жаром картошку, цепляли вилками хрустящие завитки шкварок. Серега раскроил арбуз, который, распавшись надвое, захохотал алым огромным ртом. Белосельцеву, вкушавшему прохладную сладость, казалось, что все они играют на флейтах и на реке, под их музыку, плывет пароход.

Они завершили обед и молча сидели, глядя на Николая Николаевича, ожидая, когда тот сочтет нужным прервать молчание и начнет свою проповедь. Но он оставался безмолвным.

— Который кричит — крикун, который шепчет — шептун, — произнес Николай Николаевич тихим голосом, от которого у Белосельцева содрогнулось сердце. — Голову одну нельзя хоронить... Ее на блюде несут, а танцев никто не танцует... — Он снова умолк.

— Не верь Змею, у него кожа — пух, а под ним железо... Пробей железо, а под ним молоко... Испей молоко — и умрешь, потому яд... Не пей от сосцов Змея, ибо не знаешь, от кого пьешь... Змея нельзя убить, потому Змей в Змее сидит и тебя не подпустит... Возьми в себя Змея, тогда и убьешь... Россия в себя Змея взяла и в ней задохнется... Который человек в себя Змея возьмет, тот Герой... Который город возьмет, тот Город Герой... В Москве много людей, а Герой один... Может, ты, может, я, не знаю... Об этом нельзя говорить...

— Гастелло Змея убил, а стал Гагарин, потому что русский Герой... Надо место знать, где у Змея замок, тогда разомкнешь. В том и бессмертье... Кто думает жить, тот умрет, а кто умрет за Россию, тот всегда жив будет... Избранник — не тот, кто избрал, а кого избрали... Ему еще долго быть, прежде чем стать,

а иначе нельзя... Перед ним замок, а ключ у меня... Разомкну, он пройдет, а не то стоять будет, пока я не пройду... Ты ему в лоб смотри, где носит покрытие... Какой в нем знак и число... Он на двух дорогах разом стоит, а куда пойдет — это наша забота... У России много дорог, а путь один; им и иди... Придешь к шестому подъезду... Там много людей погубило...

Глазам было горячо и туманно от слез. Белосельцеву казалось, что это уже было однажды, в другой земле, где синие волнистые горы и горячая дорожная пыль, и за длинным столом сидит проповедник с прекрасным смуглым лицом, и в кувшинах вино, сотворенное из пресной воды, и хлеб, сотворенный из камня, и так тесен их круг, так близко их расставание, что слезы текут, и в их горячем тумане не видно, кто там уходит по каменистой дороге в облачке солнечной пыли.

— Ты всю землю измерил, потому землемер... А ты небо измерь, тогда небомер... Гастелло небо измерил, ему Сталин спасибо сказал... У России три глубины и три высоты, а что выше, то не дано... Ты в две глубины проник, а третью берегись, там гнездо Змея... Ты к первой высоте долетел, а дальше крыльев нет... Гастелло вглубь ушел, оттого и вознесся... В «Останкино» не ходи, все равно сгорит, уже тлеет... Руцкой от Змея, он в Курск пришел, а города нету, спустил в океан... Избраннику верь, он тебя позвал, а мои глаза кто-нибудь да закроет...

Николай Николаевич встал, останавливая строгим жестом женщину и подростка, поднявшихся было следом. Поманил за собой Белосельцева:

— Пойдем, покажу самолет... Он тоже слезами омыт...

Они приблизились к гаражу, прошли в глубину мимо ржавого форда. Николай Николаевич распахнул висящие холстины. В сумрачной глубине, покрытый лаком и блеском, стоял самолет неизвестной конструкции. Овальный высокий киль был украшен красной звездой. Вдоль фюзеляжа проходила линия, подчеркивающая длину и стройность машины. Аккуратными красными звездочками было помечено число воздушных побед. Крылья едва выступали из корпуса и во время полета выдвигались, меняли свою геометрию, позволяли машине совершать виражи и пикирование. На дверцах, с обеих сторон, искусной рукой были начертаны Богородица с золотистым

младенцем и Сталин в парадном мундире. Носовую часть, где, невидимый, скрывался пропеллер, украшал алмазный «Орден Победы», переливался драгоценными гранями. Пахло лаком, бензином и краской, как в конструкторском бюро, где, готовый к испытаниям, хранится опытный образец самолета.

— Он убьет Змея, который по небу и который у Кремля на земле... Бомбовая нагрузка в отсеках и угол атаки бессрочно... Вылет в двенадцать ноль-ноль, а остальное секретно...

Белосельцев всматривался в фантастический летательный аппарат и с трудом узнавал «Москвич», замаскированный под боевой самолет. Автомобиль Николая Николаевича был преобразован для воздушных сражений. Белосельцев знал, что он — свидетель вещего безумия, которое одно способно объяснить хаос распавшегося мира и выступить против зла. Прорицатель, открывший происхождение зла, был одновременно и воин, готовый сразиться со злом.

Николай Николаевич опустил холсты. Занавесил чудесную, готовую к бою, машину. Вывел Белосельцева из гаража.

— Первый вылет мой, потом твой... Теперь ступай, тебе далеко идти... — и медленно отошел к реке, остановился среди сияющих вод, словно встал в текущий огонь.

Белосельцев покидал прибрежный пустырь вместе с Сергей, у которого оказались какие-то дела на рынке, и он устроился рядом с Белосельцевым на сиденье, довольный тем, что не нужно идти пешком.

— Вы видели наш самолет? Николай Николаевич вам показал? — Серега, томимый желанием поговорить на запретную тему, боролся с обстановкой строгой секретности. — Мы теперь на машине не ездим, ходим пешком. Это раньше у нас был «Москвич», а теперь штурмовик. Мы две недели работали, переделывали его в самолет. Держим в ангаре в полном секрете, скрываем от глаз разведчиков. Красивый? Вам понравился?

— Сказочный.

Белосельцев представил лакированный, нарядный, с красной звездой самолет, украшенный Богородицей и генералиссимусом Сталиным, с сияющим победным орденом. В сумраке, окруженное холстами, изделие напоминало секретную бо-

евую машину и одновременно забаву, которую устанавливают на детских площадках или подвешивают к каруселям в парках.

— Когда я смотрел на ваш штурмовик, я почему-то вспомнил сказку о ковре-самолете, о Змее Горыныче, о спящей царевне.

Белосельцев осторожно взглянул на Серегу, не обидел ли его сравнениями. Но тот не обиделся, оживился:

— Николай Николаевич Змея Горыныча хочет взорвать. С самолета его разбомбить. Как Гастелло, в дракона спикировать и раздраконить. Мы сейчас взрывчатку добываем, разместим в бомбовых отсеках. В багажнике и на заднем сиденье.

— Как взорвать? Какую взрывчатку? Взрывчатка-то вам зачем? — встревожился Белосельцев, еще не ведая, где проходит размытая грань между причудливой игрой и реальностью. — Где этот Змей Горыныч?

— Ну как же! — удивился Серега. — Николай Николаевич ведь вам говорил. Змей вокруг Кремля залег, свой хвост заглотал и петлю стянул. Если в то место ударить, то голову и хвост одним разом взорвешь, и Змей умрет.

— Вы что ж, хотите Кремль взорвать? Ведь он охраняется. Повсюду посты, наблюдатели. В воротах запоры, сети, которые любую машину уловят и остановят. Вам не пробиться.

— Да Кремль никто не хочет взрывать, — с досадой произнес Серега. — Кремль наш, русский. Кто же на него руку подымет? Мы Кремль хотим от Змея очистить. Николай Николаевич точно высчитал, где голова Змея. Он шагами ходил промерять, на чертеж нанес. Если смотреть от Лобного места, то шагов за тридцать от Спасских ворот. Туда самолет направим, Змея взорвем, и кольцо вокруг Кремля разомкнется.

— Он что же, хочет за руль сесть и себя вместе с машиной взорвать? Себя убить хочет? — Белосельцев вдруг понял, что это не игра, не забава. Пророк, создавший учение о Русском Герое, готовится воплотить это учение в подвиг. Совершить мистическую жертву. Поразить зло. Освободить заколдованный мир. Пронзить копьем перепончатую крылатую гадину. Спаси царевну у врат. Вместо белого коня под драгоценным седлом — поношенная машина, перекрашенная под боевой самолет. Вместо копья, ударяющего в пасть чудовища, — взрывчат-

ка в багажнике. Девой у Спасских ворот была пленная измученная Россия. Зло, погубляющее народ, имело сказочное воплощение Змея. Героический витязь в алом плаще, ведущий священную брань, был сам Николай Николаевич, Пророк и Герой, которого только что видел Белосельцев стоящим у просторной реки, окружавшей его голову сверкающим нимбом.

— Николай Николаевич говорит, что в России появился Избранник, который ее спасет. Но он пока сам себя не знает, как бы спит, усыпленный Змеем. Надо Змея убить, и тогда Избранник проснется, увидит, что Россия страдает, и ее спасет. Николай Николаевич хочет Змея убить, чтобы Избранник проснулся и в Кремль прошел. Хочет ему путь прорубить, разомкнуть замок. Сам себя считает Предтечей, которому суждено принести жертву, взорвать Змея и открыть дорогу Избраннику.

Они ехали по Печатникам, среди унылых, однообразно расставленных многоэтажек. Мигала огоньками вывеска ресторана. Дрожал стеклянный воздух над бензозаправкой. На рекламном щите девица примеряла колготки. Перебегал дорогу бомж, похожий на первобытного, заросшего до бровей человека. Качались у остановки автобуса двое пьяных, уперев друг в друга потные лбы. И в этом обыденном мире, среди гоношенья безликой толпы, однообразного рокота машин, готовилось совершиться чудо.

— Скажи, Сергей, но, может быть, это просто игра? Вы просто оба играете. Знаешь, бывают такие игры, когда разыгрываются баталии, сцены из древней истории. Одни наряжаются в доспехи русских воинов, другие надевают латы тевтонов. Мечи, кольчуги, шлемы. Знамя князя, штандарт крестоносцев. И где-нибудь на льду Чудского озера, у Вороньего камня, сходятся, рубят друг друга, издают боевые кличи, а потом, уставшие, садятся у костра, жарят шашлыки, дружно пьют водку. Есть такие исторические игры, очень увлекательные.

— Да что вы! — с обидой и с отчуждением посмотрел на него Серега. — Какие игры! Николай Николаевич — Предтеча и Народный Мститель. Он откроет дорогу Избраннику и отомстит за народ. У него родные погибли, и ему видение было.

— Какое видение?

— Он Дом Советов защищал на баррикадах. Когда Ельцин захотел стать царем и стал войска в Москву собирать, Николай Николаевич всей семьей на баррикады пошел. С женой Людмилой Григорьевной, старшей дочкой и сыном Андрюхой, который еще в школе учился. Они там сидели и днем и ночью, солдат не пускали. Андрюха знамя держал, андреевский флаг, им над баррикадой размахивал. Людмила Григорьевна картошку и кашу на костре варила, кормила защитников. Сам Николай Николаевич был комиссаром, народ подбадривал, читал Есенина. А дочка была санитаркой — на случай, если стрелять начнут.

Дома с балконами, на которых сушилось белье, мусорные баки, в которых рылись старухи, плакат, с которого улыбался Киркоров, муляж бутылки «Балтика», кавказцы в черных кожаных куртках. Жизнь сбросила на мгновение тусклый чехол обыденности, обрела высоту и бездонность мифа, запечатленного на палехской волшебной шкатулке. По черному лаку огненными красками тончайшей кистью был нарисован горящий дворец, летящие по небу клочья огня, сраженные на баррикадах защитники, летящий над Москвой грозный ангел с золотой трубой.

— Когда на баррикады поехали танки, Андрюху и Людмилу Григорьевну сразу убило. Николай Николаевич дочку собою закрыл, и танк над ними прошел и их не задел. Николай Николаевич долго в больнице лежал, и там ему было видение ангела, который сказал, что он Предтеча и должен служить Избраннику. А дочка его, которая уцелела, ушла из дома и стала проституткой. Говорят, в «Метрополь» к иностранцам ходит, иногда к Николаю Николаевичу сюда приезжает. Хорошая, хотя и пропащая.

— Как зовут? — Белосельцев видел, как фасады домов начинают оплавляться и течь, словно сделанные из воска. — Как зовут его дочку?

— Вероника.

И тончайший запах духов, как эфирное дуновение пролетевшей нимфалиды. Девушка с золотистым лицом входит в дом под малиновой бабочкой. Лицо Прокурора, его бегающие похотливые глазки. Все вошло в сочетание, оставив на небе, над

крышами блеклых домов, сочный алый мазок, который медленно опадал, как лепесток увядшего мака.

Они подкатили к рынку, к бетонному куполу, окруженному черной толпой.

— Здесь я выйду, — сказал Серега. — Надо повидаться с чеченцем Ахметкой. У него есть взрывчатка. Надо купить... Да вы не думайте, что Николай Николаевич взорвется. У нас приспособление есть, отжимает сцепление. Он только выведет самолет на рубеж атаки, направит на цель, а сам спрыгнет. Самолет долетит на автопилоте и взорвет Змея. За двадцать шагов от башни, как на чертеже нарисовано.

Серега пожал Белосельцеву руку, вышел из машины и, гибко ступая, двинулся к рынку. Белосельцев смотрел ему вслед. Видел, как идет он по горной тропе, в бронежилете, в зеленой косынке, и впереди, словно солнечная паутинка, пересекает тропу растяжка.

К вечеру он был вызван в «Фонд» к Гречишникову. Проходя мимо храма, вышел к Лобному месту, желая понять, где, по расчетам Николая Николаевича, находится голова Змея, которую надлежит взорвать. Смотрел, как взбухает площадь, выгибаемая изнутри непомерным давлением, словно живот беременной великанши. Под площадью, незримый, содрогался младенец. Были слышны его конвульсии, хлюпанья. Казалось, вот-вот случатся роды. Великанша раскинет посреди Москвы набрякшие огромные ноги, вспучит черный блестящий живот, страшно закричит и застонет, и в слизи и сукрови из раскрытого красного лона появится плод, перевитый голубой пуповиной. Сутулясь, огибая купола и головы храма, чувствуя на себе взгляд множества каменных глаз, заторопился в «Фонд».

В знакомой комнате с видом на Красную площадь находились Премьер и Зарецкий, пребывавшие в горячей и злой перебранке. Тут же, безмолвно, похожие на зоологов, сидели Гречишников и Копейко. Один доливал в стаканы золотистое виски, другой щипцами кидал оплавленные кубики льда.

— Ты это сделал из чистого садизма!.. Извращенец, мучитель!.. Тебе нравятся людские страдания!.. Нравится отрубленная голова Шептуна!.. Ты отправил чеченцам чемодан фальшивых долларов, чтобы увидеть мой позор, приблизить мою отстав-

ку!.. — Премьер был красен мокрой, липкой краснотой до корней волос и выше, под редким волосяным покровом, словно его завернули в огромный обжигающий лист крапивы.. — Я обещал Президенту, что через несколько дней Шептун будет дома!.. Я разговаривал с родственниками перед телекамерой и обещал, что генерал невредимый вернется домой!.. И ты, зная об этом, передал чеченцам фальшивые доллары!.. Не Арби Бараев убил Шептуна, а ты!.. Как и многих других!.. Недаром тебя красно-коричневые газеты рисуют с топором, мокрым от крови!..

Зарецкий наслаждался истерикой Премьера, втягивал ноздрями потный, кислый запах страдания.

— А вот это антисемитская выходка!.. Чистой воды расизм!.. Так начинался холокост!.. — мелко смеялся Зарецкий. — Такие, как ты, запускали Майданек!

— Я всегда считал, что честен перед друзьями!.. Выполнял взятые обязательства!.. Видел себя человеком команды!.. Когда шла речь о поставках тяжелого вооружения Индии и ты ко мне обратился, я решил эту проблему!.. Когда выставлялись на торги крупнейшие системы связи вместе с группировками спутников, действующих в интересах Министерства обороны, я услышал тебя, и собственность попала в нужные руки!.. Когда меня попросили перебросить финансовые потоки, обслуживающие железные дороги и авиалинии, в дружественные нам банки, я сразу откликнулся, и потоки пошли!.. Почему я стал неугоден?.. Вы нашли другого?.. Хотите поссорить меня с Президентом?.. Готовите мне отставку?.. Может, после отставки последует судебный процесс, чтобы заставить меня замолчать?.. Ибо я знаю много чего!.. Многие могу рассказать корреспонденту из «Форбса» или «Нью-Йорк таймс»!.. — Каждая пора на раскаленном лице Премьера выделяла кипящий, ядовитый пузырек пота, и все лицо его казалось ошпаренным.

Зарецкий потирал сухие ладони. Был похож на черта, наблюдавшего в аду мучения грешника, подбрасывающего дровишки в огонь.

— Уж действительно, попал ты в котел вместе с головой Шептуна!.. Хороший из вас обоих холодец получится!.. — Зарец-

кий подкидывал очередную охапочку, которая начинала весело трещать, закипала вода в котле, из которого по плечи выглядывал Премьер и казался красным помидором, брошенным в борщ. — Я виделся с Татьяной Борисовной. Она о тебе так и сказала: «Наш котик больше не ловит мышей. У нас много других хорошеньких котиков, которые гораздо резвее. Надо внимательно к ним присмотреться».

На глазах Премьера выступили слезы:

— Вы хотите, чтобы я застрелился?.. Как офицер, не выполнивший клятвы, я могу застрелиться!.. Вам нужны пышные похороны, и вы их получите!.. Увидите, как ведет себя в подобных случаях русский офицер!

Он плакал, был похож на ребенка, который, желая досадить взрослым обидчикам, грозит им своей смертью. Это понял Зарецкий. Развеселился, добившись слез мученика. Еще порезвился немного, а потом оборвал жалобный лепет Премьера. Бесцеремонно, но дружески:

— Хватит!.. Зачем стреляться!.. Зачем увеличивать детскую смертность!.. Возьми себя в руки!.. Мы по-прежнему друзья, и никто тебя в обиду не даст... На тебе остановился выбор в ту проклятую осень девяносто третьего года. Я позвонил тебе в Парламент и сказал: «Сматывай удочки, бросай своего Хасбулатова!.. Переходи к Президенту!» Ты внял голосу друга, ушел из Парламента, и через день танки разгромили твой кабинет... Я вел тебя и буду вести!.. Успокойся!.. На-ка, возьми платок!

Зарецкий вынул из кармана платок, протянул Премьеру. Тот взял. Всхлипывая, подрагивая жирными плечами, стал утирать слезы, громко сморкался.

— Ну вот и ладно, и умница, хороший, хороший, а кто нас обидит, тому «а-та-та»!.. — Зарецкий убрал платок, пропитанный слезами Премьера. — Нет худа без добра. Политика — это искусство превращать поражение в победу. Ты можешь использовать всю эту гнусь себе на пользу. Когда я посылал этим чуркам фальшивые доллары, я умышленно обострял ситуацию, из которой мы сможем сделать рывок. Неожиданный, колоссальный, оставив позади всех конкурентов, натянув нос всем врагам! Это будет твой Тулон, твой Аустерлиц, твоя ослепительная победа!..

Премьер продолжал всхлипывать, трогая пальцами разбухший от влаги, пористый и красный, как клубничина, нос, но глаза его настороженно заблестели.

— Я тебя вел и буду вести. Ты не просто укрепишь свое положение. Не просто помиришься с силовиками, отомстив за любимого генерала. Ты станешь единственной опорой и надеждой нашего больного, изнывающего от старости Царя. Тебя, а не Мэра, которого ему подсовывает Астрос, тебя он сделает преемником. Не пройдет и трех месяцев, как ты, среди новогодних снегов и рождественских елок, будешь объявлен преемником!

Премьер настороженно внимал, поедая умными пугливыми глазками своего недавнего мучителя, который теперь превращался в спасителя. Еще подозревал в нем коварство, возможную злую насмешку. Но все больше верил в неожиданность блестящего хода, дерзкой комбинации, в которых Зарецкий был непревзойденный мастер.

— Что имеешь в виду? — тянулся к нему Премьер.

— Малая война в Дагестане. Крохотный локальный конфликт, продолжительностью не больше недели. Мы заманиваем в Дагестан чеченский отряд Басаева, в те районы, где окопались ваххабиты, столь тобою любимые. На пути чеченцев мы снимаем посты, отводим с перевала наш батальон. Даем чеченцам гарантии неприменения авиации. Подбрасываем кое-кому деньги, на этот раз нефальшивых. Басаев входит в Чечню, и мы бьем его смертным боем. Бомбим самолетами, громим установками залпового огня, штурмуем мятежных ваххабитов и поднимаем над их твердыней российский флаг. Силовики в восторге от победы, от наград и повышений по службе. Президент обнимает тебя, как сына, ибо ты спас страну от новой войны на Кавказе. Ты отомстил за Шептуна, и твои реверансы в сторону ваххабитов были лишь тактической хитростью. Ты победитель. Тебя обожает армия. Тебя боготворят патриоты. Царь Борис снимает с себя порфиру и торжественно, при скоплении народа, перед тысячами телекамер, надевает ее на твою победную голову!

— Ведь это война! — затряс головой Премьер. — Кавказ заминирован большой войной, а ты предлагаешь взорвать гра-

нату на пороховом складе. Это большая кровь и, возможно, распад России!

— Речь идет о локальном конфликте. У нас есть специалисты по локальным конфликтам. — Зарецкий посмотрел на Белосельцева, словно только что его заметил. — Есть опытные теоретики локальных конфликтов, которые, как хирурги, делают операции на отдельном больном участке под местным наркозом. Поверь, все решит технология, военная, политическая, информационная. Я говорил с Татьяной Борисовной, и она одобряет. А что скажет Дочь, то сделает и Отец.

— За это могут судить!.. За это могут проклясть!.. — Премьер волновался, трусил и одновременно рисковал. Верил Зарецкому — и ждал от него вероломства.

— Решайся, — чувствовал его колебания Зарецкий, — план подготовлен в деталях. Намечены пути отвода войск. Намечены места их тайной концентрации для ответного молниеносного удара. Намечены аэродромы, откуда авиация полетит на бомбежку. Выделены средства для подкупа. Выделена квота на генеральские назначения и на звания «Героев России». Решайся! Стань Наполеоном!..

Белосельцеву казалось, ему погружают металлическое сверло в глубину живого зуба. Решение, которое готово было обернуться катастрофической войной, массивными перемещениями войск, распадом Кавказа, бессчетными трагедиями и смертями, принималось в соплях и слезах проходимцами, место которым в тюрьме.

— Учти, это твой роковой перекресток! Либо ты кубарем полетишь вниз и окажешься мелким клерком в какой-нибудь Счетной палате или Пенсионном фонде. Либо ты взлетаешь, как ракета, на вершину власти! Станешь властителем России, как Петр, как Сталин, возьмешь на себя в условиях современной России их бремя и миссию!..

Зарецкий, растопырив пятерню, устремил ее к Премьеру. Было видно, что у того кружится голова и на губах возникает подобие безумной улыбки.

— Дагестан — лишь часть твоего триумфа. Я веду тонкую игру с Истуканом, уговариваю его и пугаю. Рассказываю о заговорах среди военных. О неизбежном мятеже оголодавшего

народа. О намерении регионов объявить о выходе из России. О коварных американцах, которые составляют «карту криминальной России», где помечены все преступные группировки, их связи с губернаторами, ведущими политиками, министрами и крупными чиновниками. Живописую ужасную судьбу Чаушеску, доводя Истукана до слезных истерик. Он подорван, неизлечимо болен, мечтает уйти в отставку, но так, чтобы обеспечить себе безопасное и тихое забвение вдали от неизбежных катастроф. — Зарецкий смеялся. — Ты, как только станешь Премьером, выдашь ему ярлык на неприкосновенность, оградишь от преследований за Беловежский сговор, за расстрел Парламента, за развязывание чеченской войны. Мы вывезем его за рубеж и покажем миру кротким богомольным старцем. А потом поселим в Альпийском замке, который уже для него построен. В вязаной тирольской шапочке он станет беседовать с туристами, и они будут называть его русский «Санта-Клаус». Люди о нем забудут, и ты один окажешься в фокусе мирового внимания...

Ты выиграешь молниеносную войну в Дагестане и возьмешь в плен Басаева. Мы провезем его в клетке по всей России, и ты предстанешь перед народом как избавитель. Прилетишь в истребители на аэродром Махачкалы, и войска пройдут перед тобой победным маршем. Как Потемкину присвоили имя «Таврический», так тебя станут называть «Дагестанский». Все это обеспечит тебе оглушительную победу на выборах, проведение которых я возьму на себя. Я уже строю верную тебе политическую партию, которая оттеснит коммунистов. Подыскиваю ей какое-нибудь сильное звериное имя, например, «Русский медведь»...

На устах Премьера блуждала безумная, больная улыбка. В глазах не было видно заведенных зрачков, а только голубоватые мертвенные белки. Казалось, с ним случился припадок — так побледнело от сладкого страдания его лицо.

— Но тебе для твоих деяний, для новых великих реформ потребуется время. Ты должен освободить себя от шлаков и ржавчины предшествующей эпохи. Ты должен отмыть себя от Истукана. И тогда ты объявишь о великом очищении. Созовешь новый «Двадцатый съезд партии», где выступишь с ра-

зоблачениями Истукана. Осудишь преступный Беловежский сговор, уничтоживший великий Советский Союз. Заклеймишь преступный расстрел Парламента и убиение невинных людей. Назовешь преступлением уничтожение цветущего Грозного средствами артиллерии и авиации. Выведешь на свет чудовищные факты коррупции, торговли алмазами, нефтью, государственными секретами. Назовешь главных преступников. Их осудят под ликованье толпы, а ты будешь ослепительно безупречен, что позволит тебе править Россией, вернуть ей былое величие!..

Белосельцев взглянул на Гречишникова и Копейко, которые сидели молча, потупясь.

— Ну что, ты согласен? — Зарецкий наклонился к Премьеру. — Начнем операцию в Дагестане?

— Да, — слабо отозвался Премьер.

— Тогда созывай силовых министров. Я отправлюсь к Татьяне Борисовне, чтобы она приготовила Президента. А сейчас мы позвоним Басаеву...

Зарецкий движением фокусника создал из воздуха мобильный телефон. И пока он набирал номер, отправлял сигнал через реки и горы, в далекое ущелье, где в вечернем саду, на ковре, под яблоней, отвалившись на шелковые подушки, дремал утомленный воин и восточная дева шелковыми пальцами растирала ему ноги, Белосельцев вспомнил недавний звонок Астроса.

— Шамиль, саям алейкум!.. — Зарецкий изобразил на лице радость встречи. — Обещал позвонить — и звоню!.. Прости, если потревожил твой сладкий сон!.. — Пока Зарецкий молчал, выслушивая далекий ответ, Белосельцев представлял, как морщится шелк подушки, в который упирается локоть Басаева, как на яблоне светятся наливные плоды, и смуглый охранник за цветущей изгородью колыхнул лежащий на коленях «Калашников». — А я тебе отвечу не текстом Корана, а словами Евангелия... Когда в Иудее началось избиевание младенцев, Иосифу, у которого родился Иисус, явился во сне ангел и сказал: «Не бойся идти в Египет!»... И я тебе говорю: «Не бойся идти в Дагестан!»...

— Ты можешь мне верить, я договорился с военными, договорился с Премьером... Не будет авиации, не будет блокпостов... С перевала уйдет батальон, и ты пройдешь без препятствий... Эта маленькая заварушка на руку Баку и Тбилиси... Мы покажем, куда должен пойти нефтяной маршрут, а куда он не должен идти... Если хочешь, это просьба самого Шеварднадзе... Таким образом, ты увеличишь свою долю в нефтяном проекте... Для тебя это легкая прогулка, Шамиль, но на самом деле это большая политика, большая игра, большие деньги... Тебя знает Европа, знает мир... Рядом со мной Премьер... Он подтвердит.

Зарецкий передал телефон Премьеру, и тот важно произнес:

— Шамиль, я такого же мнения... Операция займет не больше недели... Потом ты уйдешь через оставленные коридоры... Гарантирую, что авиации не будет...

Над далеким горным селом померкла голубая гора. Ветер пробежал по вершинам сада. Яблоко сорвалось и со стуком упало на землю. Пчела качнула цветок и исчезла. Охранник поднялся и с тревогой осматривал сад. Басаев отнял из девичьих рук свою жилистую большую стопу, кинул на подушку умолкнувший телефон, на котором еще секунду горели млечные кнопки.

— Леча, зови начальника штаба и зама по вооружению... — приказал Басаев охраннику. — А ты, — обратился он к женщине, — принеси еще две пиалки...

Белосельцев смотрел, как уходят Премьер и Зарецкий. Как в вечернем окне краснеет косматый собор. Как на площади мерцает брусчатка. Где-то там, за Лобным местом, на черном камне был поставлен крестик, куда скоро упадет самолет.

— По-моему, все было блестяще, — сказал Гречишников. — Реализуется «Проект Суахили»... Тебе же, Виктор Андреевич, — он строго, но одновременно и дружески, обратился к Белосельцеву, — пора лететь в Дагестан, к Исмаилу Ходжаеву, управлять «локальным конфликтом». Пусть попридержит своих бандитов, не ввязывается в заваруху... Он нам подарит нейтралитет, а мы ему подарим республику...

Белосельцев кивнул. Он был спокоен. Он — разведчик, внедренный в ряды противника. Добывает бесценную информацию, шлифует и отсеивает ее.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Белосельцев летел в Дагестан. Облака под крылом подымались как башни. Между ними сквозили глубокие колодцы, сквозь которые туманилась влажная голубая земля с проблесками рек и озер. Он летел на войну. Сидящие в самолете люди, отдохавшие от летней Москвы, не знали об этом. В предвкушении близкого дома дремали, пили вино, качали детей, говорили друг с другом на гортанном, рокочущем языке. Самолет ровно, мощно парил в солнечной чистоте. Стюардессы катили по салону коляски с минеральной водой, мило улыбались перламутровыми губами, а в горах по ущельям продвигались отряды Басаева, брызгали камни под колесами пыльных джипов, тряслась турель пулемета, и радист в смоляной бороде посылал позывные в далекие села. Армейские гарнизоны, отступив, таились в засадах. Слетались на аэродромы эскадрильи боевой авиации. Штабисты вонзали красные и синие стрелы в сердцевину Кадарской зоны. И война, что скоро ударит в горы, та война, которую он нес на Кавказ, совершалась для одной-единственной цели — возведения к власти Избранника.

В аэропорту его встретил молодой черноглазый красавец с короткой овальной бородой цвета вороненой стали. Прижал руку к сердцу:

— Исмаил просил встретить вас, Виктор Андреевич, и привезти к нему в дом, в его родное село. Он просил извинения, что не приехал сам. Ему небезопасно появляться в Махачкале.

Красавец проводил его к серебристому «мерседесу» с шофером, похожим на чемпиона по вольной борьбе.

— Час по хорошей дороге, — пропускал его в машину красавец, окидывая быстрым взглядом окрестность, высматривая в ней угрозы.

И, усаживаясь в мягкую, душистую глубину «мерседеса», Белосельцев почувствовал, что среди циферблатов, лакированных поверхностей, хромированных рукояток и кнопок притаилось оружие, тихо дохнуло холодной сталью.

Они ехали через город, сквозь его тучную южную красоту, белые сахарные фасады, мерцающие фонтаны, темно-зеленые переросшие парки. Белосельцев всматривался в нарядную, не-

торопливую толпу, фланирующую мимо витрин, ресторанных подъездов, пестрых рекламных щитов. Пахнуло сладким фруктовым духом, когда проезжали рынок с черным шевелящимся людом. В стеклянной чайхане под бирюзовой затейливой вывеской разглядел чаепитие, лениво восседавших на коврах едоков. Музыка, горячая, сочная, налетела и тут же отстала. И болезненная, острая мысль — над всем этим витает война. И вторая жаркая мысль — только он, Белосельцев, может спасти этот город, не подпустить к нему войну, остановить ее за хребтом, уговорить Исмаила Ходжаева не выступать с боевыми отрядами в поддержку Шамилю Басаеву.

Незаметно пролетел час. Свернув с голубого шоссе, попетляв по горной дороге и переехав быструю речку, они оказались в селе. Джип медленно пробирался сквозь стадо овец. Старики в тяжелых папах слезящимися глазами вышли встречать приезжих. Быстроглазые, в пестрых платках женщины несут цветные тазы. И у открытых ворот просторного подворья, окруженный охраной, высокий дородный мужчина с голубой сединой в бороде смотрит на Белосельцева, издали улыбается, раскрывает для объятий руки. Исмаил Ходжаев, старинный знакомец, с кем свела судьба в красных песках Регистана.

Они приняли друг друга в объятия, и Белосельцев, касаясь щекой твердой бороды Исмаила, почувствовал запахи дорожного одеколona и соснового дыма.

— Как доехали, Виктор Андреевич? Как самочувствие? Счастлив принять вас в моем доме. Немного отдохните с дороги, и милости прошу, в сад, на свежем воздухе, посидим, перекусим.

Хозяин бросил несколько властных взглядов, шевельнул черными густыми бровями, и по мановению этих властных глаз молодые охранники кинулись в разные стороны — в дом, в сад, в каменный просторный сарай, на солнечную дорогу, выполняя безмолвный приказ. Юноша, прижимая к сердцу ладонь, повел Белосельцева в прохладные душистые покои, сплошь увешанные коврами и устланные шелковыми одеялами.

И вот они уже сидели в тенистом саду, под яблоней, сквозь которую виднелись две горы, голубая и розовая, похожие на двух окаменелых огромных птиц, прилетевших сюда с незапамятных времен и ждущих волшебного слова, чтобы ожить

и взлететь над миром. Деревянный помост, на котором они разместились, был устлан жесткими черно-красными коврами и усыпан пестрыми подушками из истертого шелка. Под помостом сочился арык. Они неспешно разговаривали, привыкая друг к другу после долгой разлуки, деликатно выпрашивали один другого об их нынешнем бытии. Молодые стражи, едва заметные за корявыми стволами деревьев, берегли их покой.

— Помню, как вы приехали, Виктор Андреевич, в наш батальон, в Лашкаргах. Вы были тогда майором. Помню первый наш разговор в казарме.

Исмаил смотрел на гостя из-под железно-синих бровей. Белосельцев старался угадать в этом суровом, грозно-угрюмом лице другое, юношеское, покрытое смуглым загаром афганской пустыни, с легкими крыльцами изумленных бровей.

— Как мы брали тот караван Закир-Шаха, чудом живы остались. — Они молча улыбались, покачивая головами. — Я думал, нас всех перебьют, но Аллах сохранил мне жизнь.

Вертолеты садились на гребне бархана, и группа спецназа, держа на весу пулеметы, разбрасывая красный песок, бежала к веренице верблюдов, груженных тюками, с черными, как уголь, погонщиками, облаченными в цветное тряпье. Оскаленные зубы верблюда, фиолетовый выпуклый глаз, от погонщика пахнет едким потом и дымом, поднятые корявые руки, и внезапно из полосатых тюков, из пыльного тряпья, вдоль мохнатых звериных боков выскальзывают вороненые, с перламутровыми нащепками автоматы, и разящие вспышки в упор.

— До сих пор помю, как очередь прошла у виска, словно побрила. И выстрелить не успел...

Они лежали на вершине бархана, зарываясь в песок и отстреливаясь. Верблюды, качая горбами, убегали в пески, и погонщики, отступая, выпускали по спецназу дымные трассы гранат, вырывая из бархана красные пыльные взрывы.

— Спасибо, Виктор Андреевич, прикрыли меня, а то бы косточки мои белые лежали сейчас в пустыне, и никто бы не помнил Исмаила Ходжаева.

Вертолеты на бреющем догоняли убежавших верблюдов, снаряды лохматили и взрывали пески, расшвыривали убитых животных, курсовые пулеметы работали по каравану.

— Тогда, в пустыне, я впервые увидел Коран, взял у мертвого погонщика. До сих пор хранится в моей библиотеке, и если полистать страницы, можно найти красную песчинку пустыни Регистан.

Верблюды, растерзанные взрывами, шевелились на горячем песке. Солдаты потрошили тюки, стаскивали в кучу оружие. Бритый погонщик с отпавшей рыхлой чалмой скалил мертвый беззубый рот. Сержант приставил ствол к приподнятой верблюжьей башке с сиреневым слезным глазом...

Теперь они — два ветерана далекой проигранной войны, покачивали головами, и пласты окаменелого времени оживали.

Белосельцев увидел, как в открытые ворота усадьбы въезжают два всадника в косматых папах. Передний держал на седле перед грудью матерчатый куль, проступавший сырыми темными пятнами. У второго в переметных сумках торчали желтые, мелко колотые дрова. Оба спрыгнули, привязали лошадей к сухому дереву. Кони принялись грызть на стволе кору желтыми выгнутыми зубами, а их хозяева развернули на земле мешковину, вывернув из нее розового ободранного барана, безголового, с обрубками белых костей.

Двое джигитов, оставив барана, присели недалеко от помоста, вычищали земляную, выложенную камнями яму. Выгребали горстями сухие листья, холодные угли, оглаживали ладонями закопченные валуны. Натолкали в яму дров, запалили. Прозрачный дым устремился к вершинам яблонь. Кони тихо стояли в дыму под истертыми седлами, словно вдыхали запах горевшей хвои.

— Итак, Виктор Андреевич, я готов вас внимательно выслушать. Видимо, дело, которое заставило вас проделать столь дальний путь, не терпит отлагательств. И если я в силах помочь, рассчитывайте на меня, как на своего младшего друга. — Исмаил сидел на ковре, скрестив ноги в шерстяных носках, положив на колени большие коричневые руки, приглашая Белосельцева начать разговор.

— Дорогой Исмаил, вот-вот должна случиться беда. Твоя земля Дагестан стала объектом коварного замысла. Беспощадные циничные люди в Москве хотят развязать в Дагестане бойню. Через несколько дней, может, завтра, может, сегодня

ночью, отряды Шамиля Басаева вторгнутся в Кадарскую зону, в базовый район ваххабитов, и провозгласят Свободный Дагестан. В ответ армейские части, которые специально открыли дорогу Басаеву, заманивая его в Дагестан, нанесут по району сокрушительный удар артиллерии, авиации, будут бить на уничтожение. К тебе, должно быть, являлись гонцы от чеченцев, подбивая на восстание. Если ты поддержишь вторжение, взорвется вся республика, весь Кавказ, и взрывная волна пойдет далеко по всей России, вдоль Волги, в Якутию и Бурятию. Я прошу тебя сохранять хладнокровие. Не поддавайся на уговоры. Если хочешь, чтобы Махачкала с дворцами и парками, с фонтанами и мечетями, с красивыми девушками и цветущими юношами не превратилась в ядовитый кратер, как это случилось с Грозным, если тебе дороги мир в твоем селе, дорог покой Дагестана, поверь мне и сохраняй хладнокровие. Негоже тебе, гордому и свободному аварцу, умирать за интересы мерзавцев.

В каменной яме крутилось рыжее пламя. Горец в кудрявой папахе опустил на колени перед розовой бараньей тушей, порол ножом сухожилия, рассекал хрящи и суставы. Высекал из барана узкие красные клинья, шмякал их в грудку.

Белосельцев молчал, глядел на суровое лицо Исмаила, не зная, услышал ли тот его. Две горы, похожие на каменных, нахохленных птиц, голубую и розовую, нежно светились в вечерующем небе.

— Я не спрашиваю, Виктор Андреевич, кого вы сейчас представляете. Мне достаточно, что это вы, а никто другой. Я не верю представителям московской власти, не верю представителям московских спецслужб. В Москве нет власти и нет спецслужб. Все находится в руках банкиров. Вся Россия сегодня как филиал Израиля. Есть ли смысл кавказским народам оставаться в составе такой России? Наши братья в Палестине борются с еврейским игом, а мы здесь, в России, должны поддерживать это иго? Вот в чем вопрос, Виктор Андреевич, и этот вопрос задают себе сегодня мусульмане Кавказа — чеченцы, аварцы и лакцы.

На земле краснела грудка рассеченного бараньего мяса. Горец развязал мешок с крупной солью, стал брызгать ее горстями на мясо.

— Дорогой Исмаил, у России есть свойство в узких горловинах истории, подобно льдине, раскалываться на множество отдельных обломков и проходить горловину в разломанном состоянии. Потом, когда история изливается на равнину и течет широким руслом, Россия вновь собирается из обломков и движется, как целостный континент. Сегодня Россия разламывается, у нее нет ни царя, ни вождя. Власть пала, захвачена предателями и ворами, и властью становимся мы, обычные люди. Сейчас, дорогой Исмаил, судьба России в твоих руках. Здесь, в Дагестане на этих днях будет решаться судьба нашей Родины. Дагестан становится замковым камнем российской судьбы. Ты можешь стать великим разрушителем и прославить себя как героя одного ущелья. Или можешь стать великим создателем и прославить себя как героя Евразии. Смысл моего обращения к тебе — не поддайся на искушение, удержи свои боевые отряды от вмешательства.

Две каменные птицы трепетали и вздрагивали. Горы слышали волшебное слово. Окаменелые птицы напрягали могучие крылья, были готовы взлететь.

— Виктор Андреевич, народы Дагестана видели от России очень много обид. До сего дня в наших селах поют колыбельные песни, где матери напевают младенцам о жестокости русских солдат Ермолова, вырезавших дагестанские села. В нашем роде помнят джигитов, убитых при Валерике. В советские годы в селах закрывали мечети, уважаемых мулл, патриотов Кавказа арестовывали и расстреливали. После войны некоторые из наших народов были высланы в казахстанскую степь. Теперь, в эти смутные годы, Москва не сумела нас защитить от воров и разбойников. Наш народ обобран, мучается в бедности, оскорблен поборами, и Москва не в силах нас защитить. Зачем нам такая Россия? Зачем нам такая Москва?

В яме крутился огонь, как лисица в норе. Горцы раскрывали шитые шерстяные кисеты с толчеными горными травами, высушенными на летнем солнце, перемолотыми в деревянных домашних ступах. Лошади топтались в дыму. Валуны в очаге раскалились и побелели от жара. Горец в папахе хватал из кисета щепоти душистой травы, осыпал ломти баранины, словно крестил их. Его помощник накалывал мясо на заостренные ветки, клал на кусок мешковины.

— Дорогой Исмаил, на обиды нужно ответить добром, и тогда обиды превратятся в любовь. Тебя хотят вовлечь в катастрофу. Вначале народ вдохновенно пойдет за тобой, как за имамом, а потом, когда Дагестан превратится в руины, кто-нибудь крикнет: «Это он во всем виноват!», и тебя проклянут. Басаев, который манит тебя обещаниями, сулит тебе долю в нефтяном маршруте, — обманет тебя. Если начнется большая война, здесь не будет нефтяного маршрута, а только маршрут мертвецов. Здесь будут применяться кассетные бомбы и бомбы с обедненным ураном. Здесь станут работать огромные огнеметы и вакуумные боезаряды. Здесь испытают вертолеты и танки последних конструкций, и я не исключаю, что мерзавцы испытают здесь, в ущельях Кавказа, геофизическое оружие, порождающее землетрясения и оползни. Если тебя просветит Аллах, ты можешь стать великим сыном России. Когда русские впадают в уныние, когда мельчает русская знать, когда среди русских не находится верных сынов Отечества, таких сынов присылает Кавказ, и они становятся великими Вождями России.

— Как мне знать, что Москва меня не обманет? Я останусь дома, не пойду на помощь Басаеву, а русская армия разгромит ваххабитов, войдет в мое село и наденет на меня наручники.

Горцы в папахх бережно, держась за концы заостренных палок, подносили мясо к яме. Укладывали его над раскаленным гнездом. Накрывали ворохами зеленой сосны. Хвоя шевелилась от жара, исходила смоляными дымами. Горцы накрыли яму одеялом, клинками рыхлили землю, нагребали над ямой курган. Сизые струйки пробивались наружу. Баранье мясо зрело в земле, как корень. Наливалось силой и соком. Принимало в себя огонь, ароматы трав, горячих камней и дыма.

— Дорогой Исмаил, доверься мне. С тех пор, как мы лежали за красным барханом в пустыне Регистан и долбили из пулемета верблюдов, я не изменился, поверь. В России грянет обновление. Гнилой Истукан уйдет, его место займет Избранник. Он покончит с предателями, услышит голос народа. Грядут перемены. Будут востребованы патриоты России, кем бы они ни были, где бы ни жили. Ты один из них. Ты станешь лидером Дагестана. Тебя будут славить как миротворца, отогнавшего войну от родного порога. Дагестан ждет прекрасное бу-

дущее. Порт на Каспии, связывающий его с Ираном и Средней Азией. Драгоценная рыба, научные центры, создававшие морские экранопланы, прекрасные, как огромные водяные бабочки. Здесь пройдет нефтяной маршрут, стягивающий воедино разорванные пространства страны. У тебя есть все, чтобы стать не только Народным Вождем, но и Духовным Лидером. Поверь мне, послушайся моего совета.

Мясо созревало в земле, окруженное стеклянным воздухом. Служители вынесли из дома, расставили перед ними блюда и сласти. Круглые пшеничные лепешки. Яблоки, золотые, малиново-белые. Виноградные кисти с восковым налетом, как в инее, с обрывком вялой лозы. Пили чай, заедая сладостями.

Шашлычник в папахе, обжигая ладони, разгребал накаленную землю. Стягивал с ямы одеяло. Окутывался дымом и жаром. Клал на блюдо шампуры с коричневой запеченной бараниной. Исмаил извлек маленький ножичек с черненой серебряной ручкой. Отсек лепестки раскаленной печени и курдючного жира. Протянул Белосельцеву:

— Вы дорогой и желанный гость. Вам первая порция.

Ели баранину, пачкая руки жиром, отирая пальцы о мохнатое полотенце. Пили из пиал приторно-сладкий сок винограда. Небо было цвета лазури, в нем высились тяжелые кручи, похожие на серых каменных птиц. У одной догорал рубиновый гребень.

— Мне надо подумать, Виктор Андреевич. На все есть воля Аллаха. Я хочу угадать его волю, даже если этой волей мне уготована смерть. — Исмаил Ходжаев опустил испачканные жиром пальцы в миску с водой, которую поднес ему молодой служитель. — Настало время вечерней молитвы. Мне нужно идти в мечеть.

По синей, словно вымощенной лазуритом дороге двигались к сельской мечети. Старики, опираясь на палки, едва волоча ноги в мягких калошах. Крепкие, с натруженными спинами крестьяне, держа под мышками свернутые моельные коврики. Молодые, мускулистые парни, одетые в кожаные куртки, с упругой походкой воинов. Юноши, легкие, торопливые, смущенно, с поклонами, обгонявшие медлительных старцев. Все плыли в одну сторону по дороге, достигая остро-

верхой мечети. Снимали обувь на сухой подметенной земле. В носках или босые, с вымытыми стопами, подымались вверх по ступеням. Погружались в открытые двери. Белосельцев отпустил от себя Исмаила, забывшего вдруг о госте. Постоял перед входом, чувствуя, как тянет его внутрь, где в сумерках, среди разноцветных огней, колыхалось людское множество. Пропустил горбоносого старика в мелком каракуле. Уступил дорогу юноше в маленькой вязаной шапочке. И словно кто-то взял его под руку, властно повел к дверям. Сбросил туфли, тут же потерявшиеся в ворохе обуви. Ступил в мечеть.

В ней было сумрачно, накаленно. Жарко, как угли, горели светильники. Мерцали слюдой изразцы. Священные тексты, похожие на вьющуюся лозу винограда, оплетали мечеть. Пространство, в котором стоял Белосельцев, было плотнее и гуще, чем то, что осталось снаружи. Под сводами скопились энергии, увеличивающие плотность пространства, создававшие его напряженность. Прихожане стелили коврики, опускались на колени. Оглаживали бороды, подымая строго-умиленные лица к высоким узорным прорезям, где последней лазурью угасала заря. Белосельцев стоял в стороне, прижавшись к стене, на которой, застекленное, висело изображение Меддинской мечети и на раздвоенном клинке струилось изречение Пророка. Ему было хорошо в мусульманской молельне. Здесь было намолено, как в православной церкви. Богомольцы, ожидавшие час молитвы, обращавшие души к Аллаху, обращали их к Единому Богу, покрывавшему своей благодатью океаны и земли, народы и страны. Как свет, попадая в хрустальную призму, распадается на цветастую радугу, так образ Единого Бога, преломляясь в народах, прославляется в мечетях и пагодах, в костелах и православных церквях. Так чувствовал Белосельцев лазурь, стекавшую ему в душу из высокого резного окна, рождая умиление и нежность.

Еще невидимый, смутно белея чалмой, мулла возгласил первый молитвенный стих. С каждым колебанием звука, выступая из тьмы белой бородой, истовый, горбоносый, держа у груди раскрытую книгу, мулла стенал, умоляя Бога услышать его. Выкликал и восторженно славил, ударяя молитвенным звуком в монолит омертвелого мира, куда были заморожены

людские спящие души. Холодный камень и лед начинали плавиться. Белосельцев чутко, страстно внимал. Стих Корана своим явленным звуком и тайным сокрытым смыслом входил в сочетание с его измученной, ожидающей чуда душой. В недвижимом пространстве мечети, в накаленном сумраке словно пахнуло ветром. Богомольцы легли, как трава, поверженные ниц этим внезапным порывом. Они отрывали от пола покорные лбы, распрямлялись, подымая лица к лазури, а потом разом, всей молящейся коленопреклоненной толпой, падали ниц. Повторяли бессчетно мягкие упругие колебания, расшатывая костную, лишенную духа материю. Побуждали ее дышать, слышать Бога, чувствовать над собой бестелесный творящий Дух. Земля и воздух слабо вздрагивали от этих поклонов. Мусульмане, отделенные друг от друга океанскими водами, великими пустынями, снежными вершинами гор, совершали поклоны, расшатывая землю, добиваясь резонанса с гулкой, взывающей к Аллаху молитвой.

Белосельцев чувствовал коллективные усилия миллиардов людей, захватывавших в молитвенный ритм течение рек.

Правоверные молились в сельской дагестанской мечети. Молились в Кандагаре у рынка, под лазурным куполом, где в серебряном узорном ларце хранился волос Пророка, и он, Белосельцев, оставив автомат на броне, безоружный и верящий, просил у Всевышнего милости. Молились в Меддине под каменным белоснежным шатром, из которого ввысь устремлялись островерхие башни, и он, оробев, ступал босыми ногами по прохладным восточным узорам. Молились в маленькой мечети в Латакии, остывавшей от солнца Сахары, и сквозь тонкие окна в стене он видел бирюзовое море и серый, остекленный эсминец. Молились в Равалпинде, где с голубых минаретов под блестящей луной певуче рокотал муэдзин и торговцы золотом торопливо убирали лотки.

Белосельцев достал из кармана платок. Постелил на каменный пол. Опустился на колени, почувствовав, как понизился и уменьшился он в своей гордыне, в своей одинокой жизни, добивавшейся внимания Бога. Он был как все, безымянный, растворенный среди молящегося человечества.

Отслужил со всеми намаз, благодарный мусульманским богомольцам за то, что приняли его, путешественника, застигнутого вечерней молитвой вдали от православного храма. Выходил из мечети просветленный, среди густой молчаливой толпы, совавшей ноги в галоши и туфли, шаркающей по каменным плитам.

В темноте сельской улицы, по которой расходился народ, его нагнал Исмаил Ходжаев, окруженный молодыми охранниками.

— Я внял вашему совету, Виктор Андреевич. Не пойду на помощь Басаеву. Если он нападет на Дагестан, мои люди и я встанем у него на пути. Силой оружия прогоним обратно в Чечню.

Под туманными звездами они вернулись в дом с оранжевыми окнами. Сад мглисто темнел, и не было видно, стоят ли дремлющие кони у засохшего дерева. Исмаил проводил Белосельцева в одну из многочисленных деревянных пристроек, сухих и чистых, с низкой тахтой, на которой чьи-то заботливые руки постелили постель с пышной шелковой подушкой и простроченным, легким одеялом.

— Отдыхайте, Виктор Андреевич. Если хотите попасть на утренний самолет в Москву, надо рано проснуться. — Исмаил поклонился, прижав руку к сердцу, и оставил Белосельцева одного, среди тончайших ароматов старинного дерева, сладкого дыма и чего-то еще, напоминающего увядшие благовонья.

Он лежал без света. И было ему хорошо и спокойно, и последнее, о чем он подумал, стала мысль о туманных звездах, текущих над садом, исчезающих за каменным гребнем.

Он проснулся от ужаса. В доме раздавались голоса, за окнами метались огни, слышался рокот моторов. Белосельцев наспех оделся, сунул босые ноги в домашние чувяки, вышел на боковое крыльцо. Небо было переполнено звездным ослепительным блеском, и среди этого блеска совершалось безумие. Звезды смещались и падали, покидали привычное место, рассыпали созвездья, прерывали медлительное сонное течение. Мимо бежали люди, звякало оружие. Яркие фары осветили сад, висящие яблоки, бессмысленные и ненужные в этот час ми-

ровой катастрофы. На крыльце, освещенный автомобильными фарами, возник Исмаил Ходжаев.

— Война, — сказал он. — Басаев вошел в Дагестан. Объявлен сбор ополчения. Вы останетесь здесь, Виктор Андреевич, или поедете со мной в Кадарское ущелье?

Звезды кружились в водовороте, исчезали в черной дыре, куда утягивалась и сливалась Вселенная.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Кадарская зона, куда попал Белосельцев, меняя джипы на бэтээры, оставляя отряды ополченцев и встраиваясь в армейские колонны, договариваясь с оперативниками ФСБ и используя связи с военной разведкой, само Кадарское ущелье казалось голубой чашей с высокими каменными краями. По серым каменным кручам, зарождаясь нежными зелеными тенями, превращаясь в густые сочные кущи, стекали лесные заросли. В низине превращались в темную зелень садов. Кара-махи и Чабан-махи — так назывались эти селенья, напоминавшие Белосельцеву сон, бабушкины рассказы о Кавказе, пушкинские стихи и таинственное, необъяснимое знание о том, что он уже был здесь когда-то, быть может, в иной жизни. Казалось, крохотная голубая планета опустилась на землю, сохранив инопланетную красоту, неземную форму жизни, сберегаемую древними богами.

Белосельцев глядел на мятежные села, сидя на обочине горной дороги. Слушая нескончаемое верещание придорожного кузнечика, знал, что голубое видение рая — лишь обман удаленных глаз. В пестроте долин скрываются минные поля и фугасы. По кромкам тучных, отягченных плодами садов проходят траншеи и ходы сообщений. В резных аркадах, напоминавших дворцы, оборудованы опорные пункты. В виноградниках упрятаны амбразуры и позиции снайперов. Среди дозоров, постов, чернобородых воинов, под белой колоннадой Басаев, неуловимый чеченец с вялым ртом, косой бородой. По

козьим тропам движется из Чечни подкрепление, вьючные ослы звякают вороненой сталью, крохотные японские радиостанции разносят позывные и коды. И стеклянная вспышка, долетевшая до глаз Белосельцева, — зайчик света на лобовом стекле грузовика, перевозящего легкую пушку. Быстролетный солнечный лучик, мелькнувший у вершины мечети, — отсвет бинокля, направленного на него, Белосельцева.

Кузнечик упорно звенел, убеждая Белосельцева верить в голубую планету. И так хотелось уверовать, отринуть жестокое знание, защитить таинственный чудный рай.

По дороге, хрустя на камнях, шли войска. Водители машин, командиры частей не верили в голубую планету, всматривались в горловину ущелья, готовились к штурму. Пролязгали боевые машины разминирования, с провисшими гусеницами, замызганными башнями, неся впереди кронштейны с катками, похожие на уродливых неповоротливых крабов. Поползут впереди пехоты по склонам гор, по виноградникам и арыкам, подрывая фугасы и мины, от которых срываются и отлетают катки, встает на дыбы сотрясенная стальная машина, и у водителя лопаются барабанные перепонки, течет из ушей кровь.

Прошла колонна танков, качая пушками, с натертыми, как стальные браслеты, гусеницами, с торчащими из башен головами танкистов, похожими на боксерские перчатки. Жужжащие, звонкие, как пилы, тягачи протащили батарею гаубиц. Пушки нюхали стволами воздух, подпрыгивая на упругих колесах.

Прошли тяжелые огнеметы «Буратино», похожие на динозавров, тупые, свирепые, неся в утробах угрюмый огонь. Полыхнет оранжевый факел, кинет в гущу строений шаровую молнию — и вакуумный взрыв сметет половину селения, превращая дома и деревья, животных и сраженных бойцов в облако светящихся прозрачных молекул.

Белосельцев смотрел на проходящую технику, продавливающую дорогу своими тоннами. В грохоте и лязге машин кузнечик становился неслышен. Но колонна, содрогаясь и лязгая, затихала вдали, и опять начинал стрекотать кузнечик, проповедуя рай.

На бэтээрах, низких и юрких, похожих на пятнистых ящериц, шла мотопехота. Тускло светились пулеметы, дрожали хлысты антенн. Башни и броню облепили солдаты. Белосельцев увидел одинокий, подымающий солнечный шлейф бэтээр, догоняющий колонну. На броне, оседлав пулемет, сидел солдат, голый по пояс, белокурый, с поднятым чубом, расширив счастливые от скорости и ветра глаза. Его литые свежие мускулы блестели от пота, на груди раскрыл крылья татуированный орел.

На дороге запылило. Показалась голова автоколонны. Открытые грузовики везли ополченцев. Дагестанцы в поношенных камуфляжах, в кепках, папахах и шляпах, держа у колен карабины, колыхались среди заляпанных бортов. Над кабиной головной машины развевался зеленый флаг. Колонна пыльно прошла, ее замыкал бэтээр устаревшей конструкции и джип, за стеклом которого промелькнула голова Исмаила Ходжаева, его черно-седая борода, сумрачный лоб, косматая баранья папаха.

Командный пункт был расположен на срезе горы, в сухой каменистой траншее, под пятнистой маскировочной сеткой, превращавшей траншею в клок пыльной зелени, где скрывались офицеры штаба, бинокли, дальномерные трубы, раскрытые, придавленные камушками карты с отметками целей, радиации и полевые телефоны, от которых, как выющиеся растения, расползались во все стороны провода. Командный пункт гудел хриплыми осипшими выкриками, позывными, цифровыми обозначениями, был связан с невидимыми, упрятанными в складках батареями гаубиц, «ураганов», установками залпового огня, ожидавших приказа на огневое поражение целей. На удаленных аэродромах штурмовики были готовы к бомбоштурмовому удару. Танки, не заглушая моторов, стояли на укрытых позициях, готовые по приказу выйти на прямую наводку. Пехота, сойдя с брони, лежала на теплых склонах, ожидая, когда содрогнется земля и над головами пролягут огненные дороги реактивных снарядов.

Командный пункт напоминал бригаду хирургов, готовых приступить к операции.

Белосельцев смотрел на худое лицо генерала, на его седые виски, и этот безымянный генерал, кочуя из века в век, был исполнителем закономерности живой природы, когда одна часть жизни соскабливала с планеты другую, вытравляя ее огнем и железом. Он видел это бесстрастное, без типических черт лицо в афганских предгорьях, ангольских пустынях, никарагуанских субтропиках, в каменистых холмах Эфиопии, в липких джунглях Камбоджи, в оливковых рощах долины Бекаа. Теперь это бесстрастное лицо, одинаковое в римских легионах и наполеоновских армиях, появилось здесь, на юге российской земли, готовясь стереть с земли два мятежных дагестанских села.

Голоса офицеров умолкли, и все глаза устремились на генерала. Тот смотрел в бинокль на тропку, где, увеличенное оптикой, двигалось стадо овец, пастушок в красной шапочке помахивал гибкой тростью. Генерал отвел бинокль, коснулся карты, на которую начальник штаба, опасаясь порывов ветра, положил дополнительный камень. Белосельцев не расслышал слов генерала и только по движению губ угадал — «авиация». Теперь все смотрели на авиационного наводчика, который сорванным голосом торопил летящие вдалеке самолеты:

— Я «Кобальт»!.. Эшелоны две тысячи!.. Цели «два ноля шесть», «два ноля девять», «два ноля три»... Фугасных и фугасно-осколочных... Четыре ракеты... Видимость... Как понял меня, «Сто четвертый»!..

Белосельцев всматривался в туманную синеву, где от напряжения глаз начинало расцветать прозрачное сияние. Из сияния бесшумно полетели белые клубочки на тонких стебельках. Повисли, удлиняясь, превращаясь в седые кудряшки. Казалось, незримый мудрец пишет в синеве арабскую надпись. В завитках и кудельках, образованных инфракрасными имитаторами целей, возник металлический режущий звук. Искра самолета мчалась к земле, и под ней возникали черные взрывы. В небе появилась белая арабская вязь, словно кто-то писал божественную суру Корана.

«Зачем мне все это видеть?» — вопрошал в тоске Белосельцев, чувствуя себя насильно приведенным на этот склон, куда поставили его как свидетеля и заставили неотрывно смотреть.

Под клетчатой сеткой шло гоношение. Громче всех звучал надтреснутый голос начальника артиллерии, обнажавшего при выкриках желтые зубы:

— Я «Гранит»!.. Двум батареям «тюльпанов»!.. Цели «сто три — ноль четыре», «сто шесть — ноль один»... Фугасными, залпом... Огонь!..

За горой полыхнуло. Батарея «ураганов» посылала заряды на склоны, где в пещерах укрылись пулеметы чеченцев. Седые вершины ломались. С них сползал камнепад, дымно стекла лавина. Сдирала сады, прокатывала по полям гранитные глыбы, роняя на крыши домов горящие метеориты.

«Что мне делать?» — тоскуя, вопрошал Белосельцев.

Подойти и тяжелым кремнем ударить в висок генерала. Пробежать по траншее, вырвать из рук бинокли, разодрать военную карту. Острым ножом перерезать жгуты проводов. Страстной молитвой вызвать песчаную бурю, чтоб она запорошила глаза офицерам. Начальник химических войск, маленький и красивый, наводил на цели тяжелые огнеметы:

— Я «Фагот»!.. Цель «два — полсотни — один»!.. Дистанция две тысячи метров!.. Ебни ее, Петров, хорошенько!..

Казалось, привстал на уродливых лапах притаившийся в горах динозавр. Раздвоенным красным языком быстро лизнул селенье. И там, где коснулся язык, лопнул огненный кокон, образовалась серая лысина, унося с земли часть селенья вместе с садами, домами, мечетями.

Белосельцев смотрел без сил. Так Избранник двигался к власти, и он, Белосельцев, способствовал его продвижению. Уничтожал голубую планету.

Огневой удар прекратился. Селенье казалось горящей грудой тряпья, из которой сочилась к небу серая муть. Генерал рассматривал карту с пораженными целями, к которым начальник штаба прикладывал прозрачную линейку.

— «Сто седьмой», я «Глыба»! — Генерал приблизил губы к горлышку рации, отдавая приказ на штурм. — Начинай, «Сто седьмой»!.. «Сто девятый», я «Глыба»!.. Начинай, «Сто девятый»... «Гора», «Гора», я «Глыба»!.. Выводи на рубеж «коробки»!..

И снова офицеры оторвались от стенок траншеи, приникли к телефонам и рациям. Наполнили туманный солнечный воздух хрипами, кашлями, гневными криками, толкая вперед штурмовые группы, выпихивая их из укрытий на пустое пространство, по которому хлестал свинец, катились взрывы гранат. Белосельцев лежал за окопом, прижав к глазам тяжелый бинокль. Слушал бой, угадывая его эпизоды по искаженным офицерским лицам.

— Где твои «коробки», Тимоня!.. У меня два «двухсотых»!.. Херачь по синей построюлке!.. Оттуда снайпер ебашит!..

Солдаты преодолевали пустынный выгон, отделявший село от дороги. Бежали змейкой, рушились на теплую землю. Вжимались лицами в овечий помет, в выгоревшую траву и колючки. Пулеметы чеченцев чертили пыльные линии, искали на пустоши пятнистые бугорки, которые при попадании вскидывали руки. Раненный в плечо лейтенант орал в рацию, материл танкистов, покуда из укрытия не вылез тяжелый танк, сломал две яблони и прямой наводкой ударил в синий дом, сметая с фундамента легкие щепки. Из пушки сочился дым, солдаты бежали по выгону, лейтенант, теряя сознание, шептал в молчащую рацию:

— Херачь их, Тимоня, родной...

Бой за опорный пункт. На солнечной улице, мертвый, лежит ваххабит. В черной бороде открытый окровавленный рот. В грязном кулаке автомат. Пуля русского снайпера прошила горло навывлет.

— Мужики, огонька одолжите!.. Без вас ни хуя не пройти!..

Танк в упор стреляет в зеленый забор, в узорные жестяные ворота. Снаряд прошибает брешь, с воем уходит в сад, сокрушая старые груши. Солдаты ныряют в дым. Бегут на подворье, кидают гранаты в открытые двери сарая, в окна горящего дома. Из сарая вместе с куриными перьями несется рев побитой скотины.

— «Второй», не могу подняться!.. С мечети меня прижимают!.. Бей по вышке, по кумполу!.. «Аллах акбар», говорю!..

Гаубица с третьего выстрела ломает минарет, гасит пулеметную точку. Рукопашная схватка в мечети. Синеглазый, белокурый чеченец всаживает очередь в бегущего сержанта

спецназа. Тот в паденье, с продырявленным животом, мечет десантный нож, втыкает чеченцу в глаз. Косматый ваххабит сгребает по-медвежьи солдата, ломает его хрупкие кости. Офицер в тельняшке всаживает ему штык под лопатку, отрывает от узорного пола. Мулла за резной колонной стреляет из пистолета в солдата, дырявит ему лицо. Другой солдат страшным ударом приклада сбивает на пол муллу, молотит прикладом в голову, покуда из трещин черепа не хлынула красная гуща. Цветные осколки стекол, разбросанные моленные коврики, одинокая, с малиновой начинкой, калоша.

— Спасибо, «Второй»!.. За мной пачка «Мальборо»!.. «Аллах акбар», говорю!..

Белосельцев в бинокль не различал людей, не видел перемещение танков. Увеличенные линзами, лопались взрывы. В рациях клочкотали слова, словно хрипы в перерезанном горле. Возникла безумная мысль — спуститься в долину, погрузиться в дымы и разрывы, встать посреди села между воюющими сторонами. Раскрыть перекрестием руки, не пуская танки, останавливая стрельбу пулеметов, возвращая вспять атакующие цепи солдат. Чтобы бойня прекратилась, люди очнулись, положили на землю оружие. Молча спустились к ручью и омыли свои избитые руки, залепленные кровью и гноем глаза. Но мысль была нелепой и дикой.

— Горю, «Ромашка», горю!.. — Подбитый танк, потеряв гусеницу, крутился волчком, сметая кормой тополя, ударяя пушкой в кирпичную кладку, слепо, веером, долбя пулеметом, выстригая пустую улицу. С двух сторон, из укрытий, поднялись гранатометчики, ведя заостренными трубами вслед стальному волчку. Разом пустили гранаты. Липкие угли вонзились в броню, прожгли раскаленным жалом, разрезали и спалили танкистов. Грохнул взрыв, башня гулко отскочила, мотая пушкой, шмякнулась на клумбу цветов. Из пустой дыры танка, как из кратера, валил ядовитый зеленый дым, трескались и мерцали патроны. Через улицу, мимо подбитого танка, пробежали гранатометчики, меняя позицию.

— «Восьмой», докладываю, — большие потери!.. Позицию удержать невозможно!.. На прорыв идет крупная группа противника!.. Вызываю огонь на себя!.. Цель «два ноля — шесть»!..

Перекатами, гибкие, в черных мундирах, строча от живота пулеметами, чеченцы оставляли село. Прорывали редкое кольцо окружения. Забросали гранатами засевший в овчарне спецназ. Добили очередями раненых ополченцев, застрявших с бэтээром в арыке. В рукопашной, молча, орудуя тесаками, вырезали минометную батарею. Уходили в гору, черные, цепкие, увешанные пулеметными лентами, оставляя на склоне солнечную бахрому пыли. Умирающий минометчик с распоротым животом, поддерживая выпадавшие внутренности, стискивал рацию:

— «Восьмой», у меня большие потери!.. Позицию удержать невозможно!.. Цель «два ноля — шесть»!.. Огонь!..

Горящий вертолет падал на село, цепляясь лопастями за небо, выкидывая дымный шлейф, роняя жидкий огонь. Первый летчик был сражен пулеметной очередью. Бортмеханик с простреленным легким корчился на металлическом днище. Второй пилот, не справляясь с управлением, видел, как в кружении приближается земля, краснеют черепичные крыши, белеет надломанное острие мечети. Во дворах стояли бородастые люди, подняв вверх стволы, и из этих стволов к вертолету тянулись бледные пунктиры огня, ловили машину в искрящуюся паутину, цокали и скрежетали по фюзеляжу. Летчик в разбитый блистер видел подворье, чеченскую пушку, артиллеристов, ведущих огонь по наступавшей русской пехоте. Последним усилием, давя рукоять, направил машину на пушку, видя, как стремительно нарастает земля, блестят осколки стекла, бежит через двор испуганная курица и у лафета, задрав бородастое лицо, смотрит чеченец, как падает на него огненная, свистящая смерть. И в секунды, когда вертолет, ломая лопасти, плюща кабину, вминался в пушку, из огненной сферы последней радиовспышкой донеслось: «Прощай, мужики!..» — и все утонуло в огне.

Влекомый бессознательной силой, заставлявшей его кружить в расположении частей, среди батарей, пунктов связи, тыловых хранилищ и бань, Белосельцев вышел к полемому лазарету, развернутому в плоской низине. Отсюда не было видно места боя, из-за склона торчали две каменные корявые вершины. Лазарет размещался в длинной палатке, приторочен-

ной к военному фургону. Санитар с засученными рукавами, в замызганном белом халате устало курил у входа, провожая глазами две пары носилок, которые с силой, бегом, тащили к вертолету солдаты — по четыре на каждого раненого. Пятый солдат бежал сбоку, держа на весу над раненым флакон с капельницей, поддерживая резиновую трубку. Солнце блестело в стекле флакона. Вертолет свистел лопастями. Летчики взмахами рук торопили солдат. Носилки погрузили в зев вертолета, скинули на землю пустые. Дверь закрылась, и машина, раздувая пышную пыль, взлетела, ушла на солнце. Солдаты медленно, устало возвращались, тащили пустые носилки.

Белосельцев не решался распахнуть прорезиненный полог палатки, заглянуть внутрь, где слышались невнятные голоса. Его побуждение было необъяснимым, болезненным. Могло показаться бестактным любопытством, и он не решался войти, оставался у входа, где валялись бинты, коробки от медикаментов, стояло эмалированное ведро. Солдаты сидели на земле у носилок и устало курили.

На белесой каменистой дороге возникло облако пыли, зашумел металлический рокот. Наматывая на гусеницы ворохи пыли, ошалело светя фарами, подкатывал санитарный транспортер. Замер у лазарета, сбрасывая с себя облако пыли, звенящий раскаленный звук. Солдаты кинулись к транспортеру, раскрыли торцевые стальные двери, потянули носилки с раненым. Шаркая ботинками, бегом, повлекли носилки к палатке. Белосельцев разглядел на продавленном брезенте длинное обмякшее тело в разодранной, окровавленной форме, белое остроносое лицо с офицерскими усиками и выпуклые, бредящие глаза.

— На первый стол!.. — Немолодой врач в зеленоватом комбинезоне и шапочке вышел из палатки, пропуская носилки, глядя, как из транспортера выносят второго раненого. — Вы мне носилки поштучно сдавать будете!.. Не напасешься! — прикрикнул он на солдат, запаренный и раздраженный, с потемневшими от пота усами.

Вторые носилки прошелестели мимо Белосельцева, и он не увидел лица, а только огромный забинтованный куль головы с проступившими ржавыми пятнами.

Транспортер умчался. Солдаты гуськом вышли из лазарета и скрылись за грузовиком в тени, и оттуда потекли табачные дымки.

— Ведро!.. Дайте ведро, черт возьми!.. — Из палатки высунулась голова в очках, в зеленом хирургическом колпаке, зло, не находя солдат, осмотрела замусоренную землю, на которой стояло эмалированное ведро. — Ведро, быстро! — приказал Белосельцеву доктор, и тот схватил ведро, послушно и торопливо нырнул в палатку.

В переднем отсеке на земле размещались носилки, и на них мычали, булькали, лежали пластом, вяло шевелились раненые, в слизи, сукрови, источая кислый запах страданий, больных выделений, закатив недвижные, полные слез глаза, над которыми, прикрепленные к брезентовой кровле висели капельницы.

Второй отсек был операционной. В нем вытянулись два стола под горящими хромированными лампами. За обоими работали бригады хирургов. На полу валялась скомканная одежда. В слепящем свете лучилась сталь инструментов, брызгала кровь; сахарно-белая, расщепленная, в розовых острых осколках, сверкала кость. Лицо раненого было закрыто накидкой. Мелко вздрагивал впалый, с грязным пупком, живот. Волосатая голая нога была согнута дважды — в выпуклом, голубоватом колене, и ниже, там, где на сухожилиях и обрывках кожи висела раздробленная голень. Эту голень со скрипом и хрустом, как водопроводную трубу, перепиливал ножовкой хирург, скаля от напряжения зубы. Его помощник поддерживал ногу за пятку и скрюченные пальцы. Нога отпала, помощник, поискав глазами, увидев в руках Белосельцева ведро, сунул в него ногу. Белосельцев ощутил ее тяжесть, увидел торчащие желтые ногти и мозолистую, чернильного цвета стопу. Хирурги склонились над остатком ноги, выхватывали пинцетами ломкие костяные иглы, смачивали рану спиртом и йодом, накладывали быстро промокавшие тампоны. Накидка на лице раненого шевелилась, втягивалась в яму рта и вновь выдувалась.

«Ты должен это видеть!» — звучало под сводами палатки, и Белосельцев смотрел, не падая в обморок, уберегаемый от умопомрачения чьей-то беспощадной, карающей волей.

На соседнем столе хирурги разматывали марлевый слипшийся ком, из которого выглядывали ноздри и дырка рта. По мере того, как разворачивались бинты, ржавое и сухое пятно на них становилось красней и влажней, пока не открылась белобрысая голова с пулевым ранением в череп. Из круглой просверленной раны поднимался и опадал крохотный красный пузырик. Глаз под белесой бровью был наглухо стиснут, словно от боли. Другой, выдавленный пулей, вывалился с набухшим белком, с рубиновой сетью сосудов, расширенным омертвелым зрачком. Хирурги промывали рану, вставляли тампон, и звуки флейты меняли тембр, словно игрок накладывал палец на отверстие в дудке.

«Ты должен на это смотреть!» — требовал властный голос, и Белосельцев смотрел, чувствуя, как выдавливается у него один глаз и в сердцевине мозга разгорается колючая звезда боли.

Раненых сняли со столов, в чистых бинтах, на которых, как на белых рушниках, кто-то начинал вышивать красные листья и ягоды. Их место на столах заняли двое других.

— Первый танкист попадает. — Хирург, наблюдая, как разоблачают раненого, сволакивают с него закопченные мокрые лоскуты, обратился к другому хирургу, протиравшему спиртом очки: — В Грозном одни танкисты и водители бээмпэ попадались.

Второй не ответил, пил из пластмассовой бутылки теплую воду.

С обожженного танкиста снимали прилипшую форму, и она отклеивалась от спины вместе с кожей, как горчичник. Санитары отделяли лоскуты кожи, словно открывали на спине переводную картинку — красную, мокрую, пузырящуюся, изрытую пламенем, прикосновением раскаленной брони. Раненый лежал без чувств, щетинистая щека была темна от копоти, и доктор вкалывал в набухшую черную вену полный шприц наркотика.

На это было невыносимо смотреть. Для Страшного суда, куда его призовут, было собрано вдоволь свидетельств.

Белосельцев направился к выходу, но вдруг обернулся. На соседнем операционном столе лежал обнаженный солдат, стройный, с округлыми мышцами, похожий на античную статую. На

его груди, доставая крыльями до сосков, был выколот синий орел. Белокурый чуб, который утром так лихо раздувался от ветра, был темен от липкого пота. Солдат громко дышал, и при каждом вздохе из пробитого живота выталкивался фонтанчик крови.

— Маменька, родная, приди, помоги!.. — жалобно умолял раненый. — Маменька, родная, больно!.. Приди, помоги!..

Солдат смотрел на Белосельцева синими, полными слез глазами и не видел его. Не мог знать, что этот сутулый, несчастный, немолодой человек, с худым заостренным лицом, был причиной его смертельной раны.

Белосельцев вышел из палатки под вечереющее, прозрачно-зеленое небо, в котором крохотной личинкой приближался вертолет за очередной порцией раненых.

На дороге возникло мутное облако, в нем воспаленно горели фары санитарного вездехода. Машина подлетела и встала, светя огнями. Люди попрыгали с брони, и Белосельцев увидел дагестанских ополченцев, в запыленных камуфляжах, с карабинами, в кепках, папахах, панамах. Торцевые двери открылись, из них извлекли носилки, на которых, бородой вверх, сцепив на животе большие пятерни, лежал Исмаил Ходжаев. Белосельцев узнал его насупленные суровые брови, крепкие губы, горбатый нос, казавшийся высеченным из камня.

— Как получилось?.. — ахнул Белосельцев, торопясь за носилками, когда их подносили к палатке.

— В Кара-махи пуля в сердце попала, — ответил ополченец в папахе, тот, который еще недавно в старом саду Ходжаева жарил в яме барана.

Из палатки вышел военврач. Потрогал Исмаилу запястье. Пробрался пальцами под всклокоченную бороду и пощупал артерию.

— Мертвый... Остывает... Несите его к вертолету...

Раздувая сорные вихри, вертолет опускался, и к нему понесли носилки.

Он, Белосельцев, был повинен в смерти Ходжаева. Тот принял его в своем доме как желанного гостя. Уложил на шелковые подушки в чистой спальне под старинным горским оружием. Не ведал, что где-то в стволе уже находится меткая пуля, которая пробьет ему сердце.

«В полдневный жар, в долине Дагестана... — отрешенно бормотал Белосельцев, отставая от носилок, провожая взглядом убитого. — С свинцом в груди лежал недвижим я... — Носилки удалялись, и на них виднелась торчащая борода и крупный каменный нос. — В груди моей еще дымилась рана... — Из транспортера вытаскивали новые носилки, и кто-то лежал на них без сознания, и капельница над ним чуть мерцала. — По капле кровь точилась моя...»

Белосельцев стоял в вечерних холмах между взлетающим вертолетом и отъезжающим транспортером, и две горы зажгли на вершинах погребальные рубиновые лампы.

Наутро сопротивление ваххабитов было сломлено. Часть сгорела и обуглилась под развалинами. Другая часть вместе с неуловимым Басаевым пробила в горы и, окровавленная, унося на плечах раненых, вернулась в Чечню. Мирные селяне, унося на руках детей, расточились по окрестным тропинкам, хоронясь в соседних ущельях, слыша, как ухают взрывы среди испепеленных домов. Штурмовые части, обескровленные, утомленные, отходили из Кара-махи. Им на смену в село входили части внутренних войск. Вели «зачистку», прочесывали изувеченные сады, взорванные постройки. Забрасывали гранатами подвалы. Пускали наугад очереди в сараи и курятники. Впрыскивали рыжие струи огнеметов в амбразуры, где еще отстреливались обреченные снайперы ваххабитов.

Белосельцев вместе с подразделением внутренних войск входил в село. Он шел в гору по сельской улице, в ребристой танковой колее, прорубившей в дороге длинный мучнистый желоб. Под ногами, раздавленный танком, лежал черно-красный ковер. Цветная шерсть была перетерта стальными траками, кавказский орнамент был в рубцах гусениц. Глаза слезились от гари, горло жгло от едкого зловонья, кругом истлевало тряпье, остывала окисленная броня, дымились остатки сгоревшей плоти. Окровавленные бинты, раздавленные медные гильзы, расколота на черепки восточная ваза, мятый башмак, труп овцы, расплющенный, с красным костровищем раздробленных костей, опущенный каракулем, с дикой, оскаленной головой, из которой выпал распухший язык. Белосельцев шел

в танковой колее, и кто-то невидимый из-за туманного солнца вещал ему: «Это ты. Твой путь. Уже не свернешь никуда».

Он прошел сквозь проломленные ворота на крестьянское подворье, где дом, разбитый прямым попаданием бомбы, был похож на убитое выючное животное, рассыпавшее при падении свою поклажу: цветные подушки, стекляшки, изделия из металла и глины, утварь, сосуды, книги, матерчатый абажур, обломки кровати, медный самовар.

И он испытал такую пустоту, которую нечем было заполнить. Взмолился, обращаясь к Тому, Кто задумал для него это испытание. Ведет по аду, убеждая, что это он, Белосельцев, сам сотворил этот ад по образу своему и подобию, воплотил чертежи кромешного ада, жившего в нем изначально.

«Убей меня!» — молил Белосельцев, глядя на бледные пузырьки взлетающих трассеров, желая, чтобы очередь изменила направление, прилетела и убила его, и он рухнет к стволу, чтобы не видеть жуть, окружавшую его.

Он брел дальше, вымаливая для себя пулю, обходя дымящиеся головни и руины.

Солдаты в раздутых бронежилетах, в черных тяжелых шлемах, похожие на космонавтов, подступили к зеленой калитке. Двое встали по обе стороны, спиной к забору, воздев автоматы с подствольниками. Двое других, отступив, нацелили на калитку стволы. Третий, набычившись, держа наотмашь гранату, разбежался, ударил плечом в калитку, расшибая ее, вваливаясь с криком во двор. Остальные ловко нырнули следом, погружаясь в глубину подворья. Белосельцев отрешенно шагнул за солдатами.

Дом был нетронут, на каменном основании, с деревянной галереей, с черепицей, из-под которой ниспадали узорные водостоки. На перильцах было развешано белье — выстиранные рубахи, женские юбки, цветные наволочки. На дворе был сложен очаг, на котором стояли кастрюли, горшки, масляные сковороды. Посреди двора на сухой земле лежала крохотная убитая девочка в нарядном складчатом платье, с черными прядками, смуглым, неживым лицом. Над ней склонилась обезумевшая длинноволосая женщина, нечесаная, с черными подглазьями, с дико мерцавшими глазами. Рубаха ее была расстегнута, она

свесила к девочке большую фиолетовую грудь, совала в мертвый рот твердый коричневый сосок. Что-то бормотала, гулила, припевала, не обращая внимания на солдат, топавших мимо пыльными ботинками, проносившими над ее косматой головой опущенные стволы автоматов.

На солнечном дворе стояла железная кровать с пружинами. На ней, раскинув усталые руки, лежала мертвая женщина, и двое солдат насиловали голый остывающий труп. Сбросили бронежилеты и шлемы, откинули автоматы. Один колыхался на женщине, двигая тощими ягодицами, другой держал женщину за босую стопу, и его глаза, не видя Белосельцева, были полны безумным солнечным блеском.

«Ну убей же меня!» — выкрикивал Белосельцев, ступая по растресканной, пустой до горизонта планете, на которой, освещенная солнцем, стояла железная кровать, и под мертвой женщиной и накрывшим ее солдатом тягуче скрипели пружины.

Через улицу солдаты окружили каменный дом, увитый до крыши корявой лозой винограда. В каменном основании дома синела дощатая дверь. Солдаты наставили на дверь автоматы, один с мегафоном громогласно гудел. Металлические звуки ударялись о стену дома, о маленькую синюю дверь:

— Выходи без оружия!.. Руки поднять!.. Гарантируем сохранение жизни!.. В противном случае дом будет взорван!..

— Кто там? — спросил Белосельцев усталого офицера в шлеме, из-под которого стёкал липкий пот.

— Главарь ваххабитов... Сына его убили, а он из пулемета отстреливался... Да, видно, патроны кончились...

— Выходи без оружия!.. — продолжал гудеть мегафон. — Руки поднять!.. Гарантируем сохранение жизни!..

Дверь отворилась, и в темном прогале, покачиваясь, просовывая наружу длинные руки, вышел человек, тяжелый, тучный, с длинной, упавшей на грудь бородой, в белой вязаной шапочке. Он был одет в тесную, не сходявшуюся на груди куртку, в короткие, не по росту, штаны, из которых упирались в землю крупные ноги в бутсах. Глаза человека, привыкая к солнцу, смотрели на солдат лениво и подслеповато.

— Ближе!.. — командовал офицер, подступая к бородачу. — Руки держать!.. — длинным, лающим криком понукал ваххабита, видя, как тот опускает руки.

Тот медленно опускал тяжелые, натруженные ладони, которые от усталости был не в силах держать. Ладони опали к поясу, вяло распахнули куртку. Глаза его вспыхнули кругло и грозно. В руках оказалась граната. Грохочущие очереди, пробившие ему грудь во многих, брызнувших кровью местах, совпали с трескучим взрывом, который он, казалось, кинул в солдат. Упал с дымящейся ямой в груди, и рядом стонали и корчились посеченные взрывом солдаты. Другие, отступая, били издалека, окружая лежащего боевика пыльными кудряшками попаданий.

Белосельцев вышел на окраину села, где кончались разрушенные дома и подворья, в каждое из которых попал снаряд или угодила ракета. Село лежало с переломанным хребтом, пробитым черепом, выпущенной кровью. За ним начинались виноградники, пастбища, хлебные поля, отвоеванные у каменных круч кетменем и мотыгой долгими поколениями горцев. Все перепахала артиллерия, сожгла авиация, наносившая огневой удар по рубежам обороны, где засели мятежники, превратив арыки в траншеи, расположив в каменных сушильнях безоткатки и гнезда снайперов. Теперь здесь работали саперы, проходя с миноискателями по корявому, красно-ржавому винограднику, извлекая мины из-под корней.

— Сюда не ходить... Минное поле... Противопехотные с противотанковыми... — сказал Белосельцеву маленький усталый сапер, втыкая в землю штырь с красным флажком, на котором было написано: «мины». Пошел вслед за товарищами, щупая землю миноискателем, шевеля растресканными губами, читая придуманную им самим молитву «о спасении от мин».

Белосельцев смотрел вслед уходящей веренице саперов, подымавших легчайшую солнечную пыль, словно все они, окруженные золотистыми нимбами, были готовы взлететь и унести в небеса.

Стоял возле штыря с запрещающим красным флажком. Недалеко, на склоне, темнела каменная сушильня, где на жердях развешивались виноградные кисти. Высыхали в теплых, продуваемых ветром сумерках, превращаясь в сморщенный сладкий изюм.

Внезапно из полукруглого проема с гиканьем, хрипом вырвался всадник. Конь поднялся на дыбы, крутанулся вокруг

оси, разбрызгивая камни. Наездник, бритоголовый, с развевающейся черной бородой, опоясанный медными пулеметными лентами, дико взвизгнул, сверкнул на Белосельцева ненавидящими глазами, погнал коня в гору. В одной руке у него был ручной пулемет и натянутый повод. Другая рука, оторванная, кровенела красным обрубком. Всадник послал коня наметом на склон. Из-под конских ног ударил заостренный, кустистый взрыв, швырнул лошадь на спину. Еще один взрыв грохнул из-под упавшего всадника.

Белосельцев вернулся в село. Господь отказал ему в пуле и в мине. Не попустил умереть в дагестанских горах. Оставил жить для новых испытаний и горестей.

Белосельцев двигался по селу, и ему навстречу катил бэтээр. На броне, ошетиная стволами, сидели автоматчики в зеленых, повязанных на чеченский манер косынках. В люке, по поясу, стоял генерал, с твердым жестким лицом, словно отчеканенным на римской монете. Лицо генерала было бесстрастным, словно он знал, что малая война, которую он только что выиграл, влекла за собой множество других, еще не объявленных, где ему суждено состариться. Бэтээр удалялся, и его корму покрывал темно-красный дагестанский ковер. На ковре сидел оператор, направляя камеру на дымы и развалины.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Белосельцев вернулся в Москву утренним рейсом и, явившись домой, сошел с себя одежду, кинув ее двумя несвежими комками в мешки для чистки и прачечной. Голый ушел в ванную и лег в эмалированный объем, пустив из крана ровную звенящую струю. Ванна наполнялась, и он смотрел, как разбивается вода на его поднятом колене.

Вода, как понимал ее Фалес Милетский и как писал о божественной природе воды немец Виндельбанд, чью философскую книгу давал ему в поучение дед, — вода была первопричиной всего.

Он вышел из ванной, накинул халат и, оставляя на полу мокрые отпечатки, вернулся в комнату, где поджидала его коллекция бабочек, в которую он успел превратить большую часть своих жизненных впечатлений. Дагестанская поездка не пополнила коллекции. В нее нельзя было поместить ночную красную бабочку, вспорхнувшую над Кара-махи после взрыва тяжелого огнемета.

Белосельцев рассеянно включил телевизор. И сразу испуганно стал узнавать очертания дагестанских сел у подножия двух корявых каменных гор. Колонна военных машин пылила по горной дороге. Батарея гаубиц вела шквальный огонь. В полевом лазарете корчились раненые, над которыми блестели флаконы капельниц. Длинные, как уходящие в небо дороги, тянулись реактивные трассы, и по ним с ревом неслись снаряды. Телеоператор снимал захваченное село, превращенное в рытвины и развалины. Сгоревший танк с разбросанными у мечети танкистами. Пустынный двор с железной кроватью, на которой, раскинув руки и ноги, лежит мертвая обнаженная женщина. Растерзанная книга Корана под пыльным башмаком солдата. Убитый, пронзенный штык-ножом ваххабит, оскаливший в черной бороде белозубый рот.

Кадры исчезли, и возник Премьер, веселый, велеречивый, охотно поясняющий:

— Ваххабизм — это вполне безобидное утопическое учение о всеобщем равенстве, братстве, рожденное в современном исламе... Два крохотных дагестанских сельца, наивно заявивших о своей независимости, — это шутка, на которую мы будем реагировать улыбкой. Очень скоро эти горцы образумятся, и мы на общем с ними празднике выпьем за великую и неделимую Россию!..

Премьер пропал, и снова пошли кадры с реактивными залпами, взорванные дома, убитый ваххабит, уткнувшийся бородастое лицо в станковый пулемет, зияющий пролом в мечети, раздавленная танком овца с уродливой рогатой головой.

Белосельцев выключил телевизор, понимая, что операция «Премьер», ради которой он путешествовал в Дагестан, подходит к концу.

Зазвонил телефон. Гречишников радовался его возвращению:

— Ты блестяще сработал, Виктор Андреевич, снайперски, безупречно!.. Но не следовало так рисковать, не следовало идти на линию огня!.. Мы очень за тебя волновались... Ты немного пришел в себя?.. Приглашаю на вечер в театр...

— Театр военных действий? — невесело пошутил Белосельцев.

— Ни в коем случае!.. Большой театр, «Пиковая дама»... Лучшие места в партере!..

— Ты уверен, что мне нужно идти?

— Несомненно!.. Будут Президент, Премьер и Избранник!.. Весь московский бомонд!.. У тебя есть смокинг, есть бабочка? Возьми одну из своей коллекции!.. — Он рассмеялся и повесил трубку.

Вечерний московский воздух был цвета зрелого яблока, когда Белосельцев пешком спускался по Тверской к Большому театру, изумляясь красоте и ухоженному блеску города. Большой театр, белокаменный и помпезный, с черной квадригой на светлом, нежном фронтоне, пропускал под колонны торжественных театралов, несущих букеты для любимых певцов. То и дело подкатывали дорогие, с холеными шоферами, лимузины, сопровождаемые тяжеловесными джипами. Верная охрана зорко следила, как взбегают на ступени министры, банкиры, именитые политики, иностранные дипломаты, приехавшие из ближних городов губернаторы. Вся площадь была оцеплена милицейскими постами. Невидимые агенты безопасности, сливаясь с толпой, фланировали у колонн, неслышно переговаривались по крохотным рациям, как лесные незаметные птицы. Ожидался приезд Президента и Премьера. Высший московский свет — политики, литераторы, ведущие телевизионных программ, пожелали присутствовать на спектакле, который неожиданно для всех решил посетить больной, не бывавший на публике Президент.

С Гречишниковым они встретились в вестибюле, встав в очередь за биноклями, которые были нарасхват. Каждому хотелось рассмотреть в императорской ложе Президента. Проверить, верны ли слухи, согласно которым тот едва передвигался, окружен неотступной свитой докторов. Белосельцев с Гречиш-

никовым запаслись биноклями, разгуливали в фойе, встречаясь со множеством знаменитых персон, то и дело всплывавших на телевизионных экранах, а здесь присутствовавших во плоти.

Мелькнул Мэр не в своем обычном облачении деятельного прораба и устроителя дорог, но в черном смокинге, неловко сидевшем на его маленькой коротконогой фигуре, делавшем его похожим на лысого пингвина. Прошел стороной Астрос, ироничный и пылкий, что-то втолковывавший степенному послу Израиля. Скачущей беличьей походкой проскользнул Зарецкий с бриллиантовой булавкой в шелковом галстуке.

— Сегодня ожидается удивительный спектакль, — таинственно поведал Гречишников. — Если помнишь, Президент начал свое восхождение с балета «Лебединое озеро», а закончит свой путь оперой «Пиковая дама». Русская политика в конце двадцатого века делается под музыку Чайковского. Займем наши места, Виктор Андреевич. Нам все будет отлично видно.

И они вошли в зал — в огромную золотую раковину, сочную, сияющую, наполненную рокотами, шелестом, таинственным гулом. В вышине празднично и ликующе переливалась алмазная люстра, словно немеркнувшее светило Империи.

Белосельцев пережил сладостное неправдоподобие, чудесную иллюзию, заставляющую забыть в предвкушении великолепной условности, когда искусными ухищрениями грубая, натуральная жизнь умертвлялась и из музыки, света, ненатуральных поз и речений создавалось эфемерное отражение бытия, его разноцветная тень, уловленная в золотую ловушку.

Из оркестровой ямы раздавалось множество слабых звучаний, словно туда, в бархатную глубину, были посеяны семена звуков.

Ряды заполнялись. Все меньше становилось сафьяново-красного, все больше черного, белого. Мерцали бинокли, вспыхивали драгоценности на обнаженных женских шеях. Золотая раковина обнимала своими створками живую сердцевину, пребывавшую в легком колыпании, шевелении, в мягких и сочных пульсациях.

Вдруг волнение пробежало по театру. Все бинокли, все лица обратились к императорской ложе, похожей на огромную золотую карету. В ложу вошел Президент. Медленно, слов-

но с трудом сохранял равновесие, подошел к парапету, грузный, в черном костюме, с отечным лицом, с маленькими заплаканными глазами. Медленно оглядел пространство зала, прищурившись на алмазную люстру.

Все присутствующие встали из кресел, зааплодировали. Несколько секунд он внимал рукоплесканиям, словно убеждался в том, что по-прежнему любим и всесилен. На его лице появилась слабая улыбка, и он с трудом поклонился залу. За его спиной возникли жена в темно-синем бархате и младшая дочь с обнаженной шеей, на которой сверкало бриллиантовое ожерелье. Аплодисменты не прекращались и теперь относились ко всему августейшему семейству. Зал славил эту семью, обращаясь к ложе снизу, из партера, и сверху, с балконов, восторженно и верноподданно вглядывались в золоченую раму, в которую были заключены три бледных, с чертами фамильного сходства, лица.

Затем появилось четвертое, круглое, скромно улыбающееся — Премьера. Тот сначала оставался на заднем плане, но потом, когда Президент начал садиться и овации стали понемногу стихать, он шагнул ближе и занял кресло в первом ряду ложи, чуть в стороне от жены Президента. Президент сидел, расслабленно улыбаясь, с мертвенной маской узкоглазого монгольского богдыхана. С трудом поворачивал голову на оплывшей шее, продолжая улыбаться, пока не увидел Премьера. Лицо его вдруг изменилось, побагровело, углы губ поползли вниз, глаза приоткрылись, и оттуда, как из глубины камня, сверкнула ярость. Он что-то сказал Премьеру — неразборчивое среди продолжавшихся хлопков. Зал увидел это переменившееся лицо и разом умолк. Вслушивался в голос, сипло звучащий в золоченой ложе. Премьер слушал стоя, и было видно, что он стал влажный, малиновый от испарины.

— Вы решили послушать оперу! — Акустика старинного зала, позволявшего петь Собинову, Шаляпину и Козловскому, доносила слова Президента до самых отдаленных кресел. — Вы должны сейчас хоронить солдат, погибших в Дагестане в результате ваших бездарных и некомпетентных действий. — В зале и даже в оркестровой яме стояла абсолютная тишина. — Вы должны сейчас находиться не в опере, а в Дагестане!

Премьер был красен пухлыми щеками и вялым подбородком и страшно бел лбом. Беззвучно шевелил бескровными губами.

— Ступайте! — гнал его Президент, разбухая багровым тяжелым гневом.

Премьер повернулся и вышел. В зале была такая тишина, что, казалось, был слышен звук удалявшихся премьерских шагов.

Люстра под потолком стала медленно меркнуть. Из нее утекал волшебный блеск. И во мраке вдруг вспыхнула увертюра, словно огненный салют взорвался в ночи и тысячи вихрей, сверканий, лучистых молний понеслись в вышину.

Занавес растворился, и, со знакомой чугуновой решеткой, с античными статуями богов и героев, возник Летний сад. По его аллеям петербургская знать в мундирах, кринолинах, статских фраках, кружевных чепцах потекла, словно эфемерный рой мотыльков.

Когда завершилось первое действие, и занавес опустился, и хрустальное ослепительное солнце зажглось на лепном потолке, в золотой ложе рядом с Президентом сидел Избранник, тихий, спокойный, милый. Белосельцев направил в ложу бинокль, скользнул по синему бархату президентской жены, по голой шее вельможной дочери, по седовласой голове Президента и увидел увеличенное оптикой, утонченное лицо Избранника. И туманный, загадочный зайчик света у его переносицы.

— Мы можем идти, Виктор Андреевич, — удовлетворенно произнес Гречишников, — они допоят без нас. Мы же позволим себе легкий ужин и немного виски. Выпьем за упокой друга всех дураков и ваххабитов.

Утром, включив телевизор, Белосельцев услышал Указ об отставке Премьера и о назначении Избранника временно исполняющим обязанности Премьер-министра, до утверждения его кандидатуры Думой.

Часть третья

ОПЕРАЦИЯ «КАМЮ»

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Белосельцев пытался понять, кем являются люди, которым он вручил свою волю. Кто они, истребляющие репутации властных персон, сталкивающие лбами могущественных политиков. Они не входили в известные партии, не работали в правительственных учреждениях. Не мелькали на лакированных журнальных обложках, не оставляли следа на телевизионных экранах. Как тени, входили в самые закрытые коридоры, в недосягаемые, секретные кабинеты. Их принимали богачи и министры, генералы и иностранные послы, выслушивала своенравная президентская Дочь. Их власть опиралась не на деньги или военную силу. Она была необъяснима, таинственна, сродни волшебству, магическому знанию.

Быть может, они были членами тайной ложи, чья грибница глубоко залегала в трухлявой сырой подстилке, в которой умирали деревья-великаны брежневской поры, искусно подпиливаемые загадочным чекистом Андроповым. Или они были сохранившейся, глубоко законспирированной политической разведкой Ленина, пережившей космическую катастрофу «перестройки», массовое вымирание пупырчатых коммунистических ящеров. Или, быть может, они составляли часть глобаль-

ного секретного братства, соединяющего спецслужбы мира, неуязвимого и всесильного, о котором вскользь, под тенью африканской акации, поведал ему Маквиллен, мистик, энтомолог, разведчик.

Белосельцеву казалось странным и угрожающим обиталище в загадочном «Фонде» на Красной площади. Из комнаты с зеркальными окнами, с батареей цветных телефонов, с молчаливыми безликими персонажами, словно тени скользящими по сумрачным коридорам, из кабинета, в котором когда-то размещался Троцкий с черными солнышками слепящих очков, а теперь чуть слышно шелестели компьютеры, перелистывая прозрачные многоцветные страницы, — из этой обители велось управление огромной страной. Методом иглоукалывания, возбуждая и угнетая, держали в повиновении страну, которая, как изнывающая от недуга, обессиленная женщина, лежала под светом ламп и не могла разродиться. Люди в масках вкалывали препараты в ее огромный дышащий живот, где в судорогах боли перекатывался незримый младенец.

Белосельцеву мнилось, что комната «Фонда» с дубовыми переплетами, медными шпингалетами и дверными ручками, была лишь малой, выходящей на поверхность частью подземного царства, проточившего под Москвой множество туннелей и коридоров, подземных ходов и штолен, соединяющих «Фонд» с центрами власти. Если сесть в незаметный лифт, спрятанный в глубине коридора, поместиться в хрустальную капсулу, бесшумно летящую вниз, то окажешься вдруг на подземном перроне, откуда маленькие голубые вагоны с молчаливыми, в военной форме, вожатыми помчат в подземных туннелях, не сливаясь с поездами метро, минуя мрамор, огни, суматошные толпы, причаливая к безымянным подземным станциям. Бесшумные лифты вознесут тебя ввысь, и ты окажешься в кремлевском кабинете с малахитом и мрамором, с президентским трехцветным штандартом. Или выйдешь из лифта и шагнешь в алтарь огромного храма, изукрашенного настенными росписями, с гудящей многоликой толпой, ожидающей выход Святейшего. Патриарх, облаченный в золотые одежды, смотрит в зеркало на солнечное свое отражение, расчесывает седые

мягкие пряди, обрызгивает их французскими благовониями. Медленно подымает перед зеркалом золоченый рукав, легким рокотом пробует голос, готовя его для возгласений. Или, миная охрану, окажешься в кабинете военного министра с огромным глобусом, бюстом Петра, картой театров военных действий.

Москва со своими церквями, дворцами, проспектами, с высотными зданиями и кольцевыми дорогами имеет подземное отражение. Опрокинута вниз остриями и шпилями. Смотрит на себя окаменелым подземным взглядом в зеркало преисподней.

Белосельцеву казалось, что и к нему из «Фонда» запущен тончайший световод, позволяющий наблюдать его всякую секунду. Читать его мысли. Вот и теперь, когда он лежит на диване, смотрит на коллекцию бабочек, на черно-зеленых ураний, пойманных на берегу никарагуанской Рио-Коко, кто-то, улыбаясь, следит за его безумной фантазией.

Зазвонил телефон. Не стоило сомневаться, что это звонит Гречишников, и в первых словах его будет упоминание о бабочках.

— Особенно хороши уранииды из Центральной Америки, когда на них падает неяркий свет московского утра, зажигает на черно-бархатных крыльях изумрудные лампасы. — Гречишников смеялся, зная, какое впечатление произведут на Белосельцева его слова. — Представляю, как ты устал... Как хочется растянуться и подремать на родном диване... Но есть неотложное дело... Приезжай немедленно в «Фонд»... Дело, не терпящее отлагательств. — Похожими на приказ словами Гречишников оборвал разговор.

Разумеется, он никуда не поедет. Не подчинится приказу малопонятного, несимпатичного человека, возомнившего себя начальником Белосельцева. Останется лежать на диване. Забудет обо всем случившемся, уедет на дачу, где станет рассаживать разросшиеся душистые флоксы, подкапывать совком мозолистые клубни георгинов, чешуйчатые луковицы отцветших тюльпанов. Или отправится в Сергиев Посад, где чудесная, с золотой короной, голубыми куполами, святая Лавра, и каменный древний собор, и в бархатном сумраке серебря-

ная рака Преподобного, к которой он прижмется лбом и шепчущими губами, вымаливая прощение за совершенные грехи. Или сядет на вечерний псковский поезд, и наутро — солнечный разлив Великой, хмурый кремль, стена с лопухами, где когда-то находился черный влажный раскоп археологов с остатками гнилых мостовых, горелых истлевших срубов и девушка с зелеными глазами, его милая Аня.

Он знал, что не сядет на псковский поезд, не прижмется губами к серебряной раке, не опустится у заросшей клумбы перед влажными купами флоксов. А встанет и отправится в «Фонд».

Гречишников встретил его прямо на улице, у цоколя Василия Блаженного. Выглядел озабоченным, тревожно смотрел по сторонам — на Лобное место, на Спасские ворота, на мерцающее пространство Красной площади, словно ждал кого-то. Белосельцев рассеяннo всматривался в отдаленную нежно-розовую стену Кремля с остроконечными синими елями. Левее Мавзолея, на узкой четырехгранной колонне, угадывался бюст Сталина с красной капелькой живых цветов. И вдруг — вспышкой в мозгу — мысль. Сталин не зарыт в землю, не превратился в прах, а лишь помещен в подземный, сокрытый от глаз мавзолеей. Лежит под стеклом в саркофаге. В таинственный склеп ведет потайной ход из помещения «Фонда», и при желании можно туда проникнуть.

В знакомом кабинете был накрыт стол на шесть персон. Нарядно мерцал фарфор, вспыхивал хрусталь, в толстых стеклянных подсвечниках горели свечи. В дверях появлялся и исчезал служитель в белых перчатках, молчаливо вопрошая, не пора ли подавать кушанья.

— Я очень на тебя рассчитываю, Виктор Андреевич, хотя понимаю, силы твои на исходе. — Гречишников заглядывал в глаза Белосельцева заискивающе, почти умоляюще. — С твоей помощью мы блестяще завершили два этапа проекта. Провели две операции — «Прокурор» и «Премьер». Их реализация была безукоризненной. При этом противником не были вскрыты планы операций, не были засвечены исполнители. Твой

опыт, отвага, твой оригинальный подход обеспечили победу. Раньше за это награждали Звездой Героя. Теперь, не сомневайся, ты будешь вознагражден по высшему разряду. Акциями, счетами в банках, участием в совете директоров крупных корпораций... — Гречишников торопился ублажить и обнадежить Белосельцева, не оставляя ему пути для отказа.

Белосельцев чутко слушал, стараясь предугадать ход разговора, фигуру умолчания, в которой спрятана бысролетная прозрачная мысль, откуда, как буря, вырвется следующий этап проекта.

Он мысленно опускался в старомодном лифте, сохранившем эстетику послевоенных времен. Плафон, закрепленный в бронзовой раме с маленькими звездочками, скрещенными пушками и снопами колосьев. Тусклое зеркало, в золоченом багете. Стены, обитые натуральной, слегка потертой кожей. Убранство лифта напоминало правительственный пульманский вагон, в котором вождь, уединившись в мягком купе, смотрел на мелькающие русские дали, стремясь из Москвы на Кавказ, поднося к губам прокуренную сладкую трубку...

— Однако теперь, когда состоялся прорыв Избранника и он вплотную приблизился к Истукану, стали сгущаться тучи. Враги опомнились, стремятся к реваншу. Хотят сокрушить Избранника, сбросить его с пьедестала. — Лицо Гречишникова изображало тревогу. — Создается заговор против Избранника. Объединяются посрамленные политики и генералы-неудачники. Группируются либералы, испуганные взлетом Избранника. Собирают на него компромат подкупленные спецслужбы. Иностранные послы шлют в свои столицы тревожные шифрограммы. Стараются настроить против Избранника президентскую Дочь. Нашептывают, наговаривают самому Истукану. И главными заговорщиками оказались Зарецкий и Астрос. Они не достигли своих стратегических целей. Астросу не удалось сделать главой Правительства Мэра. Зарецкий не смог удержать на этом посту безвольного, преданного ему с потрохами Премьера. Оба магната стали врагами Избранника...

Он вышел из лифта и оказался в длинном туннеле, облицованном гранитом и мрамором. Шагал под светильниками

с мягким матовым светом. На стенах были мозаики, изображавшие солдат и матросов, крестьян и рабочих, армады летящих в синеве самолетов, лавины идущих танков. Сверкал огромный, в бриллиантах, «Орден Победы». Сияла многоцветная фреска, изображавшая «Дружбу народов». В туннеле дул мягкий теплый ветер. Под ногами чуть слышно цокал гранит. Его тень возникала и пропадала от лампы к лампе...

— Генерал Суахили, создавая проект, учил — противодействие, по мере продвижения к цели, будет возрастать непомерно. Трудно достичь победы, но труднее стократ ее удержать. Враг станет объединять свои силы, будет наносить вероломные удары. И его следует сокрушить беспощадно. Если враг не сдается, его уничтожают. — Лицо Гречишникова стало жестоким. — Так говорил Суахили. Так поступал Дзержинский. Так завещал нам товарищ Сталин...

Он прошел туннель, пересекая под землей Красную площадь, по которой бродили зеваки, и фиолетовый негр из Ганы в белых носках с наслаждением лизал мороженое. Туннель завершался створками закрытых дверей из темных дубовых досок, обитых медью, с бронзовыми узорными ручками. Над дверями был высечен барельеф с траурно склоненными знаменами и лавровыми венками....

— Мы должны устранить обоих магнатов, которые стали главным препятствием для «Проекта Суахили». Нанесем превентивный удар! — Глаза Гречишникова блеснули. — Нужно помирить Астросу и Зарецкого, соединить их вместе и одновременно обоих прихлопнуть. От них устало общество. Их устранение будет с восторгом встречено народом. Избранник, которому мы припишем славу их устранения, будет воспринят как избавитель. Мы заманим их в ловушку, и они в нее попадут. Ловушка готова. Стол накрыт, пылают свечи. Через несколько минут они будут здесь...

Белосельцев толкнул тяжелые дубовые двери, которые открылись и пахнули на него теплым хлопком тьмы. В смуглом сумраке, на постаменте, накрытый хрустальным колпаком, освещенный красноватым светом, лежал Сталин. Золотые пуговицы мерцали на военном мундире. Желтоватая кисть руки,

выступая из широкого рукава, покоилась на груди. Седые усы были подстрижены и расчесаны. Пепельные волосы аккуратно уложены. В глазных впадинах, где были крепко сомкнуты веки, скопились коричневые тени. Он казался живым, спящим, с телесным цветом смуглых выбритых щек, розоватых, некрепко сжатых губ. В склепе было прохладно, работали неслышные вентиляторы, шла циркуляция воздуха. Приборы поддерживали температуру, давление, влажность. Казалось, лежащий под стеклянным куполом вождь был усыплен, подключен к искусственному дыханию, к искусственному кровообращению...

— Ты согласен помочь?.. — Лицо Гречишникова было утонченным, вдохновенным...

Сталин в стеклянной гробнице был живой. Дремал под легкий шум вентиляторов, в дуновениях прохладного воздуха, слегка освещенный рубиновым ночником. Голова его морщила подушку. Эполеты золотились на праздничном кителе. Наступит момент, когда вспыхнет яркий электрический свет, люди в белых халатах поднимут стеклянный колпак, сделают в желтоватую руку легкий укол. Сталин вздохнет, откроет глаза, начнет подниматься. И на Красную площадь, на гранитный брусок Мавзолея, приветствуя толпы новых, народившихся поколений, шеренги белоснежных спортсменов, колонны рокочущих танков, выйдет вождь, улыбаясь, помахивая рукой. И синее небо наполнится серебром голубиных стай...

Белосельцев очнулся. Накрытый стол. Свечи в стеклянных подсвечниках. Человек с оранжевыми глазами витютеня настойчиво, зло вопрошает:

— Согласен?.. Готов помочь?..

— Согласен, — сказал Белосельцев, — ведь недавно я уже был миротворцем.

Гречишников подошел к окну, рассматривая площадь, стараясь заглянуть за раму:

— Едут! — торжествующе воскликнул, приглашая жестом к окну Белосельцева.

С противоположных направлений, с Васильевского спуска и со стороны ГУМа, к «Фонду» подкатили машины, по две

с обеих сторон. Два тяжеловесных «мерседеса» с фиолетовыми брызгающими мигалками и огромные, с черными окнами, джипы сопровождения, напоминавшие лакированные фургоны. Из фургонов выскочила охрана, здоровяки с бритыми головами, с растопыренными ногами, набрякшие, яростные. Рассредоточились, оставляя секторы обзора, защищая головные машины. Из обоих «мерседесов» почти одновременно вышли Буравков и Копейко. Каждый с поклоном отворил задние дверцы машин, и на свет поднялись Астрос и Зарецкий. Издалека радостно распростерли объятия, двинулись навстречу, обнялись, похлопывая друг друга по спинам. Белосельцеву из окна было видно розово-белое, сияющее лицо Астроса и костлявый, стриженный затылок Зарецкого. Оба вошли в дом, оставив снаружи часть охраны.

Через минуту гости были в кабинете. Шумели подошвами по паркету, потирали руки, оживленно здоровались с Гречишниковым и Белосельцевым.

— Так-так, — приговаривал Астрос, растворяя розовые влажные губы, направляя на горящие свечи и хрустальные бокалы свои выпуклые сияющие глаза, — значит, встреча на нейтральной территории!.. Швейцария, кантон Женева!.. Две враждующие армии объявляют перемирие и садятся за стол переговоров!..

— Блаженны миротворцы, — похихикивал Зарецкий, ласково приобнимая Гречишникову, — ибо они будут наречены Специальными Представителями по урегулированию олигархических споров.

— Только в интересах общего дела, — смущался от похвал Гречишников, — в интересах общей устойчивости и процветания!..

Копейко и Буравков стояли поодаль, после того как сухо, отчужденно пожали друг другу руки, демонстрируя неисчезающую враждебность и предубежденность. Как и следовало руководителям службы безопасности двух враждующих олигархов, чье соперничество приобрело характер беспощадной войны. Копейко и Буравков каждый достали из карманов электронные приборчики, поводили ими по потолку и по стенам,

убеждаясь, что комната экранирована от подслушивания, что в ней отсутствуют укрытые микрофоны.

— Прошу к столу, господа! — жестом добродушного московского барина пригласил Гречишников. На его едва заметный кивок быстро и грациозно вошли служители. Несли французские и итальянские вина, серебряные супницы и салатницы. Замелькали салфетки, малиновые сюртуки, упало в хрустальные рюмки черно-красное вино.

Расселись так, как рассаживаются за столом переговоров. Астрос и Зарецкий сели визави. По правую руку от каждого поместились Буравков и Копейко. В торцах стола заняли места Гречишников и Белосельцев, причем Гречишников так поставил перед собой подсвечники, салатницы, блюда с закусками, что обозначил свою роль председателя, подкрепляя ее первым тостом.

— Достопочтенные господа! — поднялся он, держа тяжелый рубиновый бокал, скомкав сильным кулаком крахмальную салфетку. — Мой друг и я, — он взглядом указал на Белосельцева, — мы оба благодарны за то, что вы откликнулись на наше приглашение, поверили нам, оценив наше бескорыстие и наше стремление исходить из интересов общества, страны в целом, оберегая ее хрупкий политический выбор, делая все, чтобы хаос, злая воля и бессмысленное соперничество не уничтожили первые робкие плоды развития...

Оба магната одинаково склонили головы, вслушиваясь в интонации сказанного, словно старались различить фальшивую ноту.

— Мы прекрасно понимаем уровень ваших разногласий, разброс ваших интересов, различие ваших темпераментов и талантов, позволивших вам создать могущественные и процветающие корпорации, по праву именуемые империями. Каждая по-своему, они являются локомотивами нашего развития, образцами экономического, политического и личностного поведения...

Астрос и Зарецкий почти одновременно коснулись пальцами носов.

— Однако приходят времена, когда разногласия должны уступить место координации и договоренностям, распря дол-

жна ознаменоваться союзом, безудержное расходование сил должно смениться соединением усилий и складыванием возможностей. Такие времена наступили. Стремительное и во многом необъяснимое восхождение известной вам персоны внушает массу тревог. Ставит множество острых вопросов. Обсуждение этих вопросов мы бы смогли совместить с необременительным ужином, на котором я от имени руководства «Фонда» имею честь вас приветствовать! — Он чокнулся с Астросом и Зарецким, поклонился остальным, напоминая осанкой и благородством английского лорда, принимающего друзей в фамильном замке.

Некоторое время Астрос и Зарецкий с аппетитом ели, запивая вкусную еду большими глотками вина. Буравков и Копейко, как верные стражи, едва притронулись к бокалам, пренебрегая едой. Исподлобья, настороженно посматривали друг на друга, готовые схватиться насмерть, если над их хозяевами нависнет опасность.

— Как я понимаю, вы нам предлагаете заключить «пакт о ненападении». — Астрос дожевывал аппетитный кусок, обращаясь к Гречишникову. — Но ведь мы неоднократно его заключали. И видит бог, не я его нарушал. Не я посылал свои дивизии через демилитаризованную зону и совершал акт внезапной агрессии!

— Разве я? — Болезненное желтоватое лицо Зарецкого выразило высшую степень недоумения, а узкие плечи изумленно подскочили. — О моем миролюбии рассказывают анекдоты. Я предпочитаю потерять, но не развязывать войн. Россия так велика, в ней столько неосвоенных богатств, неиспользованных возможностей. Деньги можно делать прямо из воздуха. И если у тебя голова на плечах, ты всегда найдешь свою жилу, не влезая в огород к конкуренту. Сделай шаг за пределы Садового кольца и найди свое счастье!

— Ты нашел свое счастье внутри Кремлевской стены. — Голубые глаза Астроса хохотали, но в их водянистой глубине мерцала темная синь стального сердечника. — Говорят, ты настолько пользуешься расположением Дочери, что она допускает тебя к утреннему туалету. Ты знаешь марку туалетной

воды, которой она освежает себя. Говорят, будто ты овладел искусством педикюра, для чего специально прошел курс во Франции.

— Татьяна Борисовна находит меня более привлекательным, чем тебя, — мелко засмеялся Зарецкий. Его продолговатая лысеющая голова, покрытая темными волосяными волокнами, дергалась на тонкой шее, и весь он был худосочный, вымороченный и жалкий, если бы не страстные, умные глаза.

— Не сомневаюсь, что внешность твоя обманчива и ты обладаешь какими-то внутренними несравненными достоинствами, без которых не может обходиться Дочь, — язвительно, с превосходством баловня и красавца заметил Астрос. — Иначе как объяснить ее действия, благодаря которым меня оттеснили от аукциона и к тебе за бесценок перешла львиная доля коммуникационных технологий? Чем таким особенным, невидимым сквозь одежду, мог ты ее пленить, если она через МИД заблокировала для меня аренду американского спутника, и я на целый год опоздал с развертыванием телевещания на Сибирь. И разве не ты науськал ее папашу, который сместил моего друга министра финансов, в результате чего мои банки и мои корпорации были поставлены на грань банкротства. И теперь мне предлагают заключить очередной мир «на вечные времена»!

— Будем справедливы, — взволновался Зарецкий. — Кто после неудачного для тебя аукциона взорвал бомбу под моим «мерседесом» и я, чудом уцелев, держал на коленях оторванную голову моего шофера? Кто после провала твоей аферы с американским спутником застрелил телеведущего моей главной программы, после чего к тебе перешел основной поток дорогостоящей телерекламы? Кто после отставки коррумпированного министра финансов развернул в российских, израильских и американских газетах травлю на меня? Поэтому у меня еще меньше резонов серьезно воспринимать пальму мира, которой ты маскируешь позиции своих информационных пушек.

Они сидели напротив друг друга, ненавидящие, ожесточенные, и выражение их лиц, казалось, исключало всякую возможность согласия.

Гречишников все это время молчал. Не мешал разгоравшейся распре, позволяя скопившейся неприязни выступить на поверхность.

— Господа, ваши противоречия, которые многих пугают, на деле являются формой состязания двух блистательных людей, чьими свершениями по праву может гордиться Россия. Из этого состязания, несмотря на его острые формы, рождается вид экономики, тип общества, стиль политики, способные выдержать самое страшное давление времени. Вы оба и каждый в отдельности являете пример для талантливых и отважных людей, стремящихся к обновлению нашей Родины, для которой апатия, вялость, энтропия — самое большое зло, грозящее ей вырождением. — Гречишников говорил деликатно, но властно, как судья, устанавливающий для спортивных команд правила игры. — Настало время прекратить азартное состязание и сложить усилия. Ибо угроза, которая надвинулась на наши ценности, столь велика, что в ближайшее время, если мы хотим уцелеть, от нас потребуется величайшая концентрация усилий.

Магнаты, еще минуту назад кипящие, вытапливающие из себя глубинную жаркую ненависть, теперь остыли. Внимательно слушали Гречишникова.

— Миф о «русском фашизме», которым пугали робких интеллигентов, управляя их поведением, то и дело показывая свастику на флаге и рукаве баркашовца, демонстрируя дюжих молодцов с бритыми головами и вытянутой рукой, этот миф стал стремительно реализовываться. Головокружительный взлет известного лица завершится тем, что из рук престарелого Президента, как Гитлер из рук Гинденбурга, он получит всю полноту власти в России, и народ на руках внесет его в Кремль. Уже сегодня, после разгрома дагестанского мятежа, люди восторженно говорят о нем. Генералы требуют вторжения в Чечню, связывая с ним идею военного реванша. В узком кругу он высказывается в духе ненависти ко всем инородцам, от которых, по его словам, стало невозможно дышать русскому человеку. Есть сведения, что, став Президентом, получив в наследие огромные, трудно разрешимые проблемы, он займется пре-

следованиями. Чтобы поддержать репутацию народного лидера и вождя, начнет гонения на крупных бизнесменов и банкиров, среди которых, как вы знаете, большинство евреев. Нам стало известно, что существует список тех, кому уготовано преследование: суды, высылка за рубеж, конфискация состояний, тюрьма. В этом списке вы, господа, стоите на первом месте.....

Белосельцев смотрел на магнатов и видел, как они напуганы. Он поражался беспронимательному приему, которым пользовался Гречишников, устанавливая свою власть над ними, взывая к древнему инстинкту «гонимого еврея», пробуждая в них смесь реликтового ужаса и ярости, которые делали их психику беззащитной и управляемой.

— Нам представляется, что силы, продвигающие этого человека в Кремль, принадлежат к полумифическому, глубоко законспирированному «Русскому ордену», созданному Сталиным накануне войны в предощущении великих испытаний, в качестве закрытой надпартийной силы, в задачу которой входило преобразование коммунистической интернациональной империи в русскую великодержавную монархию со всеми атрибутами традиционной царской России. Смерть Сталина, приход Хрущева, развернувшего совсем иную, антисталинскую политику, оставили «Русский орден» в глубоком подполье, что позволило ему пережить «перестройку» и крах коммунизма. Теперь, когда российское общество предельно ослаблено, этот «Орден» выходит на поверхность, выдвигает своего представителя. Они называют его Избранником. Именно это и заставило нас пригласить в «Фонд» вас, самых талантливых и дееспособных представителей новой России, чтобы побудить вас объединиться, сообща поставить заслон на его пути.

Гречишников умолк, твердый, суровый, давая время сказанному погрузиться в побледневшие лица магнатов. И эти лица казались теперь двумя одинаковыми белыми чашами, заполненными прозрачным огненным страхом.

Белосельцев понимал, что ловушка искусно поставлена, в нее вел один-единственный ход, и два драгоценных пушных зверя, гонимые страхом, должны в нее угодить.

— Я чувствовал, что его кто-то опекает и двигает. — Зарецкий мучительно думал, и эта мука сморщила его желтый лоб. — Когда я общался с ним, руководил его действиями, мне всегда казалось, что он пропускает сквозь себя мои наставления, как стекло пропускает свет. Наша комбинация с Дагестаном казалась безупречной, должна была резко усилить Премьера, обеспечить ему роль преемника. По моим наущениям Дочь постоянно беседовала с Истуканом, внушала ему мои мысли. Но, должно быть, утратила влияние на отца. Кто-то неизвестный работает с Истуканом, влияет на его раскисшие больные мозги. Переигрывает нас. Эта ужасная сцена в театре, когда публично был уничтожен Премьер, — кто там скрывался в туманной глубине ложи? Нам нужно выяснить, какая сила двигает этого Избранника. ФСБ, или ГРУ, или Церковь, или этот мифический «Русский орден», в который я никогда не верил. Но теперь я готов поверить хоть в черта.

— Я не терял времени даром. — Астрос справился с парализующим страхом. В щеки ему снова брызнул брусничный цвет, означавший, что кусок синего льда под сердцем растаял, и деятельная, насыщенная адреналином кровь снова питала неутомимый на выдумки ум. — Мои люди навели о нем справки. — Астрос взглянул на Буравкова. — Нам известно, что он русский, его родственники были приближены к Сталину самым тесным, неформальным образом. Тихий и скромный нравом, он всегда демонстрировал блестящие успехи в учении. Увлекался литературой, историей, государственным правом. Изучал культуру Германии, и в его студенческом общежитии висела гравюра Дюрера и фотография самолета «Хенкель-111». Подвизался во внешней разведке на германском направлении. Часто выезжал в Берлин и Мюнхен, где вполне мог познакомиться с основами и атмосферой гитлеризма. Русские германофилы начала века, именовавшие себя евразийцами, эмигрировали в Германию и создали для Гитлера теорию национал-социализма. В Западной группе войск, в Вюнсдорфе, он вполне мог встречаться с представителями советской военной разведки, известными своими русофильскими взглядами, озабоченными близким крахом СССР. Там же, как полагают, он сошелся с коммер-

сантами, занимавшимися распродажей имущества уходящей из Германии армии. Те помогли ему внедриться в круги либеральных политиков. После августовского путча он стал приближенным нашего известнейшего петербуржца, прозванного в народе Граммофончиком. Именно Граммофончик дал ему начальный политический старт. Это все, что нам пока удалось выяснить, но сбор информации продолжается. — Астрос снова многозначительно посмотрел на тяжеловесного Буравкова, который молчал, напоминая наглухо запертый сейф.

— Мы должны остановить этого человека, иначе он остановит нас, — задрожал Зарецкий. — Что может предложить наша безопасность? — Он требовательно, раздраженно взглянул на Копейко. — Говорят, он увлекается горными лыжами? Ну так заминируйте трассу, по которой он совершает спуск! Если он любит рыбалку, запустите в озеро боевого пловца, и пусть тот выстрелит из-под воды. Это правда, что его близкий родственник был личным поваром Сталина? Ну так киньте ему в бульон таблетку с ядом в память о гастрономическом искусстве родственника!

— Есть блестящая мысль! — Астрос привскочил. — Граммофончик — вот кто нам поможет! Когда он занял место Премьера, Граммофончик тут же пришел к нему и по старой дружбе стал просить место министра юстиции. И получил отказ. Он страшно зол на Избранника. Ходит повсюду и рассказывает «чернуху» о его деятельности в период их совместной работы. Надо сблизиться с Граммофончиком, пообещать ему пост министра юстиции, а взамен потребовать, чтобы он слил компромат на Избранника. Что-нибудь про финансовые аферы в Петербурге. Или о валютных счетах в Финляндии. Или о контрабанде цветных металлов в Латвию. Или про оргии на Карельском перешейке. Или про связь с заказным убийством! — Было видно, что Астросу посетило вдохновение. — В моей программе «Куклы» несколько сюжетов будут посвящены Избраннику. Его кукла станет торговать наркотиками, убивать из снайперской винтовки, ползти через границу, пронося сумку с долларами, посещать римские термы и вместе с матронами участвовать в оргиях. Я знаю, через месяц Мэр устраивает шумный праздник. Презентацию моста, который он передвинул вдоль Мос-

квы-реки и превратил в висячий «Мост Семирамиды». Там будет весь цвет Москвы. Будет Истукан, Дочь и, конечно, этот самый Избранник. Мы пригласим туда телевидение. Граммофончик при всех, перед десятком телекамер, озвучит компромат на него. И это будет скандальный конец Избранника. Конец «Русского ордена»! — Астрос в изнеможении упал на стул. Ангел-хранитель налил ему полный бокал вина, и Астрос жадно выпил.

Все были поражены проектом Астроса. Молча ели и пили, вместе с пищей переваривая предложенный план.

— Ну а какова Дочь, сука вероломная! — ощерился Зарецкий. — Божилась, что поддержит Премьера, а сама за моей спиной снюхалась с этим! Неблагодарная сука! И это после всего, что я для нее сделал!

— Мне показывали виллу в Австрийских Альпах, которую ты для нее построил, — похохатывал Астрос, торжествуя над соперником, который уступил ему в изобретательности и коварстве. — Говорят, вы уже побывали там вместе? И как прошел ваш медовый месяц?

— Терпел ее свиную похоть, от которой содрогались Альпы.

— Когда ей особенно хорошо, она хватает тебя за ягодицы и старается разорвать надвое.

— Похотливая сука, ей мало двоих и троих, а нужен гарем мужчин!

— В самые острые, сладострастные минуты она начинает материться, как дворничиха.

— В постели ей нужны штангисты и тяжелоатлеты. А еще лучше танкисты и бульдозеристы вместе с гусеничными машинами.

— У нее на правом бедре родимое пятно, напоминающее дубовый листок.

— Да ладно притворяться ясновидящим. Твои с ней похождения хорошо известны. У меня есть фотография виллы, которую ты ей построил в Ницце, — огрызнулся Зарецкий.

— Я вовремя опомнился. Быть ее любовником — слишком большая плата за акции коммуникационных корпораций. Теперь, надеюсь, и к тебе пришло отрезвление.

— Сука продажная, — зло повторил Зарецкий.

Белосельцев понимал, что ловушка захлопнулась. Два магната, как разноцветные, с изумрудными и золотыми зобами фазаны, вошли под незримую сеть. Вся хула, которую они возводили на Дочь, все угрозы уничтожить Избранника были тщательно записаны Гречишниковым и в нужный момент послужат их истреблению.

Зарецкий, нервный и злой, крутился на стуле.

— Надо избавиться от Истукана. Старый идиот спятил. Его прокисшими мозгами управляют наши враги. Неизвестно, что взбредет на ум параноику. Мы должны объединиться вокруг Мэра и сделать его Президентом. Передай ему, Астрос, я предлагаю ему мою дружбу и всю полноту поддержки. А этого трухлявого Истукана мы опрокинем. Народ, как Перуна, кинет его в реку. Пусть посмертно, но его будут судить. За расстрел Парламента, за развал СССР, за чеченскую войну, за разорение великой державы. Уж мы позаботимся, чтобы суд был открытым и честным!

Они еще недолго сидели и поднялись, условившись действовать сообща, — в ближайшие дни навестить Граммофончика.

Подойдя к окну, Белосельцев видел, как Астрос и Зарецкий выходили из подъезда. Обнимались на прощанье. Расходились каждый к своей машине. Буравков и Копейко усаживали их в салоны. Охрана, озираясь, ожидая внезапного нападения, пятилась, грузилась в черные лакированные фургоны. Разбрасывая фиолетовые брызги, машины устремились в разные стороны — к Васильевскому спуску и к ГУМу, оставив легкую гарь над металлической пустотой брусчатки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Гречишников вернулся строгий, деятельный, дорожащий каждой минутой. Нажатием кнопки вызвал молодого человека, ведающего электронным прослушиванием.

— Подготовьте мне аудиокассету в оговоренном формате. Фрагменты, касающиеся устранения первых лиц государства.

Части, где речь идет о родственниках Президента. Приложите к ней дагестанскую кассету, где записаны переговоры с Басаевым, план по раскручиванию конфликта. Материалы нужны через десять минут.

Молодой человек, молча кивнув, исчез, а Гречишников снял телефонную трубку с одного из аппаратов, лишенных циферблата, и, сменив металлические начальствующие интонации на бархатные дружеские, произнес:

— Это снова я... Ну как, шеф свободен?... Срочная встреча... Ну и хорошо, что плавает, вода уменьшает вес тела, придает легкость проблемам... Передай, что я буду через двадцать минут, — положил трубку, задумался, забыв о Белосельцеве, беззвучно шевеля губами, словно репетировал предстоящую речь. Поднял на Белосельцева умные, спокойные глаза, в которых не было ни азарта, ни страсти, а лишь уверенность в незыблемости и безукоризненности предпринимаемых действий. — Едем к Избраннику. Мы должны получить санкцию на устранение олигархов.

Белосельцев вдруг взволновался, растерялся — до сердечных перебоев, до жаркого, пробежавшего по телу озноба. Он сейчас увидит Избранника, того, ради кого все это время совершал несправедливые деяния, лукавил, вводил в заблуждение, губил репутации, рисковал своей и чужой жизнью. Голый Прокурор, стенающий от похоти. Отрезанная, со слипшимися усами, голова Шептуна. Алюминиевый кейс, набитый фальшивыми долларами. Огонь артиллерии, сметающей дагестанские села. Кусты и деревья в саду, увешанные разорванными телами. Сгоревший танкист, торчащий из люка, с обугленной костью руки. Премьер, потный, несчастный, изгоняемый из золоченой ложи. И все для того, чтобы Избранник взойшел на вершину власти.

Сейчас он его увидит и должен будет непременно спросить о многом. С его ли ведома осуществляется «Проект Суахили»? Знает ли он о страшной цене своего восхождения? Сам ли он осуществляет «Проект», прорубая в Кремль коридор? Любит ли он свой народ, свою попранную несчастную Родину, ради которых приносит жертвы, пренебрегает житейской

моралью, стремясь во власть с одной-единственной целью — спасти государство?

Белосельцев волновался, чувствуя, что не готов к этой встрече, и страстно ее желая.

— Ты каждый раз приглашаешь меня с собой, — спросил он Гречишникова, — в этом есть необходимость?

— Я делаю это в наших общих интересах, — важно заметил Гречишников. — Твое лицо должны знать. Ты должен быть принят в политической элите. Недалек час, когда нам потребуются много подготовленных, надежных людей. Ты один из них. Придя к власти, мы обновим кадровый состав государственных институтов, сформируем несколько новых управляющих органов. Ты можешь возглавить один из них. Например, Совет безопасности, разрабатывающий стратегию развития. Или Госсовет, объединяющий элиты и партии. Ты очень много сделал и сделаешь еще больше. Мы тебе верим и очень тебе благодарны.

Они проехали через переполненный машинами Центр, сквозь столпотворение раскаленного города, вдыхая гарь и злобоние, и очутились в закрытом спортивном комплексе, напоминающем искусственное поселение, накрытое стеклянными колпаками и сферами, прохладное, свежее и цветущее — среди ядовитой, непригодной для жизни планеты.

Они двигались сквозь посты охраны, прозрачные, бесшумно открывавшиеся двери, мимо пустых, изумрудно-розовых кортов, белоснежных спортивных залов, безлюдных, подстриженных, как газоны, футбольных полей. Людей не было видно, и их отсутствие лишь усиливало стерильную красоту расчерченного пространства.

Достигли бассейна, напоминавшего перламутровую раковину. В нем одиноко двигался пловец, плавным кролем подымая стеклянный бурун. Достиг кафельной стенки, сделал булькающий кувырок и поплыл брассом, упругими толчками продвигаясь в голубой воде, в которую погружались снопы золотистых лучей. Удалялся, достигая дальней стенки, снова совершил кувырок и шумно, подымая ворохи брызг, поплыл

баттерфляем, превратившись в сверкающую прозрачную бабочку, несущуюся над водой. Сбросил стеклянные крылья и снова поплыл кролем — мягко, сильно, временами обнажая спину, скользя в растревоженной воде.

— Он прекрасный пловец, — любясь Избранником, произнес Гречишников.

Избранник остановился у кафельной стенки. Поднял на пришедших мокрое синеглазое лицо. Улыбнулся. Мелко переступая в воде, приблизился к хромированным поручням. Ухватившись за зеркальный металл, наступая гибкой стопой на поперечины, вышел из бассейна, маленький, гибкий, точеный, с пропорциональными мышцами рук и ног. Подошел, оставляя на темных плитках мокрые отпечатки. Стоял, гладкий, блестящий, чуть улыбаясь, и у него под ногами натекала лужица от падающих капель.

— Опасность, о которой мы в прошлый раз упоминали, обозначилась в полной мере. — Гречишников начал говорить без приветствия, без рукопожатия, цenia драгоценное время, продолжая недавний, незавершенный разговор. — Все, что происходит, можно без преувеличения назвать заговором. Против вас объединяются олигархи, губернаторы, коррумпированные генералы и представители спецслужб, тележурналисты, чеченская диаспора. Президенту, который мнителен и восприимчив к наветам, начинают внушать, что его выбор, касающийся вашего назначения, стратегическая ошибка, причем эти суждения доводятся до него в том числе и от имени иностранных послов. В центре заговора стоят Зарецкий и Астрос, с их финансовым и информационным ресурсом, влиянием на Дочь Президента, способностью осуществлять молниеносные политические комбинации. Я пришел просить вашей санкции на их устранение. Есть материалы, свидетельствующие об их криминальных связях, о незаконных аферах с нефтью и алмазами, с отмыванием денег, а также об их контактах с Басаевым в канун недавних дагестанских событий, что может быть квалифицировано как государственная измена. Прошу дать указания Прокуратуре возбудить уголовное дело и взять обоих под стражу. Промедление чревато сры-

вом наших стратегических замыслов, крушением всего долговременного плана.

Белосельцев рассматривал стоящего перед ним Избранника, его влажную кожу, гибкие тонкие мышцы, золотистые волоски, покрывавшие ноги, розовый пигмент отвердевших сосков.

— Вода прекрасная, — тихо сказал Избранник, оглядываясь на бассейн, в котором еще сохранялось слабое колыхание не успевших успокоиться вод.

— Если показать Президенту и Дочери записи их разговоров, где они вынашивают план отстранения Президента от должности, суд над ним за его должностные преступления, как это было сделано с южнокорейским Президентом Ро Де У, если показать Дочери те пакости, которые они о ней распространяют, мы добьемся согласия на их устранение. И тогда вы, несомненно, станете самым близким к Президенту лицом, и он, изнуренный неизлечимой болезнью, не дожидаясь истечения полномочий, передаст их вам.

— Я был вчера в Барвихе, беседовал с Президентом. Странно, там, в Барвихе, уже осень, деревья начинают желтеть. Мы сидели с Президентом под высокой липой, и к нему на плечо упал желтый лист.

Белосельцев смотрел на гибкое ладное тело, и странная мысль не покидала его. Перед ним находился не человек, а дельфин, принявший обличие человека, появившийся среди людского ожесточения, безумия, погружавших жизнь в крошечную тьму. Эта мысль казалась правдоподобной. Дельфин в человеческом обличии был посланцем иного, совершенного мира.

— С помощью оперативных мероприятий выявлены преступные намерения Астроса и Зарецкого подготовить террористические акты против вас лично. Они готовы использовать взрывы, яд, снайперские засады. — Гречишников, получая на свои грозные сообщения отрешенные, ничего не значащие ответы, казалось, был вполне удовлетворен замечаниями Избранника. — Особая роль отводится вашему прежнему патрону по Петербургу. Он должен будет перед телекамерами вбросить на вас компромат, подорвать вашу репутацию в глазах об-

щественности и Президента. Все это побуждает нас действовать немедленно и решительно. Полагаю, вы одобрите наши методы и нашу тактику.

— В шахматах меня всегда привлекало соотношение логики и фатума. Победа возможна в малом зазоре неопределенности, пролегающем между логическими действиями и фатальной неизбежностью. Мне нравились наши с вами партии в том тихом итальянском отеле. — Избранник спокойно и задумчиво смотрел на Гречишникова.

Белосельцев видел туманное облачко света, прикрывавшее переносицу, рыжеватые брови, часть влажного лба. Ему хотелось задать Избраннику свои роковые вопросы. Обнаружить под мнимой внешностью истинную сущность. Но зайчик света играл, дробился, расщеплялся на цветные лучи, и каждый луч улетал в свою сторону, рассыпал и разбрасывал изображение говорившего. И было неясно, где его истинное обличие, и есть ли оно вообще, и не является ли стоящий перед ним человек голографической картинкой.

— Благодарю за поддержку, — произнес Гречишников, почтительно кланяясь. — Мы будем вас информировать.

Избранник тихо улыбнулся — не Гречишникову, а ему, Белосельцеву, посылая тайный знак симпатии. Подошел к краю бассейна и кинулся в воду. Вонзился в нее почти без плеска и скользил в глубине, среди серебряных пузырей. Вынырнул далеко и поплыл — то ли дельфин, то ли пловец, то ли отблеск бледного солнца.

Их «мерседес» вырвался из вязкого Садового кольца, где машины прилипли к клейкому асфальту, словно мухи. Перелетели мост через Москву-реку, оставив за спиной гаснущее здание МИДа. Миновали часовню Киевского вокзала с толпищем рынка, где самостийная Украина, верная заветам Мазепы и Бендеры, сбывала москалям национальное сало. Кутузовский проспект казался натертым маслом, и все машины скользили юзом в жидком солнце, чудом не ударяя друг в друга. Триумфальная арка выглядела как большой камин. Поклонная гора вонзала в небо острую злую иглу, на которой шевелил

лапками пронзенный крылатый жук. «Мерседес» отслоился от потока машин, скользнул в узкий желоб Рублевского шоссе и мчался теперь мимо Крылатского, где, похожий на ядерный могильник, притаился известный дом, в котором жили опальные придворные, и среди них — разжалованный охранник, кусавший своего господина.

— Куда мы едем? — спросил Белосельцев.

— К Дочери. Она ждет, — ответил Гречишников задумчиво, свесив на грудь тяжелую лобастую голову.

Молчаливый шофер «мерседеса» то и дело отвечал на приветствия постовых, кивая клетчатой кепкой, прикладывая к козырьку руку в перчатке. Эту машину знали, ее почитали. Весть о ней беззвучно неслась вдоль тенистого голубого шоссе.

Их впустили в узорные стальные ворота, и машина зашуршала плотными шинами по розовой чистой дорожке, по ухоженной аллее, в глубине которой светился желто-белый дворец. Стекла его были умыты, нарядно сверкали. Огромная пышная клумба благоухала цветами. Дюжий садовник осторожными движениями каратиста поливал из шланга кусты роз. Другой служитель, напоминавший бойца спецназа, невдалеке подметал тропинку, на которой не было ни соринки. Привратник, любезный и молчаливый, с трудом сгибая в поклоне мускулистую шею, гостеприимно приглашал к открытым дверям мощной рукой без боксерской перчатки. Ввел их в светлый, благоухающий дом, наполненный чистым солнцем, со множеством красивых предметов, фарфоровых и хрустальных ваз, куда со вкусом были поставлены живые букеты.

Первый этаж состоял из удалявшихся комнат, одна из которых была гостиной с удобными диванами и креслами, а другая — столовой с длинным, под кремовой скатертью столом, с пустыми тарелками и хрусталями.

Со второго этажа по лестнице шла хозяйка, в розовом открытом сарафане, медлительная, величавая.

— Господа, вы просили принять вас... Чувствуйте себя как дома. — Она милостиво протянула руку Гречишникову. Тот с поклоном, как царедворец, припал губами к пухлым шевелящимся пальцам, поцеловал золотой перстень с крупным

изумрудом. Белосельцев пожал протянутую ему руку, и она была теплой, мягкой, источала благовония.

— Вы должны меня извинить. Мне предстоят несколько телефонных звонков. Я их завершу и буду в вашем распоряжении... Пойдемте наверх, в библиотеку... Вы не будете мне мешать. — Дочь повернулась, стала подниматься вверх, переставляя по ступенькам легкие босоножки. Белосельцев видел ее крепкие, с налитыми икрами ноги, розовые, ухоженные пятки, отлипавшие от босоножек.

Она провела их через просторную картинную галерею, увешанную произведениями московского авангарда. Плотное, от пола до потолка, висели фантастические букеты, эротические композиции, магические знаки, зодиакальные звери, радужные абстракции, затейливые поп-арты. Белосельцев, от случая к случаю посещавший модные вернисажи, узнавал именитых художников.

Дверь в спальню была приоткрыта, и в глаза бросилась обширная голубая кровать, пышная, с розовыми подушками, шелковым покрывалом. Обилие зеркал повторяло убранство спальни, отражало подушки и покрывало в потолке. Тяжелые гардины, державшиеся на шелковых шнурах, были готовы упасть и погрузить комнату в таинственный сумрак.

Хозяйка ввела их в библиотеку с застекленными шкафами, где было много старинных, с тисненными корешками книг, красивых альбомов Босха, Пикассо, Марка Шагала. На шкафах стояли амфоры и бюсты греческих философов. А на стене, над удобным диваном, висел портрет хозяйки, тот самый, что был подарен в Кремле Художником, где Дочь, похожая на императрицу, была изображена в бархатном синем платье, в бриллиантах, с высокой прической, на которой, казалось, виднелась маленькая алмазная корона.

— Прошу садиться, — указала Дочь на диван под портретом. — Что-нибудь выпить? Водка, виски, вино?

— За ваше здоровье — только терпкое красное вино, — церемонно ответил Гречишников, и было видно, что хозяйке понравился его ответ. Служитель принес бокалы, бутылку французского вина, вазу с фруктами. Сама же хозяйка устроилась

в кресле, положив ногу на ногу, не стараясь их слишком прикрыть. Повесила на кончики пальцев белую легкую босоножку. Приложила к уху маленькую удобную трубку.

Белосельцев мог хорошо рассмотреть властительницу. Дочь была на последнем излете молодости, когда свежесть кожи, стройность стана, мелодичность голоса приходилось поддерживать тщательным уходом, упражнениями, покроем туалетов, девической манерой говорить и держаться. Но во всем ее облике уже проступала неодолимая тяжеловесность, одутловатость лица, голубизна набухших сосудов, желтизна увядающей кожи, грузность бедер, не скрываемая девичьим сарафаном. Движения рук были сильны и властны, словно она с их помощью не только расставляла столовые сервизы или брала телефонные трубки, но и двигала полки, направляла эшелоны, меняла кабинеты министров. Подбородок, мясистый и выпуклый, говорил о надменности, унаследовал черты отцовского неукротимого честолюбия и яростного, напролом, движения к цели. Губы — плотоядны, чуть вывернуты, готовые вкушать, целовать, изрекать любезности, продуманные умные сентенции, которые в минуту гнева могли смениться яростным площадным выражением, оскорбительной насмешкой. Ноздри, розовые от солнца, были чувственны, вдыхали воздух так, словно искали в нем источник наслаждения — душистый букет, или вкусное блюдо, или запах духов, или отдаленное веяние мужского табака.

Белосельцев мысленно писал ее портрет — не тот, витринный, царственный, в синем бархате, который должен был обмануть и польстить, но тот, что был важен разведчику, обнаруживал уязвимые места в психологии, сквозь которые можно было прорваться и овладеть личностью. Гречишников, давно нарисовавший такой портрет, теперь лишь осторожно сличал его с подлинником.

Дочь сжимала трубку в сильном волевом кулаке и раздраженно, зло выговаривала невидимому собеседнику, который, по-видимому, был руководителем одного из телеканалов.

— Вы снова, в нарушение моих указаний, показали Президента так, как его могут показывать только лютые враги...

А я вам говорю, что такие показы лишь усиливают слухи о недееспособности Президента, о его неизлечимой болезни... Я хочу знать, из какой кассы вы получаете деньги за работу? Может быть, вам приносят тайный конверт от Зюганова?.. Вы слушайте, что я вам говорю... Если вы не обладаете достаточным профессионализмом, мы легко подыщем другого руководителя, который был бы не чужд профессиональной этике и чувству личной признательности. В последний раз прощаю вам этот промах, граничащий с должностным преступлением... — Она прекратила разговор, оставив по ту сторону телефонного провода раздавленного, оскорбленного директора.

Следующий разговор велся ею в доверительных настойчивых интонациях, в которых сквозила едва скрываемая ирония, какая звучит в голосе доброжелательного человека, разговаривающего с ребенком или с почтенным, близким к слабоумию стариком.

— Мне кажется, на должность Уральского военного округа нам с вами не найти лучшей кандидатуры... Это тыловой округ, пусть боевой генерал отдохнет после ратных трудов на Кавказе... К тому же он опытный хозяйственник и строитель... Надо учитывать, что это округ, который особенно дорог Президенту, и фигура командующего, разумеется, с ним оговаривалась... Когда генерал вчера приезжал к нам на дачу, он прекрасно о вас отзывался... В вашем споре с Начальником Генерального штаба он, безусловно, на вашей стороне... Давайте утвердим его кандидатуру, а я, в свою очередь, обещаю поговорить с вице-премьером об увеличении вертолетного военного заказа.... Вот и спасибо... Низко вам кланяюсь... — Она торжествующе улыбалась, поигрывая умолкнувшей трубкой. А в обширном кабинете на Арбатской площади грузный, с розовой лысиной Министр обороны обескураженно сел в мягкое кресло. Потребовал у порученца стакан воды, чтобы запить гипертонические таблетки.

Третий разговор велся ею в игривой манере, белая босоножка трепетала на кончиках пальцев.

— Нет ничего, что бы я для тебя не сделала, мой дорогой, но здесь пойдی мне навстречу, хоть единственный раз.... Я не

настаиваю, я нежно прошу... Ничем мне эта персона не дорога, а просто симпатична... Я увлеклась его текстами, способствовала изданию его книги... Уверяю тебя, он вполне заслужил не только большой гонорар, но и престижную премию... К тому же он единственный русский в этой компании... Мы же должны признать, что русская литература делается хотя бы отчасти русскими... Ты прав, я действую не столько логикой, сколько обаянием... Согласна, как-нибудь поужинаем, если у тебя нет более привлекательного общества, чем мое... Целую, родной... — Босоножка упала, и она не спешила ее надевать.

Тон следующего разговора был холодно-сдержанный, с соблюдением дистанции, как если бы ее собеседником был начальник протокола.

— Не торопитесь отвечать на приглашение Мэра... Пусть понервничает... Я не верю в искренность его заявлений... Однажды изменивший прячет эту измену глубоко в своем вероломном сердце... Дайте ему понять, что мое присутствие возможно лишь в случае, если все торжество пройдет под знаком уважения к Президенту... Ему лучше знать, каким образом... Пусть назовет свой новый мост Президентским... Или пусть прикажет своему присяжному певцу, которого, кажется, опять не пустили в Америку, сославшись на то, что он то ли наркоторговец, то ли карточный шулер, — пусть прикажет ему исполнить песню во славу Президента... Если все эти условия будут соблюдены, я, быть может, приду... Но ответ дадим в самый последний момент....

Белосельцев наблюдал и слушал, понимая, что сквозь эту маленькую телефонную трубку стремится множество личных и государственных интересов, адресованных больному всевластному Президенту, и каждый из этих интересов тщательно исследуется, оценивается, отбраковывается этой молодой умной женщиной, влияющей на судьбу государства, стоящей на страже фамильной власти. И внезапная на этой даче художественная ассоциация — картина Сурикова, на которой царевна Софья, заточенная в монастырь, презрительно и зло глядит сквозь решетку, и на этой решетке качается повешенный стрелец.

— Ну вот, наконец, слава богу, сеанс связи закончен. Теперь я к вашим услугам, — повернулась к ним Дочь, колыхнув в вырезе сарафана округлой, полнеющей грудью. — Не сомневаюсь, что чрезвычайные обстоятельства привели вас ко мне.

— Мы явились невольными свидетелями ваших разговоров, и я подумал, что, видимо, вот так беседовала с придворными Екатерина Великая. Есть нечто особенное в поведении русской женщины на троне. — Гречишников произнес это с едва ироничным поклоном, и Белосельцев опять поразился многоликости этого искушенного человека. Дочь усмехнулась, показывая, что понимает иронию, но было видно, как ей приятна эта тонкая замаскированная лесть.

— Я буду говорить откровенно, надеясь на то, что всем моим служением, безграничной преданностью Президенту и вам, блистательно воплощающей и продолжающей деяния отца, я заслужил право высказываться без обиняков на тему, не касающуюся меня лично, но затрагивающую судьбу государства и первого в нем лица. — Эту тираду в стиле классической риторики Гречишников произнес со смирением, но и с холодной твердостью. — В обществе нарастает тревога. Президент нездоров, и я знаю — сегодня он опять отправляется в клинику, где ему должны провести курс оздоровительной терапии, поддержать его многострадальное сердце. Многие государственные дела не решаются, ждут его выздоровления. Другие, самые неотложные, ложатся на ваши плечи. Но как бы вы ни утруждали себя, каким бы талантом и рвением ни обладали, вам не справиться с нарастающим потоком проблем, которые, будучи нерешенными, копятся, закупоривают жизнетворные сосуды и органы государства, грозят превратиться в кризис, быть может, трагический для страны и нынешней власти. — Гречишников тонко и умно выбирал выражения, словно касался самых чувствительных точек в сознании сидящей напротив женщины. Знал ее хорошо, ведал расположение ее психологических центров, умело возбуждая в ней внимание, тревогу, глубинные страхи.

Дочь, поджав волевые губы, насупив брови, внимала, не перебивая.

— Почувствовав временную шаткость власти, распознав ваше одиночество, к вам устремилось множество хитрецов, льстецов, проходимцев. Вам, доверчивой и чистосердечной, трудно распознать предателя, трудно избежать вероломства. Так было со всякой властью, при всех дворах и правителях. В нашей недавней истории мы видели, как соратники Сталина, умертвив больного Вождя, разделались с его наследством.

Гречишников, как опытный иглоукалыватель, находил нервные точки на розовых мочках ее ушей, на сухой голой щиколотке, на белой, с голубоватыми венами шее, на полном теплом бедре, на выгнутой мускулистой пояснице — там, где скрывалась чакра и начинали раздвигаться выпуклые полушария **ягодиц**.

— Вы не раз имели возможность убедиться в том, что мои друзья действуют эффективнее, чем официальная разведка или служба президентской охраны. Используя свои специфические средства, мы установили, что в кругах, близких к Президенту, сложился заговор, ставящий целью захват власти. Президент будет объявлен безнадежно больным, не справляющимся с функциями главы государства. Ему будет противопоставлен Мэр, чье здоровье, способность нырять в ледяную прорубь, женолюбие, популистские высказывания очаруют народ, который на досрочных выборах сделает его главой страны. Ныне действующий Президент будет помещен в больницу, на стационарное лечение, где подкупленные врачи сделают все, чтобы дни его были недолги. Ваша мать, вы, ближайший круг друзей будут подвергнуты сначала моральному преследованию, а потом и уголовному. Не стану обременять вас деталями заговора, перечислениями вероломных губернаторов, продавшихся чиновников, составом штаба заговорщиков. Скажу лишь, что его возглавляют люди, которым вы все это время безгранично доверяли. Эти люди — Зарецкий и Астрос. Я прошу вашего согласия на их устранение из бизнеса и политики.

Гречишников умолк. Сознание Дочери было под контролем, было готово принять навязанный образ, не сопротивлялось воздействию. Ее глаза, наполненные влагой, закатились, дыхание почти исчезло, и она, казалось, была близка к обмороку.

— Не верю, — сказала она вяло, преодолевая наркоз. — Это за пределами возможного.

Гречишников молчал, опустив глаза, не помогая ей.

— У меня нет основания вам не верить, — сказала она, медленно приходя в себя, растирая пальцами виски. — В нашей семье не забыли все, что вы сделали для отца. И в девяносто первом, когда сообщили отцу о готовящемся путче, перечислив имена заговорщиков, после чего отец передал их список в американское посольство. И в девяносто третьем, когда власть висела на волоске, и в Кремле стоял вертолет с работающими винтами, и эти свирепые красные фанатики натравливали толпы оборванцев на Кремль, а вы помогли повернуть их в Останкино, представить перед всем миром как бунтарей и террористов. И в девяносто шестом, в шаткий промежуток между двумя турами президентских выборов, когда у отца случился инфаркт и этим был готов воспользоваться коварный Охранник. Я доверяю вам безусловно, но все же ваши предположения неверны. Астрос находится с Зарецким в непримиримой вражде. Зарецкий вхож к нам не только в гостиную, но и в самую глубину дома, он не может желать нам вреда.

Дочь окончательно овладела собой. Ее женская беспомощность, одинокая незащищенность уступили место прежней жесткой уверенности, властной надменности.

— Я не требую от вас слепой веры, — скромно сказал Гречишников. — Я принес доказательства. — Он достал из нагрудного кармана аудиокассету. Поискал глазами и нашел музыкальный комбайн. — Позвольте мне это поставить, — не дожидаясь согласия, включил проигрыватель и вставил кассету.

Зашуршало, зашелестело, и знакомый, торопящийся, словно икающий голос Зарецкого воссоздал в памяти Белосельцева ту недавнюю встречу в «Фонде», где Премьер, потрясенный казнью Шептуна, склонялся Зарецким к проведению дагестанской операции.

«Я веду тонкую игру с Истуканом, — звучал блеющий голос, — уговариваю его и пугаю. Рассказываю о заговорах среди военных, о неизбежном мятеже оголодавшего народа, о намерении регионов объявить о выходе из России... Я намекаю о воз-

можно покушении на него самого, а также на жену и дочек, живописую ужасную судьбу Чаушеску, доводя Истукана до слезных истерик. Он подорван, неизлечимо болен, мечтает уйти в отставку, но так, чтобы обеспечить себе безопасное и тихое забвение вдали от неизбежных катастроф. Мы вывезем его за рубеж и покажем миру кротким богомольным старцем где-нибудь в Вифлееме, в яслях, где родился Христос. А потом поселим в альпийском замке, который уже для него построен. В вязаной тирольской шапочке он будет беседовать с туристами, и они станут называть его “русский Санта-Клаус”. Люди о нем забудут, и ты один окажешься в фокусе мирового внимания...»

Белосельцев видел, как потемнело, подурнело от гнева лицо Дочери, как выдвинулся тяжелый подбородок и оттопырилась нижняя губа. Она вдруг стала похожа на своего отца в минуту бешенства, от которого падали в обморок пресс-секретари и лишались дара речи боевые генералы. Она хотела встать, выключить магнитофон, но заставила себя сидеть. Вслушивалась в ненавистный, заикающийся голос предателя.

«Тебе для твоих деяний, для новых великих реформ требуется время. Ты должен освободить себя от шлаков и ржавчины предшествующей эпохи. Должен отмыть себя от Истукана. И тогда ты объявишь о великом очищении. Ты созовешь новый “Двадцатый съезд партии”, где выступишь с разоблачениями Истукана. Осудишь преступный Беловежский сговор, уничтоживший великий Советский Союз. Заклеймишь расстрел Парламента, убийство невинных людей. Назовешь преступлением уничтожение цветущего Грозного средствами артиллерии и авиации. Выведешь на свет чудовищные факты коррупции, торговлю алмазами, нефтью, государственными секретами. Укажешь на главных преступников — самого Истукана, его плотоядную алчную Дочь, его приспешников, помогавших расчленив СССР, составить преступный Указ о разгроме Парламента. Огласишь агентов иностранных разведок среди лидеров либеральных движений и партий. Потребуешь суда и тюремного заключения для самого Истукана и членов его семьи. Их осудят под ликование толпы, а ты будешь ослепительно безупречен, что позволит тебе править Россией, вернуть ей былое величие...»

Пленка умолкла, оставив в воздухе летающий пепел, от которого лицо Дочери стало землистым и серым и на нем обнаружились темные точки пор.

— Жид проклятый!.. За уши тянула его из говна!.. От прокуратуры его отбивала!.. — Она шумно дышала, выставив нижнюю челюсть, со свистом всасывая воздух сквозь зубы. И уже овладевала собой, передергивала зябко плечами, стряхивая наваждение. — Ну что ж, это похоже на Зарецкого. В глаза польстит, а за спиной о любом из нас скажет гадость... Но это просто гнусная брехня, а не заговор... Не повод расправиться с самыми влиятельными банкирами России. Они нам будут нужны с их богатством, влиянием, с их телевизионными империями... Забудем про это...

Она собиралась встать, решительно давая понять, что разговор завершен. Но Гречишников, опережая ее, достал другую кассету, подменил ею первую и включил.

«Надо избавиться от Истукана», — кассета воспроизводила утренний разговор в «Фонде». Бекасиный, вибрирующий голос Зарецкого вещал: «Его прокисшими мозгами управляют наши враги. Неизвестно, что взбредет на ум параноику. Мы должны объединиться вокруг Мэра и сделать его Президентом. Передай Мэру, Астрос, я предлагаю ему дружбу и всю полноту поддержки. А этого трухлявого Истукана мы опрокинем, и народ, как Перуна, кинет его в реку. Пусть посмертно, но его будут судить. Уж мы позаботимся, чтобы суд был открытым и честным...»

Лицо Дочери стало беспощадным. Из округлившихся глаз сыпались рысьи зеленые блески. Острые ногти впились в кожаную обивку кресла.

— Когда отец был здоров и силен, этот сучий Мэр бегал на задних лапках, как кобелек. Помню, он приехал к нам на дачу поздравить отца с днем рождения. Отец слегка подвыпил, спросил Мэра, можно ли ему до конца доверять, ибо возможны политические осложнения. Мэр ответил: «Доверяйте, как верной собаке». Тогда отец взял костяной рожок для одевания обуви, на длинной рукоятке. Кинул его с веранды в кусты. «Принеси», -- сказал он Мэру в своей обычной шутливой манере. Мэр на четвереньках сбежал с веранды, скрылся в кус-

тах, полаял там и через несколько минут, на четвереньках же, держа рожок в зубах, принес его отцу. Отец, как верного пса, чесал его за ухом, кормил ветчиной с ладони. Теперь же, когда отец ослабел, Мэр плетет интриги и строит козни. Опять приходил недавно, клялся в вечной любви, а глаза бесстыжие, лживые... Но все равно, господа, это не повод, чтобы устранять олигархов. Это может разрушить хрупкую систему сдержек и противовесов, установленную отцом.

Дочь снова попыталась подняться, и опять Гречишников опередил ее и сменил кассету.

— Мне не хотелось прокручивать этот кусок, ибо он мерзкий, характеризует этих людей как отвратительных рептилий. Но я прошу вас послушать, и это будет последний мой аргумент.

Кассета зазвучала, слышались звяканья тарелок, стук вилок, звон стеклянных бокалов. Белосельцев уже догадывался, каков будет фрагмент записи, насколько он невыносим и оскорбителен для самонадеянной гордой женщины.

«Но какова Дочь, сука вероломная!» — визгливо возмущался Зарецкий, и Белосельцев представил, как ерзали под столом его ноги и на длинном, беличем лице обнажались желтые резцы. «Божилась, что поддержит Премьера, а сама за моей спиной снюхалась с Избранником. Неблагодарная сука! И это после всего, что я для нее сделал!»

«Мне показывали виллу в Австрийских Альпах, которую ты для нее построил», — был узнаваем хохоток Астроса, его жизнерадостная интонация. «Говорят, вы уже побывали там вместе? И как прошел ваш медовый месяц?

— Терпел ее свиную похоть, от которой содрогались Альпы.

— Когда ей особенно хорошо, она хватает тебя за ягодицы и старается разорвать надвое.

— Похотливая сука! Ей мало двоих и троих, ей нужен гарем мужчин.

— В самые острые, сладострастные минуты она начинает материться, как дворничиха.

— В постели ей нужны штангисты и тяжелоатлеты. Еще лучше танкисты и бульдозеристы вместе с гусеничными машинами.

— У нее на правом бедре родимое пятно, напоминающее дубовый листок.

— Да ладно притворяться ясновидящим. Твои с нейхождения хорошо известны. У меня есть фотография виллы, которую ты ей построил в Ницце.

— Я вовремя опомнился. Быть ее любовником — слишком большая плата за акции коммуникационных корпораций. Теперь, надеюсь, и к тебе пришло отрезвление.

— Сука продажная!...»

Пленка умолкла. Дочь встала из кресла, бледная, но спокойная. Она подняла на Гречишникова надменные глаза и, холодно, четко выговаривая слова, произнесла:

— Вам действительно не следовало прокручивать эту пленку. Теперь ее содержание будет всегда ассоциироваться с вами. Мы слышали голоса двух негодяев, грязно говоривших о женщине. Это водится среди мужчин, и не только в казармах. Но все это не дает мне повода дать волю личным чувствам. Интересы власти требуют, чтобы вы оставили этих людей в покое. Будем принимать их такими, какие они есть. Но и такими они остаются полезны для власти. Я вас провожу!

Она выпроваживала их, спускаясь следом по лестнице на солнечную веранду. Собиралась распрощаться и уйти в далекую гостиную, где в лучах вечернего солнца светился драгоценный, из узорных стекол, абажур. Но к дому из аллеи вынырнул кортеж лакированных темных машин. Из черного лимузина, поддерживаемый охранниками, тяжело, повисая на их сильных руках, поднялся Президент.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Истукана под руки ввели на веранду, опустили в плетеное кресло. Нога в мягкой туфле, криво поставленная на пол, причиняла ему неудобство. Долго, напрягая все силы, он сдвигал ее, пока она не заняла естественное положение. Убедившись, что

он плотно уселся и все его грузное тело расплылось по креслу, охранники ушли с веранды. Встали внизу у ступенек, где переливался черной горой стекла и металла президентский лимузин и в хвост ему причалил огромный, словно из черного кварца, фургон реанимационной машины.

Истукан молча сидел в кресле, тяжело дыша. Его губы были в лиловых пятнах распада, обвислые щеки сплошь покрывала красно-фиолетовая сетка лопнувших капилляров. Было видно, что он страдает. Боль перекатывалась в нем, как пузыри газа.

— Вот, дочка, заехал к тебе по пути в больницу... Думаю, вдруг не увидимся... Каждый раз как последний... Хотел на тебя посмотреть... — выговорил он с трудом, выплывая из своей боли, как всплывает на поверхность мертвая рыба.

— Тебя мучают боли. Врачи сказали, что нужно лечь и они снимут боль. — Дочь подошла к нему, приобняла за опавшие плечи, поправила сбившийся воротник. А он поймал ее руку и прижал к своим расплюснутым, пятнистым губам.

— Везде больно... В голове, в сердце, в желудке... Грызет меня изнутри... Проточил внутри нору, ходит и грызет в разных местах... Ночью не сплю от боли, слышу, как он хрумкает, сгрызает кости, кишки... Как дикобраз... Говорят, в аду боль адская... Какая же она в аду, если тут, на земле, терпеть ее невозможно...

Они держались за руки, словно хватались один за другого, не замечая присутствия посторонних людей, которые значили для них в минуту расставания не больше, чем окружавшие их предметы. Белосельцев смотрел на больного, обескровленного страданиями человека, ничем не напоминавшего яростного, неукротимого лидера, в своем безудержном стремлении столкнувшегося с невидимой, неодолимой преградой, расплюскавшей его лицо, разбившей внутренние органы, переломавшей вдребезги кости. Он старался понять, с какой неодолимой стеной произошло столкновение. Отпечаток какого препятствия виден на этом разбитом, сиренево-синем, как гематома, лице. Какой ужас поселился в этой яростной бесстрашной душе.

— К тебе стремлюсь, дочь... Ты моя плоть и кровь... Пони-маешь меня душой и сердцем... Старшая, сестра твоя, пустя-

ками набита, мишура в ней, все что-то выклевывает по-мелкому... Мать наша совсем растерялась, квохчет, как клуша над гнездом... Жалко ее... Ты одна мне помощница и советчица... Все твердят — «преемник, преемник»... Ты — мой преемник, тебе бы отдал власть... Ты ее не уронишь, дальше понесешь и возвысишь...

— Ты ее сам понесешь, папа... Подлечат тебя доктора и — опять молодец...

— Сил нет... Устал терпеть... Чуть меня накачают, а на другой день, как из дырявого мяча, воздух выходит... Врачи в смерть не пускают, держат на самом краю... Может, теперь отпустят... Заехал тебя повидать...

Он прижался щекой к ее теплой руке с беззащитностью обиженного ребенка. Белосельцев изумлялся, видя перед собой человека, которого история избрала для своей сокрушительной, жестокой работы. Насадил его, как отточенное острие, на древко, вонзила в горбатую спину усталого кита, и тот истек кровью, вывалился недвижимой горой на берег. Огромная эпоха кончилась, умерла. Вместе с убитой эпохой умирает ее убийца, застрял в мертвой туше, как заржавленный гнутый гарпун. А история равнодушно от него отвернулась. Рыщет где-то в стороне, среди других народов. Выбирает себе героя, потрясая в небе сверкающим острием. Белосельцев смотрел на того, кого считал исчадием ада, главным виновником постигших страну несчастий. Теперь он испытывал к этому человеку подобие жалости.

— Они все меня ненавидят!.. Я у них отнял власть, а они пальцем не шевельнули, чтобы ее удержать!.. Жалкие, дряхлые, пошлые, погубили страну!.. Вцепились в нее худосочными лапками... Сосали, как комары, сквозь тонкие трубочки!.. А я их смахнул!.. Я спас в Советском Союзе все, что можно было спасти!.. Всю гниль и отбросы отсекаю!.. Они хотят меня судить за Беловежье, хотят повесить на беловежской сосне... Но если бы не я, нас бы давно разорвали узбеки, заполонили таджики, захватили казахи... В Кремле сидел бы толстобрюхий бай в тюбетейке, в Госплане разлегся бай в чалме, а в Политбюро верховодил шашлычник в кепке... Мы уже шли под

откос, распевая песни о торжестве коммунизма, а я отцепил вагоны, в которых сидели подонки... Мы уцелели, а они кувыркаются, и никто из них не спасется... Я один, своими руками, и поэтому руки в крови!.. — Он с трудом поднял свою руку.

— Я расстрелял Парламент, полил Москву кровью... Но эта малая московская кровь остановила большую, российскую... Хасбулатов с Руцким хотели гражданской войны... Честолюбцы, предатели хотели раскола армии... Если бы они победили, не было бы больше России... Я дал приказ танкам — и они убили много людей... Они мне снятся, я кричу ночами, прошу у них прощения, а они кидают в меня своими оторванными головами... Но все, что я сделал тогда, сделал не для себя, для России... Я взял на себя страшный грех, но взял во имя России!..

Я разгромил Чечню, послал на Грозный воздушную армию, разрушил чудесный город. Но Дудаев был наркоторговцем, отрезал головы русским рабам, собирался взорвать Кавказ, и если бы не войска, штурмовавшие в кровавую новогоднюю ночь столицу бандитского государства, то сегодня абрек с Кавказа мог бы зайти в любой русский дом, силой взять дочь и жену, насиловать их на глазах распятого на стене хозяина.

Казалось, болезнь на время оставила Истукана. Глаза расширились, в них загорелся сухой страстный блеск. Дряблые мускулы наполнились сочной силой, и он сумел оторваться от кресла. Стоял, рослый, тяжелый, словно под ним был не пол деревянной веранды, а броня танка, а кругом ревели восхищенные толпы. Он вызывал на поединок весь мир, не выпускал из рук доставшуюся ему однажды власть. И если ему было суждено умереть, он был готов унести с собой под землю весь белый свет — с Кремлем, с Москвой, с Волгой, чтобы они не достались другим.

— Где мои соратники, помощники, верные советники?.. Все оказались дрянью, идиотами, предателями!.. Я их приближал, возвышал, показывал миру как великих реформаторов и творцов, как «птенцов гнезда Петрова», а они один за другим спивались, проворовывались, перебегали к врагам, и я их выкидывал на свалку, где они до сих пор гниют. Недоучка-газетчик,

я хотел сделать его рупором великих идей, свидетелем исторических деяний, — он был хорош только в бане, с бутылкой пива и воблой, за что в народе его прозвали «Полторанька». Казуист, теоретик, кому я поручил создать идеологию великого государства, снабдил небывалыми полномочиями — в его рыбьей костяной голове зрели только мелкие интриги и пакости, он вызывал у народа чувство гадливости, за что его сравнивали с венерической болезнью — «Бурбунис». А этот гогочущий жизнерадостный хам, которому я поручил начать реформу промышленности и который украл половину страны, поссорил меня с народом, за что метко был назван «Хамейко». А мой вице-президент, что в бане тер мне спину и клялся в вечной любви, а потом предал меня. А вероломный чеченец, кого я сделал вторым человеком в России и кто возомнил себя Сталиным, подражал ему своей жалкой трубкой — он затеял в Москве кровавую свару, хотел, чтобы я унаследовал судьбу Чаушеску. А Главный Охранник, червяк, которого я подобрал на дороге, отмыл, надел на него лампасы, дал ему власть, что не снилась самому Берия, — он, как мелкая шпана, предал меня, ослабил в своих холуйских мелкотравчатых записках. Они все ненавидят меня, ждут, когда я уйду. Они выкопают меня из могилы и мой труп кинут на растерзание собакам. Боюсь за тебя! — Он обнял Дочь, прижимая ее к себе, заслоняя от ужаса. — Вся их ненависть падет на тебя. Не верь никому. Зарецкий и Астрос первыми тебя предадут, взвалят на тебя все мои преступления. Нужен заступник, защитник. Тот, кому бы я мог передать не только власть, но заботу о тебе и о матери. Кто мог бы заставить всю сволочь сидеть по углам. Есть такой человек, ты знаешь. Я ему верю, вижу его душой. На него положись...

Белосельцев, услышав тоскующую безнадежную исповедь Истукана, не испытал к нему ненависти, но лишь странное, мучительное сострадание. Перед ним стоял человек, обреченный на Ад. Расставался с земным бытием, с травой, синим небом, с цветущей душистой клумбой, с женой и дочкой, с земными деяниями. Через минуту охрана поведет его к черной машине, которая, как катафалк, помчит его в морг, где его уложат на холодный мраморный стол, молчаливые хирурги вонзят

ножи, вырвут из остывшего трупа черную изрытую печень, фиолетовое, в рубцах и кавернах, сердце, станут возиться и хлюпать, проникая руками в резиновых перчатках во все углы его мертвого тела.

— Давай я тебя поцелую... Прости меня, дочка. — Они обнялись, стоя на солнечной веранде, и было видно, как по щекам Истукана бегут слезы.

Охранники бережно взяли его под руки, свели по ступеням, осторожно посадили в машину. Кортёж, мерцая темными стеклами, объехал клумбу и удалился в аллею, мигая рубиновыми хвостовыми огнями.

Дочь вернулась на веранду.

— Я согласна с вашими предложениями. Даю согласие на устранение Астроса и Зарецкого. Держите меня в курсе дела.

— Каждый шаг буду с вами сверять, — скромно ответил Гречишников, целуя протянутую на прощание руку.

Они выехали из усадьбы. Помчались по голубому вечернему шоссе. Навстречу с шелестом мелькнул лимузин. Остановился перед узорными воротами усадьбы. Медленно въехал под деревья.

— Избранник, — сказал Гречишников, и глаза его торжественно сверкнули.

Белосельцев устал от обилия невероятных впечатлений. Хотелось уединиться, закрыть глаза. Он попросил Гречишникова доставить его домой, но тот произнес:

— Все великое делается молниеносно. Ты мог сегодня увидеть, каким темпом развиваются события. «Проект Суахили» обретает дополнительное ускорение. Сейчас ты пересядешь в машину Астроса, и вы навестите Граммофончика. Он уже ждет вас.

У Триумфальной арки их «мерседес» остановился, но не прождал и минуты, как к нему причалил высокий короб джипа. Дверь тяжелой машины растворилась, и Белосельцев нырнул в темную бархатную глубину. На велюровых сиденьях сидел Астрос. Дружелюбно усмехнулся, сунул пухлую теплую руку.

— Граммофончик пригласил нас к себе. Я предложил ресторана, но жена пришила его к подолу и, как собачку, выводит два раза в день погулять. Что ж, посмотрим его новое жилище. Говорят, он собрал в запасниках Эрмитажа и Русского музея отличную коллекцию живописи.

Купив по дороге букет белых роз — «для мадам», как выразился Астрос, — они нырнули в старые переулки, где в окружении особняков, уютных храмов, милых московских двориков, властно отодвинув их в сторону, окружив очищенное пространство высокой чугунной оградой, высился блистающий дом, заостренный, со множеством куполов и башен, драгоценно застекленный, похожий на ледяной кристалл, победно вонзивший в небо отточенную вершину. В этом доме, презревшем робкую архитектуру старой Москвы, утверждая победу агрессивного стиля, поселилась новая победившая аристократия.

Целый этаж занимал лидер преступной группировки, контролирующей московские вещевые рынки. Несколько соединенных вместе квартир выходили сразу на все четыре стороны света, и оттуда властный хозяин мог созерцать Кремль, Академию наук, Останкинскую башню и Дом Правительства. Еще один этаж занимал архиепископ, которого прочили в Патриархи и который, приезжая домой на черном «кадиллаке», протягивал шоферу для поцелуя пышную, усыпанную перстнями руку. Огромную квартиру подарил своей любовнице известный банкир, устроив ей спальню из янтаря, ванную из родосского мрамора и зимний тропический сад, в котором летали живые бабочки. Женщина жила уединенно, но иногда ее видели ночью — без одежды стоящую на балконе, будто собиравшуюся полететь к рубиновым звездам Кремля. Тут же поселился богатый азербайджанец, о ком поговаривали, что он — торговец наркотиками. К подъезду его провожал взвод русского спецназа, короткими перебежками прочесывая маршрут, по которому быстро проходил маленький черный человечек на кривых ногах, с огромными, как собачьи хвосты, бровями. Рядом обитал Министр труда, чья родня переселилась в Америку, и он жил одиноко, изредка устраивая празднества, куда съезжались прелестные длинноногие женщины, похожие на ма-

некенщиц Юдашкина. Среди этих вельможных персон жил Граммофончик, занимая не полный этаж, но лишь ту его часть, что смотрела поверх железных крыш и церковных куполов в туманную московскую даль с останкинским шприцем, который, наполняясь ночью голубоватым раствором, вонзался в большую набухшую вену Москвы.

— Можно навестить великого отшельника и мудреца? — спросил сквозь кожаную-стальную дверь Астрос, когда звонок, мелодичный как клавесин, воспроизвел мелодию Скарлатти и в отворившуюся дверь глянуло лицо хозяйки, молодящееся, сочное от целебных примочек, млечно-румяное от искусного грима, с пикантной родинкой над смешливой губой.

— Здесь чертог уединенных грез и размышлений? — переступил порог Астрос, вручая хозяйке пышный букет роз, удостаиваясь обворожительной улыбки, судя по которой его здесь любили и ждали.

— Он слегка нездоров и расстроен, — шепотом, указывая глазами на длинный коридор с далекой светящейся гостиной, произнесла хозяйка, слегка приоткрывая слабо застегнутую блузку, в которой едва умещалась свободная, не стесненная грудь. — Мы постараемся его не утомлять, верно?

— Не слушайте ее! — раздался издалека громкий, знакомотрескучий голос Граммофончика, нетерпеливо требовавшего к себе гостей. — Она мучает меня своими таблетками, охраняет, как овчарка!

Эти последние слова он произнес, когда гости переступали порог гостиной. Протягивал им длинные, с трепещущими пальцами руки.

— Мы пришли навестить вас, засвидетельствовать наше почтение. Ваш уход из общественной жизни ощущается нами как утрата. Нам не хватает вас, не хватает вашей кипучей энергии, вашего неутомимого интеллекта. Без вашего романтизма общественная жизнь стала черствей, эгоистичней, бедней. Мы пришли окропить себя «живой водой» ваших мыслей и чувств. — Все это Астрос произнес, не выпуская из рук трепещущие персты Граммофончика, и тот, полужакрыв глаза, благосклонно внимал, и было видно, что он испытывает наслаждение.

— Всему свое время, свои сроки, — печально улыбнулся он, — новые времена, новые герои, новые гимны. Этика мудреца и стареющего политика, этика утомленного жизнью патриция состоит в том, чтобы вовремя отступить, уехать из многошумного Рима, уединиться на вилле, провести остаток лет в благословенном одиночестве, в размышлениях, среди любимых статуй и свитков, разглядывая трофеи галльских походов. Уходить надо величественно и спокойно, как уходит вечернее солнце, оставляя после себя долгий закат. — Он закрыл глаза и тихо понурил голову.

— Вы блестящий трибун и ритор. Без ваших речей нынешний сенат косноязычен и глух. Без ваших деяний политика напоминает бронзовый, позеленевший подсвечник, с которого убрали свечу. — Астрос тонко уловил стиль разговора, поддерживая образ опального изгнанника, которого играл хозяин. — Но поверьте, вы не забыты. Оставленное вами место ждет вас. Никто не сможет заменить вас. Мы, ваши друзья, вернем вас в сенат, вернем вас России.

Они сидели за круглым, красного дерева, столом, на который хозяйка поставила золоченые чашечки музейного сервиза, угощала их душистым чаем и легким печеньем.

Белосельцев всматривался в знакомое, тысячекратно повторенное на телеэкранах и журнальных обложках лицо Граммофончика. Его быстрые, бегающие глаза, в которых светились ум, подозрительность, хитрость. Его скошенные подвижные губы, готовые к неумолимому говорению, бурному извержению громогласных, трескучих слов. Его выступавший, смещенный подбородок, который он научился гордо выпячивать. Белосельцеву было странно видеть это лицо вблизи, выхваченное из атмосферы митингов, съездов, триумфальных речей, блистательных восхождений по лестнице власти. Постаревшее, выцветшее, покрытое мельчайшей голубоватой пудрой, оно казалось посмертной маской, которую сняли с исчезнувшего, умертвленного времени, перенесли, как музейный экспонат, в эту фешенебельную московскую квартиру.

— Все это мои фетиши, свидетели моего триумфа и моего изгнания, — печально улыбнулся Граммофончик, заметив

взгляд Белосельцева, блуждающий по развешанным картинам и стоящим на столике фотографиям. — Мои собеседники, мои молчаливые друзья, кому поверяю самые заповедные мысли. Моя коллекция картин не велика, но все они напоминают мне о Париже, о городе вечной красоты, вечной музыки. О городе моего изгнания, куда я укрылся от несправедливых гонений. Матисс, Ренуар, Дега, несравненный Шагал, невообразимый Пикассо, упоительный Моне, как розовый воздух моего детства! — утомленным и печальным жестом он указал на картины. Они были первоклассны, стоили несметных денег. Парижское изгнание, в которое удалился Граммофончик после того, как его обвинили в расхищении государственной казны, сделало его утонченным коллекционером.

— А это величайшие люди двадцатого века, с кем мне довелось дружить, преобразовать мир, делать историю. — Он повел бледной усталой кистью в сторону ампирного столика, на котором в строгих рамках стояли фотографии, запечатлевшие Граммофончика в обществе известнейших персон. Академик Сахаров и Граммофончик. Горбачев и Граммофончик. Маргарет Тэтчер и Граммофончик. Президент Буш и неизменный Граммофончик. Наследник Российского престола и все тот же обаятельный, сдержанно-приветливый Граммофончик.

— А это, вы можете улыбнуться, маленький музей русской демократической революции, в которой мне довелось принять посильное участие, — он указал на застекленную полку, где были разложены странные предметы. — Моя фетровая шляпа, в которой попал под дождь в Тбилиси, когда расследовал зверства военных, порубивших саперными лопатками грузинских детей и женщин.... Мои разбитые очки, которые я уронил от волнения, когда на Съезде народных депутатов требовал ареста ГКЧП... Ручка «Паркер», которой я подписал указ о возвращении моему любимому городу имени Санкт-Петербург... Замшевая перчатка Галины Старовойтовой, которая до сих пор чуть слышно благоухает ее духами... Католический крестик Глеба Якунина, подаренный мне нашим демократическим Аввакумом... Сухая роза того букета, что мне преподнесли восторженные студенты Колумбийского университета...

Белосельцев видел сквозь стекло собрание вещей, сохраняемых для потомства честолюбивым хозяином, и каждая из них был памятным знаком его, Белосельцева, несчастий.

— Это бесценная коллекция, — тонко польстил Астрос. — На аукционе «Сотбис» вы получите за нее несметные деньги.

— После моей смерти, — со светлой печалью произнес Граммофончик. — Ей ведь нужно на что-нибудь жить, — указал он, понизив голос, на соседнюю комнату, где мелькала тень хозяйки.

— Ваша меланхолия разрывает мне сердце, — пылко возразил Астрос. — Мы пришли, чтобы сказать, как вы нужны, как мы ждем вашего возвращения.

— Увы, невозможно дважды ступить в одну реку, как говорили древние, — умудренно ответил Граммофончик, снисходительно, с высоты своего горького опыта взирая на пылко-го Астроса. — Людям свойственна неблагодарность. Им свойственно забывать первопроходцев. Мы, демократы первой волны, беззаветно и жертвенно бросились на штыки КГБ, на атомные бомбы и ракеты красной империи, на беспощадный аппарат партийного подавления. И мы победили. Мы, рыцари свободы, романтики демократии, прогнали красного дракона. Рисковали жизнями, готовы были идти в тюрьму, не устрашились яда и пуль. Помню, как мы с Сахаровым пришли к Горбачеву, сказали ему: «Решайтесь! Либо вы войдете в историю как великий гуманист и преобразователь, либо вас бесславно погребут под обломками рухнувшего коммунизма». Мы предупреждали его о возможности путча. Он раздумывал, мучился, решился. Где они теперь, беззаветные герои демократической революции? Апостолы свободы? Сахаров не выдержал величайшего напряжения и был убит этим агрессивно-попугавшим, желавшим его смерти большинством. Галю Старовойтову жестоко убили в подъезде, ее, бескорыстную, святую, предсказавшую свою трагическую гибель. Я оклеветан, попран, мое доброе имя на устах неблагодарной толпы, которую я освободил из плена самой жестокой в мире диктатуры, вывел из тьмы на свет. Вместо нас пришли циничные люди, прикрытые тогой демократии. Дельцы, махинаторы, переодетые комму-

нисты, тайные фашисты. Они делают все, чтобы нас забыли, вычеркнули из учебников, стерли наши имена со скрижалей демократии. Чтобы никто не положил на нашу могилу розу признательности... — Граммофончик побледнел, прижал к сердцу руку. В его глазах заблестели слезы, и он на время умолк, не в силах справиться с горьким волнением.

— Вы правы, — Астрос бережно коснулся его побледневшей руки, — фашисты и коммунисты, сплоченные ненавистью к нам, демократам, хотят взять реванш. Просачиваются во власть, в губернаторы, в министры, протаптывают тропинку в Кремль. Грядет ползучий переворот, организуемый тайными агентами КГБ, внедренными во все сферы жизни. Именно оно, тайное подполье Дзержинского, возводит к вершинам власти недавно назначенного премьера. Вы знаете его хорошо, он вместе с вами работал. Вы дали ему прибежище, дали старт его новой карьере. Кто он такой, тот, которого некоторые называют Избранником?

Граммофончик совладал с волнением. Оставил без ответа вопрос Астроса, продолжая свою печальную исповедь:

— В Париже, куда я укрылся от гонителей, я жил в чудесном старинном доме, на бульваре Капуцинов. Я любил выходить на балкон, в голубые весенние сумерки, смотреть, как бегут подо мной непрерывные огни автомобилей, мерцают проблески реклам, и в легком дожде, как белые свечи, цветут каштаны, совсем как на картинах Писсарро. Я держал в руках рюмку моего любимого коньяка «Камю», делал маленькие глотки и думал о России. О ее страстном стремлении в Европу. Она похожа на белую лебедь, вырывающуюся из каменного монолита. Мой Петербург, так похожий на Париж, звал меня. Я писал стихи о Париже и Петербурге. Набросал эскиз памятника первым демократам России, который когда-нибудь возведут на Марсовом поле. Я решил вернуться на родину, где меня, быть может, ждали тюрьма и поругание. Моим хулителям я мысленно читал стихи Бальмонта: «Тише, тише совлекайте с прежних идолов покровы. Слишком долго вы молились, не померкнет прежний свет...» — Граммофончик мечтательно закрыл глаза, покачивая головой, словно снова стоял

на парижском балконе, смотрел на вечерний бульвар Капуцинов и видел блистающий Невский проспект, золотую иглу Адмиралтейства.

В глубине синих выпуклых глаз Астроса мерцало тонкое золото, похожее на блесну.

— Я знаю, вернувшись в Россию, вы пришли к нему. Предложили ему свои услуги. Просили дать вам должность Министра юстиции, на которой вы бы могли продолжить служение родине. Используя свой огромный юридический опыт, свой авторитет в демократических кругах, строить правовое государство. И вы получили сухой, оскорбительный отказ. Вот она, благодарность за все благодеяния, которые вы для него совершили.

Белосельцев видел, как гибнет Граммофончик. Самовлюбленный, ослепленный своим величием, не способный слышать тихих рокотов приближающейся беды, уловить легкую тень пронесшейся смертельной опасности, он был обречен. Белосельцеву не было его жаль, ибо этот экзальтированный баловень, напоминавший трескучий и негреющий бенгальский огонь, был причиной неисчислимых несчастий, постигших Родину.

— Избранник, как вы его называете, обыкновенный мелкий карьерист и проныра! — Хозяйка стояла в дверях, пылкая, негодующая. — Мы приняли его на работу, подобрали на улице, когда по ней бегали разъяренные толпы и вылавливали агентов КГБ. Мы дали ему стол и кров, впустили его в наш круг, доверяли ему, прощали ошибки, закрывали глаза на его сомнительные проделки. Мы были вправе рассчитывать на благодарность. Теперь, когда его вознесла судьба, а мы поскользнулись и больно упали, он не поднял нас, не поспешил на помощь, не кинулся спасать своего благодетеля. Когда мы обратились к нему за поддержкой, он отказал с высокомерным равнодушием. Это откликнется ему страшной бедой. Нельзя предавать благодетелей. Мой муж — великий человек. Он принадлежит русской истории, как Эрмитаж, Медный всадник, как само имя Санкт-Петербург. Многие считают за честь пожать ему руку. Когда-нибудь ему поставят монумент, и благодарные соотечественники станут приносить к его подножью

цветы. А этот мелкий временщик исчезнет, как пылинка с пиджака моего великого мужа! — Она пылко повела плечами, отчего грудь ее распахнулась еще шире, и темная родинка стала еще заметней над порозовевшей, разгневанной губкой.

— Ну уж ты, милая, судишь его слишком строго. — Граммофончик был благодарен жене за этот монолог.

— А правда ли говорят, что он участвовал в незаконном перемещении валюты через финскую границу? — осторожно продолжил допрос Астрос.

— Я не стал бы этого опровергать. — Граммофончику казалось, что он произнес это уклончивым языком дипломата, коим всегда себя полагал.

— А правда ли, что на нем лежит вина в расхищении запасников Эрмитажа, откуда многие драгоценные экспонаты попали в частные коллекции Германии?

— Не стану это опровергать.

— В кругах питерской интеллигенции ходят слухи о возможном его причастии к устранению Галины Старовойтовой, которая знала о его неблагоприятных деяниях. Возможно такое?

— Не стану опровергать, — все более ожесточался Граммофончик, укрепляясь в ненависти к неблагодарному обидчику.

— Вы должны нам помочь. — Астрос изобразил выражение высшей восторженности и веры в праведность сидящего перед ним рыцаря демократии. — Мы должны остановить «Избранника». От него исходит угроза всем нашим завоеваниям и свободам. Вслед за ним во власть рвутся недобитые чекисты, исполненные жажды реванша коммунисты, яростные русские фашисты, перед которыми нацистские штурмовики выглядят защитниками прав человека. Мы должны помочь Мэру стать Президентом. Должны оттеснить этого «Избранника». Смогли бы вы повторить публично то, что я услышал от вас сейчас? Смогли бы вы совершить еще один нравственный подвиг в добавление к тем, что уже совершили? — Астрос с обожанием глядел в глаза Граммофончика.

— Я сделаю это. Только не говорите моей жене. Она мне не позволит. Я должен это сделать во имя свободы и демократии. Так бы поступил Сахаров. Я действую, исходя из его заветов.

— Вы великий человек. Выше Солженицына. Вы духовный лидер России. Я говорил о вас с Мэром. Он сказал, что никто, кроме вас, не достоин поста Министра юстиции. У нас нет сегодня ни Сахарова, ни Лихачева, но, слава богу, у нас есть вы!

— О чем это вы? — Миловидная хозяйка вновь появилась на пороге, подозрительно оглядывая возбужденного мужа. — Тебе нельзя волноваться, у тебя же сердце!

— Мое сердце переполняет любовь. Милая, принеси нам заветную бутылку «Камю», которую мы привезли из Парижа. Хочу выпить с друзьями.

Осуждающе покачивая головой, но подчиняясь капризу мужа, она вышла и через минуту вернулась, держа серебряный подносик с черно-золотой бутылкой, с хрустальными рюмками и блюдечком, на котором желтели дольки лимона.

— Только глоточек. Не забывай, у тебя слабое сердце.

Граммфончик разлил коньяк, поднял рюмку.

— За наш союз!.. За наше духовное братство!.. Да здравствует свобода!.. Виват, Россия! — И они чокнулись, выпили душистый коньяк.

Когда Белосельцев с Астросом покинули уютную квартиру, вышли на лестничную площадку, они увидели, как под толком бесшумно летает смугло-коричневая, в черных прожилках и бело-жемчужных крапинках бабочка «Монарх». Должно быть, выпорхнула из квартиры, где проживала любовница банкира и где в зимнем саду летали живые бабочки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Ему был прозрачно-ясен следующий этап «Суахили». В той анфиладе заговоров, которыми двигался и совершался «Проект», наступил черед истребления олигархов. Граммфончик, беспомощный и наивный, был сопутствующей жертвой заговора. Момент истребления был приурочен к празднеству Мэра, служил для него грозным уроком, знаком того, что он будет следующим.

Разведчик, добывший бесценное знание, Белосельцев не мог им распорядиться. Некому было переслать информацию. Отсутствовал Центр, пославший его на задание. Он чувствовал себя одиночкой, забытым в тылу победившего врага. По-прежнему оставалось загадкой, зачем он продолжает сражаться. В чем смысл его одинокой, невидимой миру битвы. Где на просторах разгромленной Родины, среди мертвых идей и смыслов, оставались области жизни? Где мощи пророков, к которым можно припасть и исполниться силы и света?

Самыми близкими и доступными были «красные мощи», укрытые в гранитной пирамиде Мавзолея. Лежали в каменном гробу, позабытые жрецами и стражами, источали сквозь камень таинственное излучение. Туда, в Мавзолей, устремился Белосельцев, желая увидеть Ленина.

Давнишний знакомый, биохимик, занимавшийся бальзамированием, не раз приглашал его посетить Мавзолей. «Доктор Мертвых» — так называл биохимика Белосельцев — зазывал его в свою секретную лабораторию, где мумия вождя проходила регулярный осмотр, пропитывалась растворами, мазями, очищалась от тлетворных бактерий, от признаков распада и тления. Ему, несменному стражу Ленина, от которого убрали почетный караул, отсекали несметных паломников, осаждали враждебной толпой, требующей казни мертвеца, в осквернение и насмешку проводили у стен гробницы камлания и игрища, рок-концерты и цирковые действия, именно ему, Доктору Мертвых, позвонил Белосельцев, напоминая об обещанной экскурсии. И услышал:

— Приезжайте немедленно. Объект находится в лаборатории на плановой профилактике. Буду рад вас увидеть, познакомлю с моим ремеслом.

Волнуясь, с мучительной надеждой на чудо, Белосельцев отправился по указанному адресу.

Лаборатория размещалась в малоприметном здании, в глубине густого парка, похожая на небольшой больничный корпус, с зарешеченными, покрытыми масляной краской окнами и железной дверью, сквозь которую долго рассматривал его пристальный взгляд охранника.

Доктор Мертвых принял его в кабинете, сплошь заставленном высокими полками, на которых, как в музее, были размещены странные экспонаты. В закупоренных с зеленоватой жидкостью банках, подобно соленьям, стояли заспиртованные человеческие органы. Похожие на капустные кочаны полушария мозга. Человеческие сердца, набитые в банку как засоленные грибы свинушки. Многократно сложенные, свитые в петли кишки, напоминавшие длинные, маринованные стебли хрена, петрушки, черемши. Зеленовато-желтые, как патиссоны, мужские половые органы. Словно рачительный хозяин заготовил припасы на долгую зиму, вырастив их на домашнем огороде.

Тут же лежали окаменелости. Древние раковины, похожие на черные витые кубки, покрытые перламутром. Куски канифоли с остановившимся древним солнцем, с залипшими в прозрачную смолу мушками, комариками, мотыльками, с пузырьками воздуха, захваченными из молодой атмосферы Земли. Кости и бивни мамонтов, белесые черепа огромных исчезнувших птиц. Длинный скелет рептилии, похожей на ящерицу с птичьим клювом.

На нескольких полках были разложены человеческие черепа, большие, малые, грязно-желтые, голубовато-белые, землисто-черные, с пустыми беззубыми челюстями или с хохочущими белозубыми ртами.

На пустой стене, увеличенная, висела фотография Ленина, разграфленная, в циркульных линиях, в радиусах, сферах, разложенная на квадраты, треугольники, смещенные ромбы. Этот портрет был главным содержанием комнаты, ему подчинялись все остальные предметы, и хозяин напоминал геометра, всю жизнь доказывающего загадочную теорему о Ленине.

— Они охотятся за мной. Хотят меня похитить, хотят завладеть всем этим, — возбужденно, полупшепотом произнес Доктор, указывая рукой на полки с экспонатами, на портрет, на солнечные окна, забранные решеткой. — Моя охрана вооружена. Скажу по секрету: у нас есть гранаты. В случае нападения мы станем отбиваться до последнего патрона. Дважды на меня покушались, со стола пропадали бумаги. Они проник-

ли в мой кабинет, сделали фотокопию портрета, — он повернул чернильно-блестящие глаза и заостренные брови в сторону ленинского портрета. — Но у них ничего не выйдет. Я внес умышленную ошибку. «Дельту» пропорций. Зашифровал антропологический код, и они в очередной раз промахнулись. «Дельта» — здесь! — Он ткнул себя в лоб длинным колючим пальцем. — Я ее не выдам даже под страшной пыткой! — Он был возбужден, то и дело поглядывал в солнечное окно, за которым желтел, зеленел осенний липовый парк, словно ждал, что из листвы, буравя стекло лучистой дырочкой, вылетит пуля.

— Кто это «они»? — не понимая, спросил Белосельцев. — Что им нужно от вас?

— Агентура. Сильнее, чем ФСБ. Могущественнее, чем ЦРУ. Из «Центра стратегического управления историей». Они считают, что победили коммунизм, уничтожили Советский Союз, овладели всеми источниками нашего развития. Но ген коммунизма здесь! — Он снова ткнул себя в лоб длинным, как гвоздь, пальцем. — В этой лаборатории хранится реторта «красного смысла». Все поддается воскрешению, все бессмертно! Мне еще год работы, и я овладею тайной бессмертия, тайной воскрешения из мертвых. Они охотятся за мной, желая захватить реторту «красного смысла». Овладеть геном коммунизма. Чтобы его уничтожить. Но я ускользаю от них, меняю квартиры, не ночую дома. Моя охрана имеет гранаты, и мы будем отбиваться.

Белосельцев вникал в полубезумные слова Доктора. Понимал, что тот охвачен нервным возбуждением, окружен невидимыми врагами, стиснут кольцом опасностей. Охраняет великую тайну, заключенную в геометрии ленинского портрета, скрытую в эллипсах, ромбах, окружностях, куда хитроумно внесена ошибка, смещены центры и радиусы. Так военные топографы вносят дефект в карту местности, сдвигая координаты городов, меняя расстояние между населенными пунктами, искривляя пространство. Враг, используя порченную карту для нанесения ударов и продвижения войск, промахивается мимо целей, не находит речных переправ и горных проходов, слепо плутает в несуществующем пространстве.

— Они прознали, что я приближаюсь к раскрытию тайны вечной жизни, к величайшему секрету воскрешения. Они боятся, что Ленин будет воскрешен и вместе с ним воскреснут «красный смысл», великий «красный проект» и снова возродится Советский Союз. Они охотятся за Лениным, хотят выкрасть тело. Несколько раз их агенты проникали в Мавзолей с канистрами бензина, желая поджечь саркофаг, но охрана их обезвредила. «Вынос тела Ленина из Мавзолея» — это коварный план «Центра стратегического управления историей», направленный на окончательное истребление «красного смысла».

Доктор Мертвых был окружен бурным, взвихренным пространством, искривлявшим его образ. Одни части его лица были затуманены и размыты, другие выпукло и ярко светились. Симметрия лица была нарушена, расстояния между зрачками то и дело менялись. Казалось, его лицо также было помещено в треугольники, ромбы и эллипсы. Распадалось на цветные фигуры. Двоилось, троилось, как отражение. Улетучивалось, словно прозрачный пар из колбы с жидким азотом. Доктор Мертвых, как и он сам, Белосельцев, был одиночкой, вовлеченным в таинственный заговор, обремененным великим проектом, радеющим о сохранении Мироздания. Одиноким жрец, охраняющий обезлюдевшую Вселенную, отбивающий нападение жестоких захватчиков.

— «Красный смысл», о котором толкуют учебники, спорят теоретики, сражаются схоласты и начетчики, состоит в единственном — в преодолении смерти. Древние египтяне, исповедовавшие воскресение Озириса, были «красными». Пантеисты Индии, верящие в переселение душ, в неистребимость жизни, были «красными». Иисус, «смертию смерть поправ и сущим во гробе живот даровав», был «красным». Николай Федоров, проповедовавший воскресение из мертвых, призывавший человечество объединиться и воскресить умерших предков, расселить их по планетам галактики с помощью ракет Циолковского, был «красный». Советский Союз был громадной лабораторией, где триста миллионов людей, научившись грамоте и наукам, овладев атомной энергией и построив ракетный флот, готовились к выходу в Мироздание. Должны

были оживить Луну и засохший Марс, спасти от гибели Плутон и Юпитер, остановить расползание по Вселенной черной дыры, вырвать у Антимира поглощенные им планеты и солнца. Обеспечив бессмертие Вселенной, выполнить предназначение Бога. Те, кто охотятся за мной, хотят похитить тело Ленина, уничтожить «красный ген», — посланцы «черной дыры», выходцы из Антимира. Пятно на голове Горбачева повторяет контуры «черной дыры», куда с колоссальными скоростями утекает наша Вселенная. Казимир Малевич, написавший красный и черный квадраты, изобразил генетический код Вселенной, где противоборствуют красный и черный смыслы...

Белосельцев слушал, рассматривая полки с собранием предметов, запечатлевших стремление жизни, однажды возникнув, удержаться навеки. Плоский коричневый камень хранил отпечаток древнего папоротника. Тончайшие перья и кисти отложились на камне, сохранив свои зубчики, жилки сосудов, легкие изгибы и линии, некогда напоенные соками, зеленой влагой, солнечным светом, дуновением сладкого ветра. Тень жизни, случайно упавшая на мертвый минерал, была как беззвучный крик боли неуцелевшего растения.

— Красная площадь — самое драгоценное место в мире. Для человечества она важнее Пирамиды Хеопса, Парфенона, Великой Китайской стены. Эту площадь готовила Россия для воскрешения людей земли. В кремлевских соборах лежат, ожидая воскрешения, белые князья и цари. В кремлевской стене ждут воскрешения красные вожди и герои. Виктор Анпилов со своими сторонниками, отважными рабочими, защищают не просто Мавзолей и тело покойного Ленина. Они защищают великий русский проект преодоления смерти. Большевики несли в себе мистику «красного смысла», которая потом иссякла и выветрилась из народа, но сохранилась в каменном чертоге Мавзолея, в хрустальном гробу, где спит великий пророк, ожидая звука архангельской трубы, возвещающего конец старого мира и воскрешение из мертвых. Агенты Антимира, посланцы «черной дыры», хотят помешать воскрешению. Вводят аномалии в историю, искривление в линию будущей бесконечной жизни. Подбрасывают нам неверные исходные данные, ложные

геномы, подметные кости, из которых могут воскреснуть не герои и праведники, а монстры и химеры. Они захоронили в Петропавловской крепости не царские останки, а кости известного сибирского каторжника Макея Злобы, людоеда, спалившего в Томской губернии шесть деревень, погубившего девятнадцать душ. Его теперь прославляет церковь как Царя-Мученика. Если мы используем его геном для воскрешения, используем его антропологический код, то воскресим не монарха, а каторжника. Я побывал с моим другом священником на могилах Зои Космодемьянской, Александра Матросова, двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев. Они святые мученики, отдавшие жизнь за бессмертие...

За стеклом, в стеклянном пенале, на бархатной подушке, как если бы это было ожерелье или драгоценный кинжал, лежала засохшая кисть древнего схимника из Киево-Печерской лавры. Пережившая тление, пергаментно-желтая, с хрупким наполнением светящихся нежных костей, она источала едва заметное свечение, словно из нее улетучилось все плотское и временное, а остались одни корпускулы света.

— Ленин не умирал. Он лишь на время покинул материальное тело, и его идеальная сущность ожидает возвращения в плоть. Индусы считают его Махатмой, обретающим в течение человеческой истории несколько земных воплощений. В роковые минуты он являлся в мир и спасал человечество от гибели. По индусским представлениям, Ленин научил человечество пользоваться колесом и огнем. Он подарил людям первую азбуку и численный ряд. Индусы утверждают, что в одном из своих воплощений Ленин был Христом и продлил жизнь гибнущего человечества еще на две тысячи лет. Сейчас Ленин ожидает момента, чтобы вернуться в свое прежнее тело и явиться миру во Втором Пришествии. Мне дано говорить с Лениным, слышать его суждения. Он вызывает меня, и мы ведем с ним беседы. Он открывает мне удивительные сведения, делится поразительными мыслями. Он указал мне, где находится Атлантида и где спрятаны остатки сгоревшей Александрийской библиотеки с бесценными античными рукописями. Он рассказал мне, как устроен Рай и какой будет архитектура бу-

дущего, воспроизводящая райское общежитие. Он знает тайну вечного двигателя, основанного на принципах овладения гравитацией. Он рассказывает, где во Вселенной находятся обитаемые планеты, посылает мне изображение их ландшафтов, виды их растительного и животного мира, образы носителей разума. Он предупреждает меня о грозящих опасностях, о приближении агентов Антимира. Он же руководит моими работами по воскрешению из мертвых, указывает на ошибки в исследованиях. Обычно он является ночью, перед рассветом, и я чувствую его приближение по теплу, которое разливается в моем теле. Быть может, так происходило непорочное зачатие...

Что-то знакомое, недавнее слышалось Белосельцеву в словах Доктора Мертвых. Пророк Николай Николаевич, сидя на берегу быстротекущей реки, вещал ему о Рае, о бессмертии, о подвиге Святого Воскрешения, о жертве в поединке с посланцами Ада и Тьмы.

Он и сам, Белосельцев, чаял восстания из мертвых. Всю жизнь проведя среди смертей, среди погубленных и сожженных садов, он мечтал о райском саде, о вечном цветении, о чуде бессмертия.

— Над проблемой бессмертия работают многие в мире. В Индии, в Китае, в странах арабского Востока. Мы знаем о работах друг друга. Воскресение Ленина случится весной, в России, на православную Пасху, или на Первое мая, или в День Победы. Будет чудесная погода, голубое небо, распустившиеся цветы и деревья. Загудят колокола, молитвенно воскликнут толпы, собравшиеся на Красную площадь, под святые стены Кремля. Солнце на небе заиграет и заблещет, вокруг него польются дивные радуги, и из дверей Мавзолея выйдет Ленин, живой, светоносный, «смертию смерть поправ». Встанут из белокаменных гробниц цари и князья. Выйдут из кремлевских стен воскрешенные летчики, космонавты, герои. По всей земле из гробов подымутся миллиарды оживших людей. Совершится вселенское чудо воскрешения. В нашу жизнь вернется «красный смысл» и будет восстановлен Советский Союз!

Худой черноглазый человек восторженно приподнялся. Воздел худые утомленные руки, трудившиеся всю жизнь над

сотворением чуда: Словно приветствовал рождение нового мира, новой земли и неба, в котором мчались серебристые ракеты и звездолеты, разнося воскресшие миллиарды людей по планетам Вселенной.

— Пойдемте, — сказал Доктор Мертвых, — покажу вам Ленина.

Они покинули кабинет, миновали пост вооруженной охраны. По глухой, освещенной тусклым электричеством лестнице спустились в подвал. Длинным бетонированным коридором, какие бывают в подземных бункерах и ракетных шахтах, достигли стальной двери. Доктор повернул запорную рукоять, и они очутились в кафельном белоснежном пространстве, похожем одновременно на операционную и парикмахерскую, с хромированными хирургическими лампами, зеркалами, длинным столом, со множеством разложенных скальпелей, пинцетов, щипчиков, кисточек, пузырьков с краской, баночек с пудрой, набором помад и гримов. В стороне были расставлены колбы, реторты, разнокалиберные флаконы с разноцветными растворами. Тут же находился стол с допотопным телефоном, состоящим из коробки, рогатого рычажка и слуховой трубки, напоминавшей о временах Совнаркома. И казалось, кто-то знакомый, в жилетке, с хитрым прищуром, только что произнес несколько грасирующих слов, повесил трубку и вышел в соседнюю комнату.

— Сюда, пожалуйста, — Доктор указал на дверь в прилегающее помещение, пропуская вперед Белосельцева.

Тот вошел и увидел.

Среди белого кафеля, под обнаженными, ярко светящими лампами стояла длинная эмалированная ванна, наполненная зеленовато-желтой жидкостью. В двух местах ванна была перетянута свернутыми в жгуты простынями, и на них, провисая, не касаясь жидкой зелени, лежало тело. Коричневое, вяленое, с дряблыми сухожилиями, выступавшими сквозь кожу мослами, костяными выпуклостями колен, с каплями желтоватого сала на сморщенной коже. Грудь была рассечена, приоткрыта, и в темной полости, куда залетал свет, виднелись желтоватые ребра и вогнутый позвоночник. Пах был вырезан, и в дыру, окруженную седыми слипшимися волосками, была

засунута мокрая тряпка. Руки с заостренными локтями бес- сильно лежали на впалом морщинистом животе, связанные марлевой тесемкой. Голова упиралась затылком в край эмали- рованной ванны. В приоткрытый рот был втиснут матерчатый кляп, словно телу не давали кричать. Из-под выцветших губ виднелись оскаленные желтоватые зубы, впившиеся в тряпку. Усы и бородка были склеены, в липком веществе. На голом черепе, на вмятых висках, на сморщенных кожаных ушах вы- ступила прозрачная смазка.

С тела беззвучно скатилась капля, упала в зеленый раствор, зарябила электрическое отражение, и Белосельцев вдруг по- нял, что перед ним лежит Ленин.

В соседней комнате громко зазвонил телефон.

— Извините, я сейчас. — Доктор поспешил на звонок, при- крыл за собой дверь, оставив Белосельцева одного перед эма- лированной ванной, в которой, не касаясь раствора, на скру- ченных простынях лежал Ленин.

Зрелище было ошеломляющим, невыносимым, неправдо- подобным. Ногти на руках были горчичного цвета, съежились, в трещинах и морщинах. Большие пальцы ног искривились, накрыли другие пальцы, и ногти на них загибались, словно еще продолжали расти. Пятки были острые, костяные, обтя- нутые коричневой кожей, как если бы скелет натянул на себя носки. Рассеченная полость груди казалась гулкой. Кромки полости были запекшиеся, с окаменелой сукровицей, напо- минавшей капли затверделой смолы. Мутно светлели в глуби- не ребра и позвонки.

В первый момент Белосельцеву захотелось убежать, за- крыть глаза, кинуться опрометью вон, чтобы увиденное стало жутким сном, наваждением, которого не могло быть наяву.

Он подавил в себе панику и остался, слыша за дверью не- разборчивый голос говорившего по телефону Доктора.

Перед этой эмалированной ванной с зеленой ядовитой жидкостью рушилось величие мифа. Среди медицинского ка- феля, отражавшего безжалостный электрический свет, раска- лывалась икона нетленного святого. При виде сморщенного, скрюченного тела, распотрошенного и выскобленного, нару-

шалось табу. От созерцания скрученных, несвежих простыней, поддетых под усохшую поясницу и костистую спину мертвеца, улетучивалась священная вера. Капля, упавшая в химический раствор, раздробившая зеленую поверхность, уничтожила богopodobный образ, обожаемый и лелеемый, порождавший мистическое поклонение, воплотивший мечту об идеальном бытии, вселенском порыве, всенародном подвиге.

Поражало и болезненно ранило обнаружение обмана, на который пустились изощренные жрецы, создавшие магический театр погребения, хрустальный саркофаг, таинственный рубиновый свет, просочившийся от кремлевских звезд в мраморную глубину Мавзолея. Этот иссохший, обезображенный ломоть органического вещества, загримированный под уснувшего богатыря, выставлялся на обозрение миллионов богомольцев, со священным трепетом входивших в гробницу, выносивших наружу, под свет солнца, мистическую веру в бессмертие богатырского строя. Молодые строгие воины, примкнув штыки, охраняли вход в гробницу. Грозные танки, марширующие полки, проносящиеся в небесах самолеты сотрясали стеклянный гроб. Ликующие толпы проносили мимо алые знамена и лозунги, иконостасы «красных апостолов». Вожди непреклонной тесной когортой стояли на могильной плите, демонстрируя незыблемую связь с основателем «красной религии». Но вместо уснувшего бога, источавшего таинственный свет, все эти годы в Мавзолее лежала мертвая оболочка, которой не давали распасться, разлететься на изначальные атомы, слиться с мировым океаном. Удерживали в смраде и мерзости, совершая насилие над мертвой материей, не умевшей вырваться из рук мучителей.

И эта беззащитность, беспомощность мертвого тела, некогда бывшего всемогущим, причиняли Белосельцеву особое страдание. Все увиденное держало его в мучительном недоумении, в непонимании мира, лишенного своей бесконечной сложности, превращенного в упрощенный обман.

В комнате пахло формалином, сладковатыми газами, уксусными испарениями и чем-то еще, медицинским, больнич-

ным — запахом морга, в котором витало чуть слышное, приглушенное зловоние смерти. От этого запаха у Белосельцева кружилась голова, он был близок к обмороку при мысли, что легкие его вдыхают частички коричневой полуистлевшей кожи, чешуйки желтых ногтей, пылинки распавшихся седовато-рыжих волос.

Доктор Мертвых, увлекшись телефонным разговором, рокотал за стеной. Вспоминая его недавние пылкие речи о близком воскрешении из мертвых, Белосельцев пытался понять: куда, через какую пуповину, через какой животворный сосуд в это мертвое тело волеются чудесные силы жизни, наполнят жилы живой жаркой кровью, озарят щеки и губы румянцем, поднимут грудь глубоким вздохом, впрыснут в мускулы свежую силу, приподымут веки и брызнут ярким блеском веселых глаз, и все скрюченное, запекшееся тело оживет, взволнуется, округлится белыми дышащими формами. Где в этой одеревенелой материи скрывается магическая точка, в которой притаился «красный смысл», ждет своего воскрешения?

Быть может, под гладким черепом с мерцающей смолкой бальзама? Но мозг, некогда могучий и грозный, светивший, как прожектор, через века, создавший великое, покорившее мир учение, — этот мозг извлечен из распиленного черепа, помещен в банку с формалином, застыл в ней, как огромный жирный моллюск. Или под веками, похожими на выпуклые скорлупки орехов, прикрывающими сонные глаза? Но глаза вырвали из глазных яблок, скребками вычистили мертвую слизь и под веки закатали стеклянные шары, накрыли их кусочками жухлой кожи. Или в сердце, которое при жизни расширялось от небывалой мечты, сжималось от лютой ненависти, содрогалось от великой страсти? Но сердце в лиловых кровоподтеках, липкое, глянцевитое, выломали из груди, как гриб валуй, кинули на скользкий мрамор, и патологоанатом просунул внутрь зачехленный, в перчатке, палец, ощупывал сердечную сумку.

Или, быть может, в семенниках, где горела укрощенная мужская энергия, подавленная любовь, реализуемая в революциях, терроре, гражданской войне, в яростном напоре идей? Но скальпель хирурга вырезал детородный орган, кинул в эмали-

рованное ведро, где тот лежал, словно умертвленный зверек. Белосельцев смотрел на кожаный тесный чехол, куда безумный мечтатель Доктор Мертвых хотел вернуть огромный и яростный век, который, излетев, отгрохотав, отпылал и канул, оставив на лице сотрясенной земли свой оплавленный отпечаток.

Распоротое тело, бессильно повисшее на скрученных полотенцах, напоминало разодранный кокон, откуда вырвалась живая стоцветная бабочка и унеслась, оставив иссыхать мертвую ненужную скорлупу. Рассеченная грудь, черная, оплавленная по краям дыра свидетельствовали о направленном взрыве, чей вектор был нацелен вовне, чьи огонь и удар устремились наружу, проломили оболочку заряда, согнули и сдвинули земную ось. Белосельцев всматривался в глубину пустого, пропитанного маслами и бальзамами тела.

В его мертвой позе, в остаточном напряжении высохших сухожилий, скрюченных ногтей, сведенных суставов, в выражении оскаленного, изуродованного кляпом рта присутствовала странная, почти живая мольба, с которой он взывал к нему. Белосельцев не мог понять смысл этой мольбы, содержание беззвучной речи, с которой обращался к нему мертвый вождь. Это послание, которое было отрывочным, не до конца расшифрованным, с пропусками и обрывками, порождало в сознании Белосельцева картины и образы, словно он считывал информацию, оставшуюся в иссохшихся клетках.

Там была Волга с огромным солнечным пером, упавшим от Симбирска, с деревянными пристанями, мещанскими домиками, кирпичными белеными колокольнями, до слепящего разлива, на котором застыл, борясь с течением, колесный пароход. Там была Казань с мечетями и татарскими рынками, с белым ампирным университетом, где в шкафах библиотеки тусклым золотом светились корешки немецких и французских фолиантов, и на пирушке студентов кто-то, захмелев, играл на гитаре, и барышня с темным бантом положила легкую руку на чью-то белокурую голову. Там была Нева с черной копотью фабричных труб, кумачи рабочих маевок, потное железо локомотивов и алые пылающие топки, озарявшие худые жесткие лица. Там была Женева с бирюзовым туманным озером,

и в открытом кафе, за узорными столиками, яростные споры и крики, и кто-то бородатый, чернявый, с золотым толстым перстнем, колотил себя в тучную потную грудь. Там был длинный поезд, составленный из синих и зеленых вагонов, идущий сквозь осенние дубравы Германии, и в купе синий дым папирос, непрерывный горячечный спор, в приоткрытую дверь заглядывает офицер, похожий на усатого кайзера, и в дождливом окне с грохотом несутся встречные эшелоны с войсками, на открытых платформах колесные пушки. И Финляндский вокзал, металлический проблеск дождя, ртутная синева прожектора, и кто-то сильной рукой подсаживает его на броню, поддерживает на скользком железе. Гулкий удар с Невы, звон стекла в ночном кабинете, и в распахнутые резные ворота уезжает переполненный грузовик — в кузове фуражки, шинели, отливающие синью штыки, на кабине водителя расчехленный пулемет. Московский Кремль в сиянии куполов и крестов, деревянная трибуна на площади, мимо проходит полк, матерчатые шлемы и звезды, колыханье винтовок, цокающий танец кавалерии, и комэска с красным бантом распустил пшеничные усы, играет на отточенном лезвии ослепительным зайчиком солнца. Стальные пролеты цехов, чугунные колеса и цепи, запах металла и смазки, множество темных, натертых графитом лиц, и какая-то женщина в узком пальто улыбнулась ему, блеснула линзами толстых очков, направила факел выстрела, и колючая боль под сердцем, и у самых глаз ребристая автомобильная шина. Зимние голубые снега, красные еловые шишки, заваленная снегом скамейка, и прелестная женщина в шубке, в собольем боа, ее свежесть, запах духов, чудный поцелуй на морозе, и на солнечной пышной поляне, рыхля снега, взвиваясь рыжей дугой, пробежала лисица, оглянулась на них восторженными золотыми глазами. Кремлевский кабинет с остатками царской геральдики, длинный дубовый стол, лица соратников с тенями усталости, морщинами упрямства и злости, с воспаленным блеском в глазах, и среди пенсне, темных бородок, курчаво-седых шевелюр спокойный кавказский лик, каштановые густые усы, желтоватые сухие глаза, остывшая с выгоревшей сердцевиной трубка, лежащая на стопке бумаг.

Белосельцев принимал беззвучное послание, исходящее от полуистлевшего тела, стараясь угадать его смысл. Тело тосковало, насильно удержанное среди другого времени, в котором источилась плоть его друзей и врагов, любимых женщин, казненного царя, конармейцев, промчавшихся на разгоряченных конях от Кавказа до Вислы, рабочих, ливших бетон в основание волховской станции, лисицы, пробежавшей по снежной поляне, рыбы, блеснувшей в волжской волне, голубя, кружившего над колокольной Ивана Великого. Телу, пропитанному ядовитыми соками, было не вмоготу оставаться среди иного бытия, иного века. Оно просилось на волю, хотело, чтоб его отпустили.

Белосельцев понимал, что необратимо завершилась огромная эпоха, отделившаяся от остальной истории, как протуберанец солнца. И в этой завершенной эпохе кончился он сам, Белосельцев, в самых сильных, лучших своих проявлениях. И его любовь, и служение, и высший смысл бытия сгорели в этом таинственном протуберанце, излетевшем из потаенных глубин Мироздания, воплощенном в человеке, чья мертвая отвратительная плоть повисла над эмалированной ванной, продавливая скрученные нечистые полотенца.

Белосельцев вышел из помещения в соседнюю комнату, где Доктор Мертвых, забыв о нем, страстно говорил по телефону, опровергая какую-то теорию переселения заблудших душ. Покинув лабораторию, он шел под деревьями парка, в которые уселась пышная, золотая птица осени.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Его паломничество к «красным мощам» окончилось унылой грустью и больным разочарованием, словно он побывал в огромном дворце, с колоннами, статуями, мраморными бассейнами, в которых поселились мокрые мхи и лишайники, приютились медлительные слепые улитки, сновали юркие, стра-

шащиеся света сороконожки, — кидались под камни разрушенных монументов, свивали гнезда в складках одежд у позабытых гранитных героев. Дворец, в котором он побывал, не имел выхода. В разрушенном куполе пролетали дождливые тучи, и он зарастал деревьями, скрывался от глаз, погружался в дремучие заросли истории.

Оставались «белые мощи», уцелевшие под спудом красной эпохи. Империя царей, страна монастырей и погостов, Россия святых и подвижников, словно старая фреска, проступала сквозь позднюю запись, где красные самолеты и танки штурмовали мировые столицы, стальные великаны в сияющей красоте и бессмертии, взявшись за руки, вздымали к звездам молот и серп — выкашивали сорняки истории, выковывали новые небо и землю.

Белосельцеву обещали встречу с иеромонахом, доживавшим земную жизнь в Троице-Сергиевой обители. И он ехал теперь к нему, дабы услышать из уст старца слова поучения и надежды: станет ли Россия великой, обретет ли осиротелый народ своего вождя и святителя, сможет ли он, Белосельцев, на исходе лет успокоить свой сотрясенный рассудок в лоне примиряющей великой идеи.

Едва он сел в зеленую электричку с желтыми деревянными лавками, едва она отчалила от kloкочущего шумливого перрона, оттолкнулась от Площади трех вокзалов с Казанскими белокаменными палатами, Ярославским изразцовым теремом, Петербургским ампирным дворцом, едва зарябили за окном подмосковные поселки и дачи, прозрачные лески и дубравы, как он почувствовал, что его тело, дух подхвачены упорной невидимой силой, которая несет вместе с другими, окружавшими его пассажирами в одну из сторон света, ту, что он выбрал сам, добровольно, из трех возможных, разбегавшихся от придорожного камня с привокзальной площади в три разные дали огромной осенней России.

Перед ним на лавке сидел смиренный попутчик в линялом пиджаке, в долгополом выцветшем подряснике, из-под которого выдвигались большие, как кувалды, нечищенные баш-

маки. Волосы попутчика были связаны в косицу, спрятаны сзади за ворот. Синие глазки под белесыми бровями не смотрели по сторонам, но пристально и радостно вглядывались в горбушку ржаного хлеба, от которой он отщипывал аккуратные ломтики, совал щепотью в рот, тщательно пережевывал, двигая рыжеватыми усиками. Батюшка из далекого прихода, ошарашенный Москвой, оглушенный кликами вокзала, приходил в себя. Поддерживал хлебцем утомленную плоть, стремился через пол-России в святую обитель — припасть к серебряной раке Преподобного Сергия, напитать оскудевший дух светом и благодатью для несения долгого бремени, укрепления в пастырском служении.

Рядом с ним примостился молодой инвалид в камуфляжной форме, без ноги, с бережно подогнутой, приколотой пятнистой брючиной. На груди его желтели две нашивки за ранения, висел на орденской ленточке крест. Глаза инвалида остекленело застыли, блестели черным слезным ожиданием. Над бровями сложились две крестообразные морщины. Солдат чеченской войны, оставивший крепкую молодую ногу в лазарете под Шатоем, ехал поклониться Святому Сергию. Вымолить у него обратно невесту, работу шофера, силу стопы, когда жал на педали тяжелого грузовика, рвущего синий воздух на бетонном шоссе. Чтобы оставили его боли в несуществующей ноге, из которой, как казалось ему, вырастали кусты огненной, жалящей крапивы.

Белосельцев с робостью и любовью осматривал окружавший его народ. Все они собрались в зеленую электричку, расселись по желтым лавкам, стремятся из необъятного, клокочущего города в северные пределы, где в лесах и туманах золотится старинная Лавра, и Святой Сергей поджидает их всех, смотрит из-под елки, как приближается электричка. И все они — богомольцы, все в скорбях и сомнениях, в хворях души и тела стремятся к целителю, и он, Белосельцев, в смирении, одолев гордыню, в непонимании мира, несет святому старцу свою мольбу и надежду.

На соседней лавке, удобно разместившись сильными, раздобревшими телами, вольно развернув раскормленные плечи,

сидели двое бритоголовых, узколобых, с мясистыми щеками. Расстегнули напоказ воротники, блестели кольчатыми золотыми цепями, тяжелыми, как собачьи ошейники. Тонким бисером охватывая могучие шеи, переливались хрупкие цепочки с крестами. Оба играли в карты, шлепали о лавку разноцветную масть, цокали языками. Мытищинские бандиты, побросав свои джипы, отправились на богомолье к Преподобному отмаливать грехи: душегубство, несправедливую, беспутную жизнь, готовую оборваться в ночной перестрелке. Доберутся до храма, упадут перед ракой, заморгают мокрыми белесыми ресницами, прося уберечь их от пули, от удавки, от тюрьмы, обещая богатые монастырские вклады, возведение часовни в поминание погибшей братвы, невинно загубленных душ.

Там же, поодаль, сидела молодая женщина в черном платочке с большими умоляющими глазами. Держала за руку худосочного мальчика, свесившего с лавки кривые тонкие ножки. Голова его едва держалась на хрупкой шее. Рот был полуоткрыт, из бледных розовых губ сочилась прозрачная слюнка. Водяные глаза бессмысленно и пусто глядели. Маленький выпуклый лобик был в каплях пота. Мать достала платок, нежно промокнула сыну вспотевший лобик, огладила белесый хохолок. Доберется до святых мощей, упадет лицом на серебряную плащаницу, беззвучно заплачет, моля Преподобного ниспослать исцеление сыну, а тот будет безучастно стоять под негаснущей красной лампадой.

Белосельцев любил их всех, был благодарен, что они приняли его. Всю жизнь он провел в скитаниях, среди других языков и народов. Жертвовал ради них своей жизнью, искал среди них слово истины, и теперь, на скончание дней, вернулся к своим, и они, потеснившись, пустили его на желтую деревянную лавку, и нет слаще, чем быть вместе с ними, искать одну для всех правду. Нестись в одну вместе с ними сторону, в синие еловые дали, где под деревом с красными шишками, опираясь на посох, стоит убеленный старец, смотрит любящими глазами.

Две красотки, озорные, глазастые, зыркали по сторонам, поводили пышными плечиками, лузгали семечки, шевелили

румяными губами, к которым пристала подсолнечная шелуха. Хихикая, посматривали на бритых парней с золотыми ошейниками. Крутили туфельками на острых каблучках. Две блудницы, продающие за деньги любовь, две смешливые плясуньи, дарящие кому ни попало жаркие любовные ночки, отправились в обитель. Еще издали, на дальнем расстоянии от Лавры, начнут кланяться, виниться, истово креститься на жаркие кресты. Прижмутся лбом к серебряной раке, забормочут наспех выученную молитву, и вдруг обе разом разрыдаются, услыша тихое слово прощения. С растекшейся по лицу помадой и тушью пойдут из храма, всхлипывая, щедро подавая нищим монеты.

Тут же дремала немолодая крепкая женщина, опершись на огромный, туго набитый куль, перетянутый шпагатами, с биркой самолетного рейса. Возвращалась, утомленная, из челночного рейса, с турецким товаром, который наутро понесет в торговые ряды, предлагая деревенским модницам кожаные куртки, тисненые сумочки, кружевное белье, ловко хватая деньги, подшучивая и подмигивая. Над рынком, сквозь деревья, возвышается зелено-белая колокольня с часами. У торговли быстрая благодарная мысль о Святителе, у кого получила напутствие, кто сберег ее в дальнем странствии, сохранил в чужой земле, указал дорогу в родной городок.

Белосельцев прижимался к стеклу, пролетая мимо поселков, деревень, полосатых полей, желтеющих осенних лесов, думая, сколько народу прежде него проделало этот путь, конно и пеше, с обозом или артелью слепых, с царским поездом или патриаршей каретой. Все несли к Преподобному свои нужды и жалобы, просили научить, заступиться, вдохновить на ратное дело, благословить на труды и радения. Теперь и он, с опозданием в целую жизнь, стремится к святому старцу, в надежде на великое поучение.

У окна, упершись затылком в стену, закрыв глаза, сидел тощий, вымотанный до предела мужчина, с кожей, посыпанной железной пудрой, с огромными, бессильно лежащими пятернями, на которых синели наколки. Зэк возвращался домой, изъеденный туберкулезом, с погасшей душой, брошенный все-

ми, не зная, как жить. Отправлялся к Преподобному покаяться в совершенных грехах, просить приюта в обители, последнего перед смертью пристанища, чтобы, задыхаясь от боли, истекая холодным потом, на последнем вздохе увидеть, как сверкнули кресты и с них опустилось к нему белоснежное диво, прижало к груди, поцеловало в омертвевшие губы.

Электричка была ковчегом, где спасался уцелевший от потопа народ, искал желанную сушу. Была космическим кораблем, отчалившим от разоренной планеты, в котором скитальцы и странники искали Божественный Рай.

Одни пассажиры оставались сидеть, терпеливо ожидая конечной станции. Другие входили в вагон, двигались между рядов, и их лица казались знакомыми.

Прошел нищий в слепецких очках, выставив тощий нос. Тыкал клюкой, выпрашивал подавание певучим жалобным голосом, засовывал в карман монеты и мятые деньги. Проштался, хватаясь за лавки, пьяный. Блаженно улыбался, заходился дикой песней, останавливался, притоптывая башмаками, куражась, и снова шел, ударяясь о лавки, пропадая в стеклянных дверях. Торговец с бабьим лицом, скопец с седыми косицами, пронес корзину с товаром — бутылки, кренделя, конфеты в цветных обертках. Углядел больного мальчика, подарил леденец в прозрачной бумажке. Прошествовал милиционер, неприступный и грозный, заглядывал в глаза пассажирам, словно кого-то искал. Появились контролеры с жестяными бляхами. Белосельцев протянул им билет и посмотрел, как мелькают за окном разноцветные осенние дали.

Электричка стучала на стыках, шелестела в высоте искрящимся проводом. И было неясно, кто машинист. Кто сидит в головной кабине, сжимая штурвал. Усатый вождь в военном парадном кителе. Царь в золоченых ризах. Лихой узкоглазый бандит с монгольским желтым лицом. Пьяный веселый шут, горланящий шальную песню. Или кабина пуста, никто не стоит у штурвала. Дрожат циферблаты приборов, стрелка у красной отметки. И на стыке, в крутом вираже, электричка сойдет с колеи, оттолкнется от лопнувших рельсов и длинной дугой, сбрасывая желтую искру, уйдет в небеса.

Очнулся. Электричка остановилась в Сергиевом Посаде. Люди направились к выходу.

Городок был милый, бестолковый, нарядный, с нелепицей ухабов, горбинами холмов, с малеваньем вывесок, криком пышных, как пионы, торговок, ссорой малиновых от вина мужиков, с фиолетовыми, под стать своим баклажанам, кавказцами, с рябой остроклювой старухой, вцепившейся в сухую клюку, с галками, важно, как чучела, сидящими в желтых деревьях, с бетонной дорогой, по которой с горки на горку катились забавные экипажи. Белосельцев двигался по улочкам, среди домишек, напоминавших резные скворечни, мастерских, наполненных старыми замками и мотоциклами, закусовых, пахнущих жареным луком, среди пешеходов, собак, дуплистых деревьев, странным образом напоминавших друг друга. Радовался этой подмосковной провинции, словно нарисованной на клеенчатом коврикe веселым, подвыпившим подмастерьем.

Осенние, напоенные солнцем деревья раздвинулись, и на горе, окруженная каменными стенами, разноцветная, голубая, цветочно-алая, словно лукошко с пасхальными яйцами, возникла Лавра. Сказочно-неземная, как райский небесный остров, опустившийся на лучах, окруженный прозрачным сиянием золотых кустистых крестов. Белосельцев издалека восхитился, поместил ее в свою распахнувшуюся, наполненную светлым вздохом грудь. Там, в глубине монастыря жил Преподобный Сергей, словно птица, свившая это гнездо посреди лесной осенней России. К этой невидимой тихой птице направил свои стопы Белосельцев, медленно поднимаясь на холм.

Он приблизился к стенам, где толпилась, мельтешила торговля, подстерегавшая богомольцев, туристов, иностранных зевак, наплывавших под монастырские стены в стеклянных автобусах, дипломатических лимузинах и джипах. На лотках лежали потемнелые иконы из деревенских киотов, новописанные образа в латунных окладах, крестики, цепочки, ладанки, четки, пасхальные, выточенные из дерева, яйца, расписные матрешки, цветастые платки, к которым расторопные торговки подзывали прохожих.

Подходя к воротам, Белосельцев почувствовал, как трепетал у входа в монастырь прозрачный воздух и свет. Над воротами, бледная, голубая и розовая, светилась Троица. Голубые ангелы безмолвно запрещали, требуя от входящего им одним ведомого знака. Входящий осенял себя крестным знаменiem, троекратно, после каждого преклоняя голову, на которую ангелы набрасывали незримый покров. Человек преображался, становился воздушней, прозрачней.

Белосельцев, повторяя движения худошавой, в долгополой юбке женщины, осенил себя крестом. Почувствовал, как осыпался, опал с него поверхностный, разноперый слой переживаний, рассеянных мыслей, мерцающих ощущений, и душа вдруг выросла и заострилась, как бутон, в котором плотно, сочно стиснулись лепестки еще невидимого цветка.

«Господи, спаси и сохрани!» — повторил он сладкие слова, которые множество раз повторял в счастливые и худые минуты, в мгновения смертельной опасности, в ожидании взрыва и выстрела, в остром чувстве совершенного греха и проступка, в последние секунды между явью и сном, отпуская от себя прожитый день. «Спаси и помилуй»! — повторил он, чувствуя, как губам хорошо и сладостно от произносимых слов.

Местом, которое указал келейник иеромонаха, где должен был поджидать его Белосельцев, было подножие колокольни, стройно взлетающей вверх, ярус за ярусом, словно огромное, нежно-зеленое дерево с золотой вершиной. В колокольне, под самым солнцем, были часы. До встречи еще оставалось время. И пользуясь этим, Белосельцев обратился к Троицкому собору, в котором укрывалась рака Святого.

Белокаменный собор был цвета домотканого холста, с нежным узорным пояском, круглыми, как белые печеные хлебы, абсидами, одинокой золотой головой, делавшей его похожим на человека в шлеме, в белых, вольно спадавших одеждах. Это человекоподобное диво смотрело на него спокойными золотыми глазами. Он поклонился собору и вместе с ним золотоголовому в белых ризах существу, и невидимой усыпальнице Преподобного, и хранимой в соборе рублевской «Троице», и Андрею Рублеву, и Дмитрию Донскому, и бессчетным,

как духи, богомольцам, прозрачно и невесомо, подобно птицам, парившим над кровлей собора. Перекрестился и ступил **внутрь.**

В соборе царил коричневый, бархатный сумрак, в котором глаза не сразу различали тусклые фрески на столпах и на стенах, едва окрашенные, потемнелые иконы, притихших вдоль стен богомольцев. Эта темнота и коричневый сумрак были таинственно-волшебные и чарующие, как сумрак праздничной новогодней ночи, с мерцаниями, тихими огнями, сладостными предчувствиями, детскими наивными ожиданиями чуда. Нечто серебряное, торжественное и ветвистое, окруженное лампадами, пылающими свечами, напоминало убранство новогодней елки. Располагалось в углу, у алтаря, источая чуть слышные волны тепла и прозрачного света. То была серебряная рака Святого, узорный ларец, в котором покоились нетленные мощи. Витые колонны с шатром были увешаны алыми, зелеными, золотыми лампадами, которые, словно тихие цветы, отражались в серебре. Смиренный монах перед ракой читал акафист Преподобному Сергию. Женский хор, невидимый, словно поднятый к высоким куполам, тонкими чистыми голосами сопровождал службу. Через храм к раке, как по извилистой тропке, тянулась вереница людей. Подходили под лампады, припадали губами к стопам и лицу Преподобного, отходили, растворясь в коричневой тьме.

Белосельцев встал в отдалении и весь отдался терпеливому ожиданию, не смея торопить предстоящее чудо. Время тянулось, свивалось в повители, в серебряные завитки, в нити женских голосов, в рокошующие переливы монашеского чтения. И было сладко, и тревожно, и чудно, и душа, присмирив, не звала, не вопрошала, а терпеливо ждала, когда ее позовут и спросят, и она ответит, что любит.

Ему вдруг захотелось встать на колени. Тихонько, чтобы не заметили его побуждения, таясь в темноте, он опустился на прохладный каменный пол. И тут же почувствовал, как изменилось все вокруг. Он стал меньше стоящей рядом поникшей старухи, меньше костлявого бородатого старика в поношенном пиджаке, стал вровень с маленькой черноглазой девоч-

кой, печально склонившей бледное личико. И это умаление было сладостным, слагало с него бремя гордыни, превосходства, неумного дерзания. Он стал слабее, беззащитнее. Фрески на столпах, иконы в окладах взлетели ввысь, и в высоком куполе, где тонко горело оконце, обнаружился прекрасный и суровый лик, взиравший на него, преклонившего колени.

Чувство приближения радости, медленно подступавшей благодати переполняло его. Боясь спугнуть это чувство, он был открыт для теплых, неслышных дуновений, которые вот-вот коснутся его лба и груди. Растворяя свое сердце, ожидая благодатной теплоты, он стал молиться. Бессловесно, ни о чем не прося, а лишь поминая ушедших, любимых и близких, одним поминанием желая им блага. Так, вызывая из прошлого их образы, он представил маму и бабушку, своего погибшего отца, дядюшек и тетюшек, всю исчезнувшую далекую родню, бережно извлекая из сердца, помещая в сумрак храма, среди нарисованных ангелов, святых и пророков. Он вспомнил своих боевых товарищей, тех, которых потерял на войне и которые канули в водовороты смутного времени. Вспомнил афганца Саида Исмаила, с которым летели в осажденный Кандагар. Вспомнил кампучийца Сом Кыта, с которым сидели под голубой туманной луной. Сандиниста Сесара Кортеса, с которым пробирались в болота Пуэрто-Кабесас. Мозамбикского разведчика Соломао, с кем плыли по желтой реке Лимпопо. Намибийского учителя Питера, с которым мчались по трансафриканскому шоссе. Воспоминание о них должно было ускорить приход благодати, как отклик на его благоговейную к ним любовь. Но благодать не являлась. Так назревший бутон, хранящий в себе цветок, не в силах раскрыться, напрягая лепестками сдерживающую их оболочку.

Это печалило, изумляло. Узорная рака, где покоились мощи, не источала желанного отклика, не высылала навстречу невидимую чудотворную силу. И желая уловить ее, поймать ее в самой серебряной усыпальнице, Белосельцев поднялся с колен, встал в медленную, колеблемую вереницу, шаг за шагом приближающуюся к раке. Монах монотонно читал акафист. Хор негромко и сладостно пел. Чеканная риза старца

отливала туманной белизной. Белосельцев нес к раке свое просветленное ожидание, как несут наполненную до краев чашу. Но в чаше была едва заметная трещина, и его благодное светлое чувство вытекало. Он сжимал чашу пальцами, стараясь удержать чудную влагу, но светлые капли одна за одной протекали сквозь пальцы, и чаша мелела. Он горевал, взывал к самым потаенным глубинам сердца, где притаился глубинный ключ смирения и любви. Но ключ оставался под спудом. Бутон, готовый расцвести, уменьшался, пропадал, терял в своей глубине цветок. И это удаление благодати ощущалось им как боль.

Он подошел к раке, дождавшись, пока стоящая перед ним женщина наклонила к застекленному серебру большие, полные слез глаза и страстно, истово припала выцветшими губами сначала к стопам, потом к груди, а затем к невидимому лику Святого. Отошла, сгибаясь в гибких поклонах. Белосельцев, повторяя ее поцелуи, коснулся затуманенного стекла, которое оставалось прохладным, бездушным, не откликнулось на его поцелуи. Опечаленный, отвергнутый, отошел в глубину храма, издалека наблюдая, как недвижно, словно замороженные в темный лед ягоды, горят разноцветные лампы. Благодать не исходила от раки, словно усыпальница была пуста. Старец ушел из нее. Поднялся, невидимый, и, опираясь на посох, растворился в окрестных борах.

Келейник отца Паисия поджидал его у подножия колокольни.

— Батюшке с утра было худо. Думали, Богу душу отдаст, но к обеду полегчало. Велел звать вас, — келейник с белым, словно не ведающим солнца, лицом не смотрел на Белосельцева выцветшими нежно-голубыми глазами, опускал их в землю. Легким мановением руки пригласил за собой, заволновал подолом серенькой рясы.

Они ушли от монастырских соборов в глубину переходов и стен, где, розовые, обветшалые, располагались братские кельи. По дощатой галерее, по выщербленным полам, мимо прикрытых, одинаковых дверей проследовали в глубину помещения. Келейник без стука отворил деревянную дверь, из-за ко-

торой пахло больницей, старостью, теплым воском и чем-то еще, напоминавшим запах старинных сундуков, из которых после смерти хозяина извлекают лежалую рухлядь.

Старец лежал на подушках, утонул, как в мягком гнезде, выглядывая сухим остроносом лицом. Его белая легкая борода шевелилась от дыхания. На животе были сложены костлявые пятерни. Глазки, спрятанные в тенистые впадины, влажно мерцали, нацелились на вошедшего Белосельцева. Тот поклонился, сел на подставленный келейником стул. Неподробно, вскользь осмотрел келью. В одно окно, узкая, с крестовидным сводом, она вся была увешана и уставлена образами, подсвечниками, наполнена огоньками горящих свечей. Под лампадами, напоминавшими разноцветные светила, лежал иеромонах и молчал. Пристально смотрел, вздымая пепельно-белую бороду. Белосельцев не решался начать разговор, тоже молчал, окруженный разноцветными иконами. Так они сидели минуту, другую.

Белосельцеву казалось, монах проникает его потаенную суть, угадывает мысли. Прочитывает их строка за строкой, приближая к остроносому лицу раскрытую книгу его, Белосельцева, жизни.

— Пришел спросить, как жить дальше? Что станет с Россией? Как тебе в ней быть и как побороть нерусь и нехристь? — Голос монаха был надтреснут, и в нем дребезжали печальные звуки расщепленной длинной лучины. — Много скитался, много искал, да не нашел. Теперь ко мне явился, думаешь, я укажу. А я тебе скажу не в утешение, а в огорчение. Не ты один горюешь. Гляди, кругом тебя образа плачут. — Он медленно повел глазами, выглядывая из темных вмятин, и было видно, что движение глаз причиняет ему страдание.

Белосельцев проследил его взгляд, остановился на выпуклом коричневом Спасе, чьи волосы были расчесаны на прямой пробор, маленькие губы, окруженные русыми волосами, были похожи на лиловые лепестки, и с изумлением заметил — в подглазье, в коричневых ободах, из которых глядело огромное строго-печальное око, сочилась смолка. Блестела липкой струйкой, словно из слезной желёзки. Повисла золотистой каплей.

— Последние православные уходят с Руси, оттого иконы плачут. Малая горстка осталась. Немного по монастырям задержались, кое-где по скитам. В миру совсем нету. Благодать оставляет Россию, оттого мироточат...

Белосельцев осматривал иконы. Знамение Богородицы напоминало произведение русских кубистов, где Святая Дева восседала на троне среди треугольников, ромбов, секущих друг друга пространств. На ней, сотканной из голубых спектральных лучей, алых и зеленых лоскутьев, вытопленная из доски неведомым жаром, сочилась слеза.

— Говорят, жида царя убили. Да ведь русские попустили. Все от царя отвернулись. Генералы, министры, солдаты. Все его на казнь проводили. Тогда в России ровно половина православных пропала. Господь за царя отнял веру...

Под красной лампадой стоял образ Царя-Новомученика, в торжественных ризах, в шапке Мономаха, окруженный нимбом, сжимающий в руках державу и скипетр. На его бороде, как кусочек розовой слюды, блестела слезинка. Казалась капелькой крови, просочившейся сквозь малую ранку.

— Когда комиссары колокольни взрывали и иереев расстреливали, где был русский народ? Я мальчиком видел, как солдаты копали ров, понагнали арестованных батюшек, выстроили на краю: «Отрекитесь от Христа, жить будете!» Ни один не отрекся. Солдаты в них пули пускали и штыками кололи. Протоиерей со штыком в груди благословлял убийцу, а тот ему глубже штык засовывал. Тогда Господь еще у половины веру отнял, вдвое православных убавил...

Иконы обступали старца, и Белосельцеву казалось, что у каждой из крохотного родничка пробивается таинственная влага. У Николая Угодника, поднявшего стеблевидные персты над раскрытой книгой. У Серафима Саровского, стоящего на коленях под елкой. У архангела Михаила с мечом. Иконы со слезами прощались с православной Россией, где в церквах гасили лампы, навешивали на ворота тяжелые замки, разбредались, чтобы больше не сходиться на Пасху, Благовещение, Троицу, жить в тусклых трудах и заботах, в неведении истины, не видя над собой небесной лазури.

— Сатана наслал на Россию Гитлера, потому что в ней вера иссякла и она ослабела. Гитлер пол-России забрал, пока не встали на молитву заступники и предстоятели, которых еще оставалось по тюрьмам и лагерям. Тогда они, сговорившись, совершили общую молитву о спасении России и велели Сталину открыть Успенский собор и помолиться об одолении немцев. Я тогда воевал под Истрой. У нас полков не осталось, по одному патрону на солдата. А немец, как хотел, мимо нас ездил на вездеходах, к Москве подбирался. К нам в полк приехал священник, и обнес иконой строй, и дал поцеловать командиру. И тут такая метель поднялась, такое солнце, что всех ослепило. И мы увидали, как по снегам идет Богородица. Командир, верующий, сын священника, скомандовал: «Вперед!», и мы пошли на немца по полю. Богородица нас заслоняет, ему не видать нас, а нам удобно стрелять. Так в Истру и вошли с Богородицей. Тогда Господь пятую часть православных на Русь вернул. Потому и в войне победили...

Белосельцев слушал монаха, объяснявшего ему в числах простую арифметику, соединявшую небо и землю. Иконы обступали его, оплакивали, жалели за то, что он был не в силах понять этих простых исчислений.

— Хрущев действовал по наущению дьявола, когда церкви закрывал и иконы сжигал. И мало кто восстал. Я в КГБ сидел, меня босиком на морозе в ледяную купель ставили: «Крестим тебя не огнем, а льдом. Где же твой Христос-заступник?» Я в барак шел, куски льда на ногах тащил, и ноги, по молитве моей, не отмерзли. После Хрущева православных куда меньше стало. В Сибири всего сто человек, а дальше ни единого...

Монах, похожий на старую птицу, лежал в ладье, и она отплывала, покидала Россию, чтобы больше никогда не вернуться. А он, Белосельцев, оставался на осиротелом берегу, откуда, как осенние птицы, улетали святые и ангелы.

— В девяносто первом, когда коммунисты рассеялись, яко пыль на ветру, на Россию напали несметные сатанинские полчища. Солнца было не видно, как они тучей шли. Мы с братией вышли и считали, сколько их к Москве пролетело. На дворе август, а у нас святая вода замерзла. С куполов позолота со-

шла. В небе две луны и два солнца горели. Они Москву приступом взяли, в каждый дом, в каждую церковь вселились. С тех пор Москва их. Мы трое суток на молитве сражались, и с нами Преподобный Сергей. Лавру от них отстояли...

Белосельцев внимал с мучительным чувством, что от него отрекаются, не берут с собой в плаванье, не пускают в уплывающую ладью. И некого было умолять, не к кому было воззвать. Ибо лежащий перед ним отшельник был всего лишь пассажир, а не кормчий. Взошел на ладью без пожиток, произнес заветное слово. А он, Белосельцев, обремененный земными страстями, с пожитками любовей, с воспоминаниями о любимых и близких, с не отпускавшими его упованиями, останется на пристани среди страждущего, покинутого поводырями народа.

— В девяносто третьем, когда Ельцин-Сатана стрелял из пушек в Москве и множество православных погибло, у нас в храме ночью сами лампы зажглись, а в купели вода стала как кровь. Патриарх хотел из Кремля с иконой Владимирской выйти, запретить избиение, но ему сатана не велел. С тех пор Патриарх черной сыпью покрылся, и у него, как у роженницы, живот растет. А кого родит, тот с копытами и с хвостом. Народ смотрел, как дом горит на Москве-реке, и никто не пришел на помощь. С того года Господь последних православных с Руси прибрал. Кое-где напоследок остались, чтобы свечки задуть...

Голова старца удобно утонула в подушках. Нос, как строгий клюв, выглядывал из гнезда. Плачущие иконы являли несомненное чудо, но оно не коснулось его, Белосельцева, не озарило его душу любовью, не открыло ему смысла бытия, а лишь затуманило новой печалью. «Белые мощи», к которым он торопился после посещения «красных», не одарили его благодатью. Были для него горсткой праха. Преподобный, к которому он торопился в зеленой электричке вместе с верующим православным народом, не принял его. Узнав о его приближении, встал и покинул раку. Выставил вместо себя умирающего монаха, который строго объяснял, почему ему, Белосельцеву, оставаться на земле неприкаянным, доживать свои дни в помрачении, без веры, смысла и подвига.

— Теперь на Москве Сатана. Всех людей метит своим числом. Священники руку Сатане протянули, и он ставит «число зверя». Подметного царя схоронили, вместо него в могилу кости содомита подсунули, и все люди молятся за Царя-Содомита. Патриарх с жидями одну службу служит, не поминает Христа Распятого. Православных на Руси не осталось, а значит, не осталось народа. Которые русскими назывались, теперь просто люд, от слова «лютый». Вся Русь Православная на небесах собралась, и мне пора собираться. Второй день голубь на окно прилетает. Богородица за мной гонца шлет. Завтра к утру помру...

Старец умолк, сомкнул глаза. Они погасли, утонули в темных яминах, словно в них кинули могильную землю. В тишине было слышно, как на оконном карнизе воркует, постукивает коготками голубь.

— Пойдемте, — сказал келейник, опустив глаза долу. Вывел Белосельцева из палат на монастырское подворье, где на колокольне, под золотой короной, тонко прозвенели часы, возвещающая о скончании времен.

Белосельцев вернулся на станцию, сел в отходящую на Москву электричку. Она была пуста, без единого пассажира.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Паломничество к «красным» и «белым» мощам не наделило его светом и силой. Еще острее он ощущал свое одиночество, как потерявшийся в Космосе астронавт, чьи приборы утратили из вида Землю, чей поврежденный корабль ушел с траектории и без топлива, без навигации, с молчащими передатчиками мчался в ледяной пустоте, среди разноцветных светил, мертвых, как полярные льды. Однако это не разрушило, не подавило его, но странным образом укрепило в одиноком и безнадежном стоицизме. Исполненный мессианства, один, он упрямо и, казалось, бессмысленно продолжал борьбу, имев-

шую смысл не в победе, не в одолении могущественного врага, а в своем собственном одиноком стоянии, среди ненавистных врагов, перед лицом гибнущего народа.

«Проект Суахили» вступал в новую стадию, на которой устранялись могущественные магнаты. Все их богатство, несокрушимая сила их информационных империй, их явные и скрытые связи переходили в распоряжение заговорщиков, усиливая тех непомерно. На пути к их цели, осторожный, беспощадный, коварный, оставался московский Мэр. Метил в Кремль, создавал оппозицию, обольщал больного властителя, льстил Дочери, распускал у ней за спиной чернящие слухи, тайно вступал в отношения с командующими округов. На его предстоящем празднестве в честь открытия моста, в день его триумфа, предполагалось учинить разгром олигархов, погубить говорливого, утратившего чувство реальности Граммофончика. Осквернить ритуальное празднество Мэра знаками тюрьмы и смерти.

Праздник, затеваемый Мэром, пропечатанный в приглаательных картах рифленным золотом, назывался: «Мост-Президент». Неутомимый украшатель столицы, искусный строитель великолепных храмов и памятников, конструктор кольцевых дорог и проспектов, Мэр соорудил через Москву-реку магистральный бетонный мост, а старый, облицованный камнем, из утомленной от времени узорной стали, передвинул на новое место, к Нескучному саду. Накрыл хрустальной крышей, с тонким вкусом соединил в нем благородную архаику и великолепный модерн. Подарил его москвичам, как стеклянную, переброшенную через реку галерею, из которой открывался великолепный вид на воду и где предполагалось проводить художественные выставки, увеселения и празднества. «Мост-Президент» был верноподданническим знаком Мэра мнительному, недолюбливавшему его Истукану и тайным намеком на собственные стратегические, далеко идущие замыслы.

Белосельцев, отправляясь на торжество, был бодр, сосредоточен, весел. Он шел пешком от метро «Парк культуры», по набережной, где было перекрыто движение и пропускались только избранные лимузины с фиолетовым вспыхивающим плюма-

жем, которые проскальзывали вдоль вечерней озаренной реки и мчались к помпезному зданию Штаба. Оттуда, из темноты, переброшенный через реку к лесистому взгорью Нескучного сада, хрустально светился мост. Посылал в вечернее московское небо золотые лучи. Казался волшебной, возникшей в небесах дорогой, по которой пойдет вереница счастливых, спустившихся на землю небожителей. На подступах к мосту обильно стояли охранники. Иные открыто, в милицейской форме, с автоматами, другие, незаметные, в гражданском облачении, таились в тени деревьев. У Белосельцева несколько раз испрашивали пропуск, и он охотно извлекал из кармана именную золоченую карту, где был оттиснут лучезарный «Мост-Президент».

У подъема на мост, на набережной, была ярко освещена открытая площадка. В аметистовых лучах играл рояль, переливались лакированные виолончели и скрипки. В кадках стояли великолепные деревья, с оранжевыми апельсинами, малиновыми яблоками и сливами, как предвестники райского сада. На ступенях моста деревья составляли сплошную благоухающую, ведущую в небо аллею. По этой аллее медленно восходила вереница гостей. Дамы, блистая обнаженными плечами и шеями, украшенные драгоценностями, то и дело останавливались, указывали своим спутникам на красоту реки, на купол храма Христа Спасителя, на подсвеченную монограмму Крымского моста, на бронзовый колосс Петра Великого. Мужчины, помогая подыматься дамам, иные в черных фраках, успевали наклониться к душистым, растущим из кадок деревьям, вдыхали тропические сладостные ароматы. Стеклянная галерея напоминала ботанический сад обилием экзотических пальм, араукарий, лавров, магнолий. Они составляли уютные потаенные ниши или сплошные заросли или расступались, образуя просторные поляны, с которых, сквозь прозрачные стекла, открывался великолепный вид на Москву. На освещенные церкви, на парящие в лучах особняки и дворцы, на огненную дугу Садового кольца, на разноцветную реку, по которой плыли украшенные огоньками трамвайчики. Проходящая мимо Белосельцева знаменитая актриса громко, желая привлечь внимание, произнесла:

— Висячие сады Се-МЭР-амиды! — И в ответ ей, дымя сигаретой, засмеялся известный парламентарий.

Галерея наполнялась гостями. Слуги в малиновых сюртуках с бабочками разносили на подносах напитки. У столиков, среди тропических деревьев, словно это были Фиджи или Сейшелы, бармены в белых камзолах наливали из толстых бутылок виски, коньяки, замороженную, с золотой искрой водку. Пленительно улыбаясь, кидали хрустальные ломтики льда, лили шипучий тоник, розовый томатный сок. Белосельцеву было приятно сделать терпкий глоток, глядя, как на реке, украшенный алмазной гирляндой, в размытом отражении стоит сторожевой корабль с маленькой пушкой, и адмирал в парадном мундире что-то объясняет жеманной красавице, известной своими телепередачами «В гостях без галстука». Та шевелила сочными, сладостно-плотоядными губами, словно сосала большой леденец, одновременно целуя стоящий на воде корабль, и адмирала от седых благородных волос до голубых лампасов, и мандариновое дерево в кадке, усыпанное оранжевыми плодами, а также всех проходящих мимо ее перламутровых, неумоимо сосущих губ.

Мэр уже находился в галерее. Его присутствие угадывалось по уплотнению собравшихся гостей, каждый из которых хотел приблизиться к хозяину. Ждали появления Патриарха, который должен был освятить обновленный мост. Истукан находился в клинической больнице, но вместо него ожидалась Дочь, что служило бы знаком состоявшегося примирения Президента и Мэра. Надеялись на приезд Избранника, который на самолете еще только подлетал к Москве, возвращаясь из правительственной поездки в Германию.

Белосельцев с рюмкой двигался по галерее от одного берега к другому, словно в прозрачном желудке огромного стеклянного червя, наполненного питательной пищей. Здесь собралась вся московская знать, принадлежащая к партии Мэра. И та переменчиво-зыбкая публика, перебежавшая от одного властителя к другому, стоило одному из них возвыситься над соперником. Здесь были знаменитые артисты, певцы, театральные режиссеры, кому покровительствовал Мэр и кто охотно,

в знак благодарности, выступал на благотворительных концертах с его участием. Тут были политики, обеспечивающие Мэру поддержку в парламенте и в отдаленных от Москвы губерниях, где тот, демонстрируя московский размах и богатство, строил то школу, то сиротский приют, то церковь, напоминавшую главный московский храм. Отдельно общались между собой банкиры и промышленники, хранящие в московских банках несметные капиталы, которые, как золотая вода, омывали московские улицы, зажигая на них великолепные витрины, алмазные фонари, огненные рекламы, превратившие Москву в блистательный, не засыпающий по ночам Вавилон. Депутаты Думы, которые в зале заседаний обменивались разящими ударами, насмешливыми репликами, беспощадными насмешками, казались непримиримыми врагами, — здесь, под тропическими пальмами, дружески чокались рюмками, весело и беззаботно шутили, похлопывали друг друга по плечам, вспоминая, как ловко они накануне разыграли парламентскую ссору, дав пищу телерепортерам и неистовым партийным приверженцам. Телерепортеры и телеведущие были широко представлены не только теми, кто постоянно освещал деятельность Мэра в самых привлекательных тонах, создавая ему образ радетеля столицы, ревнителя России, покровителя наук и искусств. Здесь были также и противники Мэра, которых он старался привлечь на свою сторону, и среди них блистательный ведущий, аристократ, отважный полемист, любимец дам, строптивый баловень, чьей издевательской насмешки боялись сильные мира сего.

Белосельцев углядел среди полуобнаженных дам сияющего Астроса, который сорвал с дерева мандарин и чистил его для белокурой красавицы. Зарецкий с живой хризантемой в петлице, похожий на декадентствующего поэта, шел под руку с женщиной-политологом, и та, полузакрыв подведенные изумрудом глаза, насмешливо внимала его болтовне. Увидев этих двух обреченных, не ведающих о своем близком конце, Белосельцев стал искать и тут же нашел их палачей. В разных местах галереи мелькнули Гречишников, Буравков и Копейко, все трое в черных фраках, строгие, молчаливые, похожие

на гробовщиков. Послали Белосельцеву опознавательные знаки, одними глазами, изобразив ими то ли мальтийский крест, то ли греческую букву «омега».

Вдоль цветущих деревьев, то и дело останавливаясь и раскланиваясь, упиваясь своей известностью, уязвленный блистательным праздником, который устроил его давний и счастливый соперник московский Мэр, двигался Граммофончик. Его сопровождала жена, гордо, по-царски неся красивую голову с высокой прической. Удостаивала холодной улыбкой встречных дам, благосклонно протягивала для поцелуя руку галантным мужчинам. Увидев Граммофончика, Белосельцев начал искать среди пальм, винных столиков, удобных диванов и кресел место его будущей казни. И тут же нашел его — одинокая телекамера стояла чуть в стороне, и немолодой оператор, тот же самый, что снимал когда-то Премьера, устало сидел и пил апельсиновый сок в ожидании минуты, когда будет востребован.

На вечер явился гастролирующий по России американский маг и прорицатель русского происхождения, чернявый, красногубый, с огненными чернильно-фиолетовыми глазами, в длинном, несусветном розовом фраке с расходящимися эстрадными фалдами, с разноцветными перстнями, покрывавшими длинные и очень бледные руки.

Тут была новая знать, ничем не напоминавшая прежнюю, сходящуюся на советские празднества по случаю юбилеев и съездов. Ту, напыщенную, чиновно-важную, наивно-чопорную, состоящую из партийных вождей, космонавтов, литературных лауреатов, засекреченных ученых и прославленных героев труда, смыло бесследно паводком перемен. Только один из прежних, казавшийся бессмертным, переживший множество геологических эпох, похоронивший мамонтов, фараонов, абсолютных монархов и красных вождей, присутствовал среди нарядной, легкомысленно-скоротечной толпы. Востоковед, дипломат, разведчик, грузный и маленький, в бандаже, с обрюзгшим лицом, выворачивая в стороны больные ноги, шел, белея вставными зубами, весь в лиловых пятнах не сгорающей в огне саламандры. Его, как Вия, вели под руки прямо к Мэру,

с которым он затевал новую политическую партию себе на забаву, Мэру на погибель.

Вдруг головы всех, как чаши подсолнухов, повернулись разом в одну сторону, откуда, невидимое, всходило светило. Дочь, в вечернем туалете, блистая красотой, властная, сильная, обольстительная, шла по галерее, ступая в раскрывавшийся перед ней коридор. Ни на кого не глядя, всем улыбалась, вызывая у дам угодливые улыбки и злой завистливый блеск в глазах, порождая вожделение мужчин, заискивающие поклоны дельцов, подобострастные приветствия высоких чиновников. Ее сопровождал Плут, превративший чопорный, серо-невзрачный Кремль советских времен в помпезные имперские палаты.

Мэр торопился навстречу, раздвигая в верноподданной радости редкозубый рот, лоснясь от преданности, умудряясь изображать одновременно два взаимоисключающих чувства. Уничижительное смирение и холопью покорность по отношению к гордой и надменной властительнице. И торжествующее величие, ликующую надменность по отношению к окружающим. Не решаясь поцеловать протянутую Дочерью кисть, он сжал ее двумя ладонями.

Вновь по галерее пробежал трепет, обращая в одну сторону чуткие лица, ищущие взоры. Прибыл Патриарх, медленно, с остановками преодолевая ступени моста, вознесся на вершину, как на Елеонскую гору, утомленный, совершив подвиг служения, готовый окормлять, проповедовать, отпускать грехи. Он был облачен в золотую ризу, сиявшую, как доспехи. В руках у него был высокий жезл, которым он был готов пасти неверное, изнеженное, неразумное стадо, насаждая в нем ростки благодати. Борода величественно рассыпалась по лучезарному облачению. Он источал благость, смирение, понимал, как важно людям узреть его, усладить взоры сиянием солнечных риз. Ему сопутствовал священник, псаломщики, которые несли саквояжи, где были спрятаны чаша, кропило, Евангелие, — орудия освящения моста.

Гости гурьбой устремились к Патриарху, спешили подойти под благословение, иные неумело, не зная, как встать, покло-

ниться, какую руку поцеловать. Патриарх прощал их всех, неопитов, сбросивших ярмо безбожного ига, обучающихся заново верить и любить. Протягивал для поцелуев большую, как французская булка, руку, позволял целовать. И все, кто ни был, — модные артистки, надменные банкиры, сдержанные чиновники, развязные телеведущие, — все шли под благословение. Вознесенные над Москвой, у всех на виду, гордясь своей избранностью, они, мешая друг другу, припадали к сдобной патриаршей руке, забавляясь этой новой для них ролью.

Мэр, казалось, готов был упасть на колени, но Патриарх его удержал. Накрыв его лысую голову своей надушенной, благоухающей бородой. Дочь смиренно приняла благословение, послушно поклонилась, но не совсем по канону. Белосельцеву показалось, что она сделала книксен. Патриарх, утомленный, отдыхал, стоя рядом с Мэром. Риза округло спадала по его полному животу. И Белосельцев вдруг вспомнил слова монаха Паисия о том, что Патриарх носит в чреве загадочного младенца.

Все еще ожидали Избранника, но все с меньшим нетерпением. Казалось, он опоздал на свой праздник. Пропустил миг своего торжества. Его место занял удачливый Мэр, добившийся расположения Дочери, благословения Патриарха.

— Может быть, его самолет задержали в Германии?

— Может, его сбило «люфтваффе»?

— Его сбил Мэр, и все, что сюда заявится, будет политическими обломками.

— Разве ему можно тягаться с Мэром? Мэр — гигант, исполин!

— А этот — выскочка, временщик.

— Политический легковес!

Мэр поднялся на возвышение, обставленное живыми цветами. Подтянул к себе тонкий металлический стебелек микрофона, и в воцарившейся тишине по всей галерее раздался его знакомый, уверенный, чуть насмешливый, в меру патетический голос.

— Этот мост, который мы дарим сегодня москвичам, символизирует единство, преемственность власти, удобное и без-

болезненное перемещение с одного берега, из одного политического периода, на другой берег, в новый политический период. Мы назвали этот мост «Президентом», потому что у России замечательный, великий Президент, сделавший нашу страну свободной, а нашу Москву красивой и счастливой, как никогда. Уверен, в честь нашего Президента назовут не только мосты, но и аэродромы, как в Нью-Йорке, и космодромы, и вновь открытые планеты. Здоровья и благополучия нашему Президенту! — Он поднял руки и громко ими захлопал, и все стали хлопать, оглядываясь по сторонам, ожидая, когда сосед прекратит неистовые аплодисменты, не желая оказаться первым.

Началось освящение моста. Псаломщики расторопно раскрыли саквояжи. Извлекли чашу, подсвечники, Евангелие. Умело запалили высокие витые свечи. Раздули кадило с курящейся благоуханной струйкой. Приготовили кропило в виде пушистой волосяной метелки. Патриарх читал молитву. Его голос благостно, по-стариковски дрожал. Он говорил нараспев, вытягивая слова, словно в жалобном и печальном песнопении. Взмахивал кадилом, развешивая вокруг прозрачные благовонные струйки, к которым тянулись чутко вдыхающие носы. Скрещивал длинные, как шпаги, свечи, умело держа на их окончаниях маленькие огоньки. Его поклоны и воздыхания были обращены на стеклянную оранжерею с деревьями, на темную реку с военным кораблем, на Крымский мост, по которому мчались огни, сливались в сверкающий серп Садового кольца.

Не различая слов, а улавливая лишь дребезжащий, казавшийся нарочитым распев, Белосельцев видел, как дородный, облаченный в золотую парчу Патриарх благословляет и освящает власть, ту, которая была ненавистна ему, Белосельцеву. Он испытывал острую неприязнь к Патриарху, и когда тот начал кропить и брызгать, такая кисть в серебряную чашу с водой, и прохладная капля упала на лицо Белосельцева, поспешил отступить, платком отер щеку, словно это была не вода, а уксус.

С кратким приветствием выступила Дочь, обращаясь к Мэру:

— Я навещала сегодня в больнице Президента. Он чувствует себя хорошо, скоро вернется в Кремль. Сказал, что подойдет к окну и будет любоваться салютом в честь открытия моста.

Мэр сиял, аплодировал. Поворачивался в ту сторону, где, по его расчетам, находилась клиническая больница. Адресовал аплодисменты выздоравливающему Президенту.

Принесли бутылку шампанского, и Мэр умело, лихо грохнул ее о железную ребристую перегородку. Бутылка взорвалась, брызнула пеной, и ловкие служителя с совками и метелками убрали осколки.

— Да здравствует Президент! — крикнул кто-то сквозь бра-вурную музыку.

— Да здравствует Мэр! — восторженно вторили из толпы.

— Да здравствует Татьяна Борисовна! — это произнес Плут, подойдя к микрофону, бархатным баритоном перекрывая фортепьяно.

Белосельцев видел, как умело, артистично, по искусному сценарию, разворачивается действо. Знал, что в этом пышном, многозвучном сценарии тайно заключен другой, спрятанный, как стиснутая пружина.

В галерее медленно меркнул свет, отчего яснее становились видны разлив реки, синий сумрак вечера, очертания города. Начиная звучать яростная, сладострастная музыка. Под ее огненные ритмы из темноты приближался вертолет. Щупал небо голубым прожектором, зажигал на реке ртутное плещущее пятно, скользил по галерее слепящей секирой. Вертолет повис перед мостом, раскрыв над собой серебристый зонтик винта, опираясь на голубой столб света. И в этот свет, как в прозрачный колодец, по едва заметной мерцающей струне стала спускаться обнаженная женщина. Спускаясь, она танцевала. Откидывалась назад, расплескивая руки и роняя длинные волосы, и казалось, сейчас она сорвется и блестящей каплей упадет в реку. Прижимала грудь к едва заметному канату, вытягивала назад напряженную ногу, стремительно начинала вращаться, и тогда казалась, что это бабочка, насаженная на голубую иглу, трепещет, силится вспорхнуть и умчаться. Она повисала вниз головой, бессильно свешивала руки, недвиж-

ная, с рассыпанными волосами. Вертолет приблизил ее к галерее, так что отчетливо видны были молодая сильная грудь, темные соски, черная ленточка лобка. Она обернулась к восхищенным зрителям смеющимся лицом и стала танцевать в воздухе эротический танец. Отжималась от стальной нити напряженным торсом, круглыми блестящими бедрами, резко поворачивалась сияющим животом и выпуклой плечушкой грудью. Кружилась вокруг сверкающей вертикали, делала длинный пластичный шпагат, сворачивалась в живое колесо. Она превращалась в гибкую змею, складывалась в крест, свивалась в вензель под пламенную музыку. Послав воздушный поцелуй ликующей толпе, стала удаляться в лучах прожектора, как небесный ангел, пролетающий над ночным городом.

Еще мерцала в отдалении голубая искра, в которую превратилась небесная танцовщица, как на реке ударил оружийный выстрел. С военного корабля ввысь полетели букеты салюта. На туманных высоких стеблях распускались лучистые хризантемы, золотые шары, алые и фиолетовые тюльпаны. Все небо над рекой превратилось в нарядную клумбу, которая осыпалась, роняла лепестки, отражалась в воде разноцветными лентами, змеями, переливами. Корабль салютовал, усыпанный гирляндами, плескался на радужной воде. Зрители аплодировали, бурно приветствовали седого адмирала, который был горд за свое детище, отвечая легкими сдержанными поклонами.

Еще трепетало после салюта темно-синее небо, похожее на гаснущий огромный экран, как в нем уже вспыхнули лазерные лучи. Под разными углами перекрещивались, превращались в месте встречи в ослепительные точки, блуждали в синеве, охватывали небо серебристой мерцающей сетью, наполняли летучим дождем. Из этой зыбкой сети, сквозь голубые серебристые струи полетели птицы. Сотни голубей были выпущены с реки. Взмыли к мосту, влетали в лазерные мельканья.

Гости были в восторге. Патриарх, вначале смущенный появлением обнаженной плясуньи, теперь был удовлетворен. Ибо голуби, как посланцы неба, являли собой знамение одухотворенной Москвы, набрасывали на Мэра отсвет сил небесных.

Не успели гости обменяться впечатлениями по поводу ошеломляющего зрелища, как зазвучал знаменитый американский блюз, напоминающий плавное парение, медленные взлеты и сладостное планирование над туманной землей. И под эту упоительную музыку из-под моста стало выплывать многоцветное диво, словно огромный, текущий по волнам ковер, освещенный яркими прожекторами. Самоходная баржа с сооруженной на палубе широкой площадкой выносила на простор громадный портрет Президента, воссозданный из живых цветов. Не того, обрюзгшего, фиолетового, словно ошпаренный баклажан, а молодого, крепкого, налитого неукротимой волей, яростной непобедимостью, каким его запомнил мир на танке, в дни триумфа. Цветы из лучших оранжерей, взлелеянные искусными садоводами, умело расставленные портретистом, вспыхивали росой, переливались всеми оттенками свежести. Казалось, на воде явлена живая икона, ниспосланная с небес.

Мэр торжествовал. Дочь восхищенно провожала плывущее по реке изображение отца. Не удержалась, благодарно взяла Мэра за руку. Все восприняли это как окончательный и необратимый знак примирения. Кончилось противостояние всемогущего, но больного и теряющего силы властелина с яростным московским властолюбцем, который почуял скорый конец владыки и прежде времени напал на ослабевшего соперника. Это была ошибка, ставящая под угрозу мир и покой государства. Теперь эта ошибка преодолевалась — в интересах страны, в интересах властной преемственности, в интересах семейного клана ослабевающего владыки, которому Мэр обещал покровительство и сохранение привилегий.

— Отобрав власть у бездарных и бессильных коммунистов, мы доказали миру, на что мы способны. — Мэр вновь поднялся на возвышение, притянув к губам стебелек микрофона, и по мере того, как он говорил, в стеклянной галерее снова меркнул свет, и река с туманными очертаниями города становилась видней и ближе. — Мы доказали, что умеем работать, умеем совершенствовать жизнь, умеем превращать данное нам от Бога достояние, будь то Москва или сама Россия, умеем пре-

вращать их в чудо света! — Последние слова он выдохнул с эстрадной напыщенностью, сделав кому-то знак.

Ударили сочные, колокольно-гулкие аккорды Первого концерта для фортепьяно с оркестром Чайковского. Снаружи, над рекой полыхнуло. Крымский мост озарился, словно от берега к берегу пробежал быстрый росчерк золотого пера. Полукруги, перевернутые арки, натянутые струны горели, как световод, в котором пульсировала плазма. Вверх, в ночную синеву, исходило сияние, будто над рекой распростерло крылья прилетевшее из небес диво. А внизу бессчетными струями бежало золотое отражение.

Мост погас, оставив в зрачках меркнувший черный автограф. И тут же за мостом, под звуки фортепьяно, озарился храм Христа. Не белым, а небесно-голубым, словно за рекой распустился волшебный цветок с огромной золотой сердцевиной. Из чаши цветка исходили прозрачные дышащие лопасти. Казалось, цветок растет на глазах, качается над городом. Изображение храма пропало, и несколько секунд восхищенная публика в темноте внимала звукам рояля.

Над Парком культуры из густых деревьев выкатилось слепящее ночное светило. «Чертово колесо», усыпанное алмазами, блистая спицами, расплескивая лучи, катилось над Москвой как колесница античного бога. И все зачарованно смотрели, как уносится за Нескучный сад солнцеподобный Фазтон. Колесо распалось, осыпалось легчайшим пеплом, вызвав у гостей вздохи сожаления. Но тут же, из вод, в малиновом зареве, в светящемся изумрудном камзоле, с золотым, натертым до блеска лицом, встал великан. Перешагивая крыши домов стеклянно-светящимися ботфортами, Петр шел навстречу течению, река бурлила вокруг сапог, и речные трамвайчики и буксиры в страхе отворачивались от шагающего исполина.

Изображение погасло. Но вдалеке, за высотным зданием, полыхнули зарницы. В разных концах Москвы, словно падал на них небесный луч, загорались церкви, монастыри, колоннады, озарялись дворцы и памятники, скользили разноцветные молнии света, проплывало прозрачное павлинье перо. Восхищенные глаза ловили аметистовую Шуховскую башню, ро-

зовое видение Кремля, выточенный из голубого льда ампирный дворец, круглую, как луна, арену Лужников.

Мощная, бравурная музыка рокотала. Вдруг чудо светомызыки пропало. Вспыхнуло электричество, и в его благодатных лучах со всех сторон галереи понесли угощение. Ставили на столы огромные чаши с подогревом, с горящими фитильками. Подносы с бесчисленными закусками. Серебряные рыбницы с осетрами и севрюгами. Фрукты, свежую землянику с мороженым. Блюда на любой вкус, русской, европейской, восточной кухни, и один столик с кошерной пищей, к которому тут же приладились два хасида с размотанными до земли пейсами, явившиеся в Москву похлопотать о рукописях Шнейерсона.

Наступило время свободного общения, произвольных тостов, доверительных разговоров. Сплетни и интриги с легкостью плелись среди тропических пальм, мясных ароматов, розовых лобстеров, подносимых на серебряных блюдах. Белосельцев вслушивался в голоса, взрывы смеха, в звон бокалов. Он различал в толпе Граммофончика, возбужденного, окруженного почитателями, витийствующего. Казалось, тот читает стихи, эффектно отставив ногу и воздев руку. Его красивая жена, умиляясь и одновременно тревожась за его здоровье, поглаживала его по плечу, умеряя пыл. Временами среди ярких нарядов, цветных пиджаков, обнаженных женских плеч появлялся черный фрак Гречишникова.

Белосельцев отошел с открытого пространства галереи, где люди отыскивали друг друга взглядами, подымали издалека бокалы, посылали воздушные поцелуи. Отошел в заросли, в потаенную нишу, окруженную деревьями, напоминавшую беседку. Отсюда виднелась черная глянцевитая река, стальные изгибы Крымского моста с разбегавшимися красными и белыми точками.

В соседней нише, за глянцевитой листвой деревьев, раздались голоса. Белосельцев узнал голос Дочери, умягченный, взволнованный, с трогательными интонациями благодарности.

— Вы неподражаемый мастер устраивать праздники, на которых забываешь все горести и неприятности. Жаль, что отец

не смог это увидеть. Он нуждается в положительных эмоциях. Я расскажу ему, как вы были внимательны к нему, как чествовали его. Он будет признателен.

Отвечающий голос, не скрывавший своей радости, с едва различимыми нотками торжества, принадлежал Мэру.

— Мы так рады тому, что он выздоравливает и возвращается в Кремль. Его отсутствие остро чувствуется. Без него все замирает, выжидает. А с его возвращением все снова начинает двигаться, жить. Страна обретает хозяина.

— Скажу вам доверительно, как другу. Его все чаще посещают мысли о досрочной отставке. Он слишком ослабел. Слишком велико бремя власти.

— Извините, Татьяна Борисовна, но об этом не хочется слышать. Мы все надеемся, что он пойдет избираться на третий срок. Он может не сомневаться, Москва поддержит его, как поддержала на первых и на вторых выборах. А после победы он может рассчитывать на нас, как на верных и трудолюбивых помощников.

— У него изношены сердце, легкие. Участились спазмы мозга. Вряд ли он пойдет на третий срок.

— Мы должны сообща уговорить его. Я убежден: кроме него, никто не способен стать Президентом. Он незаменим.

— Благодарю вас за преданность отцу. Передам ему непременно. В последнее время появилось столько врагов, столько изменников. Только и ждут, чтобы он ушел.

— С врагами мы справимся сообща. А изменникам послужит уроком пример Прокурора.

— Спасибо. Я передам отцу ваши слова.

— Он должен знать, что я его самый верный друг и соратник.

Раздался легкий звон стекла. Говорящие чокнулись бокалами, скрепляя доверительный союз глотками шампанского.

Белосельцев не выходил из своего укрытия, отделенный от собеседников слоем листвы. Услышал, как кто-то еще присоединился к разговаривающим. Снова зазвенело стекло бокалов.

— Ваш праздник — ослепительная удача! Такое могли себе позволить лишь цари Вавилона и императоры Рима! — В этом пылком излиянии Белосельцев узнал Астросу. — Мои телека-

меры снимают весь вечер. Мы будем транслировать торжество на всю Россию.

— Это не просто блистательный аттракцион, не просто великолепное шоу. Это мощная политическая манифестация. — Вторым подошедшим был Зарецкий. — Этот праздник знаменует новую политическую эру. Эру консолидации всех важнейших политических сил после временных, вполне естественных в политике расхождений. Сегодня, с этого великолепного моста, всем видно, — страной руководит Президент, опираясь на Мэра столицы, на бизнес-элиту, на банковское сообщество и на творческую интеллигенцию. Накануне выборов собран мощный кулак, и ему не может быть противодействий. Даже коммунисты прислали сюда своего лидера, как посылали раньше князей в Орду.

— Он прав, — сказал Астрос. — Мы консолидированы, как никогда. Все видят, Астрос и Зарецкий ходят в обнимку, значит, две информационные империи заключили пакт о ненападении, о переделе мира, о дружбе на вечные времена.

— Ну что ж, все сказанное верно. Люди, прошедшие такой путь, столько испытавшие вместе, стольким рисковавшие, не могут обойтись друг без друга. — Это говорил Мэр, довольный таким истолкованием празднества. — Мы должны публично продемонстрировать наш союз. И не пускать в него случайных людей. Выскочек и временщиков. Эти непроверенные люди хороши для выполнения временных одномоментных задач. А потом они должны незаметно уйти.

— Пусть себе ездят в свои Германии, чтобы не забыть немецкий язык. Мы сохраним за ними эту роль. — Астрос смеялся, слегка пьяный, разгоряченный зрелищем красивых женщин. — Он нам понадобится, — продолжал он, имея в виду Избранника, — как переводчик при заключении нашего нового «Пакта Риббентропа — Молотова». Переводчик может присутствовать на коктейле, на переговорах, но его подписи под документом нет.

— Хорошенькое сравнение ты придумал для нашего союза. Ты бы еще Кальтенбруннера сюда приплел. Что скажут бедные евреи? — хихикнул Зарецкий.

— Бедные евреи ничего не скажут, потому что самые бедные из них — это мы, — засмеялся Астрос. — Предлагаю выпить за самую красивую женщину на этом мосту. За «Мисс Москву»! За «Мисс Россию»! За тебя, моя Татьяна! — фамильярно произнес Астрос, и Белосельцев представил, как бриллиантово-голубые глаза его, обращенные к Дочери, пробежали по ее обнаженным рукам и груди.

— И смело вместо «белль Нина» поставил «белль Татiana»! — передразнил его Зарецкий, и все четверо засмеялись, чокнулись бокалами, и растроганный голос Дочери произнес:

— Спасибо, друзья!..

Белосельцев осторожно покинул свое укрытие и ушел в толпу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В центре внимания публики находился американский маг и волшебник, с великолепным русским языком, в котором, как запашок в сыре, присутствовал едва ощутимый одесский говорок. Его бледные, усыпанные самоцветами руки посылали в столпившихся гостей острые лучики рубинов и изумрудов, словно вкалывали иголки в чувствительные зоны, наносили магическую татуировку, подчиняя волю легковверных и любопытных зрителей.

— Вы действительно напророчили мировой финансовый кризис? — спрашивала его красивая, возбужденная шампанским актриса, уже находясь под властью гипноза и обаяния таинственного чужеземца.

— Я написал скромное письмо вашему Президенту, где предупреждал, что большую Россию ожидает маленький дефолт. Я люблю Россию, мою вторую Родину, и мне хотелось, чтобы у нее не было неприятностей. Но ответа, увы, не последовало. — Чародей улыбался красными, словно в помаде, губами, направляя на актрису чёрные, без зрачков глаза, вонзая в ее открытую шею разноцветные лучики самоцветов.

— А вы бы не могли напророчить мне? — Актриса была окончательно загипнотизирована, чувствуя, как по ее телу разливаются сладостные, разноцветные струйки боли. — Я хочу знать мое будущее.

— А вы не боитесь? Оно может быть ужасным. Лучше не заглядывать в зеркало будущего, а жить настоящим, особенно такой красивой женщине, как вы.

Из круга любознательной публики, дружелюбно, по-медвежьи ее раздвигая, вышел Плут. Чуть бражный, благодушный, покачивая свое плотное сытое тело, распаренное, словно из бани.

— Я, как видите, не красивая женщина и поэтому не боюсь будущего. Давай, погадай мне. Я тебе устроил выступление в Кремлевском дворце, а сейчас ты покажи, на что способен.

Прорицатель тонко улыбнулся, прощая фамильярность. Взял Плута за большую, толстопалую ладонь. Прикрыл коричневые веки и словно задремал. Его перстни переливались у Плута на ладони, а тот снисходительно поглядывал на собравшихся и улыбался.

Прорицатель открыл глаза, и они были выпуклые, круглые, с бронзовым отсветом, как ягоды черной смородины.

— Вы великий домоустроитель. Вы вернули Кремлю его былое великолепие. Там, где появляетесь вы, там благоустраиваются дома. В Нью-Йорке, в районе Бруклина, есть тюрьма, которая нуждается в благоустройстве. Вам суждено побывать в Бруклинской тюрьме и превратить ее в Кремлевские палаты.

— Ты так шутишь? — Плут слышал вокруг себя насмешки, рассматривал свою ладонь с отпечатками перстней. Сам усмехаясь, уходил из толпы. И по мере того, как он удалялся, лицо его становилось задумчивей.

Место Плута занял адмирал, чей разукрашенный корабль горел на реке огоньками. Адмирала прочили на видную должность в Штаб Флота, и он уже принимал поздравления. Прорицатель взял его сухую твердую ладонь. Сжал пальцами запястье, словно щупал пульс. Закрыв глаза, погрузившись в созерцание неведомого, ненаступившего будущего. Адмирал тер-

пеливо, с мягкой улыбкой, поощряемый дамами, позволял магу экспериментировать.

Колдун открыл веки, и его чернильные, выпуклые глаза полыхнули жутким потусторонним светом.

— Русский град Китеж ушел на дно со всеми своими жителями, и до сих пор из воды слышны колокольные звоны. Курск, который вы так любите, адмирал, тоже уйдет на дно, и никто из его обитателей не всплывет на поверхность.

— Но я не люблю Курск, ни разу в нем не был, — пожал плечами адмирал.

— Я говорю о ковчеге. О подводном ковчеге, господин адмирал, — тихо произнес прорицатель.

Адмирал, не удовлетворенный ответом, пожимая плечами, уходил, сопровождаемый дамами.

Вслед за адмиралом к фокуснику в розовом фраке приблизился телеведущий, чья популярность затмила популярность политиков, эстрадных звезд и хоккейных бомбардиров. Баловень, злой острослов, умный циник, красивый повеса, интеллектуал и веселый шутник, он раскалывал черепа скудоумных партийных лидеров, мазал черным вареньем белоснежные камзолы ханжей, возвеличивал карликов, срубал башку великанам, делал прекрасным и привлекательным зло, облачал в шутовские наряды добро.

— В детстве цыганка нагадала мне, что я подожгу мой дом. И мои родители прятали от меня спички, — он протянул прорицателю руку, снисходительно позволяя тому потешить праздное общество, — но мой дом по-прежнему цел и невредим.

Прорицатель взял протянутую руку, закрыл глаза. Белосельцев видел, каким непосильным трудом он занят. Как вторгается в запретные миры, производя в них смятение. Как разрушает закономерность времен, обгоняя на свистящей стреле медленно нарождающуюся череду событий.

— Цыганки не всегда лгут. Ваш дом загорится так, что пожар будет видеть вся Россия. И тушить его станут всем миром.

— Вы это серьезно? — переспросил ведущий. И хотя на лице его оставалась насмешка, он вдруг побледнел и, подставив локоть хорошенькой барышне, отошел в глубину галереи.

Подвергнуть себя испытанию будущим, не видя в этом никакой для себя опасности, решился руководитель космических программ. Рыхлый, с жирными плечами, вислым носом, в мешковатом костюме, он слыл сторонником американских решений в Космосе. Считал нерентабельным для человечества дублирование российских и американских программ. Настаивал на скорейшем строительстве совместного российско-американского космического города, в сравнении с которым отечественная станция «Мир» казалась старомодной деревней.

Космист, улыбаясь дряблой стариковской улыбкой, протянул волшебнику потную жирную ладонь, на которой, словно гвоздем, были процарапаны грязноватые линии жизни.

— Так где мое будущее? На небе или на земле? — прошептал он мокрым ртом, подымая воловьи слезящиеся глаза вверх, где, невидимые в безвоздушной синеве, носились космические спутники, разведывательные зонды, марсианские станции, и среди них, как серебряная бабочка, парила русская станция. — Где прикажете искать мое будущее?

— На дне, — не трогая его ладонь, ответил странный человек в розовом фраке, из кармана которого торчала игральная карта с мастью «треф».

И все перешептывались, дивясь парадоксальному ответу.

Белосельцеву вдруг захотелось протянуть ему руку, ощутить на запястье прикосновение волшебных перстней, почувствовать сладкую боль проникающих ядовитых иголок. И узнать, что ждет его впереди. Больничная койка с капельницами или мгновенная вспышка пули, выпущенная с чердака неведомым снайпером, прекращающим опасную игру с «Суахили». Или унылое прозябание старости, без друзей, без близких, с меркнувшим зимним оконцем, с сумеречными несвязными мыслями. Он уже сделал шаг, уже поднял руку. Но дорогу ему перешел наглый веселый Астрос. Казалось, на его плотоядных губах переливается радужный мыльный пузырь.

— Я приглашаю вас на мое телевидение, маэстро. Гонорар — полмиллиона долларов. Но прежде докажите, что вы видите мое будущее.

— Вы владеете долларами, алмазами, драгоценностями, — вяло ответил кудесник, — вы любите дорогие украшения. Сегодня вы получите замечательный подарок.

— Какой? — наивно полюбопытствовал поверивший Астрос.

— Браслет, — ответил устало прорицатель и отвернулся от него, желая уйти из круга любопытной публики. Астрос задрал рукав пиджака и манжету рубахи, показывая всем свое крепкое запястье, на котором уже сегодня должен был появиться усыпанный алмазами браслет. А Белосельцев испугался разоблачения. Смотрел на широкое, в синих жилках запястье Астроса, на котором через несколько минут должны были замкнуться наручники.

— Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною и скоро ль на радость соседей-врагов могильной покроюсь землею? — Граммофончик, изрядно подшофе, держа рюмку с любимым «Камю», манерный, возбужденный, играя глазами, точь-в-точь как лет десять назад, когда выходил на трибуну Съезда, преградил путь уходящему прорицателю, требуя к себе внимания. — Какова, милостивый государь, моя будущая доля?

— Но примешь ты смерть от «Камю» своего, — едва слышно обронил прорицатель, и с вытекшими глазами, осыпавшимся до костей лицом ушел в толпу, неся на обугленном сутулом скелете розовый фрак. А Белосельцеву вновь стало страшно от той зловещей обыденности, что обретали аномальные явления, толкователем и вершителем которых он являлся.

Граммофончик уходил в глубину галереи, где клубился народ. Он удалялся, и рядом с ним неизвестно откуда появился Зарецкий. Охаживал, обскакивал его со всех сторон, направляя в удаленную нишу, где была поставлена тренога с телекамерой и оператор в жилете со множеством карманов, напоминавший странное сумчатое животное, ждал начала работы. Граммофончик и Зарецкий шли, разглагольствуя. К ним присоединился Астрос, налетев на них с какой-то дурацкой шуткой, от которой Граммофончик по-молодому, заливисто рассмеялся. Поблизости от них возник и пропал Гречишников в черном одеянии. Время, остановившееся в стеклянной гале-

рее, словно в хрустальном озере, по которому плавали нарядные лодки с дамами и кавалерами, вдруг проточило узкое русло и хлынуло в него убыстряющейся черной струей.

Белосельцев слышал запальчивый, нетрезвый голос Граммофончика.

— Да, я скажу прилюдно... Страна должна знать своих героев... Я выведу на свет все его махинации... В свое время, когда я был мэром Санкт-Петербурга, я приказал проверить его деятельность, которая могла бросить тень на меня... Да, и доллары через финскую границу в особо крупных размерах... И торговля цветными металлами... И торговля детьми, которая получила поистине индустриальный размах...

Они приблизились к нише, окруженной деревьями, из которых, как ружейный ствол, выглядывала телекамера. Граммофончик оживился еще больше, увидев ее. Он любил телекамеры, их дразнящие зрачки, мигание индикаторов, белый луч осветительной лампы. Он любил телеинтервью, сделавшие его знаменитым. Любил эти нескончаемые потоки внимания, приливы славы, в которых купался и плавал и которые шлифовали его, словно волны прибоя, делая гладким, как галька. Теперь он опять был в центре внимания публики, был востребован. К нему возвращались известность и слава, которые хотели отнять у него враги и завистники.

— Ну что, работаем? — нетерпеливо и взыскательно обратился он к оператору так, чтобы его слышали собравшиеся вокруг любопытные гости. Откашлялся, одернул пиджак, огладил виски. Астрос поправил ему галстук. Зарецкий угодливо стряхнул с плеча несуществующую соринку.

— Поехали? — спросил он оператора.

В это время возник официант, строгий, с античным профилем. Он держал на руке круглый серебряный поднос, сиявший как солнце. На нем стояла рюмка, одинокая, как цветок на поляне. Этот цветок невозможно было не сорвать. Невозможно было не выпить прекрасную рюмку «Камю».

— Вы столь любезны! — Граммофончик взял рюмку театральным жестом, поклонился собравшимся и начинавшей рокотать телекамере. Выпил до дна. Рюмка еще трепетала в его

руках, а лицо начинало наливаться малиновой тяжелой краснотой, словно вся кровь хлынула в голову. Мозг разрывался от обилия крови. Глаза выпучивались, словно у глубоководной рыбы. В них лопались кровяные сосуды. Роняя рюмку, под стрекот работающей телекамеры, он грохнулся на пол, под ноги толпе. И в этой тишине, по всей галерее, пронесся пронзительный визг, переходящий в истошный звериный вой. Это жена Граммофончика, уже не жена, а вдова, склонилась над ним. Расстегивала ему под галстуком рубаху, под которой обнажилась впалая стариковская грудь, седые волосы и мальтийский медальончик с крестом.

По галерее катились волны ужаса. Людей сгребало туда, где, бездыханный, оплакиваемый вдовой, лежал Граммофончик, и вокруг мелко поблескивали брызги разбитого хрусталя. Мэр, узнав о случившемся, мчался к месту смерти. Торжество превратилось в трагедию. Яркий, царственно задуманный праздник обернулся ужасной смертью. Эта смерть наполняла его затею мрачным смыслом, бросала на него черную тень. Он представлял, как завтра по всем телеканалам будут показывать мертвого Граммофончика и его, Мэра, дирижирующего светомузыкой, поднимающего бокал шампанского. Злые комментаторы станут намекать, кому была выгодна эта смерть. Глубокомысленно приводить случаи, когда князей приглашали в Орду и там убивали. Рассказывать о давнишнем соперничестве московского и петербургского мэров. Это был провал, сокрушительное поражение, после которого нечего думать о свидании с Президентом.

Он прорвал круг, обступивший мертвеца. Наклонился, убеждаясь, что благородная душа покинула брренное тело. Сквозь приоткрытые губы Граммофончика сочилась малиновая пенка.

— Где врачи?.. Скорую!.. Реанимацию!.. — выкрикивал Мэр беспомощно, понимая, что лежащему на полу Граммофончику нужна не капельница, а лопата могильщика. — Моего личного врача Шапиро!..

— Какое несчастье! — ахал находящийся тут же Астрос. — Минуту назад он был совершенно здоров, чувствовал себя превосходно!

— Да где же врачи, черт возьми! — зло шипел Зарецкий. — Все предусмотрели — лобстеров с Борнео, дерево манго из Африки, девок из парижских борделей, а врача нет!.. Идиоты!..

Снаружи, вдоль набережной, засверкало фиолетовой вспышкой, и к подъему на мост подлетели машины.

— Наконец-то!.. Врачи!.. — Толпа отхлынула, освобождая пустой коридор, в котором должна была появиться бригада врачей в белом, с саквояжами и носилками, на бегу извлекая шприцы и спасительные инструменты. Но в пустом прогале, меж деревьев и наряженных дам, вместо белоснежных врачей появились люди в черном, — в дырчатых масках с розовыми жуткими прорезями, в которых воспаленно горели глаза. Грохоча башмаками, держа в руках тяжелые автоматы, они промчались по галерее, опрокидывая кадки с тропическим деревом, туда, где лежал покойник. Четверо из набегавших, издавая хриплые, парализующие волю крики, набросились на Астросу и Зарецкого, грубо и ловко вывернули им руки, набросили блестящие наручники. Поддержали вверх, так что у Астрасы лопнул рукав, а Зарецкий испустил тонкий птичий крик боли. Грубо понукая, поволокли к выходу. Другие, в черных, натянутых на голову чулках, зыряка свирепо глазами, держа наготове автоматы, отгоняли людей стволами. Пятились, жарко дыша красными, процветшими сквозь черную ткань губами. Ломали бутсами ветки упавшего экзотического дерева.

Все длилось минуты. Мэр, пораженный, не закрывая рта с фиолетовым, распухшим от ужаса языком, лепетал:

— Что случилось?.. Кто виноват?.. Я был далеко, не видел!..

Гости, напуганные автоматчиками, шарахались, бились о стеклянные стены, как залетевшие в комнату птицы. Какая-то дама истерически визжала, колотила кулаками в прозрачную оболочку, желая выброситься в ночную реку.

Когда все немного поутихло, и женщины тревожно жались к своим мужчинам, а те по мобильным телефонам вызвали охрану, и мертвого Граммофончика перенесли куда-то за кадки с деревьями, и Мэр, стараясь вернуть себе бодрый и властный голос, громко требовал в мобильник: «Директора ФСБ, и немедленно!», когда на галерее установилась

зыбкая тишина — снаружи, на набережной, вновь вспыхнули голубые мигалки.

Все отшатнулись, ожидая вторжения черных, как черти, фигур. Но вместо них легкой, бодрой походкой, почти пританцовывая, не касаясь земли, появился Избранник. Шел по оза-ренной галерее, ладный, приветливый, улыбаясь, внушая успокоение и надежду. Дочь устремилась навстречу этой улыбке, цветущая, дышащая силой и красотой. И пока они сближались, по чьей-то неведомой воле ударила громкая музыка, радостно-звонкая, брызжущая. За стеклом, в синей пустоте московской ночи, на Крымском мосту зажглась ослепительная надпись «Президент» — полыхала бриллиантами, завивалась струями огня, трепетала торжественно и ликующе, отражаясь в реке драгоценным серебром. Избранник и Дочь сблизились, тот предложил ей руку, она обняла его маленький точеный локоть. Так они и шли, словно танцевали менуэт, и все восхищенно аплодировали, восторгаясь горящими за окном письменами. И только Мэр осунулся, сгорбился, свесил бессильные руки, похожий на разделанную тушку зверька, которую подвешивают на крючок и пускают вдоль конвейера.

Через день Белосельцев был вызван в «Фонд», где его поджидал Гречишников. Ему казалось, что линии кабинета, контуры мебели, оси симметрии, пропорции оконных рам были смещены, выгнуты, как на снимке, сделанном длиннофокусной оптикой. Пространство кабинета было искажено, пол и потолок не были параллельны друг другу. Гречишников сидел с расплуснутым, суженным лбом и неестественно раздвинутыми губами. То ли в голове у Белосельцева от перенесенных перегрузок взбухла жила и деформировала зрительные центры, то ли здесь, в «Фонде», в силу неясных геофизических аномалий прошла искажающая волна и сморщила пространство.

— Ну как тебе вчерашний театр? Один спектакль в другом. Это и есть новая режиссура! Выше Станиславского! Выше Мейерхольда! Театр «Суахили» с элементами античного хора и итальянской комедии масок!.. — Гречишников смеялся, и лицо его

казалось раздавленным, словно он вращался на бешеной центрифуге.

Белосельцев чувствовал на себе давление, какое бывает на борту вертолета, совершающего противоракетный вираж.

— Астрос в «Лефортово» держался как пленный Наполеон. Гордый, неприступный, скрестил на груди руки, отказывался говорить со следователем. Даже плюнул в Буравкова. Зато Зарецкий, понимая случившееся, валялся в ногах, плакал и умолял. Предлагал отступную в треть состояния. На что ему Копейко заметил: «Из вашего состояния вам оставлено ровно столько, чтобы можно было заказать у надзирателя туалетную бумагу»...

Красная площадь за окном необычно выгибалась, как округлая поверхность чешуйчатой металлической планеты, и башни Кремля, располагаясь на этой кривизне, заваливались в разные стороны. Казалось, вращение, породившее центробежные силы, смело с площади находившихся там зевак, и брусчатка пусто, жестоко блестела.

— Все огромное состояние олигархов — недвижимость, ценные бумаги, нефтяные поля, телевизионные империи, газеты, посреднические фирмы, банки — все это перешло в нашу собственность. Невидимая работа Копейко и Буравкова была направлена на то, чтобы реальным собственником их корпораций стали мы, участники «Суахили». Ты — один из участников. Ты имеешь в этом долю...

Белосельцев заметил, как по-новому, странно заглядывают в окно купола Василия Блаженного. Витые, ребристые, зубчатые, они словно поменялись местами. Одни из них выдвинулись, похожие на чалму раджи. Другие сместились, подобные булаве запорожца. Третьи, напоминавшие фантастический корнеплод, почти исчезли, показывая лишь один красно-золотой ломоть. И оттуда, от этих сместившихся куполов, исходила искривляющая пространство сила, гнула линии комнаты, раздвигала и плющила губы Гречишникова, притягивала к себе находящиеся в комнате предметы. Бутылка коньяка, рюмки, блюдце с лимоном готовы были оторваться от стола, унести в окно и, как к магниту, прилипнуть к куполам.

— Если хочешь, возьми акции сибирской нефти... Очень доходны акции алюминиевых заводов... Большая ликвидность у нефтеколонок, сеть которых разбросана по Европе и Америке... Рекламный бизнес в телекорпорации Астроса больше, чем у Зарецкого, но тот начал скупать региональное телевидение, а там рекламный рынок больше... Кроме того, мы тебе предлагаем пост Председателя Совета директоров отличного крепкого банка, через который проходят деньги от торговли оружием и ядерными технологиями... Ты прекрасно поработал на «Суахили». И у тебя есть своя доля...

Храм Василия Блаженного был системой планет, которые в своем орбитальном вращении выстроились в линию, образовали «парад планет». Сила их притяжения сложилась и многократно усилилась, создавая невиданную гравитацию. Лома-ла устойчивость мира, порождала в земной коре искривления и трещины, смещала материки, вызывала огромные цунами, и было слышно, как похрустывает площадь, трется друг о друга брусчатка, выдавливаются основания башен.

— Когда я соглашался работать с вами, я не думал об акциях, — сказал Белосельцев, чувствуя, как поле притяжения куполов мешает шевелиться губам и язык словно поворачивается в застывающем бетонном растворе. — Я думал о великом возрождении, о великом преобразовании, которое вы провозглашали. Где объединение территорий, возрождение СССР? Хотя бы намеки, первые сдвиги политики?

— Империи пространств кончились. Мир бьется за коммуникации и маршруты нефтепроводов. Все коммуникации Евразии проходят через Россию — Севморпуть, Транссиб. Другие народы будут выбредать со своих проселков, чтобы выйти на трансконтинентальные линии России. Что касается нефтепроводов, мы купим ленточные участки земли и проложим трубу. Россия сбросила с себя лишние территории и лишние, плодящиеся народы. Мы больше не станем кормить многодетные узбекские семьи и позаботимся о многодетности русских женщин. Возрождение СССР не актуально...

Белосельцев чувствовал, как исчезают его последние иллюзии и надежды. Мир, в котором существовали эти иллюзии,

перепахивался огромным плутом. Материки перевертывались, ложились вверх дном. Полюса менялись местами. Реки вытаскивали новые русла. Хребты проваливались. Равнины вздымались и горбились. Кромка океанов меняла рисунок, и в новом ландшафте мира, среди новых государств и столиц ему, Белосельцеву, не было места.

— Ты говорил о возвращении власти народу. О возвращении к государству советов, разгромленному Истуканом в девяносто третьем году, в дни расстрела Парламента. Где признаки этого?

— Их и не будет. Народовластие — фикция, придуманная умными диктаторами в окружении Ленина. Народ был страшно удален от власти и к ней равнодушен, что стало очевидно сначала в девяносто первом, а потом в девяносто третьем. Народ не поддержал путчистов и отвернулся от горящего Дома Советов. Вопрос не в народовластии, а в том, чтобы группа лидеров была национально ориентирована и владела национальным проектом развития...

Края куполов, заслоняя друг друга, смотрели в окно как множество разноцветных, взошедших на небе лун.

— Вы обещали, что отберете у банкиров собственность, экспроприируете олигархов и вернете богатства народу. Где обещанная национализация? Когда народ получит обратно нефть, железные дороги, алмазы?

— Народ равнодушен к форме собственности. Он хочет, чтобы ему платили за труд. Он будет благодарен олигарху, если тот повысит зарплату, и проклянет государство, если оно ее ненадолго задержит. Народ примирится с возвращением Кенигсберга Германии, а Курил и Сахалина Японии, если это будет связано с повышением уровня жизни. Собственность, о которой ты говоришь, будет сконцентрирована в руках национально мыслящих промышленников и банкиров, готовых остановить экспансию в Россию еврейского капитала и обеспечить суверенность национальной экономики...

Белосельцев понимал, что дело его проиграно. Его перехитрили. Обольстили уверениями, угадали мечтания, использовали его опыт и ум и теперь открывают ему беспощадную истину,

предлагая ее принять. И если он отвергнет ее, попытается восстать, его расстреляют из бесшумных пулеметов, чьи темные рыльца едва различимы в разноцветных луковицах храма.

— Ты прекрасно поработал и ужасно устал. — Гречишников смотрел на него с благодарностью и дружеским сочувствием. — Поезжай отдохни. Хочешь, в Кению, половить тропических бабочек. Хочешь, на Сейшелы — покупаться, наслаждаться красотой смуглых женщин. Ты теперь богатый человек, можешь себе многое позволить. А хочешь, поезжай в свой любимый Псков и отдохни там душой.

Белосельцев чувствовал, что его отсылают. Угадывают его смуту и панику, возможность неподчинения и взрыва. Готовился новый этап «Суахили», в котором ему не было места. И его удаляли, чтобы он не создал помехи.

Белосельцев подошел к окну, созерцая кремлевские башни. Мимо окна, на брусчатку, рокоча двигателем, вырвался странный аппарат. Двигаясь, как автомобиль, на четырех колесах, с выхлопной струей гари, он был оснащен самолетным килем с нарисованной красной звездой. Вдоль корпуса выступали небольшие крылья, усиливающие сходство с истребителем. По всему фюзеляжу была прочерчена красная линия со множеством звездочек, отмечающих сбитые в бою машины. Когда аппарат проносился мимо окон вдоль Лобного места, на его борту отчетливо смотрелась икона Богородицы золотых и алых тонов. Проскочив Лобное место, машина круто повернула, направляя ход к Спасским воротам, и на другом борту возник портрет Сталина, золотистый и алый. За лобовым стеклом был виден пилот в шлеме и летных очках. В этой фантастической, приземлившейся на площади машине Белосельцев узнал «Москвич» Николая Николаевича, превращенный в самолет, чей киль трепетал на брусчатке, с плоскостей срывался зеркальный свет, радиатор украшала бриллиантовая «Звезда Победы», и за штурвалом, облаченный в одежды небесного воина, сидел пророк. Патрульные машины с разных концов площади устремились наперерез, но воздушный воин вел оружие к цели, недосягаемый для безнадежно отставших преследователей.

Небо над площадью клубилось разноцветными тучами. Брусчатка переливалась, как крыло бабочки. Самолет направлялся туда, где бугрилось, переливалось многоцветной чешуей огромное тулово Змея. Взбухшее кольцо дракона стиснуло башни, облегло стены, сдавило колокольни и храмы, запрудило ворота. И в сердце Змея, в его дышащую пасть, в его кольчатую разрисованную спину, нанося смертельный удар, спасая Москву и Родину, направил пророк заминированную машину, напевая то ли молитву, то ли песню Великой Войны.

Белосельцев видел, как машина достигла незримой отметки на площади, остановилась, и из нее грянул взрыв. Острые брызги огня прорвали оболочку машины, оторвали киль, расшвыряли дверцы. В клубах ядовитого дыма из машины выпал пилот, шевелился секунду и замер. К нему с двух сторон подскакивали патрульные «Волги», выскакивала охрана, пробираясь сквозь дым, набрасывалась на Николая Николаевича.

Белосельцев с криком отпрянул от окна, выбежал из подъезда к Лобному месту. Он бежал к Спасской башне, где горел остов автомобиля и среди разбросанной жести лежало маленькое, оглушенное тело пилота. Дюжие охранники что-то делали с ним — то ли били, то ли сшибали огонь.

— Стоять!.. Назад!.. Документы!.. — преградили ему путь охранники. Удерживали за локти сильными руками, просматривали извлеченные из кармана документы. Издалека он видел место взрыва, куда выбегало оцепление в черном, вставляла очередь автоматчиков. Хрупкое, смятое взрывом тело, от которого шел вялый дым, поднимали и заталкивали в легковой фургон.

— Черт бы его побрал. Еще один псих ненормальный.

Охранник, кивая на отъезжавший фургон, вернул документы Белосельцеву. И тот, не возвращаясь в «Фонд», брел по разноцветной брусчатке, под цветными светилami, горевшими в небе Москвы.

Дома он включил телевизор. В программе новостей сообщалось, что душевнобольной террорист взорвал автомобиль на Красной площади, направляя его на Кремль. Камикадзе в тяжелом состоянии доставлен в «Лефортово», где ему оказана

медицинская помощь, и следователи, как только он придет в себя, готовятся снять показания.

По другой программе передавали похороны Граммофончика на Новодевичьем кладбище. Свежая могила, заваленная цветами. Поредевшая когорта «демократов первой волны». Вдова, вся в черном, красивая, с беломраморной шеей и белыми полусферами открытых грудей. Рядом с ней Избранник. Она положила ему голову на плечо, беспомощно прижалась к нему, и у него в глазах слезы.

Здесь все было кончено. Чтобы не стать свидетелем или, не дай бог, участником нового этапа «Суахили», он начал собираться в Псков.

Часть четвертая

ОПЕРАЦИЯ «ГЕКСОГЕН»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Поездка в Псков не была обычным путешествием пожилого человека по местам молодости и первой любви. Он ехал не для того, чтобы оказаться среди храмов, озер, сосняков, где было ему чудесно и где он пережил любовь. Он отправлялся туда с магической целью обратить время вспять. Он ехал в Псков, чтобы, подобно водолазу, погрузиться в огромный океан исчезнувшего времени и там, среди утонувших кораблей, потопленных материков, ушедших на дно поколений, найти крохотную скважину, в которую нырнет, промчится вспять, вынырнет в исчезнувшем мгновении. Он готовился к поездке, как к огромной духовной работе. Уезжал, чтобы не вернуться.

За этими торжественными размышлениями его настиг утренний телефонный звонок. Голос казался знакомым, с едва уловимым двойным дефектом, как если бы на одну монету были наложены две разные чеканки. Голос был вежливый, исполненный извинений, но в нем, как в перегретом электрическом проводе, присутствовала потаенная истерическая страсть.

— Виктор Андреевич, поверьте, я не стал бы беспокоить вас дома, да еще в столь ранний час. Только неотложные обстоятельства заставили меня это сделать. Мне нужна встреча с вами, короткая, но немедленная. Не откажите мне в моей просьбе.

— С кем имею честь? — Белосельцев испытал муку, чувствуя, что над его возвышенными философскими построениями нависла угроза, как нависает над головой оборвавшийся электрический провод.

— Это я, Вахид Заирбеков. Поверьте, обстоятельства слишком серьезны.

Белосельцев мгновенно вспомнил молодого чеченца с тонким лицом, сросшимися, одним взмахом прочерченными бровями, чья мелодичная русская речь была странно аранжирована музыкой Кавказа и Оксфорда. И это воспоминание, и доклад Премьера на собрании спецслужб, и эффектно поднятый над сценой футляр, перетянутый блестящей тесьмой, из которого, как в жутком фокусе, выпала отрезанная, с белыми бельмами, голова Шептуна, — все это нахлынуло жутью, и Белосельцев попытался отпрянуть, отдалиться от нависшего, смертельно опасного провода.

— К сожалению, Вахид, вы застали меня перед самым отъездом. Едва ли я вам буду полезен.

— Мне нужна краткая встреча, Виктор Андреевич. Не больше минуты. Она касается всех нас, патриотов России. Это не мое и не ваше личное дело. Простите за высокопарный слог, но это общенародное, общенациональное дело. И вы, когда будет поздно, не простите себе того, что не встретились со мной. Быть может, вы единственный человек в современной России, кто сможет услышать меня и отвратить беду.

Белосельцев чувствовал, как Псков, его белые церкви, его голубые высокие облака над горячими пыльными дорогами, его розовые сосняки и озера, — все это отплывает, удаляется.

— Я вернусь через месяц, и тогда повидаемся, — пробовал отказаться Белосельцев, понимая, что попытка тщетна и новая опасность, как длинная тень, стоит у его порога.

— Дело не терпит отлагательств, Виктор Андреевич. От нас с вами зависят сотни жизней. Как верующие люди, как граж-

дане нашей общей Родины мы не вправе отвернуться. Мне нужен пятиминутный разговор с вами.

Белосельцев чувствовал, как возрастает, удлиняется огромная тень у порога.

— Через полчаса я выйду на Тверской бульвар. Приходите. Я уделю вам пять минут.

— Больше и не надо, Виктор Андреевич. Верю в вас, в русского патриота и гражданина...

Они встретились на тяжелой деревянной скамейке, под желтеющими липами с золотыми лужицами опавшей листвы. Бульвар был полон фиолетового воздуха, сладкого тления, редких прохожих. Вахид был бледен, утонченно красив и коварен, когда направлял на Белосельцева жгучие, жадные, требовательные глаза.

— У меня есть экстренная информация, полученная из Чечни, от Шамиля Басаева. Эта информация мне в бремя. Я не имею к Басаеву никакого отношения. Но он пользуется мной, как ретранслятором, и я не могу избавиться от этой опасной и обременительной роли...

— Не думаю, чтобы я мог воспользоваться информацией, исходящей от Шамиля Басаева. Наше с вами знакомство случайно. Это был эпизод, и не более. Я слишком далек от людей, кому предназначена упомянутая вами информация.

— Генерал, вы разведчик. Вы были в Дагестане и вели переговоры с Исмаилом Ходжаевым. Вы включены в трагические события — в те, что случились, и в те, которым еще надлежит случиться. Вы единственный человек в Москве, который может дать ход информации...

Планета «Суахили», как «черный карлик», невидимая, обладала страшной гравитацией, затягивала в себя явления мира, искривляла ход светового луча, деформировала время, свертывая в спираль.

— Басаев просил передать: русские его обманули. Обещали нейтралитет в Дагестане, неприменение авиации, свободный отход в Чечню. Вместо этого применялись массированные налеты штурмовиков, пути отхода подвергались авиационным и артиллерийским налетам, что привело к большим

потерям. К тому же на границах с Чечней идет наращивание группировки федеральных войск, что чревато вторжением в Ичкерию. Дагестанская ловушка была использована русскими для создания повода к новой чеченской войне. Все свидетельствует, что до развязывания ее остаются считанные недели...

Чеченец был посланец, парламентар. Его умными, оснащенными русской лексикой устами говорил косноязычный полевой командир в пятнистой панаме, с черной косой бородой. В словах, которые произносил на бульваре оксфордский чеченец Вахид, была предельная достоверность. Их следовало не проверять, а пользоваться ими как стратегической боевой информацией, влияющей на судьбу государства. И он, Белосельцев, отринутый государством разведчик, замысливший побег, был возвращен вспять.

— Шамиль Басаев велел передать: если не прекратится наращивание группировки российской армии, если впредь в Моздок будут перебрасываться эскадрильи штурмовиков и вертолетов, если в Дагестане продолжатся расправы над друзьями чеченцев, Москву ожидают взрывы. Не те, в троллейбусах, которые напугали пенсионеров и безбилетников, и не в торговых лотках на рынках и подземных переходах, а взрывы многоэтажных домов со всеми жильцами такой силы и мощи, что на месте взрыва останутся огненные котлованы, а сами дома с людьми превратятся в пар...

Перед Белосельцевым красовался враг, молодой, беспощадный. В его горящих, как черная ртуть, глазах плескалась ненависть, и ее природа была неясна Белосельцеву. Молодой чеченец, присевший на краешек московской скамейки, принес в Москву смерть.

— Басаев сказал: неделя на решение проблемы. Иначе Россия содрогнется от взрывов. Она заминирована. Взрывчатка доставлена в каждый крупный город, взрывники присутствуют возле атомных станций, плотин, химических предприятий. Чеченская диаспора имеется в каждом регионе, в каждой губернской столице, и поиск диверсантов бессмыслен. Басаев говорит, что поставил на колени Россию обычным рейдом в Бу-

денновск. Теперь он поставит ее на колени взрывами в Москве. Если ультиматум не будет принят, москвичи пожалеют, что они поселились в Печатниках, пожалеют, что поселились в Москве. Вы должны передать руководству ультиматум Басаева...

Белосельцева поразило слово «Печатники».

— Я не в силах повлиять на концентрацию войск, на перемещение эскадрилий, — сказал он, стараясь понять, почему возникло слово «Печатники». — Я отставной генерал. Мои связи с ФСБ давно прерваны. Наше знакомство было случайным, как случайной была моя поездка к Исмаилу Ходжаеву. Ультиматум Басаева, в который вы меня посветили, не будет услышан властью. Вы можете передать его напрямую политическому руководству страны. Или вбросить его через прессу. Едва ли я вам буду полезен.

— Виктор Андреевич, ультиматум передадите вы, и никто другой. Вы связаны с влиятельными силами российского общества, которые управляют реальной политикой. С вашим участием за короткое время было совершено несколько акций, которые подтверждают уровень вашего влияния. Мне было приказано донести содержание ультиматума до вас, ибо это самый действенный способ изменить ход событий, избежать кровопролития с обеих сторон, остановить войну. Вы патриот России и не упустите случай помочь ей в беде.

Чеченец смотрел на него властно и радостно, словно владел его волей. Москва кругом была заминирована.

— Почему вы сказали «Печатники»? — спросил Белосельцев, пытаясь преодолеть гипнотизм ярких радостных глаз чеченца.

— Печатники?.. Нет, вам слышалось... Я говорил о Москве... Поверьте, я подневольный человек, выполняю поручение. — Глаза чеченца потухли под выпуклыми коричневыми веками, голос из требовательного, страстного стал виноватым, вибрирующим, и в нем сильнее зазвучало английское произношение. — Я житель Москвы, как и вы. Люблю Москву. Здесь мое дело, мои родные, мой дом. Я, как и вы, не хочу этих взрывов. Боюсь их. Если мы можем помочь москвичам, помочь соотечественникам, сделаем это, Виктор Андреевич... Спасибо,

что уделили мне время... Позволю себе через несколько дней позвонить вам... Будьте здоровы.

Чеченец поднялся, стройный, гибкий, узкий в талии, как наездник. Пошел по аллее, уменьшаясь, тая в сиреновом воздухе, растворяясь среди пестрых теней бульвара.

Необходимо было действовать, не теряя минут. Следовало пойти в ФСБ, отыскать несколько бывших сослуживцев и, не спрашивая, какому богу они служат, поведать об угрозах чеченца. Но тогда умный следователь, многоопытный оперативник виток за витком разматывает весь клубочек «Суахили». Поход в ФСБ отменялся.

Он позвонил в «Фонд» к Гречишникову, и, по счастью, тот оказался на месте.

— Ну конечно, приезжай!.. Собираешься в путешествие?.. Конверт с деньгами тебя ждет!.. Приезжай, хоть выпьем на дорожку!..

В «Фонде» встретил его жизнерадостный друг, от которого исходило тонкое сияние успеха, изливались волны жизнелюбия и благодушия.

Белосельцев, сбиваясь, находя и теряя нить, поведал о встрече с чеченцем, излагая суть ультиматума.

— Сказал, что Москва заминирована... Группы диверсантов повсюду — на атомных станциях и химических производствах... Диаспора в каждой губернии... Если не прекратят концентрацию войск и переброску штурмовой авиации... Уверен, не пустая угроза...

Оранжевые глаза Гречишникова дрогнули и слегка потемнели, словно в них сменили светофильтр, но при этом продолжали блестеть и смеяться.

— Проклятые черножопые!.. Достали!.. Куда ни придешь, в киоск, в префектуру, в зубную лечебницу или в банк, везде сидит черножопый, считает русские денежки!.. Доберемся до них, почистим Россию от кавказцев!.. Азеров обратно в Баку, в вагонах для перевозки ядов... Чеченцев — в пломбированных, в Магадан, в заполярную Ичкерию... Не бери в голову!.. Этот Вахид Заирбеков — мелкий спекулянт и жулик... Мы его прищучим, чтобы порядочным людям не звонил спозаранку!..

— Он не пугал, не шантажировал... Поверь моей интуиции... У него были глаза человека, готового взорвать... Он сказал, что у них все готово... Выбраны жилые дома, завезена взрывчатка, готовы взрывники... Сказал, что Москва заминирована... Выбрал меня, чтобы я связался с тобой, довел до Кремля требование прекратить концентрацию... Он в курсе всех наших дел, в курсе дагестанской поездки... Поверь, это очень серьезно...

Оранжевые глаза Гречишникова снова дрогнули, стали темнее, но продолжали смеяться:

— Ну если ты так встревожен... Давай сообщим друзьям в ФСБ, дадим сигнал в МУР... Пусть профильтруют чеченских авторитетов, прочешут подвалы и склады... Пусть задействуют агентуру в кавказских землячествах... Если есть хоть намек, взрывчатку отыщут... Но не стоит тебе так волноваться... Такие блефы распускаются по Москве ежедневно...

— Ты не видел его глаз, не слышал его интонаций... Они были такие же, как и в случае с генералом Шептуном... Поверь, я знаю, когда человек просто пугает, а когда готов убить... Они взорвут жилые дома в Москве... Он проговорился и назвал Печатники... Именно там нужно организовать массированный поиск...

Гречишников прикрыл глаза веками, и они, невидимые, трепетали, бурлили, кипели, закупоренные в глазницах.

— Я не верю, что они готовы взорвать. Но если это случится, если они пойдут на это злодеяние, оно нанесет им страшный вред, а нам, как ни странно, сыграет на руку.

— Что ты имеешь в виду?

— Нам нужен серьезный повод для начала войны. Нам нужно согласие народа на вторжение армии в Чечню, где на этот раз мы додавим их в их гадюшнике, в Грозном, Ведено, Ачхой-Мартане, в Веденском и Аргунском ущельях. Нам нужно показать мировой общественности дымные ямы в Москве, похороны растерзанных взрывами жителей, чтобы Европа не подняла хай, когда мы оставим от Грозного ядовитый котлован, наполненный костной мукой. И, главное, нам нужен повод, чтобы Избранник лично возглавил поход на Чечню, раз

и навсегда раздавил чеченскую гадину, мстя за взорванные дома, за убитых детей, за поруганную русскую честь. И тогда народ на руках внесет его в Кремль, как своего избавителя.

— Ты приветствуешь взрывы в Москве? Ты готов использовать взрывы в интересах «Проекта Суахили»? Но ведь это цинизм! Это страшнее, чем преступление!

— Ты так считаешь? — Гречишников приподнял веки, и его оранжевые круглые глаза кипели яростью, гневом, презрением. — Я бы не стал их останавливать. Пусть взрывают. Если истории из всех бесчисленных вариантов угодно избрать этот вариант развития, если ей угодно проломить ход в будущее с помощью этих взрывов, если Богу угодно произнести это, а не другое слово, разве мы станем с тобой препятствовать? Кто мы такие, чтобы препятствовать промыслу Божию?

— Ты говоришь ужасные вещи. Ты ждешь этих взрывов. Может, ты их и готовишь? Может, чеченцы и ты, — вы делаете общее дело? Ты сам провоцируешь их на эти ужасные взрывы?

— Может быть, — оранжево-красные глаза хохотали. — Маленькая история делается маленькой кровью. Большая история делается большой кровью. Великая история делается великой кровью. История имеет красный цвет. Все деяния, которые запомнило человечество, имеют цвет выпущенного наружу гемоглобина. Мы делаем великую историю, проламываемся сквозь тупик, куда нас затолкали предатели и тупицы. И для этого нужен взрыв. «Проект Суахили» — проект по управлению историей, в том числе и с помощью направленных взрывов. Если для исторического творчества нужен грузовик гексогена с русским водилой, чеченский взрывник, который повернет взрыв-машинку, азербайджанский торговец, который спрячет на время взрывчатку, мы всем этим воспользуемся. Кто мы такие, чтобы не замечать перст Божий? Мы орудие Божие, и наши руки пахнут не ладаном, а гексогеном!

Белосельцеву казалось, что перед ним сумасшедший, возомнивший себя демиургом.

— Ты должен быть благодарен, что тебя приобщили к истории, выхватили из пыльного чулана, куда ты спрятался от

гулов мира. На тебе блеск исторического творчества, блеск Божией десницы. Ты многое сделал и сделаешь больше. Ты займешься конструированием новой партии, на которую обопрется Избранник. Займешься подбором людей, созданием штаба, открытием региональных отделений. У тебя будут деньги, в твоих руках будет пресса. В кратчайшие сроки мы создадим движение, наречем его именем русского тотемного зверя и отбросим с политической арены купленных демократов и допотопных беспомощных коммунистов. Мы создадим могучий рычаг, с помощью которого Избранник начнет свою революцию. Но до этого мы должны взрывами раскачать полусонный народ, довести его до истерики. Мы обязаны объяснить войскам, почему они должны войти в Грозный, превратив его перед этим в руины. Мы должны показать народу Избранника, прилетевшего в Чечню принимать парад Победы. Мы должны добиться у Истукана, чтобы он отрекся от власти, а благодарный народ на выборах вручил эту власть Избраннику. И что тут поделать, если для этого требуется пролитие крови. И мы ее прольем...

— Ты сумасшедший!.. Тебе нужен психиатр!.. Я должен буду рассказать о нашем разговоре!.. Пойду в газету и сделаю заявление в прессе!..

Два оранжевых глаза погасли, словно накаленные лампы, и было видно, как в них остывают и меркнут спирали. Гречишников тихо, счастливо смеялся.

— Ну как же я тебя разыграл... Какой же ты восприимчивый... Ну какие там взрывы, какие чеченцы... Маленький шантажист и пройдоха, специалист по фальшивым авизо... Ну хочешь, мы его арестуем и снимем с него показания?.. Успокойся, дружище... Ты устал, твои нервы изношены... Право слово, поезжай, отдохни... Хоть в Кению, хоть на Лазурный берег или в свой мистический Псков... Вот деньги, этого хватит на отпуск, — он достал из ящика пухлый конверт, в котором, как слиток меди, зеленели доллары. — Спасибо, что заглянул... Я сейчас должен ехать к Избраннику... Будем обсуждать рождение новой партии... — Он приобнял Белосельцева, проводил до дверей.

Белосельцев шел по набережной, между солнечным разливом реки и слюдяным, стрекозиным блеском скользящих лимузинов, за которыми, нежно-розовая, вздымалась кремлевская стена и над ней, сквозь деревья, белоснежно проступали соборы. Изумлялся наваждению, которое недавно пережил. Поддался сначала на шантаж наглого молодого чеченца, а потом на дружеский, хотя и жестокий розыгрыш Гречишникова, решившего посмеяться над его мнительностью и склонностью к панике. Слава богу, дурацкая история кончена, и он, успокоенный, движется по Москве, огромной, необъятной, с бесчисленными жизнями, каждая из которых, словно маленькая ракушка, прилепилась к каменным твердыням. Город шумел, переливался, источал в небеса стеклянный, тающий воздух, не замечал Белосельцева, и тот радовался, ощущая себя безвестной частичкой любимого, вечного города.

Но вдруг паника его возвратилась. Он вспомнил сатанинские, огненно-желтые, как осветительные приборы, глаза Гречишникова, и понял, что тот знает о взрывах, готовит их, что между ним и чеченцем существует жестокая связь и город, который безмятежно переливается вспышками стекла, золотом соборов, мелькающими в автомобилях лицами, заминирован, доживает свои последние часы и минуты.

Он бежал по набережной, и мост через реку взрывался, разламывался посередине уродливой вспышкой, рушился в реку железными фермами, осыпая мусор машин, пешеходов, и река кипела от раскаленного железа и камня, и в нее, как град, выбивая пузырьки, расходящиеся круги, падали с неба перевернутые лимузины, валялись сломанные фонарные столбы, оседали клочки обугленных флагов.

Он торопился навстречу храму Христа Спасителя, и белый собор вдруг оседал от тупого взрыва, ломались угловые купола, открывался в стене зияющий пролом, из которого, как на старой киноленте, выносилось мутное облако дыма, тусклая гарь, остатки позолоты.

Он пересекал Маңежную площадь, и вся она, чешуйчатая и блестящая от автомобилей, с белым лепным дворцом, взламывалась, вставала на дыбы, проваливалась в черный котло-

ван, куда, как с противня, сыпались машины, и Пашков дом, еще недавно торжественно-белый на зеленой горе, казался гнилым зубом с дымным дуплом.

Белосельцев задыхался. Выпучив глаза, хватаясь за сердце, молил: «Господи, спаси Москву», и город дрожал в стеклянной дымке, словно начинал колебаться от взрыва.

Его мнительность обретала формы безумия. Он смотрел на старушку, держащую за руку маленькую смешную девочку в полосатых чулках и трогательном колпачке, и думал, что они через минуту будут уничтожены взрывом. Заглядывал в лицо молодой прелестной женщине, чьи золотистые волосы раздувал ветер с реки, и представлял ее в гробу, на кладбище, среди жертв, унесенных взрывами. Уступал дорогу самодовольному толстяку, с небрежно повязанным галстуком и маленьким модным чемоданчиком, и думал, как тот будет лежать на развалинах и из его разорванных брюк будут торчать красно-белые обломки костей.

Он подозревал всех, кто попадался навстречу. Черноволового, с синей щетиной юношу, который вполне мог оказаться чеченским взрывником, заложившим заряд в подворотню и ждущим минуту, чтобы нажать на взрыватель. Лысого, с потным розовым лицом водителя за рулем юркого фургончика, вильнувшего на желтый свет, чтобы успеть провезти взрывчатку, упрятанную в тюках под грудой картошки. Надменного шофера в длинном иностранном лимузине с фиолетовой мигалкой, что мог быть соучастником диверсантов, торопился доставить секретный приказ, по которому через час начнет взрываться Москва.

Белосельцев метался по городу, путаясь в бульварах, набережных, многолюдных проспектах и тихих переулках, ожидал катастрофы, безмолвно моля: «Господи, спаси Москву!»

— Виктор Андреевич, откуда ты, друг сердечный! — Этот оклик остановил его посреди переулка, сквозь который проглядывала нежно-желтая, как яичный порошок, Кропоткинская и который был украшен ресторанной вывеской, веселой и дурацкой, с каким-то пиратским колесом и дощатой кормой старинного фрегата. — Я спешу за тобой, думаю: ты, не ты!

Кадачкин стоял перед ним, плотный, в дорогом, вольно сидящем пиджаке, круглоголовый и синеглазый. Его пепельные волосы были подстрижены по-спортивному, бобриком. Он возник непредсказуемо, как спаситель, точно так же, как возникал дважды в Африке, — на дороге из Лубанго к порту Алешандро, где Белосельцеву грозило пленение, и в русле сухого ручья, где он прятался от конвоя «Буффало», слушая стоны умирающего слона, и по руслу, на бэтээре, свесив длинные ноги в перепачканных бутсах, сидел Кадачкин, матеря водителя. Теперь он стоял перед Белосельцевым в центре Москвы, и тому казалось, не было желанней встречи, не было спасительней голоса.

— Мы тогда с тобой, Виктор Андреевич, пересеклись ненадолго и опять потеряли друг друга. Как жив-здоров? — Кадачкин вглядывался в потрясенное лицо Белосельцева, пытаясь понять природу его смятения.

— Да так, как-то все кувырком, — беспомощно ответил Белосельцев.

— Слушай, — Кадачкин крутанул круглой, лобастой головой, зачерпнув синими глазами вывеску ресторана, — давай зайдем пообедаем. В которые-то веки. Потолкуем, тряхнем стариной.

Белосельцев не стал перечить, с радостью согласился, боясь отпустить от себя уверенного, сильного друга, в чьей защите снова нуждался.

Они вошли в ресторан и очутились в уютном московском дворике с глухой кирпичной стеной, увитой плющом. Сверху изливался серебряный водопад, наполняя темную заводь, на которой качались кувшинки и тростники. Под солнечной сенью желтеющих прозрачных деревьев стояли деревянные столики, и один из них, рядом с водопадом, с цветами, всплесками солнца заняли друзья, радостно озирая один другого.

Официант восточного вида, не вызвавший у Белосельцева недавней болезненной подозрительности, деликатный, предупредительный, принял заказ, вычитанный по складам Кадачкиным из кожаной увесистой книги. И скоро на столе, цветисто занимая его дощатую поверхность, появились запотев-

шая бутылка водки, рюмки, пышная ароматная зелень, слезящийся овечий сыр, красная и черная фасоль, желтые, окутанные паром, похожие на маленькие молодые планеты хинкали, продолговатое блюдо с люля-кебабами, насаженными на миниатюрные пики, кувшин кислого молока с измельченной зеленью и желтый, как полная луна, теплый лаваш. Белосельцев, почувствовав себя голодным, радовался этому восточному изобилию, изобретательности хозяев ресторана, превративших утлый дворик в таинственный грот с пленительной струей водопада.

— Ну, за встречу, за Африку, за дружбу! — поднял налитую до краев рюмку Кадачкин, и, когда они чокались, несколько сочных капель проблестело и упало на стол. Еда была отменна. Люля-кебабы таяли во рту. Из хинкали пробивался на язык раскаленный сок, который тут же запивался холодным кислым молоком.

— Ну так что с тобой приключилось? — спрашивал Кадачкин, обкусывая железную шпажку с насаженной колбаской сладкого мяса. — Мчишься по Москве, будто за тобой гонится весь батальон «Буффало», или ты преследуешь Маквиллена, пожелавшего от тебя улизнуть? Какая такая незадача?

— Столько не виделись. Столько воды утекло, — Белосельцев не отвечал на вопрос прямо, чувствуя сладчайший хмель, от которого в водопаде переливались серебряные ручьи, проникая в темную глубину водоема. — С тех пор, как мы расстались в Лубанго и я еще чувствовал запах распаренного эвкалиптового веника, с тех пор целая эпоха прошла. Нет страны, нет армии, нет государства. Есть мы с тобой, и у каждого общая боль. Ты-то как жил эти годы?

— Еще пара африканских стран в атташате. Потом центральный аппарат ГРУ. Когда все стало валиться — Карабах, Армения — в Седьмой гвардейской, Прибалтика. Видел, как обезьяны добивают великую армию, и главная обезьяна в Кремле. Когда случился ГКЧП, вздохнул с облегчением. Наконец-то добьем негодяев! Поднял батальон по тревоге, взял под контроль несколько военных объектов. А потом — облом, блеф, блевотина. Когда наркоманы стали срывать красный

флаг, отстрелялся по ним из СВД, а потом написал рапорт на увольнение. С тех пор кувыркаюсь в какой-то перхоти. Торгую зубной пастой и ваксой, лампочками и батарейками. Как белые офицеры в Стамбуле. Только в тараканьих бегах не участвую. А так точь-в-точь!

— Неужели все безысходно? Враг, которого мы гоняли по миру, гоняет нас теперь по Москве. Ну понятно, политики, сволочи, первые все продали. Народ-обыватель не захотел подняться. Но силовые структуры? КГБ, который, казалось, сплошь состоял из рыцарей. Или твое ГРУ? Почему нет отпора? — Белосельцев захотел рассказать боевому товарищу о «Проекте Суахили», в который был вовлечен, но утрюмая тревога и тяжесть сомкнули уста.

Кадачкин наполнил рюмки, и они выпили молча, не чокаясь, словно поминали страну.

— Я, конечно, ушел от дел, превратился в мелкого торговца, но все же кое-какие связи остались. Иногда встречаюсь со своими, перезваниваюсь. — Кадачкин говорил осторожно, словно раздумывал, предлагать ли Белосельцеву свои непроверенные, не имеющие особой ценности мысли. — Ходят какие-то слухи, какие-то намеки, что будто бы в твоей бывшей конторе существует костяк людей. Какой-то законспирированный союз. Какой-то, если угодно, тайный орден, который сохранился после катастрофы. Сберег связи, финансы, возможности. Заложил сети в структуры новой власти, в банки, в телеканалы. И что этот «Орден КГБ» неформально связан со всеми влиятельными силами страны, управляет процессом настолько, что многие из недавних событий, такие, как устранение Прокурора, отставка Премьера, выдвижение новой, неожиданной плеяды политиков, — все это объясняют деятельностью твоих бывших партнеров, которые медленно всплывают на поверхность...

Словно в подтверждение его слов, из темной глубины водоема, по которой разбегались плески падающих блестящих ручьев, всплыла красная пучеглазая рыба. Осмотрела их выпуклыми, телескопическими глазами, хватанула серебряный пузырек и ушла в темноту. Белосельцеву с его вернувшейся мнительностью показалась, что рыба следит за ними, слу-

шает их разговоры, и они в безлюдном дворике находятся под пристальным наблюдением бессловесных рыб, мерцающих зайчиков солнца, удаленного, смиренно стоящего официанта. В словах Кадачкина он уловил едва различимое дребезжание, как в колокольчике, по которому пробежала трещинка, искажающая чистый звук.

— И нечто подобное, как мне давали понять, существует в ГРУ. Закрытая, хорошо организованная когорта, включающая отставников-генералов, офицеров, внедренных в коммерческие структуры, военных атташе посольств, командующих округов, генштабистов. Якобы эта группа составляет свой орден, соблюдает свою конспирацию. И многие из необъяснимых процессов нынешней политической жизни — крах движений и партий, возвышение корпораций и банков, срыв безупречных операций власти — объясняются существованием этих двух орденов, их борьбой и соперничеством, разницей их представлений о будущем государства Российского. Впереди решающая схватка двух тайных обществ, которая и определит судьбу России. Будем ли мы или нет. Ты ничего об этом не слышал?

Трещинка искажала и гасила звук, как в бронзовом буддийском колокольчике с крылатой танцовщицей из Ангкора, стоящей у него на столе. Белосельцев улавливал это легкое фальшивое дребезжание, глубоко сокрытое в доверительных интонациях старого друга. И уже неслучайными казались их встречи. Та, в день усекновения головы Шептуна, и эта, в дни роковых ожиданий. События, прокатившиеся над их головами с момента расставания на солнечном аэродроме Лубанго, когда жужжащие моторы пронесли Белосельцева над песчаной горой с огромной скульптурой Христа, эти события могли изменить их обоих. Превратить во врагов, поставить в разных углах враждующего, расщепленного общества. И не следовало бы им обнаруживать свои нынешние сущности, а лишь вспоминать то давнишнее, полное красоты и опасностей время, осмысленное и великое, когда оба они, африканисты-разведчики, в разных структурах служили единому целому — своему государству.

— Ничего об этом не слышал, — рассеянно сказал Белосельцев, старинным приемом создавая защитный экран вокруг

мыслей, подлежащих сокрытию. Этим экраном были воспоминания об Африке, о ее таинственной красоте и природе, среди которых он выполнял боевое задание. О ее красноватой земле, пахнувшей тлением, с остатками ядовитой пылицы, чешуйками хитина умерших крылатых тварей, с комочками глины, словно пропитанной кровяными тельцами, и он на камне, на берегу океана, рисовал красной глиной профиль африканской красавицы. — Ничего об этом не слышал. А в чем их сущность, эти двух орденов?

— Мне, конечно, трудно судить. Я мало что знаю. Быть может, это вымысел фантазеров, желающих на пепелище, среди полной беспомощности и разгрома, усмотреть иллюзию сопротивления. — Белосельцев чувствовал, как Кадачкин закладывает дистанцию между собой и тем, что намерен был сообщить. И длина этой дистанции содержала в себе степень достоверности, уровень обмана, глубину сокрытия, на которую желал спрятаться от Белосельцева его прежний боевой товарищ.

— Будто бы в недрах госбезопасности, после разгрома Берия и хрущевских репрессий по отношению к элите разведки, возникло потаенное, глубоко законспирированное ядро, затаившее ненависть к партийным дилетантам, к комсомольским выдвиженцам, захватившим контроль над КГБ. Этот тайный кружок восстановил влияние органов и добился устранения Хрущева, но эта цель казалась промежуточной, и конспираторы госбезопасности поставили целью захват власти в стране, устранение одряхлевшей идеологии, проведение радикального реформирования косного государства и общества. Кружок, возглавляемый Андроповым, и стал основой «Тайного ордена КГБ»...

Белосельцев слушал Кадачкина, словно заносил его мысли на тонкие листы папиросной бумаги. По контурам пустоты, по отсутствующим фрагментам рассказа он сможет угадать скрытые побуждения собеседника. Он слушал машинально, старался не понять, а запомнить, заслоняясь от проницательного взора Кадачкина картинами африканской природы.

Джип с ангольским водителем качается в лесной колее. Грузовичок с двуствольной зениткой задевает низкие ветки.

И в открытое окно влетает горячий, влажный ветер Африки, пахучий и маслянистый, как женские подмышки.

— Этот кружок, управляемый Андроповым, включал в себя модных политических журналистов, референтов партийных начальников, видных писателей и актеров с либеральными взглядами и, конечно, разведчиков, дипломатов, экономистов, — всех, кто выезжал за границу, был наделен дополнительными степенями свободы, располагал информацией и влиянием. В этом кружке, где царили застолья, смешные анекдоты, красивые женщины, переходившие от одного члена клуба к другому, делались важные дела. Продвигались фигуры на видные роли в газеты и журналы. Обеспечивались нужные назначения послов и руководителей партаппарата. Направлялись за рубеж делегации. Присуждались престижные премии. Постепенно создавался либеральный общественный слой, связанный круговой порукой, неформальными узами дружбы, где вызревали идеи реформ, — разрядка, конвергенция, перестройка. Когда Андропов стал главой партии, «Орден КГБ», по-прежнему законспирированный, имел на своей периферии огромную сферу влияния в партии, в культуре, в органах власти и информации. Там была негласно заявлена идея смены политического строя....

Бабочка бьется в сачке, просвечивая сквозь кисею красными и зелеными пятнами. Круглые островерхие хижины, где пасется тощее стадо, и чернокожий бушмен, в струпьях, со слезящимися глазами, с грязной тряпицей в паху, держит на плече сухой изогнутый лук, и в деревянном колчане торчат тяжелые, с орлиными перьями, стрелы.

— Конвергенция, заявленная Сахаровым, обнаружила себя в конвергенции разведок, советской и американской. Крупные агенты ЦРУ и КГБ заключили негласный пакт о создании единого центра, управляющего разоружением, снижением конфронтации, погашением локальных конфликтов. Этот центр мыслился как зародыш будущего «Мирового правительства», в интересах которого трансформировались СССР и Америка. На встрече с Рейганом в Рейкьявике Горбачев, оснащенный рекомендациями «Ордена», обещал демонтировать коммунизм и Советский Союз, что и было сделано в девяносто пер-

вом году. Крах коммунизма, обвал советского государства, хаос при создании нового строя, разгром КГБ на время прервали управляемый процесс перестройки, заставили «Орден» снова уйти в подполье. Действуя из подполья, используя американские связи, этот «Орден» готовит устранение прогнившего либерального режима, выведение на авансцену «человека разведки», который смог бы продолжить строительство нового мироустройства, где Америке отводится верховное место, а Россия встраивается в концепцию «нового мирового порядка». Говорят, этот «Орден» состоит из генералов внешней разведки и идеологической контрразведки и носит какое-то странное лингвистическое название — то ли «хинди», то ли «фарси», то ли «суахили». Ты ничего об этом не слышал?..

Он плескался в солнечно-зеленом океанском рассоле, подныривал под мокрую гляцевитую ветку, под ее длинные пахучие листья. Лопасты солнца проникали веером в воду.

— Ты ничего не слышал об «Ордене КГБ»? Ведь ты вращался в генеральской элите?

Синие пристальные глаза Кадачкина выводывали его сокровенное знание. Просачивались сквозь защитный экран, и Белосельцев выныривал из океана, окруженный благоухающей гляцевитой листвой, целовал сорванную с далекого побережья ветку, прижимал ее к животу и груди, не пуская Кадачкина в глубину своего подсознания, выдавливал его брызгами соли и солнца.

— Нет, ничего не слыхал, — рассеянно ответил Белосельцев. — А что это за «Орден ГРУ»? Что это за мифология, достойная конспирологического романа?

— Повторяю, я далек от этого. — Кадачкин длинным туманным взглядом показывал, как он далек, и по этому взгляду Белосельцев понял, как он близок, сколь достоверны будут слова, предназначенные для него. — Говорят, что «Орден ГРУ», или «Русский орден», ведет свое начало от Сталина, был его оружием в борьбе с троцкистами. Опасаясь реванша со стороны внутренних сил, немецкого вторжения и оккупации страны, он заложил основы «Русского ордена», который создавал идеологию «Русской Победы», остановил погром православия,

вернул в атрибутику царские эполеты, имена Пушкина, Дмитрия Донского, Кутузова и Льва Толстого. Именно этот «Орден» собрался на торжественный прием в Георгиевском зале Кремля, где Сталин провозгласил тост за русский народ. Именно этот «Орден», руками Жукова, нанес поражение Берия, выдавил КГБ на периферию общественной жизни, после чего эти две спецслужбы стали непримиримыми соперниками...

Катер плыл по желтой воде Лимпопо, в которой кружили маслянистые шоколадные воронки, тянулась бахрома ржавой оторванной водоросли, а на горизонте плавно волновались холмы, затуманенные дымкой близкого океана. Чернокожий рыбак, перебирая леску, стоя в ладье, смотрел на катер.

— Другим человеком, кто оживил деятельность «Русского ордена» в момент, когда тайный кружок Андропова захватывал основные позиции и началась конвергенция, называют Романова, курировавшего военно-промышленный комплекс. Невидимая миру схватка КГБ и ГРУ окончилась odstrанением Романова и приходом Горбачева, что означало конец государства. Но не конец «Русского ордена», который лишь глубже ушел в подполье, пропуская над своей головой разрушительные цунами перестройки...

Гостиничный номер в «Полане», бархатный рокот прибоя, брызги дождя на ночном стекле. Чернокожая царица лежит в широкой постели, закинув локти за голову. И он берет из вазы тяжелые глянцевитые яблоки, украшает ей груди. Укладывает на темные бедра кисть винограда. Сочную, отекающую соком клубнику кладет на ее лобок. На выпуклый черный живот водружает алый ломоть арбуза. И вся она, как богиня плодородия, в райских цветах и плодах, и он, ее жрец и возлюбленный, чувствует благоухание ее теплой кожи, яблочную сладость сосков, медовый запах подмышек, и зеленый огонь фонаря дрожит на хрустальной вазе.

— В эти последние десять лет, когда в хаосе гибла страна, бандиты угнездились во власти, а страной управляли спецслужбы врага, «Русский орден» накапливал силы. Собирал в свой круг интеллектуалов-военных, русских писателей и философов, ученых, не отдавших врагу уникальные знания, патрио-

тических политиков и священников. Задачей «Ордена» было не допустить раскол между коммунистами и монархистами, «красными» и «белыми», к чему стремились захватившие власть либералы. И если не сцепились в разрушительной схватке «левые» и «правые» русские, то в этом заслуга «Ордена ГРУ», сохранившего потенциал развития...

Он сидел на земле в деревянной ловушке, ожидая наутро казни, и все его больные суставы, незажившие раны и ссадины, все страдающие изнуренные клетки и кровяные тельца молили о спасении. Внезапно ночь наполнилась падучими звездами, зеленоватыми бенгальскими искрами, летучими метеорами. Ночное небо исчертили бессчетные золотистые нити. Звезды падали в траву и деревья, бесшумно догорали в листве голубыми холодными вспышками. И он, сидя на холодной земле, созерцал африканское чудо, ниспосланное ему во спасение.

— Нынешняя власть Истукана завершается. На смену ему идет другой человек. Две тайные структуры — «Орден ГРУ» и «Орден КГБ» — борются за Избранника. Борются две идеи русского будущего. «Орден КГБ» встраивает Россию в мировое развитие как ресурс мировой энергетики, пресной воды, ископаемых, трансконтинентальных путей сообщения, что не предполагает суверенной страны, суверенной цивилизации и культуры. Излишки населения будут ликвидированы мягкими средствами. Центром мирового развития становится Америка, и все, что противоречит глобальному единству и управлению, будет сметено и подавлено. «Орден ГРУ» мыслит категориями суверенной великой России, уповая на русскую альтернативу гибнущему миру, на великую идею России, спасающую мир от гибели. Две этих модели вступают в решительную схватку, в последний глобальный и космологический бой...

Африканский танец в горячей саванне. Полуголые юноши с копьями, девушки в набедренных повязках из длинных трав и цветов. Огненный грохот тамтамов, топотанье босых ступней. Блестящая черная кожа, раскрытые красные рты. И внезапно упавший ливень, смешавший землю и небо, превративший деревья в огромные зеленые лохани воды.

— В ближайшие недели произойдет смена власти. Выиграет тот, кто овладеет Избранником. Шансы у обеих структур равны. Предстоят сложнейшие комбинации разведок, от которых зависит будущее.

Кадачкин умолк, давая возможность Белосельцеву осмыслить сказанное, соотнести сообщение с тем, кто его передал. Его передал Кадачкин, член тайного «Русского ордена». Это тождество продолжалось секунду, и затем Кадачкин удалился на длину светового луча.

— Во все это слабо верится. Действительно, напоминает наивную фантазию романиста. Я очень далек от этого. Рассказал, что слышал во время досужих посиделок в банях, за кружкой холодного пива...

Белосельцев оставался спокоен. Ему только что передали послание. Но он не открыл конверта, кинул послание в урну. Его старый товарищ, друг по африканскому походу, вербовал его. Выведывал о заговоре «Суахили». Был представителем параллельного заговора. Москва была заминирована, и было неясно, в чьих руках находится кнопка взрывателя. Он, окруженный опасностями, среди переворотов и заговоров, один мог спасти Москву.

— Прекрасный обед, — сказал Белосельцев. — Такие встречи дорогого стоят. Мы не должны терять один другого из виду. Старые друзья не должны разлучаться надолго.

Они поднялись, оставили деньги, издалека поблагодарив официанта. Водопад, проливаясь вдоль кирпичной стены, брызнул прохладной свежестью. Обнялись, расстались с Кадачкиным. Удалялись в разные концы переулка, не оглядываясь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Белосельцев машинально повторял: «Печатники... Свинчатники... Возьми печатный пряник... Комета взрыва прянет...» Катил на своей поношенной «Волге» через всю Москву, к га-

ражу, где еще недавно встречался с пророком Николаем Николаевичем, а теперь, угадывая необъяснимую связь между взрывом на Красной площади и предстоящей катастрофой, надеялся урвать крохи знания о грядущих московских взрывах. Он подкатил к гаражу.

Гараж был открыт с обеих сторон, пуст и просторен, просвечивал насквозь далекими белыми многоэтажками. В яме, где еще недавно стоял занавешенный полотнищами лакированный автомобиль-истребитель, теперь одиноко и вяло возился Серега, все в той же темно-зеленой косынке, с масляными, державшими ненужную железку руками. Щурясь против солнца, он тревожно всматривался в Белосельцева, и по мере того как узнавал, его рот раскрывался в гагаринской белоснежной улыбке, и он ловко, по-обезьяньи, выскочил из промасленной ямы.

— Виктор Андреевич, вы же знаете, что случилось... Николай Николаевич... Я сначала не верил, думал, он машину для автогонок готовит... Подгоняет под нашу «Формулу-1»... Через Красную площадь... Я ему помогал киль прилаживать, крылья клепал, красную звезду рисовал... А он вон что надумал — Серега вытирал руки ветошью, боясь протянуть Белосельцеву замызганную пятерню. — Это он без меня с чеченцем Ахметкой сговорился и у того взрывчатку купил... У Ахметки взрывчатка хранится, Николай Николаевич машину набил взрывчаткой и пошел на таран, как Гастелло... Как теперь быть, не знаю...

Он выглядел несчастным, растерянным, потерявшим опекуна и учителя. А Белосельцев про себя отметил чеченца Ахметку и хранившуюся у того взрывчатку.

— Сюда приходили из органов, весь гараж с миноискателем перерыли... Должно, взрывчатку искали... Я про Ахметку им не сказал... Не люблю я этих ментов, они на рынке у азеров деньги берут и Ахметке ребятишками торговать не мешают... Вероника, дочка Николая Николаевича, сюда приходила... Как упадет на землю, как заплачет: «Это я, говорит, папочка, тебя погубила!.. Я тебе сердце рвала!.. А теперь ты из-за меня пропадаешь!» Сказала, что он в тюремной больнице лежит, уми-

рает, а ее к нему не пускают... Может, вы, Виктор Андреевич, посодействуете... У вас знакомства, связи... Как бы нам к Николаю Николаевичу в больницу попасть... Я бы ему мою кровь отдал...

— Послушай, Серега, — Белосельцев схватил паренька за масленную руку и потянул прочь от гаража, — я тебе скажу одну вещь... Я сам до конца не уверен... Ты должен молчать... Мне еще самому неясно... — Он вытянул Серегу на берег реки. — Ты взрослый парень, поймешь, как велика опасность... Чеченцы готовят взрывы... Не только чеченцы, но и другие жестокие люди... Им нужно взорвать Москву, посеять панику, чтобы потом прийти к власти... Но об этом потом, не сейчас. — Он уводил Серегу все дальше от гаража, наставившего на них свое чуткое железное ухо. Подталкивал к берегу, где ветер подхватывал слова и нес к середине реки. — Один из взрывов, возможно, прогремит здесь, в Печатниках... Ты сам сказал, у Ахметки хранится взрывчатка, которой воспользовался Николай Николаевич... Мы должны отыскать взрывчатку.. Бессмысленно обращаться в милицию, бессмысленно обращаться к властям... Все заодно... Мы сами должны разыскать взрывчатку и ее уничтожить...

Острый, смысленный взгляд Сереги загорелся азартом. Он еще не понимал смысла задания, но его молодое нетерпение, его горе от потери учителя находили выход.

— Что надо делать?

— Разведка... Собери ребятешек... Установи слежение, наружное наблюдение за Ахметом... Все его маршруты и связи... Все гаражи и подвалы... Иди по пятам... Незаметно, ибо смертельно опасно... Ты командир ребятешек.... От них информация приходит к тебе... От тебя — ко мне... Вот моя визитная карточка, телефон... Звони днем и ночью... Я сам каждый вечер буду сюда приезжать... Мы должны обезвредить взрывчатку... Это наказ Николая Николаевича... Он там, в тюрьме, на больничной койке, переломанный, обожженный, нас вдохновляет...

— Я пойду и убью Ахметку, у меня есть заточка, — жестко сказал Серега.

— И не думай. Он сильнее, хитрее тебя. Твоя задача — выявить местонахождение взрывчатки... Сейчас же иди и собери ребятешек...

— Хорошо, — ответил Серега, — они сейчас в сквере. Подвезите меня.

Он запер гараж, подсел к Белосельцеву в «Волгу». Они покатали меж белых многоэтажных домов, и каждый из них мог быть заминирован. С балконами, на которых сушилось белье, с лоджиями, где пестрели осенние цветы, с детскими площадками, полными детворы.

В сквере, где продавали мороженое, собрались ребятнишки, чьи лица издалека показались Белосельцеву знакомыми.

— Перед ночной сменой играют, — сказал Серега, вылезая из автомобиля. — Мне в октябре в армию. Комиссию прошел, здоров. Попросился служить в Дагестан, куда чеченцы залезли. Я их, гадов, буду здесь, в Печатниках, мочить и там, в Дагестане... Будьте здоровы, Виктор Андреевич, я позвоню. А к Николаю Николаевичу попробуйте попасть, привет от меня передайте... — И он быстро зашагал к скверу, гибкий, худой, в повязанной боевой косынке, свистя на ходу в два пальца, сзывая к себе ребятешек.

Белосельцев тронул машину, повторяя: «Печатники, взрывчатники... Первопрестольники, тринитротолуольники...»

Он решил отправиться к Буравкову, обосновавшемуся в телевизионной резиденции Астроса. Ибо там, по косвенным признакам, можно было уловить приближение взрывов. К тому же Буравков навещал заключенного в тюрьму Астроса, выдавливая из него последние сведения о финансовых счетах, офшорных зонах, подставных фирмах, переводя деньги и собственность на свое имя. В той же тюрьме, в больнице, находился Николай Николаевич, и Белосельцев надеялся с помощью Буравкова добиться свидания.

Телевизионная башня «Останкино» вновь поразила его сходством с огромной, уходящей в поднебесье трубой, над которой туманилась гарь, излетающая из преисподней. Он вошел в стеклянную клетку Телецентра, напоминавшего опрокину-

тый стакан, под которым роились уловленные, опоенные мухомором насекомые.

Он поднимался в лифте, и в просторной кабине вместе с ним оказались женщина и мужчина, чьи лица были знакомы. Она, маленькая и изящная, с печальными библейскими глазами, известная телевизионная дикторша, увенчанная Астросом бриллиантовой короной. Он, чуть вертлявый и нагловатый острослов, славный своими передачами по русской истории, в которых не оставлял камня на камне от императоров, полководцев, писателей, надевая их смешными и слегка отвратительными чертами самовлюбленных глупцов. Оба прихорашивались в зеркалах, вели разговор, не обращая на Белосельцева ни малейшего внимания, как если бы он был элементом лифта.

— Астрос неудачник. Он слишком пылкий, неглубокий, неосмотрительный. Он подставился, — рассуждала похожая на Дюймовочку дикторша. — Я ему благодарна за квартиру, за лауреатство, за успех, но все это было не даром. Я вздохнула с облегчением, когда его устранили.

— Ну да, все мы видели, как он тебя домогался. Ты была фаворитка, Помпадур, и первые два дня носила траур, пока тебя не вызвал на прием Буравков. Не знаю, что он тебе сказал, но с этого момента твои туалеты стали еще изысканней и роскошней. — Острослов поиграл ногами в блестящих штиблетах, на что-то намекая, доставляя Дюймовочке удовольствие своими двусмысленными намеками.

— Буравков — крепкий мужик, настоящий чекист. В нем есть что-то от екатерининских вельмож. Он обещал увеличить зарплату и улучшить квартирные условия. Он может быть жесток, но может быть и безгранично щедр. Разве ты не того же мнения?

— Ты права. Когда мне предложили подписать письмо в поддержку арестованного Астроса, я отказался, хотя он ко мне благоволил. Не следовало ему подставляться. А Буравков, представляешь, вызвал меня и попросил сделать передачу о русских святых Сергии Радонежском и Серафиме Саровском, чтобы чуть-чуть освободить их от сусального обожания, показать

их сермяжность и недостаточность в сравнении с католическими святыми, такими, как святой Франциск Ассизский или Блаженный Августин. Он даже предложил мне поездку в Ассизи, от которой я, разумеется, не отказался.

Лифт остановился, и они вышли, бросив последние взгляды в зеркала, так и не заметив стоящего подле них Белосельцева.

Он оказался в огромной, пустынной приемной Буравкова, еще недавно принадлежавшей Астросу. Под прозрачным колпаком метался зеленоватый иероглиф, постоянно меняя форму, словно безмолвно возникала древняя халдейская надпись, вещавшая на забытом языке забытые тайны, понятные лишь посвященным.

Посетители, ожидавшие приема, были похожи на тех, что несколько недель назад домогались Астроса. Какие-то раввины в черных колпаках, с курчавыми сосульками до земли. Нарядный, похожий на фазана негоциант с бегающими плутовскими глазами. Смиренный, с синими лампасами генерал, ожидавший для себя кусочек ракеты или ломтик атомной бомбы. Владелец кабинета за двойными дубовыми дверями был иной, но посетители ожидали от него прежних благодеяний, почти не замечая смены хозяина.

Двери кабинета бесшумно распались, и появилась секретарша, поразившая Белосельцева сходством с актрисой Миннелли, словно Буравков выписал из Америки ее огромный чувственный нос, иссиня-черные локоны, пухлые малиновые губы, смоченные блестящей слюной, большие ненатурально белые зубы, сквозь которые, как лампада, просвечивал алый язык. Ее грудь, как корнеплод, мощно раздвигала тесную блузку. Могучие икры неожиданно тонко сходили на нет, превращаясь в сухие щиколотки и маленькие хрупкие туфельки, словно заостренные, цокающие копытца. Секретарша обвела суровыми воловьими глазами восторгавшихся было посетителей. Углядела Белосельцева, расплылась в длинной сладостной улыбке.

— Вас ждут, проходите! — очаровательно сказала она, останавливая строгими, выпукло-черными глазами остальных

посетителей. Белосельцев вслед за ее духами, шелестящими материями, сладострастным цоканьем каблучков вошел в кабинет.

Это было знакомое помещение, напоминавшее диспетчерский зал, с эллиптической кривизной стен, сплошь заполненных телевизионными экранами. Экраны находились даже на потолке, отражались в лакированном полу, но все были погашены, наполнены млечной мутью, как бельма. Ибо хозяин кабинета вел разговор с посетителем. Кивнул Белосельцеву, взмахом руки усаживая его поодаль, давая понять, что скоро завершит разговор и все внимание будет уделено желанному другу. Белосельцев присел, имея возможность наблюдать Буравкова.

С тех пор как тот вытеснил Астросу, усадив его за решетку, в нем произошла быстрая, поразительная перемена. Из сдержанного, молчаливого, сторонящегося света и общения охранника, служившего тенью ослепительного громогласного шефа, он вдруг расцвел, распрямился, наполнился сытой свежестью, неукротимой энергией, обретя сильные жесты, резкую мимику, властный громкий голос.

— Скажи ему, пусть не валяет дурака и не испытывает мое терпение. — Буравков обращался к человечку с адвокатской внешностью, вертлявому и подвижному, напоминавшему язычок огня в керосиновой лампе, колеблемый ветром. — Я дам ему хорошую компенсацию, и он может уехать хоть в Грецию, хоть в Испанию. Передаст мне заводы, и о нем забудут. А иначе — нары, прокуратура, опись имущества. Алюминий тянется к алюминию, нефть — к нефти, деньги — к деньгам.

— А хорошие люди — к хорошим людям, — едко и одновременно угодливо вставил человечек.

— Вот именно, — снисходительно улыбнулся Буравков. — Мы тебя не забудем, отблагодарим от сердца. — Взглядом, как дрессировщик, поднимал из кресла посетителя, и тот подымался, пятился к дверям, угодливо кланялся.

— Ну, слава богу, — сказал Буравков, когда посетитель источился и они остались одни. — Рад тебя принять в моей резиденции. — Он жал ему руку своей большой горячей ладонью,

в которую проливался жар неукротимой энергии и долгожданного, заслуженного успеха. — Говори, дружище, чем могу быть полезен.

— Для тебя это будет пустяк. В «Лефортово», куда ты едешь, в больничном корпусе лежит человек, Николай Николаевич, фамилию узнать не успел. Он взорвал себя на Красной площади по соображениям не политическим, а мистическим. Он не террорист, а старообрядец, самосожженец. Принес себя в жертву. Мне нужно его повидать. Устрой свидание.

— Да, да, я слышал. Какой-то дурачок, блаженный. Изображал из себя летчика Гастелло. Сколько сейчас психопатов, бог ты мой! Нужна селекция, чистка, освобождение от неполноценных... Конечно, устрою свидание! — Он извлек из кармана маленький мобильный телефон, похожий на морского конька, еще недавно принадлежащий Астросу. Ловко, как на маленькой флейте, поиграл кнопками. — Евграфа Евстафиевича, будьте любезны, — властно попросил он кого-то невидимого. — Когда будет?... Скажите, что звонил Буравков, пусть перезвонит на мобильный! — спрятал крохотное, светящееся огоньками морское животное в глубину пиджака. — Это старший следователь. Он на допросе. Минут через тридцать позвонит... А сейчас давай-ка посмотрим, что у нас варится на нашей телевизионной кухне. — Он нажал невидимую клавишу, и все экраны, на стенах, на потолке, разом вспыхнули, мерцали, влажно и сочно задвигались, словно в кабинет влетело огромное мифическое диво, сплошь, с головы до пят, усеянное мерцающими глазами.

Это диво было ангелом разрушений и смертей, крылатым серафимом взрывов и погребений. На всех экранах разом пульсировали зрелища подорванных зданий, сожженных дотла городов. Бен Ладен отдает приказ моджахедам — и взлетают на воздух американские посольства в Африке. Ведут на электрический стул скованного наручниками террориста, и тут же — зрелище супермаркета, рухнувшего бетонными перекрытиями на толпу покупателей. Дымящие развалины Ольстера, смрадные руины Кабула, истерзанный до фундаментов Вуковар, каменные клетки и мертвые катакомбы взорванного Гроз-

ного. И везде — рыдающие лица, оторванные ноги и руки, расплюснутые камнями головы, выпадающие из живота внутренности. И еще — работа пожарных, труд спасателей, водометы, каски, бульдозеры... Эти повторяемые бессчетно, собранные со всего мира картины смертей и увечий производили ошеломляющее впечатление. С колотящимся сердцем, разбегающимися дикими глазами Белосельцев воочию видел апокалипсис.

Буравков кому-то говорил по селектору:

— Хорошо, но недостаточно!.. Готовьтесь показать такое, чтобы люди ползли к нам на коленях и умоляли спасти их!.. Готовьте бригады операторов, как если бы на Москву обрушился шквал межконтинентальных ракет!.. Одни бригады на место взрывов!.. Другие в больницы, в морги!.. Третьи на кладбища!.. Четвертые на московские площади для опроса населения!.. Я, конечно, утрирую, но эмоциональный удар должен быть тотальный!.. — Буравков вошел в роль режиссера. — Я буду просить вас все это повторить, но в большей концентрации!..

Белосельцев, потрясенный и сломленный, тем не менее, как авианаводчик под бомбами, зорко и точно фиксировал: здесь что-то готовилось, какой-то пропагандистский удар ошеломляющей силы, информационный взрыв, способный пробить любое равнодушное сердце, сотрясти любое окаменелое сознание. И этот информационный взрыв должен был тысячекратно усилить предстоящие взрывы в Печатниках.

— Я обязательно тебе помогу. — Буравков выключил экраны и поднялся. — Этот следователь Евграф Евстафиевич — наш парень. Сделает, что мы скажем... У нас с тобой есть еще время. Давай-ка сходим в кукольный зал, посмотрим один сюжетик, придуманный мною, который мы запустим сегодня в эфир.

Они двинулись стеклянными переходами. В прозрачных отсеках, как в террариумах, среди ярких мхов и лишайников, под светом греющих ламп двигались чешуйчатые, пятнистые, с переливами и изменчивой нервной окраской твари, лишь при внимательном рассмотрении являвшиеся людьми в экзотических, из полупрозрачных тканей, нарядах. Здесь ничто не из-

менилось с того дня, когда Белосельцев появился в стеклянном царстве в сопровождении жизнелюбивого Астроса. Это было удивительно, ибо, казалось, новый хозяин, с новой идеей, эстетикой и политикой, должен был бы в корне перестроить фабрику развлечений, отказаться от апофеоза похоти, или «антропологической коррекции», как называл одну из своих лабораторий Астрос.

— Я пока решил ничего не трогать. — Буравков заметил недоумение Белосельцева. — Важен не калибр орудия, не разрушительная сила снаряда, а цель, по которой ведется огонь. А цель у нас, как ты понимаешь, другая, — сказал он ничего не понимавшему Белосельцеву, подумавшему, что целью остается все тот же опоеванный народ, опустошенными глазами взирающий на электронное мерцание экранов.

Они достигли помещения, охраняемого автоматчиками, электронными турникетами и кодовыми замками. Буравков сделал несколько магических жестов, прижал ладонь к стальной сияющей плате, приложил глаз к окуляру, фиксирующему строение зрачка. Дверь бесшумно раскрылась, и они оказались в знакомой комнате, напоминавшей врачебный кабинет, лабораторию алхимика, где среди запахов формалина и тления делались чучела, потрошились птички и звериные тушки. С легким стуком упавшей на пол ложки со стула навстречу им соскочил знакомый карлик с вишневыми глазами спаниеля, красным ртом и узкой, от уха к уху, нарисованной эспаньолкой.

— Здравствуйте, Маэстро. Привел к вам гостя. Вы, кажется, уже знакомы. — Карлик не ответил, лишь улыбнулся, шаркнув кривыми ножками, одетыми в средневековые, похожие на пузыри панталоны. Белосельцев с удивлением заметил у него за поясом маленькую шпагу. — Хорош, хорош! — похатывал Буравков. — Настоящий Ромео!

Карлик не обиделся на издевку, склонился в любезном поклоне.

— Видишь ли, я всегда мечтал стать режиссером, театральным или в кино, все равно. Но наша чекистская работа исключала для меня такую возможность. Лишь спустя много лет я пытаюсь реализовать свою тайную страсть. Сейчас покажу

тебе мою первую пробу. Конечно, мне очень сильно помог Маэстро, но есть и мой вклад. Сегодня этот сюжет мы покажем народу. Он называется «Содом и Гоморра».

Белосельцев насторожился, ибо помнил пояснение Астроса, который называл кукольные сюжеты способом магического управления миром. Каждый сюжет иносказательно предсказывал будущее, заманивая еще не существующие события в магическую ловушку, из которой они, сконструированные маленьким чернобородым волшебником, врывались в жизнь.

На верстаке, окруженный куклами, похожими на чучела людей, среди кристаллических пирамид и хрустальных призм стоял «панасоник» с большим экраном и магнитофонной приставкой. Буравков вставил кассету, удобно устроился перед экраном, пультом запустил изображение.

Возник город, чьи строения напоминали пагоды, античные храмы, мусульманские минареты, и среди сказочных городских нагромождений мерещились до неузнаваемости измененный Кремль, храм Василия Блаженного, высотное здание Университета. В городских чертогах, похожих на римские термы или станции московского метро, проходила оргия. Известные политики, члены кабинета, думские лидеры всех направлений, либеральные писатели и художники, облаченные то ли в ночные рубахи, то ли в туники, занимались свальным грехом. Безобразные сцены совокуплений, рукоблудия, лесбийские соития женщин, педерастические страсти мужчин, привлеченные для любовных утех ослы, собаки, тельцы — все это клубилось, издавало стоны, вопли, сладострастные рыдания.

Внезапно появился Господь Бог. Истукан в длинной белой хламиде, с картонным нимбом. Он созерцал ужасную оргию, заламывал руки, предупреждал грешников, что чаша его терпения переполнена, и если бы не находился среди горожан последний и единственный праведник, то гнев Господень излился бы на город огненной смолой и падучей испепеляющей звездой.

На экране возник праведник, очень похожий на московского Мэра. В монашеском балахоне, с веригами, истязал себя железными прутьями, ложился на гвозди. Вставал на всю ночь

ную молитву перед гробом, где, окруженный свечами, в доспехах римского воина, мертвый, лежал Граммофончик. Праведник припадал к нему, лобызал холодный, под легионерским шлемом, лоб, постепенно стаскивая с себя балахон, и вдруг улегся в гроб к Граммофончику, демонстрируя страшное грехопадение, свою некрофильскую сущность.

Снова возник Саваоф, напоминавший Истукана в смиренной рубахе. Он был страшен в гневе, посылал проклятья провинившемуся, погрязшему в блуде городу. Насылал на него карающего Ангела Отмщения.

Над городом появился Ангел, черный, бородатый, с огромным носом, в пятнистой военной панаме, похожий на Шамиля Басаева. У него были перепончатые крылья, как у летучей мыши. Он держал у груди чашу, черпал из нее огненную жижу, метал вниз на город, и здания взрывались, окутывались пожарами, погребли под собой нагрешивших мужчин и женщин. В багровом небе темными контурами возвышались мечети, пагоды, кремлевские башни.

Опять появился Саваоф, и перед ним, на коленях, умоляя о прощении грешников, — Ангел Заступник с лицом Избранника, с белыми, сложенными за спиной крыльями. Ангел уверял, что в городе еще оставалась одна праведная душа, и Содом не заслуживает истребления. Господь Бог удивился сообщению Ангела, но смиростивился и велел ему лететь и остановить истребление города.

Дальше следовала сцена боя, где черный, с перепончатыми крыльями и чеченским носом Ангел Мститель схватился с белокрылым Ангелом Заступником. Эта схватка с ударами крыльев, с приемами дзюдо, с подножками и кувырками, окончилась победой светлого Ангела. Он вырвал из рук Басаева чашу гнева и откинул ее далеко за горизонт.

Кинулся вниз, красиво, как голубь, сложив серебряные крылья, опускаясь на дымящийся город. Из-под развалин вывел на свет праведную душу — девочку в коротеньком платье, с челочкой, с узкими японскими глазками, похожую на известную либеральную депутатку. Счастливые, взявшись за руки, шли по улицам. Прощенные, раскаявшиеся в грехах жители,

напоминавшие деятелей партий, парламентариев и министров, провожали их восторженными песнопениями.

Экран погас. Буравков азартно потирал свои большие горячие ладони, оглядывался на Белосельцева:

— Ну как? Что скажешь? Кто настоящий режиссер, я или Астрос?

— Ты великий режиссер, — Белосельцев бодро хвалил, стараясь скрыть свой ужас, ибо метафора была им разгадана, взрывы в Печатниках могли прогреметь уже нынешней ночью, — замечательный, остроумный сюжет. Превосходит все, что я видел в этой программе прежде. Астросу до тебя далеко.

— Будет еще дальше!.. — с неожиданной яростью прохрипел Буравков, и его нос от прилива тяжелой крови набряк и стал фиолетовым. — Слышишь, Маэстро?.. Покажи проклятому олигарху, что мы умеем выбивать показания!.. Пусть скажет, где у него недвижимость на Кипре!.. Пусть назовет посредников в «Бэнк оф Нью-Йорк»!.. Пусть перечислит подставные фирмы по перекачке нефти и газа!..

Чернобородый карлик с неожиданной быстротой вскочил на соседний верстак, где лежала кукла Астроса, удивительно точно передававшая его жизнелюбивый лик, кисельно-молочный цвет лица, пышное сытое тело. Стал топтать, тормошить, рвать на куски несчастную куклу, издавая тихое урчание хорька, терзавшего курицу, у которой на прокусанном горле выступили капельки крови. Бил ее маленьким злым кулачком в холеное лицо. Вонзал отточенный каблучок. Выхватил шпажку и пронзил матерчатое чучело так, что из него полетели опилки. Утомившись от пытки, тяжело дыша, яростно сверкая фиолетовыми выпуклыми глазками, накиннул на шею кукле капроновую петлю, захлестнул на гвоздь, вбитый в стену, умело поддернул. Астрос закачался в петле, медленно вращаясь, свесив вдоль тела бессильные руки, на которых поблескивали бриллиантовые перстни.

Буравков, тяжело дыша, открыв рот, смотрел на казненную куклу. В глубине его пиджака нежно затренькал мобильный телефон. Он извлек крохотного моллюска с флюоресцирующими капельками света:

— Слушаю!.. Евграф Евстафиевич?.. Ну спасибо, что позвонил!.. Что ты сказал?.. Когда?.. Несколько минут назад?.. Хорошо, перезвони, когда сможешь... — держал в руках умолкнувший телефон. Растерянно смотрел на Белосельцева. — Следователь позвонил... Сказал, что несколько минут назад Астрос повесился в камере...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Поход к Буравкову не открыл Белосельцеву доступа в тюремную больницу, где томился Николай Николаевич, но окончательно, с жуткой достоверностью убедил, что следующий этап «Суахили» предполагает взрывы в Москве. Всемогуший «Орден КГБ», о котором поведал Кадачкин, в обход государственных служб, в обход федеральной контрразведки, в обход самого Избранника готовил в Москве апокалипсис. Чтобы сквозь дым и кровавую жижу, среди стенаний обезумевшего народа захватить Кремль.

Белосельцеву казалось, что пророк Николай Николаевич сквозь тюремную решетку взывает к нему, хочет перед смертью посвятить в священную тайну. И, желая добиться посещения тюрьмы, Белосельцев отправился к Копейко, который навещал Зарецкого в «Лефортово», добывая у заточенного олигарха какие-то последние секретные сведения.

Копейко не было ни в аналитическом центре, ни в «Фонде» Гречишникова. Он оказался в бывшей резиденции Зарецкого, в замоскворецком «Доме приемов», известном своими тайными совещаниями, шумными празднествами, элитными обедами, выступлениями знаменитых певцов и поэтов, находившихся на содержании у магната. Белосельцев заторопился в заповедный район Москвы, где, окруженный старинными парками, ветхими церквями, теремами времен Алексея Михайловича, особняками в стиле ампир, находилась резиденция, — нежно-бирюзовые, с белой лепниной палаты, окруженные чугунной решеткой.

Охрана, оставшаяся от прежнего господина, недоверчиво и смущенно впустила Белосельцева. Провела в апартаменты, которые еще хранили следы недавней роскоши, но уже были подвергнуты разгрому. Казалось, дом штурмовал отряд спецназа. Повсюду на лакированных инкрустированных полах были разбросаны фарфоровые черепки, обрывки дорогих тканей, обломки золоченых багетов. Резная зеркальная рама зияла пустотой с одиноко торчащим зубом яркого стекла. На атласных обоях оставались белесые квадраты от содранных картин. Рабочие в робах тащили во двор белый концертный рояль, который тоскливо постанывал, ударяя в косяки дверей. Белосельцев осведомился, где пребывает начальство. И смущенный охранник указал ему на открытые двери, ведущие во внутренний двор, где в дыму что-то ломалось и трескалось.

Замкнутый внутренний двор, отделенный от внешнего мира высокой, усеянной остриями стеной, был местом казни. Горели костры, в которых чадили, истекали ядовитыми разноцветными дымами картины известных московских модернистов. Рядом мерцала груда фарфоровых и хрустальных осколков, оставшихся от дорогих саксонских и севрских сервизов, от винных графинов и бокалов, еще недавно украшавших банкетные столы, пиршества элитных приемов. Разодранные на лоскутья, валялись костюмы от Зайцева и Диора, модные пальто и плащи, шелковые галстуки, атласные и бархатные занавеси и гардины. У открытого гаража стоял выездной «мерседес» Зарецкого. В нем не было стекол, превращенных в блестящую рассыпанную по земле крупу. В лакированных боках зияли страшные проломы и дыры. Тут же валялось орудие разрушения — согнутый, с заостренным концом лом. И посреди этого погрома, нещадного избиения, ритуального надругательства над святынями олигархического уклада стоял почти неузнаваемый Копейко.

Он был облачен в казачий генеральский мундир с золотыми эполетами, с набором Георгиевских крестов, царских орденов и медалей. Огненно-алые лампасы струились по его мощным бедрам, вливались в начищенные сапоги, за голенищами которых торчали сразу две нагайки. На круглой лобастой го-

лове красовалась казачья фуражка. Огромный набрякший кулак сжимал рукоять висевшей у пояса шашки. Лицо было багровым от ярости, глаза дико и торжествующе созерцали панораму разгрома. Под подошвой нежно розовели черепки раздавленной чашки.

— Подходи, угощу «Нескафе», — хрипло захохотал Копейко, узнавая Белосельцева и додавливая сапогом хрустнувшие розовые черепки. — Может, шампанского? — Он сделал шаг и ударил пяткой хрустальный бокал, брызнувший из-под каблука ярким блеском. — Хочешь прокатиться? Подвезу! — Он длинно плюнул в изувеченный «мерседес», попав в зияющее окно. — Ты, кажется, любитель модных художников? Так давай походим по выставке! — Он нагнулся, схватил несгоревший холст с каким-то голубым грифоном и кинул его на угли. — Гори, гори ясно, чтобы не погасло! — Его рот раздвинулся в блаженной улыбке, и в глазах загорелись две рубиновые, отражавшие угли, точки.

— Счастливчику Зарецкому повезло, что он оказался в тюрьме, — пробовал пошутить Белосельцев, — представляю, как ты посадил бы его на угли и заставил жевать хрустальный бокал. Я знал, что ты его терпеть не можешь, но не предполагал, что до такой степени!

— Ненавижу жида!.. Я, казак, не забыл, как они Дон расказачивали!.. Это им, троцкистам проклятым, за Тихий Дон, за Государя Императора, за Святую Русь!.. Мой дедка, которого они застрелили, смотрит на меня с небес: «Так их, внучек!.. Бей жидовское отродье!.. А мы за тебя всей станицей помолимся!»...

Рабочие в робах наконец протиснули в двери концертный рояль, вытащили его во двор, и он, белоснежный, с золотыми тиснениями, напоминавший одушевленное существо, то ли белогрудую великаншу, то ли белого, выброшенного на отмель кита, мерцал одиноко под солнцем.

— К нам в станицу комиссары нагрянули, курени оцепили, всех казаков на площадь согнали и стали стрелять. Мой дедка под пулями, с дырой в голове, прежде чем умереть, прокричал: «Отольется вам, жида, казачья кровь. Не сыны, так

внуки отомстят, живыми зароят, а все ваше золото, какое у православных награбили, в огне спалят!» Ему из винта сердце прострелили, а комиссар, жидок, в галифе, с бородкой, сквозь пенсне поглядывал и папироску курил. Это мне батька рассказывал перед тем, как самому умереть. Я его завет помню!..

Копейко, боком, малыми шажками, примериваясь, подходил к роялю, к его выпуклым плавным бокам. Щурился, всасывал расширенными ноздрями воздух. Присев, вздыбив крутое плечо с золотым погоном, выхватил шашку, сверкнул на солнце стальной струей и что есть силы рубанул рояль. Стон взлетел в небо, посыпались твердые щепы, открылся зияющий сочный рубец. Он отступил, жаркодохнул, написал шашкой солнечный вензель, вонзил ее в белую плоть рояля, из которой, казалось, вслед за рыданием, брызнула алая кровь. В рассеченных венах забурлило, заклокотало, и каждая разрубленная струна, завиваясь, издавала надсадный прощальный звук, словно невидимый пианист играл музыку Шнитке, которая ярила Копейко. Он налетал на рояль, ахал, крошил его шашкой, выпускал из него ненавистный дух, мстя за горящие курени, пострелянных казаков, голосащих казачек. За казачонка, посаженного на штык. За белую корову, пробежавшую по станице в клочьях огня.

Двое рабочих осторожно, боясь повредить, вытаскивали огромную фарфоровую вазу, изрисованную цветами, перевитую китайским драконом. Белосельцев вспомнил, что видел эту, в рост человека, вазу на картинке в модном журнале. Тогда в нее был поставлен пышный букет роз, вокруг, позируя, собрались именитые банкиры и их откормленные, полуобнаженные жены. Все сияло довольством, успехом, незыблемой властью. Теперь эту вазу рабочие выставили на свет, и она нелепо стояла среди задымленного двора, своими округлыми бедрами и широкой лепной горловиной напоминая статую.

— Жиды Государя Императора умучили ритуальным убийством. Стреляли в упор в девушек, в императрицу. Государь взял отрока-наследника на руки и сказал: «Стреляйте в нас обоих!» И жиды не дрогнули, выстрелили в упор в мальчика и в Православного царя. А потом из наганов делали контрольные вы-

стрелы в белокурых княгинь, в мертвую царицу, в раненого Императора, в простреленного цесаревича. И опять жидокомиссар курил папироску, стряхивал пепел в горячую царскую кровь... Ненавижу!..

Он подхватил с земли лом и ударил вазу, видя в ней Зарецкого и его богатых еврейских друзей, и Юровского, и Блюмкина, и толстобедрую Землячку, и Розу Люксембург, и Лилю Брик, и беспощадных еврейских комсомолок в нарядных сапожках с тяжелыми маузерами, и еврейских жен русопятых генералов, и министров, и Кагановича, и Мехлиса, и Илью Эренбурга. И от этого разящего удара ненависти ваза рассыпалась вся разом на мелкие куски.

Шесть или восемь рабочих, облепив со всех сторон огромный кожаный диван, ставя его торчком, вытаскивали наружу, надрываясь, кряхтя, сволакивали по мраморным ступеням.

— Соловецких мучеников, архипастырей, известных в России иереев, монахов и иеромонахов, простых сельских батюшек жиды на баржу грузили, выводили в студеное море. Монахи и батюшки, чуя смерть, пели псалмы, славили Господа, благословляли Русь. Баржа, по которой били из пушек, уходила на дно, погружалась в ледяную глубь. Мне один помор говорил, что в тихую погоду из моря доносится пение акафистов...

Рабочие выволокли наконец диван, поставили его косо на землю.

— В огонь его!.. Бензином!.. Чтоб ни клопа не осталось!.. — неистово крикнул Копейко, сам побежал к стоящей поодаль канистре. Обильно полил бензином роскошную кожу дивана, ручки из красного дерева, сафьяновые морщинистые подушки. Выхватил из костра клочок огня, кинул на диван, и тот с гулом и ревом вспыхнул, словно поднялся из берлоги спящий медведь.

Белосельцев изумлялся, как в этом немолодом чекисте, прошедшем муштру КГБ, отшлифованном, словно речная галька, партийной идеологией, уравновешенном и внешне бесцветном, таился яростный, оскорбленный казак, дожидавшийся десятилетиями мгновения, когда можно будет вылезти из потаенного погреба, надеть казачий мундир, нацепить

Георгиевские кресты, схватить дедовскую шашку и с визгом и гиком помчаться по родной степи, срубая ненавистные горбоносые головы в пенсне, с черными козлиными бородками.

— Залезли во все поры, во все щели. Русскому человеку податься некуда. Куда ни заглянешь, везде жид сидит. В правительстве — жид, на телевидении — жид, в банке — жид, в разведке — жид. Недавно в церковь на Ордынке зашел, деду свечку хотел поставить, а на меня дьякон, черный, как Карл Маркс, гривастый, горбоносый, уставился и красный жидовский язык показывает... Ненавижу!.. Огнеметом их, как клопов, чтобы знали место в России, сидели по своим синагогам!..

Рабочие вытаскивали из особняка огромный «панасоник» с млечным экраном и тумбочку с видеокассетами, на которых были записаны телесюжеты, выполненные по заказу Зарецкого. Копейко подскочил к телевизору, пнул экран, и тот лопнул с болотным чмокающим звуком, и из разбитого кинескопа засочились туманные ядовитые струйки, словно духи зла. Копейко ударами казацкого сапога толкал в костер кассеты, рассыпая играющие красные искры.

Он утолил свою ярость. Оглядел двор со следами свирепого погрома. Удовлетворенно хмыкнул.

— Пошли в дом, — обратился он к Белосельцеву, — батюшка приехал святить помещение, жидовский дух изгонять...

Белосельцев стоял среди понурых охранников, испуганной челяди, созерцавшей невиданное доселе действо. Там, где еще недавно собирался цвет еврейских банкиров и промышленников, лидеров демократических движений и партий, где раздавались оперные арии, исполняемые на итальянском языке заезжими звездами «Ла Скала», где играли лучшие джазмены Америки, где подымались тосты за премьера Израиля, читались под музыку Шнитке стихи Бродского и Мандельштама, где разгуливающая красотка с черным завитком на виске, с обнаженной грудью, задирала шелковый подол, показывая упитанную ляжку, танцевала на столе канкан, — вместо всего этого посреди приемного зала стоял православный батюшка в фиолетовой ризе, макал кисть в медную чашу и кропил стены, люстры, еще не содранные гобелены, вздрагивающих охранников, смирен-

ную прислугу, и казачий генерал в золотых эполетах, новый хозяин дома, истово осенял себя крестным знаменiem. Белосельцев, чувствуя на лице водяные брызги, изумлялся. Значит, не прав Кадачкин, говоря о каком-то «Русском ордене ГРУ» и якобы прозападном «Ордене КГБ». Копейко, ветеран безопасности, демонстрировал свирепую русскость, лютую ненависть к космополитической когорте. Значит, нет никаких «орденов», и все перепуталось и смешалось в этой перевернутой жизни, где в хаосе и распаде умные злодеи творят бесконечное зло.

Сквозь молитвенные песнопения где-то рядом затренькал мобильный телефон. Копейко, выставив ногу с лампасами, извлек из штанов мобильник. Отвернулся от кропящего священника.

— Да, мистер Саймон... Я подтверждаю, мы готовы продать американцам и израильтянам часть нефтяных акций... И конечно, алюминиевых... И, разумеется, ждем финансовых вливаний в наш медиа-бизнес... Не слушайте этих рассказней о «русском фашизме», мистер Саймон... Их распространяют наши конкуренты... Если вам нужны подтверждения, я и мои друзья, среди которых есть религиозные евреи, придем на переговоры в ермолках... Спасибо за звонок, мистер Саймон... — Копейко с благоговением закрыл крышечку крохотной шкатулки, в которой погасла горсть зеленоватых жемчужин. — Ты хотел поехать со мной в «Лефортово»? — спросил он Белосельцева. — Переоденусь, и сразу едем...

Белосельцев смотрел вслед удалявшимся казачьим лампасам и золотым эполетам, и все путалось в его голове.

Они промчались по воспаленному, похожему на дымящийся ров Садовому кольцу. Нырнули в сень высотного здания на Котельнической. Втиснулись в набережную Яузы и плавными изгибами полетели вдоль гранитного русла с окаменелой зеленой водой, мимо монастырей, авиационных лабораторий, влажных парков и тяжеловесных сталинских зданий к Лефортово. В тюрьме их встретил старший следователь, похожий на взъерошенного воробья, с которым Копейко обращался фамильярно, на «ты», небрежно похлопывая по плечу. Тут же, у проходной, следователь сообщил, что Зарецкий утром с сер-

дечным приступом, с диагнозом патологии крови слег в тюремную больницу.

— Он у нас слабенький, дохленький, — хохотнул Копейко, — грубого слова не выносит. В Париж от нас хотел убежать, а мы его в клетку... Знаешь, — он снова хлопнул следователя по плечу, — скажи своим, пусть проводят моего друга Виктора Андреевича в лазарет, к тому шизофренику, который называет себя Гастелло. Пусть они вдвоем посидят. А мы с тобой пока потолкуем, как идет следствие. Проясним, какое отношение имеет гражданин Зарецкий к Шамилю Басаеву и к государственному перевороту, который нам, слава богу, удалось предотвратить. Потом и мы подойдем в больницу к нашему подследственному.

Следователь позвонил офицеру охраны, и тот, свинченный из железных суставов, твердых хрящей и скрипучих сухожилий, повел Белосельцева сквозь множество стальных дверей и решеток, электронных замков и гулких пустых коридоров, под бдительным присмотром телевизионных глазков. Охранники раскрыли перед Белосельцевым двери больницы, подвели к палате. Белосельцев вошел в стеклянный, зарешеченный бокс и увидел на койке Николая Николаевича.

Он лежал перебинтованный по рукам и ногам, в гипсовом футляре, куда замуровали его хрупкую плоть, чтобы больше не выпускать на волю. Лицо стало маленьким, с остренькими скулами, усохшим носиком и седыми кустиками редких бровей. Трубки и проводки, которыми он был окружен, непрерывно, по капле, сосали его жизненные соки, и он был наполовину пустой. Казалось, вот-вот иссохнет, оставив в гипсовом коконе легкую бесцветную шелуху. Белосельцев видел, что он умирает, быть может, доживает последние часы и минуты. Молча стоял, не решаясь приблизиться, глядя на закрытые веки, похожие на темные клубеньки. Но веки дрогнули, и открылись тихие ясные глаза.

— Ждал, что придешь... Я к тебе давно пришел, а ты только сегодня добрался... Я тебя видел, а ты меня нет... Мне теперь спокойно лежать, я у вас отпуск взял... Пойду отдохну, а вы еще тут поработайте...

Белосельцеву стало так жаль его, что глаза затуманились и цветные проводки и трубки расплылись, образовав вокруг головы Николая Николаевича яркие венчики. Еще один человек уходил с земли, непонятый, невысказанный, стремившийся косноязычно изложить обретенное им знание, в котором содержалось все мироздание и, не уместаясь в человеческую молвь, путая и ломая речь, толкалось наружу, силилось себя обнаружить. Заключенная в темницу, в зарешеченную больничную палату, замурованная в гипсовый кокон, душа силилась вырваться на свободу, обращалась к Белосельцеву за помощью.

— Мне насовсем уходить нельзя... Меня на земле поставили и крылья дали... Я на небо слетаю, навещу жену с сыном, букетик им передам и вернусь... Мне дочку нужно беречь... Я ей книжку читал: «Выхожу один я на дорогу...», а она мне слезы платком вытирала... Она хорошая, ты увидишь... Ей легче станет, когда я уйду... Она на войну пойдет... Как Зоя Космодемьянская... У меня в груди боль... Потому человек...

Белосельцев слушал с затуманенными глазами. Улавливал редкие капли света, падавшие из невидимого неба в сумеречную тюремную палату, горевшие по углам как тихие лампы. Перед ним, замурованный в камень, умирал лучший на земле человек, и не было сил, не было молитвы и колдовства, с помощью которых можно было его удержать.

— Я тебе говорю, поприветствуй не смертью, а вечной жизнью... Я смерть попрал, оттого и умер, а вечная жизнь — Россия... Мы все должны умереть, чтоб Россия восстала, а в ней — наша вечная жизнь, как говорил Чкалов... Ты возлюби, восплачь, всех нас позови, мы и восстанем.... Цари из гробов, вожди из стены, а мы с тобой из крапивы... Почему у меня Богородица Дева радуется с одной стороны, а товарищ Сталин с другой?... Так самолет устроен, по образу и подобию... Я всех люблю, потому и боль...

Белосельцев испытывал к нему нежность и мучительное влечение, словно лежащий перед ним человек был ему сын, или брат, или отец.

— Самый неверующий и есть в вере... Который заблудился, тот и дошел... Который разбился, тот и взлетел... Ты рус-

ский воин, ты без веры не выступишь... Ленин живой, его нельзя хоронить, нету такой могилы... Преподобный Сергей встал и пошел по земле, ему в могиле тесно... Он на баррикаду явился и в сторонке встал, слушал, как я Маяковского жене и сыну читал... Ты верь — и дело свое закончишь, а я тебе помогу... Только дочь приведи проститься...

Белосельцев чувствовал, как умирает Николай Николаевич. Хотелось удержать его рядом, продлить его минуты, передать ему часть своей жизни, напитать своими соками, живой жаркой кровью. Чтобы не остаться на земле сиротой. Чтобы не кануло бесследно явленное через него светлое знание.

— Одна есть Земля — Россия... Один народ — русский... Которые финны, немцы, болгары — они тоже русские... Русский народ всех любит, потому его и казнят... Мы траву любим, и звезду, и сына, и прохожего, и пролетного, и проезжего, всякое колесо, всякую стрелу и пулю, которые в нас летят, оттого и живы... От нас другой мир пойдет, который никогда не умрет... От наших скорбей всем людям радость... Ты верь в Победу, она солнце, и звезда, и месяц, и Россия, и ромашка, и матушка, и доченька, и мы с тобой в Победе никогда не умрем... Давай прощаться... Руку дай...

Белосельцев склонился, взял в ладонь кончики бледных пальцев, торчащих из гипса. Николай Николаевич смотрел на него спокойным, удаляющимся взглядом.

Дверь приоткрылась, и в палату вошла Вероника, держа наполненный пластиковый пакет. Тревожно осмотрела Белосельцева, чье лицо показалось ей знакомым. Но она не вспомнила обстоятельств, при которых они встречались. Затем взгляд ее остановился на отце, и она, приближаясь, заглядывала в свой пакет, говорила нежно, нараспев, как разговаривает мать с больным ребенком:

— А что я тебе принесла?... А что ты любишь?... Бульончик куриный тебе принесла, еще тепленький... Сок апельсиновый, как ты просил... Тебе витамины нужны, чтоб поправился...

Пока она говорила, приближаясь к отцу, Белосельцев, пораженный смертью пророка, успевал заметить происшедшие в ней перемены. На голове ее была повязана простая косынка, скрывавшая чудесные золотистые волосы. Вместо короткой,

обнажавшей колени юбки на ней было неловко сидящее долгополое платье. На лице не было грима, придававшего целлюлоидный кукольный цвет, не было помады, от которой соблазнительно и влажно розовели губы. Она была проще, не так интересна. От нее не исходил дурманный, искусительный запах духов, напоминавший тропические благоухания.

— Какая у нас сегодня температура?.. Что нам врачи говорят?..

Она коснулась его пальцев, выглядывавших из гипса. Потом быстро, испуганно положила руку ему на лоб. Заглянула в остановившиеся, уже прозрачно каменеющие глаза. Обернулась на Белосельцева, ожидая от него помощи, объяснения, уверения в том, что отец жив и только заснул ненадолго. Но лицо Белосельцева, как зеркало, отражало в себе образ случившейся смерти, и Вероника, остановившись, прижав к груди руки, замерла перед бездыханным телом. А потом вдруг тонко, по-птичьи вскрикнула, упала ему на грудь, обнимая твердый гипсовый кокон, в котором остывал отец. Заголосила истошно, по-бабьи, захлебываясь в страшной слепой истерике, сквозь которую бурно пробивались древние клетоты, пузырились истошные кликушечьи голошения.

— Папа, папочка мой дорогой, зачем ты меня не дождался?.. Я к тебе торопилась, машину поймать не могла!.. Мне врачи сказали, что тебе лучше стало, а ты вон лежишь, и ручки твои холодные!.. Как же я тебе не сказала, что люблю тебя, жить без тебя не могу!.. Мне вчера мама и Андрюшка приснились, что мы сидим за столом, и тыходишь и яблоки нам раздаешь!.. Горькое ты мое яблочко, папочка мой дорогой!.. Как же я перед тобой виновата, а ты мне все простил!.. Ты меня хранил, защищал, а теперь я одна, и каждый меня обидит!.. Папочка, открой свои глазки, посмотри на свою доченьку, как она тебя любит!.. Ты мне куклу купил, а я ее потеряла, не знаю, куда подевалась!.. Что же они с тобой понаделали, все ручки твои переломаны, все ножки твои забинтованы!.. Почему ты меня не взял с собой, свою доченьку, мы бы вместе, с мамой и Андрюшкой, друг друга жалели!.. Почему ушел, меня не дождался, не сказал прощальное слово!.. Как же я теперь буду жить, у меня нету сил!..

Она на минуту потеряла сознание на груди у отца. Вошедшие санитары подносили к ее лицу нашатырный спирт, вливали в побелевшие губы стакан валерьянки. Под руки, осторожно выводили из палаты.

Он вышел в больничный коридор и увидел Копейко, который бодро, накинув на плечи белый халат, шествовал вместе со следователем, оглядывая номера палат.

— Кажется, эта, элитная? — он остановился перед дверью, подзывая Белосельцева. — Надо навестить недужного... Все-таки начальство в прошлом... Ты, — обратился он властно к следователю, — погуляй-ка с полчаса. А мы с Виктором Андреевичем навестим подследственного, — и, толкнув дверь, увлекая за собой Белосельцева, вошел в палату.

На просторной койке, подняв под одеялом колени, утонув узкой лысеющей головой в подушках, лежал Зарецкий. Желтый, словно выкрашенный бледным раствором йода, выложил на одеяло худые цепкие ручки. Над ним возвышалась ветвистая, как дерево, капельница, увешанная стеклянными плодами, прозрачными флаконами, перевитая лианами трубок. Сквозь них в щуплое тело магната просачивались подкрашенные и бесцветные растворы, которые, смешиваясь с его лимфой и кровью, порождали горчично-желтую окраску.

Над головой стоял монитор с пульсирующим электронным графиком, и казалось, что жизнь Зарецкого была запаяна в стеклянную колбу с извивающимся зеленым червячком.

Когда они вошли и Зарецкий узнал Копейко, его темные, с желтыми белками глаза дернулись ненавистью и страхом. Он попытался залезть под одеяло, глубже зарылся в подушки, и электронная линия на мгновение прервалась, а потом побежала быстрее, выстреливая острыми зубцами, похожая на юркого зеленого дракончика.

— Здравствуйте, дорогой товарищ, — глухо сказал Копейко, останавливаясь перед больным, упираясь в пол расставленными ногами, скрестив на груди сильные, твердые руки. И глухота его голоса, белый, накинутый на сильные плечи халат, круглая стриженная голова породили в Зарецком реликтовый ужас, словно явился палач и ему предстоят адовы муки.

— Ты за все ответишь, преступник!.. Мой адвокат подготовил протесты!.. В Верховный суд!.. В Суд Гааги!.. В комиссию по правам человека!.. Будет скандал, мировой!.. На мою защиту выступит вся интеллигенция, все мировое сообщество!.. Я подготовил письма сразу двум Президентам — России и Америки!.. Тебя сотрут в порошок, как фашиста и антисемита, и я мизинца не протяну, чтобы тебя спасти!.. — Зарецкий дергался, сучил под одеялом ногами, куда-то карабкался, вжимался в подушки.

— В Гаагу, говоришь?.. Интересно!.. — задумчиво, чугунным голосом произнес Копейко, глядя на монитор, где прыгала разорванная зубчатая линия.

Этот задумчивый чугунный голос, похожий на ядро, которое вкатывали в пушку, вырвал из тощей груди Зарецкого жалобный писк, словно в дупле удушили птенца.

— Ну хорошо, я понял мою оплошность... Я проиграл, не сумел тебя разгадать... Надо уметь проигрывать... Бери мое состояние, ты ведь в курсе всех моих дел... Ценные бумаги, недвижимость... Ты знаешь, в каких банках я держу деньги, где храню бриллианты... Все забирай... Я опять заработаю... Важно иметь голову, которая способна к открытиям... Мой бизнес — это цепь гениальных открытий, которые принесут мне новые деньги...

Он надменно, с видом превосходства, взглянул на Копейко и тут же струсил своего смелого презирающего взгляда. Задергал острыми коленками, вцепился в одеяло сухими заостренными пальцами.

— Ладно, ладно, я умею проигрывать...

— Умеешь, говоришь? — угрюмо поинтересовался Копейко, осматривая одеяло, словно примеривался, как бы ловче его схватить и сдернуть, чтобы обнажилось жалкое, квелое тело с дряблыми мускулами, узкой грудью, покрытое редкой шерсткой.

От взгляда, каким-гробовщик снимает мерку с еще живого клиента, линия жизни Зарецкого превратилась в пунктир, над которым взлетали фонтанчики предсмертного страха.

— Договоримся, ты дашь мне уйти, а я тебе солью компромат на всю верхушку... На Истукана, где какие счета, дворцы

в Мексике и Испании, нефтяные поля в Венесуэле, акции кимберлитовых трубок в Намибии... На Дочку два километра пленок — в постели со всеми, кому не лень, и с Астросом, и с шофером, и с тренером по теннису, с садовником, с главным охранником... Для «Плейбоя», за сто тысяч долларов... Скажу, кто застрелил Листьева, кто взорвал Холодова, кто зарубил Меня... Дам компромат на Гречишникова, как он мальчиков к себе возит и они вместе одну конфетку сосут... Компромат — это власть... Ты будешь самый сильный... Дай мне уехать!..

— Как ты сказал? Уехать? — Губы Копейко растянулись в резиновую мертвенную улыбку.

— Дай мне денег на дорогу!.. Пятьсот долларов!.. Уеду, и ты обо мне не услышишь!.. У тебя ведь есть дети, мать!.. Умоляю!.. — лепетал Зарецкий, углядев в круглых глазах Копейко что-то неотвратимо-ужасное.

— Пятьсот, говоришь? — Копейко медленно колыхнулся, как гранитный памятник, падающий с пьедестала. Клонился, валился, обрушивая ветвистую, увешанную флаконами капельницу, тончайшие проводки, соединявшие электронный стимулятор с сердцем Зарецкого. Капельница со звоном упала, расплескала по полу разноцветные растворы. Линия жизни на экране погасла. Зарецкий открыл ромбовидный рот, в котором от удушья взбухал фиолетовый длинный язык. Задержался, задрожал, как от холода. Поник, уменьшился, словно стекал в невидимую воронку, уходил под землю в сливное отверстие. Через секунду его не осталось.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Город, который был явлен из окна пышной, осенне-золотистой бахромой бульвара, непрерывным сверкающим водопадом машин, туманными кремлевскими башнями, далеким золотом Храма, тончайшей, словно сизое перышко, Шуховской башней, хрустальными витринами дорогих магазинов, полыхающими

среди бела дня рекламами заморских товаров, неумоимо бегущей по тротуарам безымянной, безгласной толпой, — этот город был обречен. Обречен на сожжение, ибо в нем не осталось ни единого праведника. Повсюду, словно жирные черви, клубились пороки, свивались в липкие смрадные клубки в каждом доме, под каждой кровлей, в каждом человеческом сердце. Последний праведник Николай Николаевич лежал под простыней тюремного морга, и его безумная дочь бежала по Тверской, натываясь на фонарные столбы и размалеванные стенды реклам.

Он, Белосельцев, противясь воле Бога, восставая в своей безумной гордыне против Творца, должен был спасти этот город.

«Господи... Царица Небесная... Николай Николаевич... Милая, любимая бабушка... Мама, родная... Цветочек-василечек... Ромашка...» — шептал он молитву, и чудо казалось возможным.

В сумерках, в которых, словно красная воспаленная рана, пылала над крышами реклама «Самсунг», зазвенел телефон. То был Серега, его задыхающийся, скомканный голос:

— Виктор Андреевич, Ахметку просекли... У него взрывчатка... Алешка, пацан, ну, вы помните, у него мать и отец воры, он из детдома сбежал... Алешка засек Ахметку, который сахар на рынок вез, из гаража мешки в «Газель» таскал... Из мешка песок просыпался, Алешка на язык взял, а оно горькое и вонючее... Ахметка увидел, отлупил Алешку чуть не до смерти... Сказал, что зарежет, если слово скажет... Алешка ко мне на карачках приполз, рассказал про песок...

— Куда Ахметка отвез мешки?... Где «Газель»?.. — Белосельцев чувствовал, как стремительно помчалось время и началось жестокое состязание с теми, кто, притворяясь людьми, стремился взорвать город, выполнить наказ разгневанного Бога, и им, Белосельцевым, стремящимся их удержать, умолить разгневанное Божество пощадить город, в котором он родился и вырос и который бесконечно любил.

— Не могли проследить за Ахметкой... Он оторвался... Потом опять засекли, но уже без машины... Сейчас в ресторане «Золотая обезьяна» сидит с каким-то мужиком... Едят, а водку не пьют... Не знаю, о чем договариваются...

— Серега, жди меня на углу ресторана, сейчас выезжаю... Не светись... Держись в тени... Могут убить... За Ахметкой и мужиком, если выйдут, пошли наблюдателей... Минут через сорок буду...

Он гнал что есть мочи свою старую «Волгу», подныривая под мигающие зеленые светофоры, пробивая желтый огонь, ломаясь напролом сквозь красный свет, уклоняясь от перпендикулярного потока машин. Миновал Таганскую площадь с огненной каруселью, встроился в ревуший желоб проспекта. Рядом, отставая и нагоняя, неслись грузовики, рычали самосвалы, скользили иномарки. И ему казалось, что все стремятся туда же, куда и он. Торопятся принять участие в последней схватке за город или в толпе зевак насладиться фантастическим зрелищем конца света, взлетающей в небо Москвы. Мелькавшие лица водителей и пассажиров казались враждебными, были на стороне заговорщиков. Он давил педаль, извлекая из утомленного железа надсадный стон. Старался опередить соперников, первым явиться на место. В черно-фиолетовом небе над проспектом, над ревущей струей машин мчался ангел, прижимая к бедру медную трубу. Белосельцев пытался обогнать самого ангела, опередить его жест, которым тот прижмет к губам медный горн, исторгая из него трубный глас апокалипсиса.

Он приехал в Печатники и в путанице улиц с односторонним движением не сразу нашел ресторан. Здания в морозящей сырости желтели мутными окнами, словно в квартирах горели коптилки, наполненные рыбьим жиром. Древний пещерный свет едва теплился в очагах, у которых собрались полутолые, волосатые люди, сонно жевали невкусную пищу, бессмысленно смотрели выцветшие телевизоры, сидя в неубранных, несвежих постелях. Не молились, не просили у Бога прощения. Не ведали, что доживают последние часы перед тем, как сгореть в слепящем пламени. И явилась мысль: остановить машину, кинуться в дома, стучаться в квартиры, будя жильцов страшной вестью, нарушая их сонное прозябание. Звать на улицы, чтобы всей толпой пасть на колени, воздеть к небесам умоляющие руки, просить у Господа отсрочки.

Он увидел ресторан, когда уже проезжал мимо, и не стал тормозить. Не сбавляя скорости, прокатил дальше, успев испытать отвращение к ярко-желтой вывеске «Золотая обезьяна», где из газовых светящихся трубок была слеплена оскаленная, сгорбленная шимпанзе. Асфальт перед рестораном был в липкой позолоте отражения. На нем как темные тени стояли продажные женщины. С ними весело беседовал привратник в каком-то нелепом наряде, видимо изображавшем английского колониального солдата в пробковом шлеме. Тут же было припарковано несколько машин, и одна из них, затрепетав оранжевой «мигалкой», медленно отъезжала.

Белосельцев уехал от ресторана, лишь мельком успев осмотреть окрестность, заметив неподалеку заросли кустов, в которых мог скрываться Серега. Сделал длинный, путаный круг, пробираясь сквозь кварталы, осененные туманными фиолетовыми фонарями, похожими на светящиеся ядовитые грибы. В одном месте под колеса ему бросилась нетрезвая пара, и пьяная женщина погрозила кулаком, в котором была зажата бутылка. В другом, около освещенного ларька в цветных пятнышках пивных банок, целлофановых пакетиков, бутылочных этикеток, ему замахал какой-то усатый небритый кавказец, прося подвести. Белосельцев медленно его объехал, всматриваясь в подозрительное лицо. Приблизился к ресторану, тормозя на дальних подступах, откуда не была видна гадкая вывеска, а только ее рыжее едкое зарево. Поставил машину подальше от фонаря. Сидел, всматриваясь в улицу, желая обнаружить стерегущих наблюдателей, скрытые дозоры, прикрывавшие Ахмета и его компаньона, сидящих в ресторане. Было пусто, моросил дождь, покрывая стекло машины размытой рябью. Белосельцев вышел в сырость, запахнув плащ, подняв воротник, натянув на лоб шляпу с полями.

Медленно пошел по тротуару к рыжей обезьяне, к дальнему углу дома, где начинались кусты, в которых мог прятаться Серега.

Проститутки в коротких юбках, с глазированными целлулоидными лицами стояли перед входом, на золотом отражении, и привратник в гетрах, в пробковом шлеме, в нелепо скроенном френче английского колонизатора скалился, осмат-

ривал длинноногих девиц, норовил ущипнуть за грудь. Те не уклонялись, хохотали, зорко поглядывали в глубину ресторана, где в рыжем свечении виднелись нарисованные пальмы, звучала музыка, мелькали неясные тени. Там, за бутафорскими пальмами, притаилась волосатая злая обезьяна, дожидаясь роковой минуты, когда загрохочут взрывы, и тогда над крышами пылающего города, сворачивая высотные шпили, смахивая железные кровли, встанет огромный волосатый Кинг-Конг с опаленной шерстью.

Две машины, «БМВ» и «ауди», были припаркованы у тротуара. Места водителей пустовали, и Белосельцев, понуриив голову, прошел мимо ресторана, слыша русалочий смех проституток.

Когда он удалился, приближаясь к кустам, из мокрой листвы вынырнул Серега, гибкий, ловкий, азартный, не в своей обычной косынке, а в спортивном картузе с козырьком. Соблюдая конспирацию, двинулся следом, произнося громким шепотом:

— Сидят, жрут... Внутри никак не пройдешь... Я на минутку зашел, сказал, сигареты куплю... Увидал их за столиком, а потом меня турнули... Сюда давайте, Виктор Андреевич, за угол, из кустов хорошо видать... — Они нырнули в заросли, где было сыро, тесно от веток, виднелась стена жилого дома с одинаковыми квадратами окон, улица с редкими, шелестящими автомобилями и вывеска ресторана с обезьяной над входом.

— Место что надо... Хоть снайпера сажай, — счастливо засмеялся Серега, цепляясь картузом за ветки. Ему нравилась военная игра. Готовясь к армии, он уже находился в кавказских горах, выслеживал боевиков, звериным слухом ловил хруст ветки, падение камня. — Я Алешку побитого в гараже оставил отлеживаться, а девчата по Печатникам бегают, ищут «Газель».

Они притаились в кустах, среди веток, как две осторожные чуткие птицы. Время, которое еще недавно стремительно несло, как вода в горловине, теперь замедлилось, почти остановилось, накапливаясь в тихой заводи. Белосельцев знал эту особенность времени вдруг замедлять стремительное течение, замирать в недвижимом омуте, перед запрудой, увеличивая свою глубину и массу, чтобы потом прорвать запруду, стремительно помчаться, ввергая мир в лавину сменяющих друг друга событий.

Внимание, вначале сосредоточенное на ресторане, стало постепенно рассеиваться. Ему вдруг показалось странным это сидение в кустах, в московском районе, отслеживание и ожидание врага, за которым когда-то охотился по другим континентам, прижимаясь молодым крепким телом к острым камням Саланга, глядя, как по тропке, почти не касаясь земли, идут моджахеды в шароварах и долгополых накидках и соседний пулеметчик, боясь себя обнаружить, прижимал к земле вороненый ствол «Дегтярева». Как в Анголе, на границе с Намибией, смотрел на красноватую ленту дорог, где вот-вот, в облаке гари, должна была появиться броневая колонна «Буффало», и чернолицый стрелок, потный, словно натертый ртутью, держал у плеча безоткатку. Как лежал в долбленом каноэ, сносимом коричневой водой Рио-Коко, вдоль шуршащих тростников, ударявших о борт ветвей, и молоденький сандинист, тяжело дыша от волнения, прижимал к груди «М-16». Теперь же враг с других континентов перенесся в Москву, и он, составившийся, без оружия, имея в прикрытии худенького юношу в спортивном картузе, ожидал на московской улице появления врага.

Он думал, как станет действовать, если удастся проследить перемещение Ахмета и найти тайник со взрывчаткой, куда, посвечивая фонариком, войдет чеченец. Бежать в милицию? Или звонить в ФСБ? Или кинуться на спину Ахмету, ударить в бок отверткой, которая притаилась в кармане, или оглушить ударом камня?

Ему вдруг показалось нелепым это сидение в мокрых кустах. Нет никаких врагов, он стал жертвой своих обычных маний, повышенной болезненной мнительности, толкающей его в маразм. И надо прийти в себя, выйти из кустов, стряхнуть с пиджака дождевые капли, надеть нормально шляпу и открыто пойти к машине, под дурацкой безвкусной вывеской, мимо похожего на шута портье, размалеванных ночных русалок.

— Долго нету, — сказал замерзший Серега. — Может, ушли с другого хода? Пойти, что ли, взглянуть?

— Посиди, — остановил его Белосельцев, — я пойду... Они меня не знают... Зайду, поинтересуюсь ресторанной кухней... Подают ли жареного шимпанзе на вертеле...

Он продавил листву, шагнул на тротуар. Придал лицу легкомысленно-рассеянное выражение. Стал приближаться к ресторанному входу. Навстречу медленно, слепя фарами, наезжал джип, осторожно причаливал к тротуару. Уклоняясь от слепящих лучей, Белосельцев поровнялся с привратником в шлеме, подле которого уже не было проституток, собирался шагнуть на ступени, навстречу музыке, теплоте, пропитанному гастрономическими ароматами воздуху. На пороге, из вестибюля с пальмами, появился человек, высокий, молодой, с тугими плечами, узким усатым лицом, в котором Белосельцев узнал Ахмета. Белосельцев задержал на весу поднятую, готовую коснуться ступени ногу, повернул ее в сторону, делая неловкий шаг, продолжая следовать по тротуару. Боковым зрением углядел второго, возникшего на пороге человека, и в крепкой, слегка сутулой фигуре, в круглых блеснувших из-под берета глазах узнал Гречишникова. Тот что-то весело, в спину, говорил Ахмету. Белосельцев, испуганно сжался, надеясь, что Гречишников, разомлевший от еды, не узнал его. Не убыстряя шаг, чуть покачиваясь, чтобы со стороны сойти за подгулявшего прохожего, он проследовал вдоль улицы, в ее затемненную часть, где притаилась его машина. Оглянулся — Ахмет и Гречишников уселись в джип, и тот плавно, полыхнув прозрачными фарами, покатыл, удаляясь.

Время прорвало запруду и устремилось в промоину, омывая его испуганное, ставшее огромным булыжником сердце.

Он сел в машину, пустил двигатель. Хвостовые габариты джипа медленно удалялись. Тронув «Волгу», боясь упустить из вида удалявшийся короб с рубиновыми хвостовыми огнями, подъехал к кустам, где таился Серега. Тот пулей выскочил, плюхнулся на сиденье, как намокший, нахохленный воробей.

— Они все в связке, — бросил Белосельцев Сергею. — Вместе нажмут на взрыватель...

Тот, не понимая, кивнул, повернул картуз козырьком назад.

Джип неторопливо катил, словно не желал, чтобы его потеряли из виду. Это насторожило Белосельцева, но скоро он понял, что водитель, не зная района, внимательно рассматривает дома. Найдя нужный, у которого была разрыта земля и стоял плохо освещенный знак «дорожных работ», водитель

свернул во внутренний двор, мимо мучнисто-белого многоэтажного дома, остановился у подъезда, где скопились другие, оставленные на ночь машины. Белосельцев выключил фары, спрятал машину в тени деревьев, которые заполняли двор темными клубящимися кронами. Под этими кронами смутно различалась детская площадка — деревянный теремок, лесенки, песочницы. Было видно, как Ахмет вышел из джипа, что-то говорит оставшимся внутри машины. Вошел в подъезд, а джип, включив белый сигнальный огонь, медленно попятился, выбираясь из узкого пространства, собираясь выехать на дорогу.

— Ты следи за подъездом, понял! — приказал Белосельцев Сереге. — Когда он выйдет, ступай за ним. А я прослежу за джипом... Место встречи — обезьяний ресторан, в тех же кустах... Возьми деньги, для скорости будешь машину ловить. — Белосельцев сунул Сереге пачку купюр. Дождался, когда тот выскользнет из машины. Его легкая тень мелькнула под деревьями, скрылась в дощатом теремке с шатровой главкой, откуда сквозь бойницы можно было наблюдать за подъездом.

Джип развернулся, выкатил под фонари на улицу, и Белосельцев, отпустив его, тронулся следом. Джип ехал быстро, по главной дороге, которая окольцовывала район. Не пропадал из виду, направляясь из Печатников навстречу редким, брызгающим фарами автомобилям. Среди них попалась патрульная милицейская машина, на которую Белосельцев взглянул с тоской и раздражением. Милиционеры, сложив у заднего стекла зеленые каски, небрежно держа у колен короткоствольные автоматы, катили сквозь район, ожидая привычного вызова на какую-нибудь пьяную драку или мелкое хулиганство подвыпивших подростков. Не ведали, что им навстречу попался джип с динамитчиками и патруль, вместе со всеми обывателями Печатников, был обречен на сожжение.

На выходе из Печатников, где дорога уходила к центру, мимо заводов, железнодорожных станций и насыпей, Белосельцев уже готов был отпустить машину в Москву, вернуться к жилому дому, где в детском теремочке укрывался Серега. Но вдруг перед красным светом, нарушая правила, джип резко развернулся и помчался обратно в Печатники, навстречу Бело-

сельцеву. Не желая быть узванным, заслоняя лицо, он откинулся и успел разглядеть сидящего за рулем водителя, его узкое промелькнувшее лицо, черную тонкую линию сросшихся бровей, слово проведенных кистью от виска к виску. Это был Вахид, вместе с Ахметом и Гречишниковым. Их партнер и товарищ. Все они замыслили взрыв. Были в сговоре. Кружили, как коршуны, по заминированному району, подлежащему уничтожению.

Повторяя опасный разворот, Белосельцев погнался за джипом, но тот увеличивал скорость, и старая «Волга» жалобно стенала, вытягивая железные суставы и сухожилия, готовые порваться и лопнуть.

Джип мчался в дожде, превратившись в туманное облако с красной сердцевинкой. Белосельцев опасался потерять управление, боялся крутого поворота, неосторожного пешехода, ночной зеленоглазой кошки. Они вынеслись на пустырь, и сквозь брызги Белосельцев узнал гараж Николая Николаевича и черный мутный разлив реки, без огней, без отражений, в ветряной злой пустоте, откуда вдруг глянуло на него измученное лицо пророка, который безмолвно о чем-то просил, за кого-то молил. Но не было времени понять, что значило его появление, зачем убегающий джип вылетел на черный пустырь.

Они вернулись в жилые массивы. Пролетели ресторан с желтой отвратительной обезьяной. Джип резко прибавил скорость, словно включил турбины. Оторвался от Белосельцева, уменьшаясь, сливаясь с мокрой дорогой, фонарями, светофорами. И вдруг пропал, будто взлетел в мутное небо и скрылся за пеленой дождя. Белосельцев растерянно вел машину по пустой трассе, возвращался, сворачивал в проулки, пытаясь среди белесых домов, черных палисадников и дворов разглядеть злополучный джип. Остановился, переводя дух, слыша, как тихо, жалобно ноет машина, словно в ней тренькало металлическое насекомое.

И вдруг страшная, обжигающая мысль — его обманули, с ним играли, его вели, морочили, от чего-то отвлекали, посадили на блесну, тянули в нужную сторону, а потом оборвали леску и умчались, и оставшееся жало крючка звенит в машине.

Его появления в Печатниках ждали, за ним следили. Быть может, с момента, когда он катил по проспекту, над ним в темноте летел ангел с трубой, передавая Гречишникову информацию о приближении «объекта». Или на въезде в Печатники, когда кинулась ему наперерез пьяная парочка и женщина с бутылкой была агентом Гречишникова, тут же сообщила ему о продвижении «объекта». Или ловивший попутку кавказец, махнувший рукой, дождался, когда «Волга» проедет, и по мобильнику позвонил Гречишникову, сообщая о маршруте «объекта».

И вторая страшная мысль, вдогонку первой — о подростке, оставшемся в деревянной западне среди заросшего глухого двора. О Сереге молило измученное лицо Николая Николаевича. «Сереженька, еду к тебе!.. Господи!.. Царица Небесная!..»

Он гнал по району, страшась потеряться, не найти среди одинаковых, уныло-однообразных строений известково-белый дом. Но показались дорожные рытвины, окруженные дощатыми щитами, покосившийся знак дорожных работ. Белосельцев свернул к дому. Узнал узкий, заставленный сонными машинами проулок. Два-три непогашенных, мутно-желтых окна светились на фасаде. Черные вершины деревьев завивались и хлюпали от дождя и ветра. Смутно различалась детская площадка, уставленная теремками, песочницами, лесенками. Белосельцев оставил машину. Пересек двор с лавками. Шагнул через дощатую песочницу, где его привыкшие к темноте глаза разглядели построенный из песка городок, размытые дождем куличики и фигурки.

— Серега!.. — тихо позвал Белосельцев, приближаясь к терему. — Ну как дела?.. Как обстановка?..

Никто не отозвался. Он шагнул в глубину дощатого, пахнущего сыростью строения, ожидая, моля, чтобы навстречу ему встало гибкое худое тело подростка, блеснули его глаза.

— Сережа!..

Подросток лежал на спине, раскинув руки, и в темноте зорко-звериным взглядом Белосельцев с ужасом увидел тонкую голую шею и на ней глубокий черный разрез, почти отделивший голову, с липким языком крови.

— Сережа!.. — Он схватил откинутую руку. Она была еще теплой, но уже остывала, казалась прохладнее мокрой руки Белосельцева. Запрокинутая голова была с полуоткрытым, беспомощным ртом, с распушенными волосами. Упавший картуз лежал тут же. Белосельцеву стало жутко. Это он был повинен в его смерти. Он в своем легкомыслии, помрачении оставил отрока на закление. Всю жизнь, что он прожил, он сеял вокруг себя смерть.

Нужно было вставать, идти в ближайшее отделение милиции. Рассказать угрюмому неверящему дежурному о смерти подростка, о погоне, о заговоре, об Ахмете, у которого, возможно, хранится взрывчатка. Слушать недоверчивые, грубоватые вопросы оперативника. Садиться в патрульную машину, чтобы снова сюда вернуться.

Он отпустил хладеющую руку Сереги. Выбрался из дощатого терема. Направился к машине, напрямик, через песочницу. И в мокрую доску, чмокая, отколупнув белую щепку, вонзилась пуля бесшумного выстрела. Белосельцев кувыркнулся, уклоняясь от незримого снайпера, который из тьмы деревьев помещал в инфракрасный прицел зеленоватое очертание его тела. Сминая песочные кулички, он забился под дощатый борт песочницы, заслоняясь холодной доской, гасившей инфракрасное излучение. Второго выстрела не последовало, но во тьме, среди древесных стволов, мелькнула тень. Выскользнула в проулок под тусклый свет фонаря. Человек убегал, оглядываясь, опасаясь погони.

Белосельцев вскочил и погнался, безрассудно и яростно. У человека не было снайперской винтовки — либо он кинул ее на мокрую землю, либо выстрел был сделан из пистолета с глушителем. Убегавший мог отстреливаться. В ярости, в слепоте, не страшась этих выстрелов, видя в беглеце убийцу Сереги, Белосельцев побежал ему вслед.

Тот выскочил на проезжую часть, мчался под фонарями. Его тень укорачивалась и удлинялась. Было видно, как расплескиваются у него под ногами лужи. Он был скор, молод, одет в расстегнутую черную куртку, сильно двигал локтями. Белосельцев начинал задыхаться. Сердце стало огромным

и рыхлым. Слюна прокисла. Он отставал. Запаленно дыша, продолжал погоню.

Человек свернул в проулок, кинулся вдоль бесконечного, словно известняковый карьер, дома. Вдоль мусорных ящиков, цветников, припаркованных лимузинов. Белосельцев понимал, что вот-вот его потеряет. Но человек вдруг резко нырнул в подъезд, хлопнув дверью. Ожидая за этой дверью выстрела в упор или удара ножом, заслоняя локтями живот и сердце, Белосельцев влетел следом на замусоренную площадку с тусклой лампочкой, с рядами жестяных почтовых ящиков, под которыми были мусор, бутылки, нечистоты. Лифт не работал. Пластмассовая кнопка, прожженная и оплавленная, была черной. Вверх по лестнице удалялись шаги бегущего. Белосельцев, страшась сердечного приступа, цепляясь за перила, не скачками, а медленными шагами, одолевал этажи, вверх, мимо неопрятных квартир, ободранных дверей, изрисованных и исчерканных стен.

Добрался до верхнего этажа. Чердачный люк был открыт. Цепляясь за железные перекладки, пролез на чердак. Увидел в черноте слуховое окно с синим квадратом ночного неба. Вылез с трудом на крышу, в ветер, в дождь, оглядываясь на плоской кровле, утыканной вентиляционными трубами и антеннами. Пытался разглядеть человека, но видел соседние крыши, близкие вершины деревьев и мерцающий на далекой насыпи пунктир электрички. Страшный удар сзади оглушил его, и, падая, он успел отрешенно подумать: «Сереженька, прости меня...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Он пришел в себя и понял, что стоит на ногах, на крыше, руки его спутаны на запястьях, привязаны к какой-то металлической шаткой трубе, проходившей вверх, вдоль спины и затылка. Дул холодный порывистый ветер, брызгая мелким дождем. Москва, удаленная, туманилась сквозь дождь млечным заре-

вом, и в этом зареве, далеко, загоралась и гасла багровая реклама. Близо, у крыши, волновались, как водоросли, смятые ветром вершины деревьев. Сквозь них размыто белели дома. На соседнем фасаде разбросанно, невпопад желтело несколько непогашенных окон. В сырой темноте по насыпи шла электричка, состоящая из золотых нанизанных бусинок. Следя за этими бегущими каплями света, он вел глаза вдоль кромки крыши, наблюдая, как электричка просачивается сквозь телевизионные антенны и вентиляционные трубы. Пропала, стала втягиваться в непрозрачную темноту, словно кто-то гасил огни головных вагонов. Когда они вновь показались по другую сторону непрозрачной преграды, Белосельцев понял, что этой преградой является человек в берете, с поднятым воротником, стоящий к нему спиной.

— Ну что, допрыгался... Говорил тебе, уезжай, хоть на Канары, хоть в свой идиллический Псков. Ты здесь не нужен. Ты должен был отдохнуть, просветлеть, исполниться благодати, а потом вернуться для новых свершений. А ты заупрямился, возгордился. Возжелал спасти мир, уберечь его от конца. А ведь конец-то мира задуман Богом. Ты против Бога идешь. С Богом задумал тягаться... — Гречишников со смехом повернулся к Белосельцеву, шагнул к нему, и стали видны под беретом его оранжевые круглые глаза, став частью мерцаний огромного мглистого города.

— Зачем убили юношу? — хрипло, выталкивая из легких ком прогорклого твердого воздуха, спросил Белосельцев. — Мясники...

— Ты же знаешь закон разведки. Если тебя обнаружили в процессе выполнения задания, то свидетель, пусть даже случайный, должен быть уничтожен. Древний закон разведки. Ты жив, потому что я оказался рядом. К твоей голове уже был приставлен ствол с глушителем, но я подоспел. Тебя бы нашли здесь, на крыше, через несколько дней по необычному скоплению ворон. Конечно, если б было кому искать... — Гречишников рассматривал его с симпатией, как живую собственность.

— Вы готовите взрывы? Сегодня ночью?..

— Ты утратил навыки оперативной работы, не мог зафиксировать наружное наблюдение. Мы вели тебя от самого дома, от Пушкинской площади, когда, после звонка мальчишки, ты торопился и не сразу завел машину. Мы следовали за тобой, и нам было видно, как на Таганке ты встал не в свой ряд и чуть было не промахнулся и не попал на Волгоградский проспект. Было смешно наблюдать, как ты ставишь машину под деревьями, недалеко от ресторана. Дама с собачкой, которая прошла мимо, сообщила номер твоей машины, и мы знали, что ты на месте. С этим шустрым парнишкой-молодогвардейцем вы засели в кустах, будто играете в военную игру «Зарница», и я подумал, что ты слишком долго работал в аналитическом центре и забыл элементарные уроки конспирации. Когда ты дважды прошествовал, как детектив из кино, мимо портье, которого мы нарядили в колониальный костюм Ливингстона, ты был уже у нас на крючке. Погнался за джипом с азартом мальчишки. Мне стало жаль тебя, и я попытался подать тебе знак, сказать, что твой замысел разгадан. Вывел тебя на пустырь, к реке, где находится гараж твоего полоумного знакомого-камикадзе, но ты не понял дружеского сигнала. Ты проиграл и должен был умереть как изменник, посягнувший на святыню «Суахили». Но я спас тебя, потому что испытываю к тебе симпатию и еще потому, что мы вели тебя не с Пушкинской площади, а с афганской войны, с Анголы и Мозамбика, с кампучийского задания и с командировки в Никарагуа. Ты значился в наших картотеках как наиболее перспективный, творческий работник, и мы в тебе не ошиблись...

Белосельцев понимал, что дело его проиграно, враг его одолел. В своем превосходстве сразил наотмашь, но помедлил, не нанес «удар милосердия». Воздел на эту мокрую кровлю, поставил над обреченной Москвой, чтобы сделать свидетелем гибели несчастного города. И что он может сделать еще, с разбитым затылком, привязанный к ржавой трубе, исчерпав запас своих хитростей, сил и мужества?

— Вас рано или поздно раскроют. Расстреляют как преступников. Но до этого из-за вас столько людей погибнет, столько ни в чем не повинных людей... — Он произнес эту жалобную,

неубедительную фразу, глядя в оранжевые глаза, похожие на индикаторы электронного устройства, странным образом связанные с туманным заревом города, далеким блужданием света, чуть видными вспышками фар, миганьем далекой рекламы. Сейчас они моргнут, он сожмет веки, и электронный импульс приведет в действие взрыватель, и в разных местах города взлетят поднебесные фонтаны взрывов.

— Я ведь тебе говорил, большая история совершается большими толчками. Двигается взрывами, социальными или динамитными. Мир каждый раз переходит в свое новое качество через взрыв. Один «Большой взрыв» породил мироздание. Другой «Большой взрыв» его сметет. Посмотри, как тривиально доживает свои последние часы одряхлевший мир перед тем, как взорваться и перейти в свое новое качество, с новой землей и небом, с новым просветленным человечеством. — Грекишников театрально повел рукой над кровлями. — Москва перестает быть «третьим Римом» и становится наконец «Новым Иерусалимом»...

— Ты богохульствуешь. Устраиваешь театр, облакая в него обычное зверство. Ты намерен с помощью крови сотворить новый мир, но именно кровь сделает его безнадежно старым, ветхозаветным и дряхлым. Какими бы оригинальными технологиями ни был напичкан «Проект Суахили», эти технологии утянут в будущее преступное пролитие крови, и кровь разрушит проект...

— Это слова святоши, слова проигравшего. «Проект Суахили», о котором ты имеешь самое поверхностное представление, огромен, как лабиринт, источивший изнутри все трухлявое, сгнившее общество. Он построен так, что если уничтожается одна его ветвь, непомерно усиливаются другие. Если засвечивается одна его часть, то другие от этого только выигрывают. «Проект» нельзя уничтожить, ибо он нуждается в том, чтобы его уничтожали, и от этого только усиливается. Он устроен так, что в него вовлечено все человечество и нет ни палачей, ни жертв, ни виновников, ни судей. Всех объединит апокалипсический ужас, и люди будут умолять спасти их. И тогда придет Избавитель. Придет Избранник. Укажет на

виновных. И даже если они невинны, люди бросятся и растерзают их...

— Чего вы хотите? Власти над миром? Но ты ведь немолод, скоро умрешь...

— Может, и не умру. И ты, как всегда, угадал — именно власти и именно над миром. Власть над селцом, или хутором, или над губернией, или над Москвой, или Нью-Йорком, или, как нынче говорят, над Евразией, или над Европой и странами НАТО, над целым полушарием, западным или восточным, — это еще не власть. Власть в своей полноте должна быть всемирной, и только тогда она может стать реальным инструментом истории. Мелкие сатрапы, тупые околоточные, жалкие временщики полагают, что власть нужна, чтобы с ее помощью занять много денег или женщин, или завести императорские театры, или создать космические войска. Истинные властители, от Чингисхана до Александра Македонского, от Цезаря до Карла Великого, от Наполеона до Сталина, добивались власти, чтобы сделать ее инструментом истории. Объединить с помощью власти все человечество, все пространства, все ресурсы Земли и получить наконец вожаемую возможность управлять временем. Покончить с расчлененным человечеством, с бессмысленным разбазариванием ресурсов, умов, расстаться с войнами, ересями, нелепой разноголосицей не понимающих друг друга народов. Вот почему великие империи прошлого выше великих республик. Они несли в себе замысел объединенного человечества, способного услышать и воплотить замысел Бога. Вот почему сегодняшняя либеральная, омерзительная Россия хуже, ублюдочней великого Советского Союза, который был империей и был безрассудно нами потерян. То, что тебе предстоит сегодня увидеть с этой крыши, — не взрывы гексогена, не повод начать вторую чеченскую войну и даже не средство привести в Кремль Избранника, а реализация глобального замысла «Суахили». Начало нового мирового строительства. Завершение «вавилонской трагедии» и начало всемирной империи...

Белосельцев чувствовал, как тупо болит затылок, как больно скрученными руками, как холодна труба, к которой прижат

его хребет. Ему казалось, что все это — дурной театр безвкусного и жестокого режиссера, превращающего казнь в ритуал, надевающего на казнимых размалеванные маски, накидывающего петлю под звуки бубнов, барабанов, тамтамов. Стоящий перед ним человек — маньяк и преступник, и если, увлеченный своим горячечным бредом, он приблизится еще на один шаг, то можно ударом ноги отбросить его к краю крыши, и тот с воем полетит вниз, скроется, как в бездне, в распахнутых черных кронах.

— Все гадают, в чем замысел и желание Бога. Чтобы каждый день бить по сто поклонов? Чтобы на каждой горе построить по храму? Чтобы сделать Папу Римского выше кесаря, а патриарха Никона выше царя Алексея Михайловича? Чтобы не трогать чужих жен, любить врага своего, левую щеку подставлять вместо правой, по которой тебя ударили? А ведь замысел Бога совсем в другом. В том, чтобы покончить с разделением церквей, с разделением народов, с многобожием, многоязычием, с непрерывной распрей и враждой за пространства, за пастбища, за караванные пути, за месторождения урана и кимберлитовые трубки. В том, чтобы создать объединенное человечество и в нем, едином, отразиться как образ единого, вселенского Бога. Но зачем объединять человечество? Зачем столько неблагодарных трудов? Почему не оставить негру его Африку, желтокожему — его пустыню Гоби, белолицему — его Днепр и Рейн? Почему всю свою историю человечество кочует, смешивается, словно разноцветные куски пластилина в горячей руке Бога? Да потому, что Бог задумал такое, что под силу только объединенному человечеству. Для этого мало одной страны и народа. Мало одной расы. Мало половины или двух третей человечества. Для выполнения Божьего замысла не хватило рассеченного надвое мира, где Америка и Советский Союз тратили непомерные силы на вражду и одоление друг друга. Пороznь не могли даже достроить «Токомак» с термоядерным синтезом. Не смогли создать вакцину от рака и СПИДа. Систему управления мировым климатом. А ведь все это предварительные, подсобные цели, что служат главной, божественной, к которой, через все катастрофы и рассеяния, содомские

грехи и религиозные фобии, Бог ведет человечество, дабы даровать ему бессмертие. Победить смерть, поправ ее через смерть разобщенного «вавилонского мира». Очистительным взрывом апокалипсиса сплавить разъединенное человечество, чтобы в тигле Страшного суда из рыхлого пепла возник алмаз. «Проект Суахили» в своей глубинной, сокровенной сердцевине — религиозный проект, связанный с эсхатологией, с реализацией замысла Божьего...

Белосельцев слушал Гречишникова, который говорил нараспев, чуть покачиваясь, словно проповедовал, читал невидимую богословскую книгу. Его голос, в сочетании с ветром, с брызгами дождя, ударяющего в звонкое железо, казался отрешенным, исполненным мучительной страсти, неодолимой веры, апостольской истовости. Белосельцев чувствовал, как начинает плыть голова и зрение застилают туманы, словно он погружается в сон.

— Двухполярный мир выше многополярного. Однополярный выше двухполярного. Либералы, эти гиены, поедающие трупы великих империй, могильные черви, сожравшие двухполярный мир, полагают, что могила, из которой они вышли, поглотит все человечество. Америка, на которую они уповают, как на оплот либерального мира, как и Советский Союз, переплавится в раскаленном тигле объединяемого человечества. «Суахили» и есть объединенное человечество, организуемое для вселенской задачи — для обретения человеком бессмертия. Мощь технологий, грандиозность биоконструкторов, анализ математиков, открытия антропологов, прозрения религиозных мыслителей будут направлены на воскрешение. Мы воскресим всех, кто умер тихой старческой смертью или был убит во чреве матери. Кто пал от каменного топора или взрыва атомной бомбы. Кто умер от болезни или был запытан в застенке. Мы воскресим все прошлое человечество, во всей его полноте. Нерона и замученных им первохристиан. Инквизиторов и сожженных еретиков. Гитлера и всех жертв холокоста. Воскресим Блюмкина, Ягоду, Ежова и расстрелянных ими архиепископов, казачьих атаманов, русских аристократов. Мы воскресим немецких солдат Второй мировой и красноармейцев

Сталина, убивавших друг друга под Москвой, Сталинградом, Берлином. Их вражда, непреодолимая в расщепленном, враждующем человечестве, будет снята во вселенской империи. Мы воскресим баррикадников Дома Советов и полковника «Альфы», убитого снайпером. Мученика Евгения Родионова, которому чеченский палач отсек ножом голову, и чеченского полевого командира, погибшего на русской «растяжке». Воскресим несчастного, легковесного Граммофончика, глотнувшего не из той рюмки, и девочку, изнасилованную до смерти в петербургской подворотне в те дни, когда Граммофончик был мэром. Воскресим афганских погонщиков каравана с оружием, которые были расстреляны на твоих глазах в Кандагаре. И ту итальянку-разведчицу, с которой ты провел ночь в кампучийской гостинице, в Сиенреапе, и которая подорвалась на вьетнамском фугасе. Воскресим намибийского учителя Питера, которого ты послал под бомбы «миража», и черную красавицу Марию, о которой ты тоскуешь ночами. Мы непременно воскресим славного отрока Сергея, ненароком попавшего под лезвие чеченского ножа по твоему недосмотру. Для их воскресения нам нужно было их сначала убить. Быть может, все убитые на земле были умертвлены для будущего их воскресения. «Проект Суахили» — это сокровенная сущность истории. Он был всегда, еще до сотворения земли. Был в плазме «большого взрыва». Был в замысле Бога...

Белосельцеву казалось, что ему поднесли чашу пьянящего дурмана. Все, что еще недавно вызывало в нем ужас, теперь казалось разумным, неизбежным, окрашенным всечеловеческим знанием, находилось в согласии с Божественным промыслом.

— В каждом поколении человечества была жреческая элита «Суахили», хранившая завет воскрешения. Завет передавался из эпохи в эпоху, из народа в народ, из религии в религию. Везде были мы, люди «Проекта». Иногда часть «Проекта» вскрывалась, и тогда нас уничтожали, под разными именами, в кострах или на плахах, у кирпичной стенки под дулами конвоиров или в чистом поле, под ободами боевых колесниц. Мы и сегодня везде. В Японии, Китае, Германии, России. Нынеш-

ная элита «Суахили» формировалась в недрах разведок, которые при Андропове и Рейгане начали свою конвергенцию. Занимаясь разоружением и разрядкой, создали закрытое сообщество разведок, к которому принадлежал и наш с тобой наставник генерал Авдеев, и твой соперник в Афганистане американец Ли, и твой ангольский противник Ричард Маквиллен, которых мы щадили, уводили из-под пуль, и которые щадили тебя. Вокруг нас, часто об этом не ведая, концентрируются лучшие умы человечества. Известные политики, проповедующие глобализм. Гениальные ученые, открывшие геном человека. Известные геронтологи, продлевающие срок жизни. Виртуозные хирурги и биохимики, создающие искусственные органы. Мистики, маги и экстрасенсы, хранители древних культов. Философы ноосферы и федоровского «общего дела», соединяющие природу и человечество в организованное единое целое. Тот Доктор Мертвых, хранитель ленинской мумии, к которому ты ходил в поисках «красного смысла», работает в нашем сообществе. У нас есть противники, не желающие объединяться. Анархисты Европы, скандально и бессмысленно воюющие с глобализацией. «Красные конфуцианцы» Китая, противопоставляющие себя остальному миру, создающие в недрах китайского миллиарда второй полюс. Исламские фундаменталисты, видящие в единении мира происки шайтана. Русские националисты, толкующие об особой судьбе России. Нашими друзьями являются евреи, взявшие на себя страшное, непосильное бремя соединить разбегающуюся галактику, подвести языческое многобожие под длань единого Бога, сочетать расточительно-пестрое человечество в единую трудовую артель. Они приносят непрерывные жертвы. Их преследуют, казнят, ненавидят. Сжигают в газовых камерах, изгоняют с мест обитания. Но, послушные заповедям, осознавая свое мессианство, они соединяют, сшивают рваное человечество — с помощью всемирной религии, с помощью всемирных денег, с помощью всемирной культуры, науки и информации. Астрос и Зарецкий были уничтожены не потому, что они евреи, а потому, что они — заблудившиеся либералы, чей материальный и информационный ресурс понадобился «Суахили». Это

говорю тебе я, потомок русских крестьян, родившийся в костромской деревне, кадровый сотрудник госбезопасности. Далеко не все догадываются, что работают на «Суахили». Не знает об этом Избранник. Он и не должен знать. Мы создали его в нашей лаборатории. Он синтезирован. Быть может, не на белковой основе, а на основе кремния или германия. Быть может, он вообще — мнимость, игра воображения, пучок световых лучей. На торжествах посвящения в Президенты ты увидишь не человека, а только яркое пятнышко света, упавшее на кремлевский паркет...

Сквозь разноцветный туман, похожий на прозрачное крыло африканской бабочки, которое приложили к зрачкам, что-то начинало его тревожить. Воспоминание. Давнишняя мука. Словно это уже было когда-то. Недавно или в глубокой древности. С ним или с тем, кто жил до него. Кто-то стоял на кровле, и вдали светились золотые пагоды Ангкора, зеленые минареты Герата, резной бело-розовый собор в Толедо, псковская белоснежная церковь Николы-на-Горке, здание на Котельнической набережной. Так же шел дождь и дул ветер, болел разбитый затылок, ржавая труба леденила спину. И кто-то второй поводил рукой, предлагая первому искусительную жизнь без страданий и смерти, вечный рай и блаженство, требуя малой жертвы — отречения от прежних святынь.

— У нас, в России, особая миссия. Мы, русская ветвь «Суахили», призваны покончить с юродством русской истории, с фанаберией «русской идеи». Миф о неповторимой России, о ее богоизбранности, об особой суверенной судьбе — этот миф дорого обходится миру. Еще дороже — самой России. Великие преобразователи пытались вернуть Россию в мир, из которого она выпала, как из гнезда. Пытались вывести ее из религиозных сумерек, из бредовых теорий, убереечь от русского мессианства, которое проповедуют объевшиеся мухоморами философы, угоревшие на русских печках литераторы. Попытка вырвать Россию из мира, как вырвали луну из земли и вытолкали на орбиту, приведет к тому, что богатейшая страна превратится в мертвый спутник с кратерами и безводными морями, а на земле, где когда-то была Россия, образуется огромная рытвина.

на, залитая соленой водой. Атлантида, которую ищут на дне океана, на самом деле — Луна, которая отломилась от материнской планеты и ушла в мертвый Космос. «Русская Победа», «Русский Век», «Русский Рай» — убогие утопии, которые нам предстоит преодолеть, как пытались это сделать до нас опричники Ивана Грозного, преображенцы Петра Великого, масоны Александра Первого, комиссары Ленина. Твой ненормальный дружок Николай Николаевич, юрод, старовер, камикадзе, — воплощение упрямого русского скудоумия, готового лучше взорвать себя или спалить, обложив хворостом, нежели соединиться с остальным человечеством. Мы спасем Россию, не дадим ей превратиться в страну-камикадзе. Взрывы, которые ты увидишь, — это целебные взрывы, исцеляющие Россию от «русской идеи». Взрываем, чтобы не дать взорваться. И мы своего добьемся. Нашим противником являются люди ГРУ, объединившиеся, подобно нам, в закрытый орден. С армейской ограниченностью и с казарменной простотой они проповедуют русское возрождение. Планируют Великую Россию. Мы боремся с ними и победим. Они опоздали. Мы опередили их. Взрывы, которые ты увидишь, их уничтожат. Мы приведем в Кремль нашего Избранника раньше, чем они своего. Но если ты полагаешь, что Избранник есть венец «Суахили», ты ошибаешься. Не он находится на вершине нашей магической пирамиды мира. Не он таится в сердцевине нашей хрустальной мистической сферы. Тот, о ком я говорю, выйдет в уготованный час. И, быть может, ты увидишь его...

Ветер дунул в лицо. Брызнула в глаза горсть дождя. Образ Николая Николаевича как бесплотный дух возник перед ним, колебался среди вспышек туманного города. И наваждение его кончалось. Он снова был трезв, привязан к железной трубе на крыше дома в Печатниках.

— Лучше ты убей меня сейчас, — сказал он Гречишникову, — иначе я убью тебя позже. И нет такой силы, которая сможет тебя воскресить.

Тот засмеялся в ответ.

— Я оставляю тебя здесь и уйду. Ты остаешься жить, потому что мы слишком тобой дорожим. Совращение Прокурора, или

поездка к Исмаилу Ходжаеву, или чемодан с фальшивыми долларами — это все, как ты понимаешь, пустяки, тебя недостойные. Это была просто притирка, проверка. Ты обладатель уникального духовного опыта, который понадобится нам на следующих, основных этапах «Проекта». То, что ты увидишь отсюда, непомерно обогатит твой дух. Мы встретимся, и я поставлю перед тобой основную задачу. Мало кто удостоился наблюдать конец света с такого удобного, безопасного места. Многие бы дали за эту возможность миллионы. А я задаром привел тебя на смотровую площадку и поставил на самую выгодную позицию. С этого момента ты не Виктор Андреевич Белосельцев в Печатниках, а Иоанн Богослов на острове Патмос. До встречи. Аминь. — Продолжая тихо смеяться, он повернулся и скрылся в слуховом окне. А Белосельцев остался стоять под дождем, среди черных шумящих вершин.

Он стоял, прикованный к столбу, ожидая казни, не только своей, но и всего мира. Мир тоже был прикован к столбу, огромному, черному, уходящему в поднебесье, но не ведал об этом.

В свои последние минуты мир выглядел обыденно и привычно. Не содрогался от страха. Не молился. Не просил у Бога прощения. Не пускался в безумные оргии, чтобы насладиться в последние мгновения жизни. Время от времени на отдаленной насыпи, затуманенные дождем, проходили ночные электрички. На близкой реке, за мутной завесой, помигал полуночный буксир, и река вновь пропала, только давала знать о себе порывами черного ветра. В соседнем доме погасло одно окно, и тут же вспыхнуло другое, на противоположной стороне фасада, — кто-то проснулся от сердечного приступа или поэтического вдохновения или не одолел изнурительной бессонницы.

Белосельцев не понимал, как должен вести себя в эти завершающие минуты мироздания. Попытался освободиться. Шевелил пальцами, напрягал связанные запястья, но веревка накрепко стиснула его руки по другую сторону трубы. Потянул трубу, наклонился вперед, повис на руках. Труба дрогнула, подалась в месте соединения с крышей. Он дернул сильнее, рванул, ударил в трубу пятками. Она задрезжала, ее металлическая дрожь передалась в его напряженный хребет. Наде-

ясь сокрушить железо, он стал биться и дергаться. Изнемог. Стоял, хрипя, испытывая боль в запястьях и лопатках.

Он попробовал позвать на помощь и крикнул. Крик сразу отнесло поверх крыш. Звук, не долетая земли, растаял в морозящем небе. Он крикнул громче, раскрывая рот, и твердый холодный ветер загнал его крик обратно в гортань, забил рот мокрым кляпом. Люди не слышали его, да и что толку было в их помощи, если все они, спасающие и спасаемые, были обречены.

Он попытался привлечь к себе внимание Бога. Прежде чем молить о спасении, хотел, чтобы Бог заметил его, привязанного к ржавой трубе, повернул свой суровый лик, всмотрелся в него. Надеясь, что Богу могут быть интересны его благие деяния, добрые милосердные поступки, которые совершал в течение жизни, он стал их вспоминать, предлагать Спасителю. Безмолвно о них выкрикивал, возводя глаза к пролетающим тучам.

Он чувствовал, как ржавая железная труба проходит сквозь его тело и все его ткани и мускулы насажены на железный кол, пронзивший его насквозь. И, видя глухое, безответное небо, слыша немоту отвернувшегося от него Бога, стал кричать:

— Ну убей меня, Господи!.. Ну возьми мою жизнь, но сохрани жизнь миру!.. Сделай меня главным ответчиком за все злодеяния, но пощади этот город и мир!..

Бог не внимал его крикам. Не принимал раскаяния. Оно было слишком поздним. Конец Света был необратим, перешел «точку возврата», за которой невозможно было остановить угрюмое стремление мироздания к своему концу.

Ветер дул в одну сторону, и это был ветер, который нес не тучи и дождь, но приближал Конец Света. Белосельцев, овеваемый этим могучим темным потоком, испытал древний, хтонический ужас, зная, что тем же ужасом исполнились горы, материки, морское дно, плавающие в океане киты, города с очнувшимися жителями, бессчетные могилы с дрогнувшими костями. Вся живая и неживая материя, ожидая своего исчезновения, ужасалась, слушая темный, налетающий вихрь.

Он увидел, как заколебался, выпал из фокуса соседний дом. Часть фасада с окнами и подъездом оторвалась от фундамен-

та, вылетела вверх брусом, рассыпалась на множество неровных частей и обломков. Страшный хруст сотряс воздух. Раскаленный колючий смерч пронесся над крышами. Белосельцев, задохнувшись в безвоздушном пространстве, ошпаренный жаром, взлетел на вырванной с корнем трубе. Держался секунду в небе, дико вращая глазами, видя страшную, открывшуюся на месте дома дыру, а потом рухнул обратно на крышу и потерял сознание.

Быть может, час или два он находился в беспамятстве. Разлепил склеенные жижей глаза. Голова его свешивалась над краем крыши, а руки, заломленные назад, чувствовали обломок трубы. Внизу, среди поломанных деревьев, озаренный багровым свечением, лиловыми вспышками, лопастями блуждающего света, виднелся дом с зияющим провалом посередине. В провале мерцала ядовитая пыль, плавала гарь, струился горчичный туман, как над взорванным реактором. Казалось, ножом, как из торта, была вырезана и унесена часть дома. На срезах, в коробках этажей, дико и обнаженно виднелись лишенные стен комнаты, висели ковры, покачивались над столами абажуры, в туалетах белели одинаковые унитазы. Со всех этажей, под разными углами, лилась и блестела вода. Двор был завален обломками, на которых сновали пожарные, били водяные дуги, пропадая и испаряясь в огне. Сверкали повсюду фиолетовые мигалки, выли сирены, раздавались мегафонные крики, и сквозь дым медленно тянулась вверх выдвижная стрела крана. Мешаясь с треском огня, криками спасателей, завываньем сирен, во всем доме, и в окрестных домах, и под ночными деревьями, и по всем окрестностям раздавался неровный волнообразный вой и стенание, будто тысячи плакальщиц собрались и выли бесконечным, бессловесным хором.

И, чувствуя боль в шее, он попытался повернуть голову. Увидел на крыше, близко перед глазами, оторванную руку, которая крепко, побелевшими пальцами, сжимала столовую ложку. И опять потерял сознание.

Часть пятая

САМОЛЕТ «РОССИЯ»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Две недели его лечили в госпитале, восстанавливая разбитую плоть и поврежденный разум. Палата была стерильной и тихой. Сестры милостивы, в крахмальных колпаках и халатах. Военные врачи, любезные, предупредительные, не оставляли без внимания ни единой его жалобы или просьбы.

И, смиренно отдавая себя в руки врачей, посещая процедуры, глотая таблетки и микстуры, чувствуя, как игла с легким толчком погружается в его тело, он исподволь, чутко наблюдал за персоналом в белых одеждах. Ему казались подозрительными их вопросы, вкрадчивая настойчивость, с которой они выводывали его переживания, любезность, с которой выслушивали его просьбы. Они делали вид, что ищут в нем болезнь, но искали нечто другое. Тайнственную капсулу, вложенную в него от рождения, где был записан код его жизни. Ему делали электронную диагностику, пропуская неслышные токи сквозь чувствительные зоны, выстраивая на компьютере картину его недомоганий, ослабленных функций, утомленных органов. Но он знал, что врачи, как саперы миноискателем, отыскивают сокровенную капсулу, которая не высвечивалась на экране, не откликалась на прикосновение штырей и клемм, ускользала от наблюдения.

В него посылались ультразвуковые импульсы, которые проникали в глубины тела, отражались от почек и печени, оставляли на экране голубоватые изображения с вмятинами, складками, темными осадками и окаменелостями. Его помещали в рентгеновский аппарат, впрыскивали в грудную клетку пучки невесомых лучей. Получали на огромном экране изображение его ребер, ключиц, позвонков, дырчатых тазовых костей. Его клали на клеенчатое ложе, запускали в пищевод гибкую, как блестящая черная змейка, кишку. Она проскальзывала внутрь, в глухие, не ведавшие света катакомбы, высматривала, выглядывала, словно искала на стенах пещеры таинственный древний орнамент. Посылала наружу телевизионное изображение из подземелья, где дышала и хлюпала его утроба. Его клали на спину и задвигали головой в огромное белое кольцо, просвечивающее мозг под разными углами, на разной глубине. На экране возникали цветные изображения полушарий, мозжечка, гипофиза. Разноцветная карта его мыслей, мучительных исканий, не имевших ответа вопросов. Врачи рассматривали изображение, молча качали головами, и он, с надетым на голову белым кольцом, похожим на огромную чалму, знал, что им не удастся открыть его тайну.

Пока он лежал в госпитале, он узнал, что войска перешли границу Чечни и медленно продвигаются по равнине, вытесняя чеченские формирования в сторону Грозного.

Он приехал в Псков и узнал старомодное здание вокзала, но не узнал привокзальную площадь, ставшую обширной, уставленную лотками, пестрыми киосками, с громкой несносной музыкой, аляповатыми рекламами, провинциально и безвкусно повторяющими столичный стиль. Сел на троллейбус и поехал в гостиницу, оглядывая из окна полузабытые здания проспекта, которые прежде казались выше, нарядней, родней, а теперь отчужденно смотрели на него сырыми фасадами, не узнавая в чужаке молодого влюбленного путешественника. Гостиница хоть и не поменялась с тех пор, была столь же невеселой, неудобной, с тесными и скудными номерами, но и в ней поселился дух энергичного стяжательства, недорогого разврата и безнаказанности.

В номере он сел на кровать, поставив у ног дорожный сак-вояж. Не торопился вспоминать, не спешил переживать, экономя душевные силы для трудного и, быть может, невыполнимого действия, которым он должен был повернуть время вспять.

Первое место, которое он желал посетить, была Покровская башня, на берегу Великой, где когда-то пробирался сквозь мокрую ночную крапиву по холодной душистой гальке. Покровская башня, куда он пришел, удивила скромностью своих размеров, словно усохла, состарилась, и от нее уже не исходила былая богатырская мощь. Камни, которых он касался, желая обнаружить сокровенную скважину, были намертво замурованы, холодны, не откликались на прикосновения. Великая угрюмо катила стылые серые волны, ничем не напоминая живой, улетавшей к звездам реки.

Разочарованный и печальный, он брел, отыскивая среди домишек и узеньких улочек Поганкины палаты, где когда-то, в дни его молодости, жили археологи. Он был принят их шумным братством, когда, усталые, загорелые на раскопе, они пили вечерами вино, уставив бутылками и стаканами деревянные ящики, в которых хранились желтые кости, полуистлевшая утварь, черепки, украшения из бронзы, и глава экспедиции бережно извлекал из ларца берестяную грамоту с нацарапанными письменами, показывал ему драгоценную находку. Поганкины палаты были так же красивы, белы, напоминали большую русскую печь с вьюшками, подтопками и завалинками. Но его здесь не ждали. Никто не сбегал по ступеням, раскрывая объятия. Никто не смотрел на него сквозь свечу, поднося к губам красный стакан вина.

Он пересек многолюдную площадь, наполненную иной толпой, иными машинами, знаменами иного времени, не находя среди них знакомых крестьянских лиц, выгоревших деревенских одежд, плетеных корзин и кошелок. Довмонтов город, окруженный выпуклой кладкой, впустил его в себя, и там, где когда-то раскрывался черный торфяной раскоп, с испарениями, лужицами гнилой воды, остатками древних мостовых и фундаментами исчезнувших церквей, над которыми трудились согбенные, в панамах и соломенных шляпах археологи,

то место, где посетило его чудо, лишившее на секунду дыхания, теперь было пусто, по-музейному холодно и чопорно.

Опечаленный, под моросящим дождем, наступая на опавшие листья, он двинулся в Запсковье, вдоль тихой, ленивой Псковы, где когда-то вел за руку свою милую. Прошелся мимо Гремячей башни, по кручам, по мокрой крапиве, там, где на черном ночном бутре, среди звезд и туманов, глядя на золотое веретено, отраженное в текущей воде, целовал ее. Теперь все было немо и холодно. С высокого берега дул неуютный ветер, и там, где прежде толпились разноцветные мещанские домики, теперь стоял новый, серый, грубо-помпезный дом.

Он подумал, что опыт его не удался. Город был чужой и ненужный. Прошрое не подавало голоса. Церкви, казавшиеся прежде живыми, человекоподобными, с темными большими головами, белыми, как из пшеничного теста, четвериками, с сахарными звонницами, теперь были экспонатами. Не волновали, не трогали. К ним не хотелось прижаться щекой, поцеловать их белые одежды. Он решил, что нужно поехать на вокзал, взять обратный билет в Москву, проваляться день в номере, а вечером сесть на поезд и уехать, не слишком укоряя себя за сентиментальные бредни, за несбыточные надежды.

Он стоял на крутом берегу Псковы, среди темного бурьяна, под порывами холодного ветра. На ветряную, рябую реку не хотелось смотреть. Покосившаяся ограда кладбища вызывала ноющее, печальное чувство. В сквозных, с облетевшими листьями вершинах неслись низкие мокрые тучи. Под ногами, на сырой земле, лежал черепок фарфоровой чашки, давно разбитой, выброшенной под откос, потерявшейся в корнях лебеды и крапивы, а теперь, после сильных дождей, выступившей на поверхность. Глаза мельком увидали его, взгляд полетел дальше, к понурым крестам, на которых висели линялые жестяные веночки. Но вдруг захотелось пристальней посмотреть на черепок, и Белосельцев разглядел на нем зеленый нарисованный листик и красный лепесток цветка. Снова взгляд улетел за реку, где женщина стирала в воде белье. Черепок манил его, волновал. Теперь он смотрел на кусочек фарфора, лежащий под ногами, и сердце сладко замирало. Страшась и одновременно испытывая неодолимое влечение, он нагнулся.

Потянулся к черепку. Собрал все имевшиеся в душе светлые силы, устремил их на кусочек фарфора с красным лепестком. Тронул пальцами землю. Отколупнул черепок. И под ломтиком фарфора вдруг открылась улетающая в глубину бесконечность, куда он прыгнул, словно стриж, рассекая шумящий поток, пронося свои выгнутые заостренные крылья в узкий прогал. Рушился вниз, в синюю пустоту, словно падал без парашюта, чувствуя, как его крутит, перевертывает, утягивает вниз неодолимая сила. А когда приземлился, мягко ударился плечом о землю, словно оборотень, он был уже в своем прошлом. Сходил по ступенькам вагона на псковский перрон, глядя на немеркнущую голубую зарю.

* * *

Он приехал в Псков ночью и, поселившись в гостинице, сразу пошел к Великой, под черные тополя, вдыхая их горькую ночную свежесть. Галька хрустела у него под ногами, Покровская башня чернела как брошенная оземь шапка в росистой траве, Великая текла широко, гладко, со струящимся одиноким огнем. Он тихонько разделся, скинув одежду на траву, и с наслаждением, по-звериному мягко прошел по холодной гальке к воде, чувствуя, как речной огуречный запах нежно жжет ноздри и далекие голубые огни у моста смотрят, словно глаза удивленных животных. Медленно набрал полную, до боли, грудь воздуха, поднял руки и кинулся с плеском в черную толщу. Ледяной донный ключ ударил его в живот, полоснул по ногам, и, вырываясь из огненной жгучей струи, охая, с перехваченным дыханием, он поплыл по мягкой теплой воде.

Он плыл навстречу огням, ныряющим перед ним у самых бровей. Волны стеклянно вздувались, лопались, и из каждой вылетал голубой огонь. Он поплыл быстрее, утопив голову в журчащую воду, чувствуя, как твердеют струи, а потом нырнул в темень, уходя в нее глубже. Тело становилось тоньше, длиннее, легче, и, толкнувшись ладонью о дно, он вылетел на поверхность в легком фонтане брызг.

Он вышел из воды мокрый, холодный и сильный. Одевшись, возвращался в город, к гостинице. Тополя чернели над

его головой, под одним из них целовались, и заря уже начинала светиться над крышами.

Он проснулся и вышел в умытый утренний город. Брел не спеша по многолюдным улицам, кланяясь встречным церквам. Никола-на-горке с крепкой отроческой головой, удивленно и радостно глядящий сквозь зелень. Михаил Архангел в белоснежной просторной рубахе с огненным пояском вокруг шеи и румяной тихой улыбкой.

На рынок через площадь тянулся народ. Крестьянки с ягодами, собранными накануне в окрестных борах, сок сквозь корзинки сочился голубыми подтеками. Белесый парень-рыбак со связкой лещей на спине, толстых, гладких, с кровавыми языками жабер. Прогремела телега, в ящике крутились живые петушиные головы, гребни трепетали за спиной старика в картузе.

Он пересек улицу, ориентируясь на запах сырой разбитой земли, нырнул в каменную арку Довмонтова города, и среди седых морщинистых стен, у островерхой башни увидел черный раскоп, мелкие лужицы воды среди обугленных бревен. Археологи, повязав головы косынками, спасаясь от солнца паннами и легкими шляпами, сидели на ящиках, стояли на коленях и большими ножами рыхлили землю.

Он стоял над обугленной ямой и сквозь палящее солнце, сквозь следы старинного неведомого пожара видел не черные бревна сгоревших срубов, а хрустящие свежие колья, жесткую зелень травы у ворот, красный цветок на окне. Видел крепкие печи с живым огнем, жаркие хлебы и быстрые руки, скрипучие кровати под пологом, глазастых ребятишек с деревянными куклами. Кто-то входит со стуком в дом, гремит на цепи медный ковш, капель звенит о бадью, и птица легкой тенью промчалась над крышей, а теперь только темная яма и гнилая земля на его башмаке.

Он двинулся дальше, туда, где морщинились стены кремля и виднелись шары собора. Вот и ворота, чешуйчатый блеск брусчатки, огромный собор, будто в небе подвесили белые простыни, они наполнились ветром, тихо гудят. Полые купола, казалось, стучали серебряными лбами. Среди крестов витали едва заметные смерчи стрижей. Сухая земля, шмель в цветке

шевелится, девушка смотрит на него удивленно, и стая стрижей шумным комом сорвалась с крестов, со свистом прынула вниз, взорвалась синими брызгами и, вновь собравшись, унеслась в высоту.

Он стоял смущенный и бледный. Девушка улыбалась. В руках у нее был нож, которым она рыхлила землю, черная земля пристала к белому лезвию. Ее зеленоватые, дрожащие против солнца глаза отражали лопухи, цветное стекло, серебристыми купола.

Он снова увидел ее вечером на танцевальной веранде. Она стояла у влажных перил с гладкой золотистой прической, большим ученическим бантом, стягивающим затылок, такая же яркая, как и утром, только тихая и серьезная. Толпа танцующих то скрывала ее, то опять становился виден ее бант, платье с черно-белыми кругами. Он следил за ней, волнуясь, пугаясь, что смочет ее сейчас и она навсегда исчезнет. Пробираясь к ней ближе и вдруг почти безотчетно, почти против воли подошел, с упавшим сердцем поклонился молча и протянул для танца руку. Она подняла лицо, чуть нахмурилась, и он увидел, что глаза у нее, серые, мягкие от пушистых бровей, ресниц, вьющихся легких волос, а не те, остро-солнечные и зеленые, как утром. В них что-то промелькнуло, живое, веселое, она узнала его и протянула навстречу руку, узкую, загорелую, с голубоватыми темными жилками. Он отступил на шаг, толпа подняла их и закружила в своей пестроте по влажным доскам веранды.

Он не танцевал давно и теперь с наслаждением и робостью вел ее в кружении. Уже вечерело, и черная липа над верандой доцветала. В ней мягко горел фонарь, мотыльки выпали из нее и снова взлетали к свету. Далеко над толпой блестел оркестр. И ему вдруг показалось, что все — и оркестр, и липа, и та, с кем он танцевал, — страшно чужие, далекие, из какой-то давнишней, не им прожитой жизни. И особенно она, ее бант, ее дышащая грудь и лицо — чужие, неведомые, навек не разгаданные, и неизвестно зачем он подошел к ней, посмел коснуться и теперь держит ее теплую, но чужую руку. Но оркестр играл, и они молча кружили в толпе.

«Как же так? — думал он, почти не слушая музыку. — Неужели все так просто? Поклониться сейчас и уйти, шагать по темным улицам, еще слыша музыку, и она еще будет стоять тут, под этой липой, и все люди еще будут кружиться, — этот франт с черной бабочкой, и та вон толстушка с перламутровой пуговицей, а меня уже тут не будет. Все распадется, и останутся две наши совершенно чужие жизни. И будут потом миллионы встреч, и другие города, и, быть может, войны и раны, все мои радости и падения, все слезы, поцелуи, болезни, все комнаты, столы, чаепитья, и все без нее. А у нее — те же поцелуи, слезы, болезни и дети, а потом морщины на этом чудном лице. И все без меня, будто ничего и не было, будто мы не танцуем сейчас и ее рука не лежит в моей!»

Эта возможность показалась ему такой странной, невероятной, и он подумал: «А ведь такая малость нужна, такая малость, чтобы не разрушить теперь этот танец, чтобы он имел продолжение, чтобы у нас все было вместе. Такая малость — одно только слово, любое!»

Легкий дурман огромного цветущего дерева наплывал на них. Глядя, как сквозь ее волосы светит в липе огонь, он, волнуясь, спросил:

— Скажите, как вас зовут?

— Аня, — сказала она.

— Аня? А меня Витя!

Она чуть усмехнулась, и он почувствовал, что тяжесть тела с него, как вода с напоенного ливнем дерева. Стало легко и свободно.

— Что вы делали там утром среди лопухов, с этим огромным страшным ножом? — спросил он, радуясь легкости и свободе. — Кого-то подстерегали? А я набежал. Еще бы немного, и кровь пролилась.

— Вы, должно быть, испугались ужасно. У вас был такой вид, точно с вами случился обморок. Мне хотелось вас поддержать. Вы ножа испугались? — засмеялась она.

— Мне показалось, что собор на меня рушится.

— Как на богохульника?.. А я сижу на моем раскопе целыми днями, а купола ко мне сверху заглядывают, такие любопытные головы.

— Что вы откопали сегодня?

— А вот эту трубку. Взяла ее с собой поносить, — она раскрыла ладонь, протянула ему обломок красноватой глиняной трубки, прокопченной изнутри. — Я уже нашла в этой яме несколько трубок, и все прокопченные.

— Должно быть, в древности там находилась курилка и туда собирались куряки. Покуривали себе трубочки, мирно беседовали. А один раз повздорили, разбранились, покололи свои трубки и разбежались. Ведь могло так быть?

— Конечно. Я запомню эту вашу версию.

— Непременно запомните. Когда станете писать монографию «Курение в Древней Руси», или «Сорта древнерусского табака», или «Кольца табачного дыма как прообраз древнерусских архитектурных форм» — вы уж тогда меня не забудьте.

Она посмотрела на него пристально и серьезно и вдруг засмеялась, задрожав подбородком, колыхнув бантом, чуть запрокинув голову. И он почувствовал внезапное счастье, нежность к ее белой блеснувшей шее, к глубокому мягкому смеху и к этому банту, который, должно быть, пахнет солнцем, ее волосами, ее комнатой, книжками и тетрадками.

— А откуда вы сами, — спросила она, перестав смеяться, — псковский? Вижу, что нет. Зачем бродите по лопухам? Зачем собор на вас рушится?

— Тянет меня к этим растениям. Наверное, когда-то я был лопухом. А собор рушится оттого, что предки мои были еретиками. А приехал я из Москвы, почти без цели. Хотел псковские песни послушать. Тут есть одна деревенька Малы, а рядом с ней Броды, а еще рядом Хоры. Поют там чудесно.

— Вы собираете песни?

— Нет, но люблю. Иногда, знаете, попадешь на какой-нибудь праздник, на престол или свадьбу. И слушаешь. И если певцы хорошие, если спевшийся хор, то получаешь огромное наслаждение. Сам иногда подпеваешь, а потом долго-долго живешь этим чувством.

— Это правда. Бабушка моя пела. Иногда сестры ее приезжали из Костромы. Я сидела в ее теплом платке и слушала. И теперь иногда надеваю ее платок, чтобы вызвать те чудесные ощущения. Я много слышала песен и сейчас кое-что помню.

— Вы поете? Может быть, попоем?

— Здесь?

— Зачем же? Уйдем куда-нибудь. Хоть к Пскове. И попоем.

Он держал ее руку, глядя в улыбающееся лицо, чувствуя все ту же легкость, свободу, увлекая ее за собой сквозь толпу, мимо оркестра. «Ну вот оно, началось... Все само, само...»

Шли по мощеной улочке, и музыка затихала за деревьями.

Они сидели над Псковой на сваленном дереве в черноте кустов. Внизу бурлило, гремело на камнях, и лицо Ани, близкое, теплое, белело среди сырой тьмы, запахов камней и крапивы.

— Какую петь будем? — спросил он, прислушиваясь к бульканью.

— Не знаю. Я ведь мало их помню. И то не до конца. Какие-нибудь костромские. Вы знаете?

— «Соловей кукушечку уговаривал». Такую слышали? Волжская, времен покорения Казани.

— Нет, никогда не слыхала.

— А «Гусарика»? Двенадцатый год.

— И этой не знаю. Бабушка не пела.

— А какую пела?

— Вот эту: «Как после Покрова на первой недели...»

— «Выпала пороша...»?

— Да, эту!

— Ну начинайте.

— Боюсь, никогда не пела вдвоем. И потом так сразу... Странно! Уж вы, если затеяли, начинайте. А я подпою.

Пскова плескалась внизу, точно кто-то невидимый полоскал белье, и бело-серебряные простыни смутно вспыхивали на воде.

— «А после Покрова...» — начал он, чувствуя, как дрогнул, зазвенел воздух от первых высоких звуков.

«На первой недели...» — продолжал он, возвышая голос и срывая его на самом высоком, щемяще-прекрасном переливе, так, как пели его предки по всей обширной, лесной стороне, дико и сладко.

— «Выпала пороша...» — пропели они вместе, и он остро почувствовал, что и она чувствует то же самое.

— «На талую землю...» — допели они, умолкая, отпуская от себя легкий, замирающий под откосом звук.

«Какая пороша? На какую землю? — думал он. — На ее, костромскую? Где бабка ее шла, хватаясь за колья, обредая черные лужи? Откуда она знает все это — поле, тоску, надежду? Разве оттого, что качала их одна и та же земля и пустила гулять по себе в одно время?»

Как по той пороше
Ехала свадьба,
Семеро саней,
По семеро в санях...

Они пели, переливаясь один в другого. Ее молодое сердце билось в его груди, а его растущее счастье обнимало и наполняло ее. Они были теперь едины, и ничем, и всем вместе сразу.

Он провожал ее через город в Поганкины палаты, где жили археологи. Они мало говорили дорогой и, прощаясь, условились встретиться завтра, на Снятной горе, посмотреть старинные фрески.

Он проснулся на рассвете и смотрел, как в пепельном небе нежно румянится облако. Вышел на улицу. Было серо и холодно. Проснувшийся голубь зябко ворковал на крыше гостиницы. Ежась от сырости, он двинулся к кремлю, желая отыскать тот раскоп среди лопухов, на котором увидел Аню.

Он шагал по обвалившейся стене среди жестких мокрых стеблей. Тяжелое мутное солнце лениво качалось над крышами. Весь город колыхался в красном тумане.

Внизу, на скотопригонном дворе, что-то грохнуло, звякнуло. Со скрипом растворились ворота, и из них с мычанием и ревом повалило стадо.

Стадо клубилось внизу, наполняя улицу, и он, испытав внезапное мучительное любопытство, сбежал со стены и, прижавшись к забору, смотрел, как с гулом накатывается на него лавина дрожащих спин, хлещущих хвостов, кровью налитых белков.

Ужасное, тяжкое было зрелище мычащего стада. Но он не уходил, ибо в этом ужасном и тяжком была влекущая, болезненная и свирепая сила. Она утягивала его вслед за стадом

и дальше, в невидимую, еще не существующую даль, в ненаступившее время, где он мог оказаться среди свирепых стихий мира.

— Куда? — крикнул он пробежавшему мимо погонщику.

— На бойню! — ответил тот хрипло.

Какая-то слепая сила сорвала его с места, и он понесся за стадом, дыша его смрадом и пылью. От тесноты и от боли в быках пробуждалась похоть. Они вскакивали один на другого и, дрожа загривками, бежали на задних ногах, высунув мокрые языки, поливая улицу мутной жижей. Погонщики с набрякшими венами осаживали их дубинами в гущу.

Стадо пронеслось по центральным улицам города, вырвалось на шоссе и покатило, пыля, по асфальту.

«Куда я? Бойня, война, свирепые похоти мира?... Не для меня!.. Не мой путь!..» — Он очнулся и встал. Сердце колотилось, в глазах метались быки. Стадо пылило уже далеко красным пыльным комом.

Он вдруг почувствовал себя страшно утомленным и вялым, словно часть его жизни утекла вслед обреченному стаду. Медленно брел назад по пустому шоссе.

Когда солнце было уже высоко и палило, он сел на автобус и поехал на Снятную гору. Дорога вилась над самой Великой, и сквозь белую пыль спокойно голубела река, плыли по ней пароходики и лодки, зеленели луга на той стороне, и недвижимое стадо пестрело у отмели. Автобус остановился в горячих сопках. Он поднялся по тропинке к церкви.

Сторож в заношенной офицерской фуражке отомкнул ему церковную дверь. Он вошел под прохладные гулкие своды с льющимся из купола воздухом, с зелено-розовыми полустертыми фресками. В алтаре у Глеба нежно горел край одежды. Ангел с острым соколиным крылом глядел со стены удивленно и радостно.

Он стоял в забытии. Фрески над ним дышали ароматами трав и земли.

Вышел на пекущее солнце. Сторож гремел ключом и, наконец навесив замок, подошел к нему:

— А ты, чай, в Бога не веруешь? Ну, ну. Бог, он как сон — тебе приснился, мне нет. Вот и ходим, и ходим, бедные, — и побрел тихо прочь, размахивая ржавой связкой.

Он спустился к Великой и купался в разливе, глядя на светлые разводы ветра.

— Так вот вы где? — услышал он над собой — А я вас сверху увидела.

Аня стояла перед ним в бело-синей полосатой юбке, в соломенной шляпке, ее колени золотились у самых его глаз.

— Вы уже и фрески без меня посмотрели, и выкупались? — Не отвечая, он радостно смотрел на нее. Она смутилась и отступила на шаг. — Что, опять собор на вас рушится?

— Рушится, рушится! — засмеялся он. — Купайтесь, такая теплынь, замечательно!

— Вы все без меня успели.

— Купайтесь, я буду еще.

Округлым плавным движением она скинула шляпку, выпустив на плечо золотистый, рассыпающийся пук. Отвернувшись и одним сильным взмахом освободилась от юбки, оставшись в черном атласном купальнике. Хмуря брови, чувствуя на себе его взгляд, пошла от него к реке.

Он смотрел жадно, как она входит в воду и вода подступает под ее круглые колени. Сильно, молча, без плеска она легла на воду и поплыла бесшумно и быстро, как зверь, подымая из воды белые плечи, и волосы ее сияли, как тяжелый слиток. Встала из воды, гладкая, яркая. Изогнулась, отжимая влагу из потемневших волос, и, подойдя, опустилась, уронив мокрую руку в жаркий песок. Аня улыбнулась бело и ярко, держа в зубах ромашку.

— Вы плыли, как выдра, — сказал он, чувствуя, как прохладный свежий аромат идет от всего ее тела.

— Как выдра? — переспросила она, быстро взглянув на него.

— Как бесшумная выдра, — сказал он и взял ее за руку.

Капли дрожали на ее загорелом, с белой дорожкой плече. Она не отнимала руки. Он закрыл глаза, потянулся вперед и поцеловал ее. Губы ее были глубокие, мягкие, и быстрый пугливый язык, и он целовал ее, не раскрывая глаз, то уходя в мучительный сладкий омут, то возвращаясь в горячий, бьющий сквозь веки свет.

Они сидели молча, боясь произнести слово. Она смотрела на реку, и были в ее взгляде радость, и боль, и отблеск реки, и голубоватые прозрачные слезы.

— Не плачь, не плачь, — сказал он тихо, — ты моя милая. Не плачь, не плачь. Ты моя милая, чудесная.

Они вернулись в город. Ходили на рынок и, пачкая губы, ели сладкую чернику с попадавшимися в ягодах сосновыми иглами и листочками. Лазали на собор, на серебристый купол, и земля казалась наполненной свежестью чашей, а шары гудели под ними, унося в ветряное голубое пространство. Они ездили на автобусе к реке Мирожь и смотре́ли, как зреют в садах вишни. А вечером гуляли по сумеречным улочкам и слушали, как цокает по булыжнику лошадь, как в чьем-то полукруглом окне негромко играет рояль.

Он уехал в Малы наутро, и Аня обещала приехать следом, в субботу, когда археологи отдыхали. Автобус урчал мотором. Он забывался в счастливой дремоте. Шоссе несло прямое и синее.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Он поселился в Малах у кузнеца Василия Егоровича, закопченного, с железными зубами, казалось, изготовленными в той же кузне, где и подковы, лемеха, тележные обода. Маленькая застекленная веранда выходила в сад. Кузнец принес ему вазу с отколотым горлом, букетик полевых цветов, и они медленно вiali у него на столе.

Он работал в кузне, помогая Василию Егоровичу. Раздувал горн, подкидывал мелкий пыльный уголь, остро вспыхивающий, спекающийся в малиновый ком. Шумели мехи, со свистом летели белые тонкие искры, пахло серой. Они с кузнецом отковывали болты для комбайна. Комбайнер Ивашка Якунин, по прозвищу Драгунок, — дед его при царе служил в драгунах — узкогрудый и кроткий, сидел у порога, залитый со спины солнцем, и застенчиво смотрел на Белосельцева, а тот, выхватив клещами раскаленный прут, кидал его на наковальню со звоном, и кузнец хлопал молотком, выбивая из железа пламя, и оно сминалось под ударами.

Под горой разливалось ленивое прекрасное озеро, стояла пятиглавая церковь, и другая, в развалинах, с кровлей, поросшей дерном и полевыми цветами. Внутри церкви было тепло, солнечно, пестрели в вазах цветочки. Священник, сухонький, как пучок травы, поправлял лампадки. Стоя в бледном пятне солнца перед образами, он сладко, мечтательно представлял, как они с Аней войдут в эту церковь, и священник подымет над их головами жестяной зубчатый венец.

Он проснулся с ощущением улетающего вещего сна. Из туч падал ровный холодный дождь. Куст, перевитый вьюнками, шелестел и слезился. Он выскочил из дома, намереваясь добежать до озера, но на середине дороги передумал и медленно побрел назад под дождем, вымокая до нитки.

На крыльце стоял Василий Егорович, задумчиво глядя на гремучую струю, льющуюся из желоба в бочку.

— А к вам гости, — сказал он. — Не угадаете кто.

— Гости? — воскликнул Белосельцев и, стряхнув с волос воду, бросился на веранду.

Аня сидела на краешке стула, вся мокрая, среди темных водяных росчерков на полу. Обернулась на него влажным, розовым от дождя лицом. Он, как был в мокрых башмаках и одежде, кинулся к ней и обнял, чувствуя щекой ее мокрое платье, дышащее тело, прохладное, с горячим дыханием лицо.

— Приехала! Вымокла вся! Я так тебя ждал!

— А я шла к тебе по болоту. Иду, а дождь припускает. Иду, а он припускает.

— Да что ж это я сижу! Ты дрожишь вся. Разденься, и под одеяло. Скорей! У меня есть немного водки и мед. Стану тебя греть. Шла по болоту, как цапля. Замерзла, бедная!

Он выскочил к Василию Егоровичу, достал из шкафчика банку меда, початую бутылку водки, стакан. Откромсал ложкой ломоть крупчатого крепкого меда, залил водкой в стакане, размешал и отпил мутно-желтый пахучий настой. Напиток показался ему обжигающе крепким, душистым.

Когда он вернулся, неся стакан, Аня уже лежала, укутанная до подбородка одеялом, только живые глаза ее ярко блестели. Он наклонился над ней, чувствуя, как идет от нее холодная свежесть.

— На-ка, выпей! От всех болезней.

— Ой, какой жгучий! Но какой сладкий, душистый. Я от него опьянею.

— И пьяней на здоровье. Не страшно, ты уже дома.

— И ты выпей. На тебе нет сухой нитки. А я уже опьянела.

— Все думал о тебе эти дни. Думал и пугался: а вдруг не приедешь? Вдруг тебе покажется все смешным и ненужным. Становилось так страшно!

— А я шла к тебе по болоту.

— Ах ты, цапля моя! Ну как? Немножко теплее? Ведь правда, теплее?

— Гораздо теплее. И ты еще выпей немного.

Он наклонялся над ней, быстро целовал ее в медовые губы, в дождевые сырые волосы, а она, высвободив из-под одеяла голую руку, обняла его голову, притянула к себе и, отстранив, долго смотрела, а потом дунула, сбивая с его бровей капли.

— Так странно, верно? — сказала она, проводя пальцем по его бровям, лбу, губам. — Странно ведь, да?

— Что странно? — Он ловил ее пальцы губами.

— Вот брови твои, губы и щеки. Я могу их трогать теперь, гладить, и ничего в этом нет удивительного. Или все-таки чуть-чуть удивительно? Недавно ты был чужой для меня, недоступный. Появился тогда на раскопе, исчез. Потом танцевал. Потом пел в темноте. И все чужой, недоступный. Тебя раньше не было и быть не могло. И я была сама по себе. Мне всегда казалось, что я есть и буду сама по себе. Никто меня пальцем не смеет коснуться, посягать на мысли, на чувства. А теперь вот целуешь меня, как будто так и должно быть. И ты не чужой, ты вот он, вот брови твои пушистые, я могу их трогать и гладить. И я сама сегодня пришла к тебе. Дождь сверху сыплет, а я иду и думаю о тебе, как примешь меня. Сомневаюсь и мучаюсь.

— Какие сомнения?

— А всякие. А вдруг ты чужой? Ты ведь мучился тоже, вдруг я чужая?

— Ты видишь, я не чужой.

Он укутал ее теплее, сам лег поверх одеяла, чувствуя ее длинное живое тело, глядя, как по стеклам за ее головой мутно струится дождь и что-то золотится сквозь них — то ли тес, то ли яб-

локи на деревьях. Он боялся пошевелиться. Ему хотелось, чтобы дождь лил бесконечно, чтобы яблоки золотились, чтобы можно было лежать без движений целую вечность под бульканье старой кадушки и глядеть, как губы ее дышат влажно и чисто, а у вазы отколотый край, и в ней колокольчики и ромашки.

Дождь шел и шел, и они не вышли к ужину. Смеркалось, она засыпала. Он поцеловал ее осторожно в сонные губы и вышел к Василию Егоровичу.

Ночью он просыпался с тревожной и сладкой мыслью: «Она здесь, у меня, моя милая, милая!» Он выходил на крыльцо, оно было мокрое и холодное. В небе, желтая, разгоралась заря, звезды в ней гасли.

Утром они отправились ловить щук на «дорожку». Солнце косо светило из-за горы, озаряло тот берег с бегущими по склону кустами.

Он отомкнул у лодки замок, перебросил через борт ржавую цепь, помог Ане забраться и, вставив в уключины весла, спихнул лодку на воду.

Аня сидела на корме, распустив колоколом платье, и он, выводя лодку за нос из осоки, чувствовал ее упругую тяжесть.

— Грести умеешь? — спросил он.

— Умею.

— Тогда гребь потихоньку. А я буду налаживать «дорожку».

Она уселась поудобней, ища опоры для ног. Он подставил ей свои босые мокрые ступни. Взялась за весла и сделала пару взмахов. Лодка послушно пошла, забулькала под днищем вода, взметнулись под веслами водяные смерчи.

— Ты где научилась грести?

— Ездила в прошлом году на Селигер с университетом. Там копали курган на острове. Каждое утро гребла.

— Ты прекрасно гребешь. Я думал, ты будешь статуей на носу корабля, а ты боцман, настоящий боцман. Гребь ровно, боцман, я запускаю «дорожку».

Он укрепил на скамье сломанную ветку ольхи с привязанной капроновой леской, осторожно расправил блесну с якорьком и швырнул ее далеко за корму. Блесна хлюпнула, унеслась, увлекая «дорожку». Аня гребла, а он быстро, обеими руками спускал в воду снасть, пока она не натянулась струной.

— Не устала? — спросил он.

— Что ты!

Лодка шла теперь по безветрию в серебряной полосе. Ее ноги упирались в его, и он чувствовал их тепло и плавные движения сильного тела.

Ольховый прут у него под рукой дернулся, сильно согнулся, выпрямился, и его снова сильно пригнуло к доске.

— Есть! — крикнул он. — Сильнее гребь!

Он рванул леску, отпустил и снова рванул, чувствуя, как на дальнем ее конце что-то пружинит и бьется, живое, сильное, и струна гудит в его кулаке. Он перебирал быстро леску, и далеко за кормой щука выскочила из воды и понеслась, распарывая гладь, кружась веретеном и белея брюхом. Она догоняла лодку, хлюпала плавниками, взвилась за кормой и, перелетев через Анину голову, сорвалась с крючка и гулко шлепнулась на днище. Заходила ходуном, свиваясь скользкой зеленой змеей, разевая бледную пасть. Жабры ее пламенели, слизь летела дождем. Аня, поджав ноги, смотрела со страхом на ее черно-серебряные перья, на злые, в мелком солнце глаза, а потом вдруг молча кинула на нее телогрейку, и щука билась, вздувала материю.

Белосельцев сидел в качающейся, пляшущей лодке и думал: «Люблю, на всю жизнь люблю».

Он отбросил телогрейку, рыба лежала, вздрагивая плавниками.

Они поймали еще одну щуку и, вернувшись домой, стали варить уху. Белосельцев в саду потрошил рыб, вырывая из них пузыри и кровавые внутренности, кромсал на куски сочное мясо, кидал в чугуны с кипятком. Василий Егорович и комбайнер Драгунок купили в магазине водку, и они вчетвером на вольном воздухе ели пылающую уху. И Белосельцев, забывая есть, любовался, как черпает она из котла и несет окутанную паром ложку, осторожно, по-звериному дует, пробуя огненный отвар.

В Псковском музее Ане поручили раскопать один из древних могильников, тянувшихся длинной мягкой грядой за Мадами.

— Прямо этот копать? — спросил Белосельцев, глядя на колокольчики.

— Копай. Тут глубина небольшая. Метра полтора, не больше. Копай, а я зарисую могильник.

Она устроилась в тени куста, раскрыла альбом, принялась рисовать, а он кинул рубаху в рожь и взялся за лопату. Подсек сверху дерн, поднял его на лопату вместе с цветами и отнес аккуратно в сторону. Быстро срыл слой темной живой земли с корнями травы, куколками, личинками жуков, муравьями. Несколько плоских камней вывалилось на траву, а потом пошла рыжая пустая земля. Он копал, подставляя спину жаркому солнцу, а грудь — поднимающемуся из ямы холоду.

— Не устал? — спросила Аня, оканчивая рисовать, подсаживаясь к краю ямы.

— Скажи, кто тут может лежать?

— Это славянский курган. Восьмого или девятого века. Сюда с юга шли кривичи и оседали среди финнов. Пойди по этой земле, и сплошь курганы.

— Наверное, и полю этому тысяча лет. И зерна эти ржаные от тех первых зерен. И кустики эти выше не вырастали. И уже на другой год после погребения курганы были такими же круглыми, зелеными, мягкими.

— Копай теперь осторожнее, и шире, шире.

Он выкопал просторную глубокую яму, и его сменила Аня. Широким ножом стала осторожно рыхлить землю. А он лежал с краю, глядя, как рушатся в небе башни облаков.

Через пару часов они откопали скелет, мучнистый и белый, словно на черную землю кто-то насыпал из кулака соль, нарисовал позвоночник, ребра, ноги. Только череп был тяжелый и твердый, полный холодной земли, с яркой, почти жемчужной улыбкой сохранившихся целых зубов.

Аня кистью сметала прах со скелета и среди черных, как гнилая кора, остатков одежды разыскала несколько стеклянных позолоченных бусин, а у черепа — нежное, зеленое, свитое из тончайших бронзовых проволочек височное кольцо.

Аня зарисовывала открытую могилу, обмеряла ее, делала записи. Он держал на ладони бусины, всматриваясь остро в салатовую зелень кольца, после тысячи лет увидавшего снова солнце.

— Женщина. И, должно, молодая. Все зубы целы. Отчего она умерла? От болезни?

— Не знаю, — ответила Аня, сосредоточенно рисуя, а кончив, завернула находки в пакет, надписав число и место раскопа.

Они лежали, касаясь руками, у самой ржи. Из раскрытой могилы подымался чуть видимый пар. Озаренная, синела земля. Ветер летел по ржи, прокладывая седую дорогу. Кони паслись на далеком зеленом бугре. И он верил и знал, что ничто не кончается, что их жизнь на земле — вечное возрождение, и в этом мелком серебристом дожде все бродит белолицая дева с наполненными солнцем глазами. Ее розовый локоть был у самого его лица, испещренный следами травинки. Он осторожно тронул его.

Они стали собираться домой. Он уложил череп в могилу, забросал землей, заложил камнями, принес плоский дерн с колокольчиками. Они возвращались в Малы. Аня была тиха и задумчива. А он, неся на плече лопату, шел следом, боясь потревожить ее словом.

Ночью они отправились к озеру жечь костер. Аня сидела у огня на сухом песке, вся легкая, готовая загореться от гудящего пламени. Над ней озарялась мохнатая ветка с шишками и снова гасла. Белосельцев выхватывал из огня раскаленные головни и швырял их в озеро. Красно-золотая гудящая змея летела в синеву. Встречалась со своим отражением и с хлопанием гасла.

Он приволок из леса ворох сухих, с неопавшими листьями веток, кинул в костер. Пламя погасло, стало темно, а потом вдруг взметнулся огромный горячий шар света, озарил глубоко лес со стоящими тонкими травами, соснами, зеркальную воду и шумно унесся в крону, оставив после себя гаснущий красный пепел.

Они ушли от костра вдоль берега. На них из тьмы наплывал сарай. По густому, стоящему тут аромату Белосельцев понял, что сарай полон сена. Оцарапав руку о чертополох, он отворил створку ворот и, осыпая скользкое лесное сено, вскарабкался вверх.

Сердце его редко ухало, на руке саднила царапина. Он чувствовал в себе силу и легкость и еще тревожное знание того, что сейчас произойдет.

— Ты где? — спросила она из тьмы.

— Я здесь. Иди сюда.

— Зачем?

— Иди, говорю. Здесь сена полно.

— Я не хочу.

— Подымайся!

— Мне колко. Ой, я срываюсь!

— Давай сюда руку.

Он нащупал в темноте ее ладони, ухватил их и взметнул ее с силой вверх, успев разглядеть в дырявую крышу горсть ярких звезд.

Он целовал ее, задыхаясь от звона и шелеста сена, от ее прерывистых вздохов, от гулких и тяжелых ударов своего ставшего огромным сердца. Больше не было тьмы, все вокруг разгоралось медленным бледным светом.

Холодные струи воздуха, перетекая через колья, падали ему на грудь. Он открыл глаза: небо сквозь дыры было мутно-серым. Аня спала на его руке, свернувшись в сене, как птица, ровно дышала, запорошенная густо травинками.

Он тихонько высвободил руку, прошел по сену и соскользнул вниз. Луг дымно светился, покрытый цветами, распустившимися на рассвете. Над соснами огромно, бесшумно желтела заря, и уже запевали птицы.

Солнце вставало в горячих холмах, туман улетал от воды, и там, внизу, как маленькие черные смерчи, пронеслись утки...

Он услышал резкий нарастающий звук, какой издает набирающая скорость электричка метро, врезаясь в узкую горловину туннеля. Голова запрокинулась от невыносимых перегрузок, словно он сидел в кресле падающего космического корабля, окруженного сферой огня. Очнулся от удара о землю. В руках его был фарфоровый черепок с алым лепестком цветка, и то место в бурьяне, откуда был взят черепок, обнаруживало узкую, уходящую в глубину скважину. Она стремительно сужалась, смыкалась, будто рана, из которой выхватили

кинжал. В эту скважину утекала бело-голубая молния исчезнувшего сгоревшего времени.

* * *

Белосельцев обернулся. За его спиной стоял Гречишников в блестящем от дождя плаще, а чуть поодаль, в бурьяне, у покосившейся ограды кладбища стояли Буравков и Копейко в таких же глянцеvitых, блестящих, ниспадающих до земли плащах.

— Ну наконец-то, Виктор Андреевич, нашли тебя. Кого ни спросишь: «Видали, был здесь недавно, а куда пошел, не знаем». Хорошо, Копейко казачьим чутьем догадался.

Белосельцев с помутненным сознанием, словно только что пережил контузию, поднимался, держа в руках черепок.

— Ты уж извини, Виктор Андреевич, что не дали тебе отдохнуть. Очень срочно. Начинаются большие дела. Без тебя никак невозможно. Сейчас на аэродром, самолет уже ждет, а оттуда в Москву, во Внуково. Там другой самолет. Летим вслед за Избранником в Сочи. У теплого моря обсудим насущные задачи. Так мало людей с головой, с интуицией, с аналитическим даром, с боевым и мистическим опытом. Очень на тебя рассчитываем.

Можно было бы кинуться вниз по склону к серой холодной Пскове, упасть с разбега в воду, чтобы головой удариться о донный камень, и вся его жизнь вытечет красной влагой, смешается со студеной водой. Можно проскочить мимо этих троих в блестящих плащах, перемахнуть через ограду кладбища и, виляя среди могилок, жестяных линялых веночков, ускользнуть от преследования. Но там, куда он стремился, сквозь редкие деревья блестели черные автомобили и просматривались фигуры охраны. Можно удариться грудью о землю, вонзиться в толщу времени, ускользнуть от ненавистных преследователей, превратившись в тонкий язык огня, скользнуть в незаметную, уходящую в бесконечность скважину. Но она срослась, ее сдвинули намертво континенты, и земля не пускала в себя. Он медленно нагнулся, опустил на землю черепок с красным лепестком, приложив его к оставленному отпечатку.

— Я готов, — сказал обреченно, делая шаг им навстречу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На трех автомобилях они приехали на военный аэродром среди белесой моросящей равнины, где под мелким металлическим дождем мокли десантные транспорты и стоял готовый к взлету двухмоторный самолет «Аэрофлота». Охранники из хвостовой машины охватили кольцом самолет. Белосельцев вышел и смотрел, как Гречишников прощается с незнакомыми молчаливыми спутниками, обнимает их, и до слуха его долетели слова:

— Спасибо, мужики, за поддержку... Еще повидаемся... Таможню поставьте под наш контроль, скоро потребуются большие деньги... А то дворцы себе понастроили, думают, их с самолета не видно. А мы им аэрофотосъемку, засранцам...

Командир корабля в форме гражданского летчика рапортовал Гречишникову:

— Товарищ генерал, машина к взлету готова. Разрешите взлет.

— Разрешаю, — и, шелестя своим глянцевитым, черно-серебряным плащом, тяжело полез на борт. Копейко пропустил вперед себя Белосельцева, заслоняя его спиной от пустынного туманного поля, оставляя для движения узкую линию вверх по ступенькам, в овальную дыру самолета.

Самолет был пуст. Все они разместились в переднем отсеке со столиком, стягивали влажные плащи, разминали мускулы, крутили шеями, поглядывали дружелюбно на Белосельцева, ради которого и совершили утомительный рейд.

— Часика полтора — и в Чкаловском. Там по Щелковскому до кольцевой и до Внуково, ну — еще часок. Как раз укладываемся с запасом, — удовлетворенно, глядя на золотые часы, произнес Гречишников. — Правильно, Виктор Андреевич?

От него исходило благодушие доброго доктора, говорящего с выздоравливающим пациентом, и ничто не напоминало жестокого экзекутора в темном берете, стоящего на вершине вознесенного над Печатниками эшафота.

Самолет задрожал всеми своими перепонками, алюминиевыми пластинами и заклепками, раздул на крыльях два прозрачных стальных одуванчика и взлетел. В разрывы туч, косо,

словно оторванная от земли тусклая жестяная лента, мелькнула Великая, белая звонница Вознесения, окруженная желтыми деревьями, Кремль с Довмонтовым городом, где когда-то находился раскоп, и все кануло в мутных облаках, теперь уже навсегда.

— Ну что, коллеги, после хлопот и переживаний не мешало бы расслабиться. Так ведь, Виктор Андреевич? — Гречишников потирал замерзшие руки. Тут же появился молодой милостивый стюард, расставляя на столике тарелки, рюмки, разнообразную рыбную и мясную снедь, ставя в специальное кольцо, на случай воздушной тряски, бутылку молдавского коньяка.

— Водички надо? — спросил он с манерами любезного официанта.

— Боржомчика, если можно, — попросил Буравков и нетерпеливо потянулся к бутылке.

— Ну что ж, дорогие братья, вот мы и снова вместе. — Гречишников поднял круглую рюмку, в которой колыхался коричнево-золотой коньяк. — Нам нельзя разлучаться, нельзя таить друг на друга обиды. Только вместе, единой волей, единым духом и разумом мы достигнем поставленных целей. За нашего друга Виктора Андреевича, за его благополучие и здоровье!

Все чокались с Белосельцевым, радуясь его возвращению. Пили, жадно закусывали. Белосельцев пил и ел со всеми, послушно следуя воцарившемуся настроению, равнодушно взирая на круглый иллюминатор, освещавший трапезу синевой высокого неба.

Через несколько мгновений его трое спутников словно забыли о нем. Теперь они говорили о войне, которая началась, пока Белосельцев улетал с земли в другие галактики.

— Все-таки не уверен, что план Генштаба разделить на две части группировку — и одну двинуть в Грозный, а другую в горы, в Аргунское, — это идеальное решение. Тут явное распыление сил. — Буравков покачивал тяжелым носом над коньячной рюмкой. — Надо было одним кулаком бить по Грозному. Грозный взяли — победа!

— Победа будет. Я звонил в штаб группировки, наступление развивается нормально, в сроки укладываются. — Копей-

ко молодцевато приподнял плечо, словно на нем все еще красовался золотой казачий погон. — Важно другое — народ доволен. Делали замеры по всем губерниям. Одно говорят: «Добить чеченцев в их логове. Отомстить за взрывы в Москве. От Грозного — чтоб ни камушка». Мы можем себя поздравить, победитель будет царем. Народ на руках в Кремль внесет.

— К концу января, перед началом парламентских выборов, Грозный должен быть взят. — Гречишников надавил кулаком на столик. — К концу января Избранник должен в Грозном принять «Парад Победы». А Басаев с Хаттабом в клетках должны быть отправлены в Москву и размещены в зоопарке рядом с гиенами. Чтобы показывать детишкам, как они там будут грызть тухлую падаль. Хочу отметить работу ваших телеканалов. Теперь, когда мы отняли их у Астроса и Зарецкого, они работают на Победу.

— Ты послал людей в войска, чтобы они, по мере продвижения, брали под контроль нефтеприиски? — обратился к Буравкову Копейко. — Чтобы там «леваки» не пристроились. Захватываем скважину, берем под охрану и наливниками, цистернами гоним ее сразу в Ставрополь. А то, я смотрю, зашевелились жучки из Лукойла и Сибнефти. Не пускать их в войска!

— Кто сунется, сам нефтью станет, — угрюмо усмехнулся Буравков.

— Ну что ж, друзья, за Победу! — Гречишников поднял рюмку, в которую из иллюминатора влетел луч солнца, и она наполнилась золотом. — За нашу, как говорится, Победу!

Все чокнулись, и Белосельцев со всеми, послушно пригубив терпкий коньяк.

У него было странное чувство, что еще недавно он был мертв, но его воскресили. Он пропустил целый фрагмент застольного разговора и теперь с усилием пытался его уразуметь.

— Еще до взятия Грозного — идеально под Новый год, Истукан должен отречься от власти, — разглагольствовал Гречишников. — Грозный возьмут сразу после отречения, и лавры победы достанутся Избраннику. Само отречение, как мы говорили, должно произойти в конце старого уходящего года, старого одряхлевшего века. Новый год, новый век должен открыть своим обращением к народу Избранник. Это очень важно пси-

хологически и символически. Народ отворачивается от старого, больного, как и весь предшествующий, израсходованный век, Истукана, с надеждой взирает на молодого и свежего Избранника. В этом есть что-то египетское, не правда ли? Что-то, связанное с культом Нила, с воскресением Осириса?

— Сейчас вернемся в Москву, и нужно резко ускорить партийное строительство, — озабоченно сказал Буравков, не разделяя метафизических мечтаний Гречишникова. — «Партия Избранника» тайно, вчерне должна быть подготовлена к моменту отречения. А к выборам она должна выступить как новая энергичная политическая сила, оттеснить коммунистов и либералов. Война войною, она необходима как психологическое обеспечение, но нужна и эффективная партия, безупречная политическая машина. Об этом станем говорить в Сочи, пусть Избранник включается. Я концентрирую деньги, средства информации, поддержку губернаторов. Готовлю подавление политических противников, но все это необходимо ускорить. Я отчитаюсь в Сочи по этому вопросу.

— Я прочитал речь, которую готовят Избраннику твои спичрайтеры, — недовольно, обращаясь к Буравкову, сказал Копейко. — Слишком академично, иногда сусально, рассчитано на провинциальных актрисок. Нельзя ли туда вставить слова, понятные армии, офицерам? Ну что-нибудь вроде: «Мы этих Хаттабов Хаттабычей на толчках достанем!» Пусть народ его понимает, а не только дамочки недотраханые.

— Народ его поймет, будь спокоен! — засмеялся Гречишников. — Народ у нас золотой, нету других таких на земле народов. Ему что ни положи в рот — все съест. Только скажи сначала, что это вкусно. Будет есть, давиться, пеной исходить, но повторять: «Вкусно! Ой, вкусно!»

И они сдвинули коньячные рюмки, влили золотистый напиток в свои мокрые, жирные губы, заталкивая в них копчености, балык, холодный язык, осетрину в холодце с нежными дольками лимона.

Белосельцев не понимал смысла произносимых слов, словно спутники его изъяснялись на иноземном языке.

— Мы все-таки не должны упускать из виду «фактор Избранника», — многозначительно произнес Буравков, обсасы-

вая лимонную дольку. — Известны случаи, когда ставленник, абсолютно зависимый от тех, кто его возвел, постепенно, пользуясь аппаратом власти, оперируя политической машиной, избавляется от своего окружения. Смещает его или просто истребляет. Так поступал Адольф Гитлер. Так действовал Сталин. Так мыслили все выдвиженцы партии — Хрущев, Брежнев и Горбачев. Можем ли мы быть уверены, что и через год станем контролировать Избранника? Что он сдержит свои обещания и будет выполнять нашу волю?

— Не стоит волноваться, — небрежно ответил Гречишников. — Он так и останется в колбе, в которой мы его синтезировали. Он беспомощный, вялый, лишен политической воли. Он половинчатый, дробный, выложен из кусочков мозаики. Он станет ловить каждое наше слово, выполнять каждый совет и каприз. Партия будет в наших руках. Финансовые потоки сохранятся всецело за нами. Мы создадим единую телевизионную империю, и он будет в ней не императором, а подданным. Мы расставили наших людей во всех силовых структурах. Они займут места в правительстве, в администрации. Его доктора, садовники, повара, его любовницы и партнеры по покеру будут нашими людьми. Продажная либеральная элита, сгнившая в коррупции, станет повиноваться нам с полуслова. Наши друзья в Америке и Израиле обеспечат полный контроль его внешней политики. Куда он может дернуться? Только на могилу к Граммофончику, чтобы пролить на осенние хризантемы печальную слезу? Он здесь у меня! — Гречишников стиснул жилистый, слегка измазанный жиром кулак. — Да он и рад своему положению. Никакой ответственности, одни почести. Он будет английской королевой, которая царствует, но не управляет.

— А я бы все-таки сделал ему предупредительный намек, — настаивал на своем Буравков, — показал, чем чревато непослушание. Может быть, нам сдать американцам Плута, на которого во время любвеобильного Прокурора было заведено уголовное дело? Избранник почитает его за одного из своих благодетелей. Отправить в Америку с какой-нибудь дурацкой миссией и попросить американцев, чтобы прихватили его по линии Интерпола.

Белосельцев чувствовал окружавшую его жизнь, как путешественник в другие галактики, пролетевший со скоростью звука сквозь иные миры и вернувшийся на родную планету. Он был все тот же, но жизнь на Земле изменилась.

— Первым делом после инаугурации Избранник должен в корне изменить всю внешнюю политику, как мы излагали ему ее на последней встрече в Завидово. — Гречишников говорил жестко. — Никаких заигрываний с Китаем и Ираном! Ориентация только на Америку. Китай — потенциальный противник, рвется в Сибирь и на Дальний Восток. Его агентурная разведка заложила сеть в Якутии и в Уренгое. Только Америка может остановить экспансию Китая в Россию. Пустить американцев в Сибирь, отдать им месторождения никеля, меди, нефти. Если хотят, пусть контролируют ядерные объекты — нам не нужно два ядерных зонтика, достаточно американского. Пусть строят транссибирскую автостраду. Пусть роют туннель под Беринговым проливом. Пусть размещают вдоль границ Китая «першинги». Мы, если нужно, пойдем на экстерриториальность Сибири, построим ее в великое общее пространство «Америка — Россия — Европа» и таким образом остановим «желтую опасность».

— Он как-то странно отнесся к твоей идее вступления России в НАТО. Что-то невнятное мямлил об интеграции с Беларусью и Украиной, — заметил Копейко.

— Дозреет. Еще раз проговорим в Сочи весь комплекс проблем. Интеграция с Беларусью и Украиной, но в недрах НАТО, — успокоил его Гречишников.

— Нам нужно подумать, как лучше поступить с Истуканом и с его плотоядной дочкой. Они много знают, многого боятся и со страху, если их прижать, могут начать говорить. — Копейко озабоченно перекладывал себе на тарелку сочный лепесток семги. — Может, их выслать куда-нибудь в Ниццу, с глаз долой, чтобы не путались под ногами?

— Здесь не будет большой проблемы, — успокоил Гречишников. — Истукан держится исключительно на восточных, сильно действующих препаратах, и их всегда можно заменить на обычные таблетки соды. Раз — и нету Истукана! Дочь хорошо обеспечена ценными бумагами и недвижимостью, а что

касается спальни, то после Зарецкого Копейко ей покажется настоящим плейбоем! — Они дружно захохотали, и Копейко, подбоченясь, расправил несуществующие казацкие усы.

Белосельцев чувствовал себя пустым и бездушным. Спутники его опьянели. Лица их покраснелись. Вкусная еда и душистый коньяк сделали их веселыми простыми мужиками, которым хотелось рассказывать анекдоты, говорить скабрёзности, петь застольные песни. Копейко, все еще похохатывая и подумывая о пышной груди и плотных бедрах Дочери, расстегнул на горле рубаху и, вздувая малиновые жилы, скосив ревуший рот, запел, перекрикивая жужжанье моторов:

— «И за бо-орт ее броса-ает в набежа-авшую волну...»

Самолет пошел на снижение. Любезный стюард с улыбкой убирал остатки еды. Сквозь тучи возникли желтеющие леса, полная машин автострада. Самолет приземлялся на военном аэродроме Чкаловское.

У края взлетного поля их поджидал джип. Шофер принял из рук Гречишникова портфель, услужливо нес, что-то тихо докладывая на ходу. У зеркально-черной машины остановились, негромко совещались. Белосельцев, отойдя в сторону, смотрел на низкорослое, знакомое здание военного аэровокзала, на толкотню в накопителе, откуда сбитые в группы солдаты, иные в глухом похмелье, иные остервенелые и злые, но в большинстве сосредоточенные, молчаливые, торопливо двигались по бетонной полосе к самолету, улетавшему в Моздок. Мимо прошли бойцы спецназа в серо-черных камуфляжах, с чехлами, в которых отвисли длинноствольные автоматы. Протопали военные топографы, затаскивая в накопитель деревянные теодолиты. Сбитая стайка залихватских, находящихся под хмельком сержантов, дружно смолила и браво поплеывала.

Среди серо-зеленых, пятнисто-коричневых, песочно-желтых облачений Белосельцев заметил небольшую группу молодых женщин в военном: в плотных юбках и френчах, в одинаковых беретах, с котомками, сумками, вещмешками. Одно лицо под темным, косм посаженным беретом показалось ему знакомым. Приблизился, всматриваясь, и в молодой женщине, строго одетой, стесненной в движениях, не привыкшей

к своей военной форме, узнал Веронику, дочь Николая Николаевича. Изумленно шагнул к ней:

— Вы? Каким образом? Куда? Не узнаете меня?

Мгновение Вероника отчужденно на него смотрела, но потом, узнав, просветлела, радостно улыбнулась:

— Как же? Узнаю. Вы — Виктор Андреевич. С папой моим дружили.

— Где только не встречаемся! — Белосельцев осматривал ее лицо, похудевшее, без грима, без перламутрового сиянья. Маленькие морщинки появились у губ и бровей. Волосы были коротко подстрижены, уложены под берет.

— Улетаю. В Чечню. Когда папу похоронила, места себе найти не могла. Винула себя в его смерти. Вместо того чтобы быть рядом с ним, лечить, заботиться, вы знаете, чем занималась. Хотела руки на себя наложить. А тут война началась. Пошла к знакомому военврачу, попросила похлопотать в военкомате. Меня и взяли санитаркой. Теперь буду мальчиков наших на войне спасать, раны им перевязывать. Грех свой замаливать.

Белосельцеву вдруг стало душно от слез. Еще недавно он был в полусне, усыплен злыми чарами, с изъятым сердцем, с извлеченной душой, с лопнувшим пропавшим пузырьком сокровенного света. И вдруг из каких-то глубин, из-под черного асфальта и пепла в нем пробился сочный росток жизни, всплыл крохотный огненный пузырек. Вероника возвратила ему живое слезное чувство, жаркое прозрение о жизни, где все они, вместе взятые, — смертные, любящие, заблудшие, ищущие спасения — двигались вековыми русскими дорогами — из Моздока в Грозный, из Смоленска в Варшаву, из Термеза в Кабул, по нескончаемым трактам нескончаемой войны.

Голос в громкоговорителе, металлический, склепанный из обрезков кровельного железа, произнес с дребезжанием: «Пассажиры, вылетающие в Моздок, просьба пройти на посадку в накопитель номер четыре!.. Повторяю!..»

— Мне пора, — заторопилась Вероника, оглядываясь на уходящих подруг.

— Как же так? Не успел ни о чем вас спросить...

— Еще, бог даст, свидимся.

— Поцелую вас на прощанье. — Белосельцев обнял ее, поцеловал в открытый прохладный лоб и, чувствуя, что может сейчас разрыдаться, быстро пошел к машине.

Гречишников воззрился на него удивленно:

— Что с тобой, Виктор Андреевич? Соринка в глаз попала?

— Да, соринка. Из Моздока ветер принес.

Они уселись в джип, и машина промчала их по Щелковскому шоссе, а потом влилась в огромный желоб кольцевой дороги. Они летели среди ревущего потока, мимо бензоколонок, огненных рекламных щитов, пульсирующих табло. Высоковольтные мачты подпрыгивали в полях, как металлические журавли, в разрывах желтых лесов, белая, словно мираж, вставала Москва.

Гречишников объяснял Белосельцеву:

— Ты примешь участие в стратегическом совещании, на котором познакомишься с цветом «Суахили». Тебя все знают, некоторых знаешь ты, но ты не догадывался, что они, как и ты, — творцы единого Проекта. Здесь будут наши прежние товарищи по «конторе» и новые интеллектуалы разведки. Тут будут математики, антропологи, специалисты по психоанализу и «организационному оружию». Здесь будут журналисты, которых ты воспринимал как врагов. Будут политики, которых ты считал предателями. Все мнимо, все относительно, все плод конспирации «Суахили». В Сочи, в стороне от досужих глаз и московских холодных дождей, на закрытой даче мы будем перемежать мозговые атаки с купанием в теплом море, интеллектуальные разработки с музыкой легкого джаза. Обсудим новую фазу проекта. В этой новой фазе тебе, умудренному испытаниями и ошибками, наделенному огромным прошлым и настоящим опытом, надлежит возглавить аналитический центр «Суахили», который станет заниматься ситуационным анализом. Война и общественное сознание. Отставка Истукана и образ обновленного лидера. Коррупция в верхах и методики управления элитами. Это огромная задача, непомерная ответственность, твой долг перед «Суахили».

Белосельцев жадно слушал. Он снова жил, снова думал и действовал. Был по-прежнему один, внедрен глубоко в тыл врага, без связи с Центром. Но война его продолжалась.

Он не мог предсказать, когда, при стечении каких обстоятельств «Проект Суахили» рухнет. Но крах его был предрешен. Проект обладал колоссальной мощью. На него работали разведки мира, его питали мировые богатства, ему служили самые сильные и дерзкие умы человечества. Но Белосельцев, одинокий и слабый, замурованный в толщу проекта, опекаемый зоркими стражами, под неусыпным контролем врагов, предчувствовал крах «Суахили». Он, Белосельцев, и был тем пределом, за который не шагнет «Суахили». Остановится беспомощно перед пузырьком света, что, подобно светлячку, витает в душе. В нем заключалось бессмертие, божественная красота, возможность небывалого чуда. Обращение времени вспять. Спасение любимых и близких.

Они приехали во Внуково, на правительственный аэродром, где у здания порта на влажном, голубоватом бетоне стояли два самолета, готовые к рейсу. Огромный президентский «Ил», белоснежный, с синей надписью «Россия», и белый, двухтурбинный «Ту». На стоянке автомобилей было тесно от лимузинов, толстозадых «мерседесов», узконосых «вольво», высоких мордастых джипов. Тут же расхаживали их хозяева, ожидая приглашения в самолет. Белосельцев видел, как они окружили Гречишникова, как бодро и твердо, на правах благожелательного руководителя, тот пожимает им руки, каждому говорит приятное и важное слово, отчего рассеянная и лениво фланирующая толпа наполняется энергией, оживлением, готовностью осмысленно и слаженно действовать.

Он увидел здесь нескольких молодых генералов ФСБ, занимавшихся борьбой с терроризмом, политической оппозицией и аналитикой. Здесь был именитый телеведущий, который отличался резкой и оригинальной манерой — всегда слыл подопечным магната Зарецкого, но после смерти последнего легко, словно нарядная крылатая мушка, перескочил с подломленного цветка на другой, такой же медоносный и сладкий. Тут были политологи конкурирующих направлений, жарко и беспощадно уничтожавшие друг друга в телевизионных баталиях, но здесь, у самолета, собравшиеся в дружную стайку. Среди гулявших, чуть особняком, с видом некоторого превосходства, прохаживался известный «политтехнолог», слыв-

ший за «серого кардинала», творца дворцовых интриг. Некоторые издали кланялись Белосельцеву, некоторые подходили и пожимали руки. Одних он узнавал, других едва помнил, третьи были ему незнакомы. Эта была элита «Суахили», ее коллективный мозг, его «роза ветров», разносившая по всем направлениям семена заговора.

Сквозь открывшиеся ворота на территорию аэродрома, с затихающим выдохом сирены, меркнувшим фиолетовым лучом «мигалки», влетали машины. Из переднего джипа, распахивая и не закрывая двери, высыпала охрана, в раздутых пиджаках, с рациями, с тонкими проводками, уходящими сквозь ушные раковины в глубь черепов. Из второго ослепительно черного лимузина вышел Избранник, маленький, легкий.

Все собравшиеся, увидев Избранника, потянулись к нему, словно к магниту. Избранник улыбался им всем, и никому в отдельности. Здравовался со всеми сразу, прижимая руку к груди, глядя сквозь них в далекие пространства, где блуждали лучи и синие тени. Лишь один Гречишников приблизился к Избраннику, обменялся рукопожатием, что-то негромко, наклонившись, говорил ему. Тот тихо внимал, улыбался, послушный, согласный со всем наперед, но Белосельцеву издали чудилась в Избраннике странная отрешенность, невнимание к тому, о чем говорит Гречишников. Словно эти слова не имели для него смысла, а смысл имели блуждающие сквозь тучи лучи осеннего солнца, поджигавшие на далеких лесах красные и желтые пятна.

— Наш-то Избранничек входит во вкус. Еще не Президент, а летает на президентском самолете. Вот и охрану себе сменил. Сам, говорят, подбирал. — Копейко усмехался, словно прощая баловнику его детские шалости.

— Надо пригласить к себе начальника охраны и положить ему второе жалованье, из наших рук. Так будет легче охранять, — хмыкнул Буравков, и оба они шагнули сквозь толпу, расположившуюся по силовым линиям на разном расстоянии от Избранника. Белосельцев остался один, наблюдая, как с борта могучего спецсамолета с надписью «Россия» спускается летчик.

— Виктор Андреевич, — услышал за своей спиной Белосельцев. Оглянулся — перед ним стоял Кадачкин, круглолицый, синеглазый, с белесыми офицерскими усиками, отрос-

шими после их последнего свидания. В его ухе, на прозрачной пластмассовой скобке, был укреплен миниатюрный микрофон с едва заметным, скользнувшим за ворот проводком. — Слушай меня внимательно и делай все, что я тебе скажу. — Он улыбался так, словно не приказывал Белосельцеву, а любезно расспрашивал о здоровье. — Сейчас мы сядем в машину, уедем отсюда, и ты не будешь меня ни о чем расспрашивать. А только верить мне, как своему другу, который уже два раза спасал тебе жизнь. Считай, что это третий раз.

Так же улыбаясь, он направился на стоянку. Усадил в зеркально-черную «ауди» Белосельцева, сам сел за руль. Ловко вывернул со стоянки, удаляясь от многолюдной свиты, все еще окружавшей Избранника. Кивнул, как знакомому, постовому у ворот, выкатил на шоссе. Быстро достиг главной, переполненной машинами трассы, но помчался не к Москве, а в противоположную сторону. Очень скоро свернул к обочине.

— Теперь ты выйдешь и двинешься пешком до автобусной остановки. Иди не быстро и, если можешь, прихрамывай. И приклей себе, пожалуйста, это, — он вынул из кармана пластиковый прозрачный пакетик с искусственными усами. Извлек волосяной пучок, помог прилепить Белосельцеву на верхнюю губу. — Через несколько дней я тебя отыщу.

Высадил Белосельцева на обочину и умчался вперед, сливаясь с проблесками стекол, хромированными бамперами, пропадая в туманной гари шоссе.

Белосельцев, повинувшись приказу, изумляясь в себе той покорности, с какой последовал настояниям Кадачкина, неторопливо побрел вдоль шоссе, мимо неоглядного летного поля, огороженного бетонной стеной, обгоняемый ревущими трейлерами, шелестящими лимузинами, слыша хлопки горячего дымного воздуха. Казалось, он повиновался старинному другу Кадачкину, дважды спасшему его от гибели, но на самом деле он повиновался крохотной жаркой корпускуле, мерцавшей где-то под сердцем. Он отыскал на обочине сломанную ветку, поднял и, опираясь на нее, как на страннический посох, шел неторопливо, слегка прихрамывая.

Он услышал хриплый дрожащий рокот, словно чьи-то огромные руки, напрягаясь, рвали грубые домотканые холсти-

ны. Рокот усиливался, перемещался за бетонным забором, удалялся к желтым пятнистым лесам, и внезапно все пространство взревело, задрожало, словно силачу удалось разодрать жесткую мешковину, и над серой бетонной изгородью из пожухлых трав взлетел огромный белый лайнер с надписью «Россия». Сбрасывая прозрачную гарь, стал медленно подниматься, удаляясь вдоль сырых осенних рош, распарывая на волокна бледный полог небес.

Белосельцев смотрел на уходящий самолет, в котором находился Избранник, удалявшийся в свое загадочное будущее, в таинственное перемещение лучей, облаков, пятен света и тени. Сидел у иллюминатора, глядя, как под льдистой плоскостью плывет доставшаяся ему страна, туманится бело-розовая Москва, окружая загадочным свечением очередного властелина.

Но, быть может, уходящий самолет был пуст, не было в нем властелина, а в салоне, в удобном кресле, с пристегнутыми ремнями, перед стаканом пузырящейся минеральной воды сидела пластмассовая кукла с недвижным целлулоидным лицом, по которому пробегала световая рябь неба.

Белосельцев шагал, опираясь на посошок. Воздух, растревоженный взлетом, утих. Пустота поглотила лайнер, растворила его в потоках света среди синих, блуждающих туч. Вновь раздался хрустящий звук. Из металлических хрипов и рокотов над бетонной оградой поля, вдоль красно-желтой лесной бахромы взлетел второй самолет, длинноносый, с отведенными упругими крыльями и секущим килем. Белосельцев испуганно замер. Ему захотелось упасть на землю, зарыться в обочину, скрыться в жухлых бурьянах, чтобы всевидящие, ищущие глаза Гречишникова не различили его из неба, не послали ему сверху разящую смерть. Самолет шел грозно, тяжело, переполненный злом, груженный всеми пороками мира. В белом фюзеляже, как в капсуле, был запаян «Проект Суахили», сосредоточены жестокие, управляющие миром силы. Белосельцев почувствовал слабый укол под сердцем, словно пробивался наружу пузырек волшебного света. Заметил слабую вспышку под крылом самолета, будто корпускула света, как лазерный прицел, совместилась с воздушной целью. Из-под крыла вырвалось маленькое облачко дыма. Разрасталось, как цветная ка-

пуста, выталкивало из себя красный длинный огонь. Самолет летел, распуская следом огромный волнистый шарф пламени. Тянул его вдоль леса, задирая вверх нос. Раскалывался надвое, вышвыривал в воздух огромные пышные клубы дыма. Проливал на землю жидкий огонь. Громкий хлопок откупоренной бутылки долетел до шоссе, и пока звучал этот тугой сочный звук, обломки самолета косо, горящим мусором, валялись к земле, рушились в леса, и оттуда, из осенней желтизны, поднялся черный ком гари, долетел гул взрыва.

Машины останавливались на шоссе. Водители и пассажиры вставали из салонов. Смотрели, как в небе расползаются три пышных дымных облака. Белосельцев стоял, опершись на посох.

ЭПИЛОГ

Самолет с Избранником летел на юг, почти безлюдный, с белым стерильным салоном, где пустовали ряды одинаковых кресел, которые обычно занимала многочисленная свита. Теперь в хвосте разместились только охрана, десяток здоровяков с короткими стрижками, некоторые из которых стянули с тугих плеч пиджаки, оставшись в белых рубахах с ременными портупеями.

Избранник, отделенный от них, находился в переднем салоне. Откинулся на кожаном удобном диване перед лакированным столиком, поглядывая в круглый иллюминатор. Внизу, чуть затуманенная, перламутровая, проплывала страна, — ее обширные нагорья и реки, неоглядные пашни и разноцветные, разукрашенные осенью леса, едва различимые деревни и задымленные города. За голубоватой толщей прозрачного воздуха, среди гарнизонов и заводов, железных дорог и проселков, храмов и тюрем жил утомленный народ. Избранник думал, что теперь ему придется управлять этим народом. Угадывать его бессловесные чаяния, навязывать ему свою волю, одновременно исполняя безымянную волю народа, которая в нем, правителе, обретет свое осмысленное проявление.

Его мысли были прерваны появлением стюарда в белой рубахе и галстукe, в черной атласной жилетке.

— Что-нибудь желаете? — любезно спросил стюард, чуть склоняясь в поклоне, приближая к Избраннику свежее красивое лицо. — Коньяк? Виски?

— Минеральную воду, пожалуйста.

Стюард исчез и вновь появился, неся хрустальный стакан и бутылку. Поставил на столик стакан, наполнил до половины водой. Установил чуть поодаль бутылку. Избранник благодарно кивнул. Не притронулся к стакану, глядя, как в хрустале пенится прохладный кипяток нарзана, выбрасывая на поверхность серебряные пузырьки.

Из кабины вышел командир корабля, в синем летном мундире, с седыми висками, мужественным, красивым лицом. Доложил о протекающем полете, о высоте, скорости, температуре воздуха за бортом.

— Есть ли какие-нибудь пожелания? — спросил командир, чутко и преданно вглядываясь в Избранника.

— Может быть... — Избранник задумался. — Если можно, я бы хотел пройти вместе с вами в кабину.

— Прошу вас. — Командир корабля отступил, позволяя Избраннику подняться и пройти в полуоткрытую дверь.

Второй пилот и штурман сидели среди кристаллических стекол, наполненных синевой, в окружении циферблатов, экранов, дисплеев, блестящих тумблеров, подсвеченных индикаторов. Кабина напоминала застекленный череп со множеством вживленных электродов и датчиков, дающих представление о жизни огромного существа, парящего в воздушных потоках.

Самолет летел на автопилоте, бортовой компьютер держал машину на невидимой, прочерченной в небесах траектории.

— Могу я сесть? — Избранник смущенно указал на пустое кресло командира с торчащей рукоятью управления.

— Разумеется. — Командир помог Избраннику занять место, начал было объяснять ему назначение приборов.

— Спасибо, я знаю, — мягко остановил его Избранник. — Я изучал управление самолета. — Он пробежал тонкими, почти детскими пальцами по тумблерам, по нежно светящимся красным и зеленым индикаторам. Виновато улыбаясь, произнес: — Вы позволите мне ненадолго остаться в кабине одному?

Ничего не буду трогать. Самолет ведь на автопилоте? Просто хочется оказаться одному в этой великолепной кабине.

Понимая его прихоть, извиняя его, штурман и второй пилот поднялись и вслед за командиром покинули кабину, затворив створку двери. Перешли в салон, на удобный мягкий диван, вольно развалились, утонув в замшевых складках. Сидели, болтали, шутили, предвкушая приземление в южном приморском городе, когда, оставив машину на летном поле под охраной бдительных стражей, на несколько дней поселятся в удобном отеле у моря, станут купаться в прохладном, шипящем рассоле, растираться до красных пятен махровыми полотенцами, сидеть под матерчатым зонтиком на дощатой веранде, глядя на синеву, на белый корабль, на играющих глянцевитых дельфинов, медленно попивая из бокалов красное сухое вино. Сидели так с полчаса. Командир поднялся, направился к кабине:

— Посмотрю, может, он задремал за штурвалом... — исчез в дверях. Через секунду появился, изумленный, растерянный. — А ну-ка идите сюда!..

Остальные двое вошли в кабину. Она была безлюдна. Кресла пилотов пустовали. Ровно, мерно шумели турбины. Горели разноцветные индикаторы. Избранника не было. Только в кристаллическом стеклянном ромбе кабины слабо пылала прозрачная радуга. Рассыпалась на пучки летучих лучей. Гасла. Превращалась в синеву, в пустоту.

30 июня 2001 года

Торговцево

Александр Проханов

Господин Гексоген

Роман

Ведущий редактор — М. Котомин

Художник — А. Бондаренко

Корректор — Г. Асланянц

Компьютерная верстка — М. Гришина

Подписано в печать 10.03.02

Формат издания 84×108/32

Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.

Тираж 15 000 экз.

Заказ № 5565.

ООО «Издательство Ад Маргинем»

113184, Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7,

тел./факс: 951-93-60, e-mail: ad-marg@rinet.ru

ИД №06255 от 12.11.2001

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в

ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

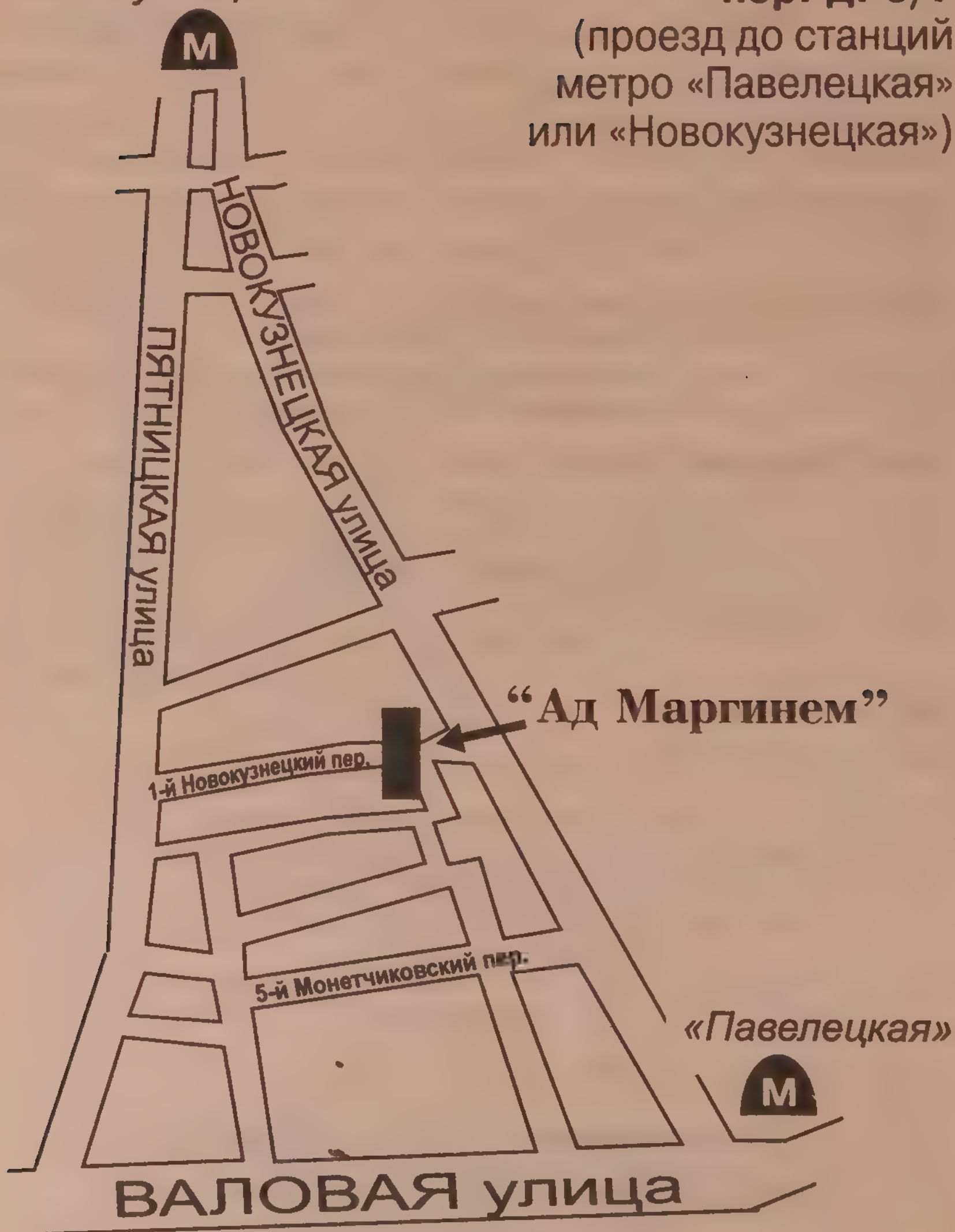
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

Книги издательства **“Ad Marginem”**
и литературу других издательств
по философии, филологии,
истории и культурологии
Вы можете приобрести
в книжном магазине
по адресу:

**1-й Новокузнецкий
пер. д. 5/7**

(проезд до станций
метро «Павелецкая»
или «Новокузнецкая»)

«Новокузнецкая»





Быстрый доступ

Надежная связь

Качественный сервис

Rinet

Internet provider

www.rinet.ru

Услуги подключения к сети INTERNET

===== для частных лиц =====

ДОСТУП ПО ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ – dialup

(с повременной оплатой / без учета времени)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ

===== для организаций =====

ПОСТОЯННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

– по выделенным каналам

– по коммутируемой линии

===== пользователям Rinet =====

РАЗМЕЩЕНИЕ

WWW-серверов и WWW-страниц

Бесплатная поддержка прокси
и почтовых серверов на базе UNIX систем

Подключение, консультации,
прием платежей:

с 10.00 до 22.00

Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
(095) 238•39•22, 232•17•30, 916•70•09

Частные Мастера предлагают

дизайн и верстка
любой печатной продукции,
компьютерная графика,
разработка фирменного стиля

создание, поддержка
и раскрутка сайтов
любой сложности:
от личного
до Интернет-магазина

обучение компьютерной графике,
web-дизайну,
программированию
в группе и индивидуально

www.webmastera.ru
тел./факс: +7 (095) 375-00-76
e-mail: info@webmastera.ru

WEB
MASTERA.RU
студия

По вопросам приобретения книг
издательства **«Ад Маргинем»**
обращаться:

Предприниматель Дудинова Елена

ЦЕНЫ НИЖЕ ИЗДАТЕЛЬСКИХ

гибкая система скидок

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ

тел. 375-00-76
тел./факс 951-93-60

Москва, 113184,
1-й Новокузнецкий пер., 5/7

E-mail: adbooks@mail.ru
www.adbooks.narod.ru

**Оптовая торговля
«Клуб 36'6»**

Москва, Рязанский пер., д. 3, этаж 3

Телефон/факс (095) 265-13-05,

267-29-69, 267-28-33, 261-24-90

Тел.: (095) 523-92-63, 523-25-56

Факс: 523-11-10

E-mail: club366@aha.ru

**Фирменный магазин
«36'6—Книжный двор»**

(мелкооптовая и розничная торговля)

Проезд: Рязанский пер., д. 3, этаж 1

(рядом с м. «Комсомольская»

и «Красные ворота»)

Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

Книжная лавка «У Сытина»

125008, Москва,

проезд Черепановых, д. 56

Тел: (095) 156-86-70

Факс: (095) 154-30-40

E-mail: sytin@aha.ru;

info@qvest.com

Интернет-магазин

(доставка в любую страну)

[http:// www.kvest.com](http://www.kvest.com)

Александр Проханов

Господин Гексоген

В провале мерцала ядовитая пыль,
плавала гарь, струился горчичный туман,
как над взорванным реактором.
Казалось, ножом, как из торта,
была вырезана и унесена часть дома.
На срезах, в коробках этажей, дико и обнаженно
виднелись лишенные стен комнаты,
висели ковры, покачивались над столами
абажуры, в туалетах белели одинаковые унитазы.
Со всех этажей, под разными углами,
лилась и блестела вода.
Двор был завален обломками,
на которых сновали пожарные,
били водяные дуги, пропадая
и испаряясь в огне.
Сверкали повсюду фиолетовые мигалки,
выли сирены, раздавались мегафонные крики,
и сквозь дым медленно тянулась вверх
выдвижная стрела крана.
Мешаясь с треском огня, криками спасателей,
завыванием сирен, во всем доме,
и в окрестных домах, и под ночными деревьями,
и по всем окрестностям раздавался неровный
волнообразный вой и стенание,
будто тысячи плакальщиц собрались
и были бесконечным, бессловесным хором...



AdMarginem

